

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ 20 21 2005

В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ
МАША АЙНБИНДЕР
ИЛЬЯ АЛЫЙ
НАУМ БАСОВСКИЙ
МИХАИЛ БАСИН

ВЛАДИМИР БОЛОТИН

ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ
МАРК ВЕЙЦМАН
ЗЕЭВ ГЕЙЗЕЛЬ
МАША ГИТЕЛЬ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
ГРИГОРИЙ ДИКШТЕЙН
ЛОРИНА ДЫМОВА
ЕЛЕНА ИГНАТОВА
АРНОЛЬД КАШТАНОВ
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ
ЯКОВ ЛАХ
ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН
МАРИНА МЕЛАМЕД
ИЦХОКАС МЕРАС
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА
ИСРАЭЛЬ ПИНКАС
ИРИНА РУВИНСКАЯ
ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ
ВАДИМ СТАТУТ
ЯКОВ СУСЛЕНСКИЙ
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА
СОФИЯ ШЕГЕЛЬ
МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ
И ДРУГИЕ

20-21



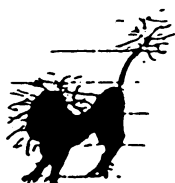
JERUSALEM LITERARY REVIEW

יְרוּשָׁלַיִם לִטֶּרַטוּרָה

2005' 20-21

Творческое объединение «Иерусалимская Антология»
благодарит
ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ»
и его руководителя Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА,
группу «АРИЭЛЬ»
и ее президента Евгения Яновича САТАНОВСКОГО,
консорциум «АЛЬФА-ГРУПП»
и его главу Михаила Маратовича ФРИДМАНА
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

②0 ②1 2005

Иерусалимский журнал, № 20-21, 2005

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: Игорь Бяльский (главный редактор),
Елена Игнатова, Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,
Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь: Леонид Левинзон

Художник: Сусанна Черноброва

Веб-дизайн: Карина Пастернак

Редактура и корректура: Бина Смехова, Любовь Лейбзон

Организационное и техническое обеспечение номера: Ольга Аксютинна,
Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн,
Виктор Гопман, Григорий Гордин, Светлана Мойбер, Илан Рисс

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке
Совета по литературе и искусству
при Управлении национальной лотереи
«Мифаль а-паис»;



Общественного совета
при Фонде «Апотропус» Министерства юстиции

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2005. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322

E-mail: review@antho.net Тел. (972-2) 6720025; 6434005; 6432962

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства
по рецензированию и возвращению рукописей*

Представители «Иерусалимского журнала» в других странах:

Москва – Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru
Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru
Нью-Йорк – Андрей Грицман, 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com
Чикаго – Александр Блинштейн, 1-847-6761134; blindotcom@yahoo.com
Ефим Котляр, 1-847-5819304; YefimK@aol.com
Бостон – Татьяна Гольдмахер, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com
Будапешт – Жужа Хетени, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu
Париж – Владимир Смехов, vladimir.smekhov@free.fr
Торонто – Илья Липес, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. **Ариэль** – Самуил Кушников, 03-9365452
Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. **Герцлия** – Леонид Шейнксман, 09-9502681
Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. **Лод** – Михаил Гиль, 08-9201291
Реховот – Марк Павис, 08-9353758. **Хайфа** – Михаил Басин, 04-8213657

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

Ирина Рувинская

НАПЕРЕЧЬЕ

* * *

монитка ночная

и снова еду
праздную маленькую победу
украла у жизни почти что сутки
о эти монитки

эти маршрутки
монитки эти

и молодая
одарена одета по моде
еду

а ты минуты считая
и прочий бред еще в том же роде

* * *

сколько можно

мужские свитера и рубашки носить
рассуждать о конфликте между н и м и и н а м и
перейти на русский детей просить
чуть живых старушек

называть детскими именами
и не тех не тех опять жалеть и желать
в долг давать без отдачи
и в темноте с глазами сухими лежать
что

не будет уже иначе?

так кого сама не знаю спросила я
и не знаю кто

отвечал в ночи
говорит тебе кто-то «имэлэ»
говорит тебе кто-то «милая»
и молчи

* * *

приближаются наши даты я не забыла их
даты они ведь не виноваты что наступает миг
и происходит сдвиг

и видим – разве не так скажи –
ни на какие уже не выйдем новые рубежи

помню какой был в апреле холод сад гефсиманский цвёл
взял ты в союзники старый город он тебя не подвёл
это была правда
не было лжи
и оставлять

тяжело будет
старые рубежи

* * *

я встану в без десяти встану в без десяти
мне в школу не будить и в садик не вести

но все равно завал ведь песах на носу
а то что бог мне дал

поздно не спасу

не надо не казись
просто не спасти
но ты доснись

доснись
я встану в без пяти

* * *

А. Кучерскому

диван и кресло с улицы притащим
а стол и стулья купим по мивце
и жить привыкнем

только настоящим
без мыслей о начале и конце

мы по-другому видели свободу
но если вдруг свободна голова
еще охота подбирать слова
на выцветших счетах

за свет и воду

* * *

наперечёт наперечёт
прикосновенья и глаголы
пошел давно
 отсчёт
и солнышко еще печёт
но русские деревья
 голы
наперечёт

ЭТА СТРАНА

эти мальчики в хаки
 говорящие на иврите
белобрысые русые крепыши
вы-то тут почему
и зачем вы на нем говорите
что вам в нашей глуши

вы уже поняли
что не кончится эта война
что безумна и эта страна
хоть и мала
 ну а та велика и безумна
о как сумно
(вдруг украинское словцо)
 вместе нас не велят хоронить

нет живите живите
 пусть вас обойдут с этой чашей
а е ё удержать
а е ё сохранить
только крови достанет ли
нашей и вашей

Елена Игнатова

ДВА РАСКАЗА

ЛАРУСИК

Проводы Ларусик устроила в котельной. Попрощаться с ней пришел весь коллектив, а мастер сказал речь: «Вот и товарища Кацман мы провожаем. Едет она на историческую родину, родина, ясно, дело святое. Жалко мне, что образованные люди бросают нашу профессию, с ней не пропадешь, но — рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Так что счастливого пути тебе, Лара, и хорошей новой жизни!» Торжественную часть сменили тосты, пожелания, смех, и только газовый котел не сбился с ровной ноты, воспевая их полезный отопительный труд. Ларусик была, как во сне. Она складывала в пакет расписные ложки, хохломские стопки и пыталась отказать от тяжелого половика — подарка психолога и удачливого спекулянта Жоры. Но Жора объяснил, что это не половик, а дагестанский ковер ручной работы, его легко продать прямо в аэропорту Лод («с руками отхватят!»), и у Ларусика сразу появятся деньги. Жора тоже готовился к отъезду и был осведомлен, что стоит везти с собой на продажу.

Половик, ковер — не все ли равно, когда прежняя жизнь сломана, Рубикон перейден и сердце разбито. Все знали, что Ларусик уезжает от несчастной любви, и сочувствовали. Разве не Лева приносил в котельную сионистские брошюры в ворохе самиздата? Еще недавно они вместе штудировали справочники министерства абсорбции, и она вслед за Левой повторяла: «На родину, а Израиль!» Но она уезжала — а он оставался. Лева понял, что его место здесь, в лагере демократов. Теперь он с тем же пылом излагал Ларусику принципы, тактику и цели общественной борьбы. Но ее бедная голова не могла вместить две идеи сразу, она путалась в движениях, партиях, резолюциях, а главное — все это казалось ей скучным. Во время очередной политбеседы, когда она прилежно рассматривала разводы плесени на потолке, Лева вдруг сказал: «Вот что, Ларусик, уезжай. Здесь, с нами, тебе делать нечего». Газовый котел за стеной хрипло охнул и отключился. На проводах Лева отвел Лару в сторону, терпеливо выслушал ее жалкие слова о любви и сказал: «Послушай, я, может, приеду к тебе. Здесь ведь непонятно, как обернется. Если соберусь — напишу». Он задумался. «Напишу тебе так: «Солнце встает на Западе». Он всегда любил красивые выражения.

Солнце за стеной аэропорта Бен-Гурион встало, как и полагается, на востоке. Ларусик выезжала из холода, а попала в

лето, и показалось, что вернулась она в счастливый июль, проведенный слевой у моря. Это счастливое чувство возвращения, узнавания сохранялось все первое время в Иерусалиме. «Ну, конечно, это родина, я когда-то уже видела все это», – взволнованно твердила себе Ларусик. А Левины письма обескураживали. Он писал только о предвыборной компании: кандидаты Синяков и Фоняков боролись за место в горсовете. Демагог и популист Фоняков ловко использовал временные трудности для достижения своих низменных целей. Лева заверял, что они не допустят этого, и намекал на связь Фонякова с бывшими партократами и известными темными силами. Ларусик обмирала от страха. «Боже мой, да что это за Фоняков на Левину голову?» Впрочем, кто такой Синяков, она тоже не знала, но чувствовала, что Лева ускользает, он не собирается к ней.

Квартиру Лара сняла на пару с бывшей преподавательницей политэкономии из Саратова, Симой. С работой ей повезло – она мыла полы в своем ульпане. После занятий и уборки уже ни на что не хватало сил, вечером она лежала в темноте и старалась угадать, что сейчас делает Лева. Чаще всего ей виделась почему-то дымная дождевая туча, и она знала, что это Синяков. Приходила Сима, включала свет, громко разговаривала или читала газеты, заливаясь язвительным смехом.

– Ты послушай, Ларусик, какая красота: «Он в последний раз извился и застыл»!

– Это про меня, – грустно отзывалась Лара.

Сима, не в пример подруге, не падала духом, трудясь на фалафельной фабрике. Она считала, что ей как политэконому это полезно – она могла непосредственно изучать производство эпохи раннего капитализма. Вечерами Сима как сознательный пролетарий по складам читала в газете страницу для начинающих учить иврит и титры в телевизоре. В речи дикторов все чаще мелькало слово «мильхама». Пришло короткое письмо от Жоры: он скоро прибудет, а пока передает с оказией несколько вещиц. Через пару дней явился американец от «Джорджа», принес вещицы: золотые часы – «луковицу» на толстой цепочке, две бронзовые курильницы, бубен с разошедшей кожей и скобленную шкуру, покрытую письменами. «Джордж» велел отдать все это на хранение Ларусику, шкуру просил засыпать нафталином.

– Он что, шаман? – спросила Сима, упаковывая сокровища в полиэтиленовый мешок.

Лара не знала, что ответить. Она уехала так недавно, но уже ничего не понимала про ту жизнь. Письма Левы, вещицы Жоры, борьба неведомых Фонякова и Синякова. Время в России набирало немыслимую скорость, и она ничего не могла разглядеть в мелькании гигантского колеса – только в глазах рябило да долетали изредка хлопья грязи, вроде этих куриль-

ниц, шкур, колец... А ее время застыло на мертвой точке: уроки в ульпане, уборка, вечерами телевизор и сочинение бодрых писем родне. Лева совсем замолчал.

Однако Лара выяснила его обстоятельства аналитически. У Левы была примечательная особенность – он был человеком с групповой фотографии. На снимках, где он был один, он мало походил на себя. И поэтому над кроватью у Ларусика была прикреплена фотография «Ударники труда отопительного треста Ленинского района» слевой – вторым слева в четвертом ряду. Сейчас подруга прислала газетные вырезки, и Ларусик поняла, что он сделал карьеру. Демонстрация: кружком обведено лицо Левы, четко видное в толпе. Митинг: Лева во втором ряду, почти в центре. Делегаты конференции: он в первом ряду, рядом – Синяков (поза волевая, лицо неотчетливо). И, наконец: депутаты городского собрания просматривают утреннюю газету. Газета – в руках у Левы.

– Все ясно. Очень хорошо, – сказала Ларусик.

Но это было совсем нехорошо. Ведь она до сих пор жила ожиданием и надеждой. Был у нее любимый краешек иерусалимского неба, где на закате происходили всяческие чудеса. То вставало облако, немыслимо расцвеченное, то клубились по кромке неба воздушные холмы с огнями и садами. И всегда, когда она возвращалась с уборки, там светилась маленькая звезда. Иерусалим казался накрытым воздушным холмом, с этой звездочкой наверху. А теперь все кончилось, она видела отдельно: улицы, парки, огни – но волшебный ее Иерусалим исчез. И разрушенный мир имел неистребимый запах хлорки – моющего средства «Экономика».

– Ты мне откровенно не нравишься, – сказал Жора, оглядев Ларусика.

Он, наконец, приехал и поселился в квартире этажом выше. Жора (отныне Гиора) сразу осудил жизненную позицию Лары и Симы: фалафельная фабрика и мытье полов – не оптимальный вариант абсорбции. Он не собирался заниматься подобными глупостями. Его абсорбция происходила стремительно. По лестнице засновали люди. К Жоре шли мужчины с уверенными манерами и сонными глазами дельцов, инженеры с растерянными «олимовскими» лицами, семейные пары... Жорина идея – строительство кооперативного жилья для новоприбывших – привлекла многих. «Чем покупать за дикие деньги квартиры в трущобах, лучше построим свои дома на паях. Приехало столько мастеров, строить будем своими силами», – объяснял Жора восхищенным соседкам. Сима говорила, что ей как политэконому интересно наблюдать становление свободного предпринимательства на демократических принципах. Жора совсем закрутился в делах, почти пропал из виду. Ларусик вздыхала, что настоящая жизнь проходит мимо, – и ей снова виделся разбег сверкающего колеса, устройства которого не разглядеть, не понять. Сима и Лара особен-

но любили Жорины монологи. Обычно он начинал так: «Что меня восхищает в этих израильтянах...» Жорины израильтяне были сверхъестественно мудры, дальновидны и предприимчивы. «Прямо пришельцы какие-то, – мечтательно говорила Сима, – вот бы познакомиться». Их знакомые ни в какое сравнение с Жориными «израильтянами» не шли. Толстые мужики в наполовину спущенных на заднице штанах, горластые соседи, любительницы поговорить снизу с товарками на верхних этажах, одуревшие от кофе чиновницы, которые путали и теряли документы и справки. А Жорины израильтяне и впрямь оказались дальновидны и мудры, они не позволили приезжим выскочкам сбивать цены на квартирном рынке, и идея кооперативного строительства рухнула. Жорины монологи об «этих израильтянах» стали язвительны, но он не впал в уныние и стал подыскивать другое занятие. Единственным, что давалось ему с трудом, был иврит. Из верхнего окна доносились металлические голоса, чеканящие тексты учебника. Кассета крутилась часами, но дело шло туго.

– Надо же, – удивлялась Сима, – а кажется, способен на чудеса!

Жора действительно был способен на чудеса, что доказал в скором времени. Поток прежних посетителей иссяк, вместо них появились угнетенные старушки, нервные молодые люди, встревоженные женщины с детьми. Оказалось, что Жора стал экстрасенсом и целил страждущих. Сима была разочарована, почти оскорблена. Во-первых, множество приезжих из «России» объявляло себя экстрасенсами, астрологами, целителями, во-вторых, это занятие едва ли сулило Жоре процветание на ниве частного капитала. Теперь ясно, для чего он переправлял в Израиль курительницы и шкуры! Ларусик не соглашалась, ей казалось, что он нашел дело по себе. Он всегда был спринтером: жизнь, как беговая дорожка, видны только пыль под ногами да потные конкуренты, а сейчас может оглядеться вокруг. И экстрасенс он настоящий, без дураков... С этим Сима не спорила. Теперь Жора донимал Ларусика заботами о ее здоровье: какая-то чakra у нее была не то забита, не то закрыта, энергия поступала плохо и распределялась неправильно. Ларусик полагала, что эта чakra называется «Лева», но соглашалась, что с энергией, действительно, слабовато.

– Что меня восхищает в этих израильтянах, так это полное отсутствие паники, – сообщил Жора, появляясь в дверях с сумкой консервов.

Через пару дней началась война. В первые ночи было очень страшно: при звуке сирены хотелось забиться под кровать, а не оклеивать дверь липкой лентой на случай газовой атаки. Окрестные собаки выли, как по покойнику. Сима и Ларусик каждый день покупали шоколад и ели «от нервов». Они спали в «герметизированной» комнате, сдвинув кровати вме-

сте. Из щели в углу дуло, зато окно было плотно завешено – пригодился Жорин подарок, дагестанский ковер. Во время тревоги Сима, с очками поверх противогаза похожая на ученого слона, читала, а Ларусик слушала песни по радио, рассматривала узоры на ковре и засыпала, удивляясь, до чего спокойно на сердце. А утром бежала на курсы и радовалась густому и сладкому воздуху. Ей казалось, что коробка с противогазом на ремне придает ей элегантность, что ей улыбаются особенно приветливо, и утренний Иерусалим она открыла так же, как прежде закатный. Если бы Лева увидел ее сейчас, он бы влюбился, – это Ларусик знала точно.

Глубокой ночью, после отбоя воздушной тревоги вдруг зазвонил телефон. Хриплый, испуганный голос прокричал: «Ларусик! Ты слышишь, Ларусик?»

– Да, Лева, да, – так же испуганно отозвалась она.

– Что с тобой, как ты? Дозвониться невозможно, а ты ничего не ешь! Я тут с ума схожу...

– Но ты тоже не ешь, Лева!

Он не слушал, а так же хрипло и монотонно продолжал говорить слова, которых она не надеялась дождаться, и после короткого, судорожного вздоха умолк. «Сейчас он успокоится», – подумала Ларусик. Она помнила: иногда ему снились кошмары, и он, не открывая глаз, проводил ладонью по ее лицу – и так же, коротко всхлипнув, засыпал снова. И вправду, Лева заговорил спокойнее.

– У нас передают страшные вещи об обстрелах и разрушениях.

– Нет, – сказала она, – Иерусалим не обстреливают.

Он совершил преступную глупость, отпустив ее...

– Ничего, не мучайся, все в порядке. Я боюсь, что ты разоришься с этим разговором.

– Не разорюсь, – успокоил он, – я так давно тебя не слышал. Спроси меня о чем-нибудь!

– Как там Фоняков? – глупо спросила она.

– Фоняков? Да никак, – удивился он.

– А Синяков?

– Нормально, работаем. Теперь я спрошу: ты Жору видишь? Процветает наш деловой человек?

– Каждый день вижу, он рядом живет. У него все нормально, он теперь экстрасенс.

– Ах, вот как? Я не знал, что вы рядом живете. А экстрасенс – это теперь в моде, – холодно сказал Лева. – Знаешь, когда все утрясется, я, возможно, приеду в Израиль.

– Неужели «солнце встает на Западе», Лева?

– Солнце? – он вспомнил, рассмеялся, – Нет, Ларусик, оно на востоке, без вариантов. Но мы собираемся послать в Израиль делегацию для ознакомления с капельным методом орошения.

– У вас же болота кругом! – изумилась она.

– Этот метод может представлять определенный интерес, – с мягкой раздумчивостью сказал Лева. – Когда утрясется с оформлением, я тебе сообщу, жди.

Ларусик наизусть знала все интонации Левы и поняла, как он изменился за это время. Вальяжный голос, бархатный тембр... А может, ей просто показалось?

Жора, услышав про капельное орошение, тоже удивился.

– Приедет с делегацией? Что же, это теперь в моде. Жди.

Ларусика поразило, что он сказал это с тем же холодным отчуждением, с каким Лева говорил о нем.

Лева приедет! Боже мой, откуда у нее взялась эта головокружительная уверенность в себе? Но вдруг всплывал в памяти бархатный голос – и капельное орошение. Настроение сразу падало.

Ларусик вошла в комнату и увидела Симу и Жору, сидящих с выражением сдержанной скорби на лицах. Сима, как героиня мелодрамы, комкала носовой платок.

– Поешь, Ларусик, ты сначала поешь, – голосом гипнотизера сказал Жора.

– Что? Что случилось?

– Ничего, просто Лева звонил, – так же монотонно и успокоительно продолжал Жора. – Видишь ли, он не едет. То есть едет, но не сюда. Дай ей борща, борщ остывает... Они летят в Аргентину, знакомиться с тамошним животноводством. А в Израиль он не собирается, капельное орошение отпало. Там же болота кругом, – с облегчением закончил Жора.

Сима горестно закивала над тарелкой с борщом. Ларусик принялась есть. И вдруг откинулась, едва не опрокинув стул, захлебываясь, крелясь на сторону от смеха. Сима неуверенно встала ей.

– Что меня восхищает в тебе, Ларусик... – с глубоким чувством сказал Жора, – так это правильное распределение энергии!

Но она и сама чувствовала, что с энергией у нее уже все в порядке.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

I

Он потратил на меня год, и я до сих пор чувствую себя виноватой. Потом мы оба считали встречу ошибкой, но тут, несомненно, вмешалась судьба – нас сводило, как бывает только в кино, где в два часа вмещаются судьбы героев. N. был профессором литературы и усматривал особый смысл в том, что впервые мы встретились в парке Царского Села. Я вела

экскурсию, он оказался в моей группе, шел медленно, прихрамывал, и мне приходилось замедлять шаг. На другой день я встретила Н. в редакции молодежного журнала, где его принимали как почетного гостя, и дама из отдела поэзии так хвалила мои стихи, что он смотрел почти с испугом. А еще через пару часов оказались рядом в вагоне трамвая, нас притиснуло друг к другу, и Н. рыцарски оберегал меня от толчков. Я могла толкаться не хуже других, но изображала слабое создание и стоически терпела давку. Н. сказал, что три встречи за два дня не могут быть простой случайностью, и предложил отметить «закономерность случайного». Мы устроились на палубе ресторана-поплавка и почему-то заговорили о структурализме: в то время он захватил умы, студенты-филологи пластали тексты, как Базаров лягушек, и штудировали выпуски «Семиотики», как святцы. Я вспомнила доклад английской славистики «О кресте в романе "Идиот"» – она насчитала их сотни: перекрестки улиц, скрещения аллей и даже завязанные крест-накрест ленты на шляпке Настасьи Филипповны. Н. жмурился на солнце, усмехался и изредка задавал вопросы. Экскурсоводу царскосельского парка была позволительна любая ересь, но она не подобала профессору лучшего московского вуза. Затем мы распрощались на набережной, и вечером он уехал в Москву.

Через неделю пришло письмо – машинописный текст на цветной бумаге: Н. писал, что рад нашей встрече, и просил прислать стихи. Я ответила, и началась странная переписка: он присылал десятки вопросов и просил ответить на каждый; круг наших интересов совпадал, но мнения совпадали редко, и тон его писем становился все строже и нравоучительнее. В мире, где я жила, в кругу непризнанных литераторов, шумных застолий, где читали стихи по кругу, спорили и нередко дрались, не сойдясь в вопросах искусства, не было места нотациям профессора Н., и я отвечала ему все реже. Тогда он сменил тон, в письмах появилось тепло, и в каждом из них он звал меня в Москву – повидаться, поговорить.

Я приехала в Москву в канун Нового года и остановилась у друзей, Нины и Саши. Н. появился у них в первый же вечер, стоял в дверях, отказался зайти, и сказал, что хочет показать мне старую Москву. Мы топтались в крохотной прихожей, он как будто не замечал накрытого в комнате стола и растерянности хозяев, а я чувствовала себя виноватой. И позже все связанное с профессором Н. сопровождало чувством неясной вины – он следовал собственному, придуманному им сюжету и простодушно обижался, когда что-то происходило иначе. Мы сели в машину, долго кружили по городу, он показывал сохранившиеся островки старой Москвы, разнотильностью и разнородностью напоминавшей лоскутное одеяло. Поздним вечером мы оказались на Красной площади. Профессор Н. рас-

сказывал о Смутном времени, об осаде Кремля, в котором засели поляки, но я так замерзла, что понимала его с трудом. Снег на зубцах стен, поросший инеем мавзолеей, цветная сосулька купола Василия Блаженного, милиционер, которого выдуло нам навстречу из подворотни, — я видела только это. На набережной реки ветер выл, как в аэродинамической трубе, и казалось, что не клочья метели, а тени буйных москвичей давних времен кружатся на льду и исчезают в дымящихся полыньях. Домой я вернулась, когда хозяева уже спали, оставив на столе салат и полбутылки водки.

— Ну, что он тебе показывал? — спросили меня утром.

— Красную площадь, мавзолеей, Кремль.

— Понятно, — задумчиво сказал Саня. — А завтра вы поедете на Бородинское поле. Там тоже интересно.

— Особенно ночью, — добавила Нина.

Но на Бородинское поле мы не поехали. На этот раз профессор Н. не зашел в квартиру, ждал меня в машине, спросил, что я хочу повидать и, не получив внятного ответа, предложил пойти в гости.

— И куда мы пойдем?

— К архивному юноше, — улыбнулся Н. — Весьма преуспевающему.

У архивного юноши наверняка было теплее, чем на улице, и я согласилась. Он жил в центре Москвы, в квартире со всеми атрибутами тогдашней моды: книжные стеллажи с альбомами репродукций, расписные прялки, сувенирные лапти и лубочные картинки. Но хозяин этих сокровищ походил не на архивного юношу, а на ковбоя из журнала «Америка»: высокий, широкоплечий, с мужественным лицом и открытой улыбкой. Весь вечер мы просидели на кухне за бутылкой коньяка, и я не заметила, когда разговор перешел в спор. Кажется, когда Н. хвалил новую повесть писателя-«деревенщика». «Деревенская» проза была в такой же моде, как иконы и прялки, и в похвале не было ничего необычного, разве что говорил Н. излишне горячо. Раскрасневшийся хозяин лениво улыбался и напоминал уже не ковбоя, а оплывшего жирком московского барина.

— Не люблю я этой литературы, — сказал он, — деревенщина, татарщина... Простите, не люблю. Что они, собственно говоря, оплакивают? То, что деревне сломали хребет? Верно, сломали, но мало ли они другим поломали хребтов? Ладно пугачевщина, но возьмем революцию, гражданскую войну, антоновщину... А теперь мы вздыхаем: «Бедный народ!» Погодите, эти «деревенщики» еще счет нам предъявят, и опять окажется, что во всем виновата интеллигенция.

Хозяин был человек не тривиальный — в эпоху моды на деревянные ложки и сувенирные лапти такие суждения был нове. Профессор Н. возражал, сначала сдержанно, потом раздраженно и многословно. Спор шел о том, о чем тогда толко-

вали в тысячах кухонь, о прошлом и настоящем России. Архивист признавался в том, в чем многие не решались признать: он презирал не нынешнюю власть, а саму страну и ее народ. А многословие Н. объяснялось его опасением прослыть ретроградом. Он осторожничал не зря, сомнение в принятых в «прогрессивных» кругах мнениях тотчас порождало слухок: чужой, подозрительный, черносотенец, скорее всего стукач. И все же он сорвался: когда архивист в десятый раз повторил «эта страна», профессор Н. резко сказал: «Эта страна называется – Россия».

– Уже не называется, да это и неважно, – отмахнулся архивист. – В *этой* стране во все времена царило бесправие, здесь никогда не ценили людей.

– Постойте, – поморщился Н. – во-первых, что значит «никогда не ценили людей»? Ценили, уверяю вас, и не меньше, чем в любой другой стране. И что значит – во все времена? О каких временах вы говорите: о Киевской Руси, о Московской, об империи? Это разные государственные системы, и в каждой из них существовали правовые отношения. Давайте говорить конкретно...

Они углубились в историю, и, наконец, архивист с улыбкой поднял ладони вверх – «Сдаюсь!» и добавил:

– Вы нас, либералов, извели, как осетров.

– Не преувеличивайте. За вас я спокоен, – усмехнулся профессор Н.

(Этому либеральному осетру привольно жилось в советских водах, а в пору перестройки его породистая спина замелькала на поверхности – он стал популярным публицистом. Но в мутные времена ему не достало юркости, политическая карьера не удалась, и он вернулся в науку. «В *этой стране* никогда не нуждались в ярких, талантливых людях», – сказал он с телеэкрана. Постаревший, разочарованный архивный юноша.)

А тогда в центре Москвы они толковали, как кочевники в глухой степи: есть страна? нет страны? было прошлое? не было прошлого? Провожая нас, хозяин примирительно заметил: «Да что там спорить, Чаадаев за нас все сказал». Н. только рукой махнул, и они добродушно, даже весело распрощались. Это добродушие сбilo меня с толку. Мы сидели в машине, ждали, когда прогреется мотор, и я спросила:

– Неужели он прав?

– Кто?

– Архивист... и Чаадаев.

– Вы что, не понимаете? Не понимаете, какая это мерзость?

Он смотрел с такой яростью, что я осеклась. «Однако! Там осторожничал, а теперь отыгрывается. Боялся, что архивный усомнится в его либерализме». Мы молча ехали по ярко освещенному проспекту, мимо витрин с пирамидами

апельсинов, потом свернули и остановились в каком-то узком переулке.

– Простите, – сказал он, открывая дверцу, – я просто болею после таких разговоров. Посмотрите лучше вокруг. И как может снег падать в этот переулок! Будь прокляты эти дома!

Я увидела подворотню, дверь парадной с разбитым стеклом, темный подъезд, кастрюлю в сетке, вывешенную за окно, и взглянула на Н. с подозрением: «Теперь у него и дома виноваты!». Переулок, действительно, был мрачноватый, с грязными сугробами, коркой серого льда на асфальте, но все же вряд ли заслуживал проклятия. Он поднял воротник и пошел, оглябая ледяные катки, а я поплелась следом.

– Кажется, вы плохо знаете русскую литературу, – не оборачиваясь, сказал профессор Н. – Чехов в рассказе «Припадок» описал это место. Здесь был квартал публичных домов.

Я обиженно молчала, а он остановился у одного из домов и заговорил о роялях, скрипках, лакеях, накрашенных девицах... Я не сразу поняла, что он цитирует Чехова. Профессор Н. говорил медленно, нараспев, голос был непривычно мягким, и за этой декламацией приоткрывался печальный мир, в который не хотелось заглядывать. Я слушала с жалостью, но не к прежним обитательницам «веселого квартала», а к тому, что было вокруг: к обшарпанным стенам домов, тускло освещенным окнам, голой лампочке в коммунальной кухне, женской тени за тюлевой шторой. И с чувством непонятной вины перед профессором Н.

II

Когда я вернулась, Нина с Саней наряжали елку. На ней красовались мандарины, конфеты, стеклянные шары, гирлянды флажков, а на нижней ветке висел кусок колбасы. Мне дали куклу-пупса и поручили сделать из него Деда Мороза. Мои друзья были легкими людьми, пробавлялись случайными заработками, но не бедствовали, бурно ссорились, мирились и считали, что жизнь не заслуживает слишком серьезного отношения. Эта легкость имела обратную сторону – с ними не стоило откровенничать, рассчитывая на участие. Перепады настроения профессора Н., декламация в переулке, долгое рукопожатие при прощании, выжидательный взгляд – все это мне очень не нравилось.

– Вечно я впутываюсь в какое-нибудь свинство, – вздохнула я, укутывая пупса в вату.

– А ты как думала? – откликнулся Саня. – Но ты не одна, мы все впутываемся.

Пупс трагически таращился из ваты, но Нина посыпала ее блестками, перетянула ниткой, подпоясала красной лентой, и получился Дед Мороз.

– А мы, между прочим, из-за тебя не пошли в гости, – продолжал Саня. – В очень хорошие гости. А нас там ждут...

– Саня за водкой сбегал, – добавила Нина.

– Так поехали! – сказала я. – Я готова.

Около полуночи мы оказались в мастерской художника. На стенах висели полотна: клубки цветных линий, синие лики с багровыми губами, полустертая икона, облепленная обрывками газет, – это произведение называлось «Все попрано». Возможно, вначале это были «хорошие гости», но мы опоздали на праздник жизни: хозяин спал на диване, несколько человек дремали за столом, самые стойкие сбились в кружок у окна и о чем-то толковали. Нина ушла в соседнюю комнату к хозяйке, а мы с Саней прислушались к разговору.

– Обрати внимание вон на того, – кивнул он, – был талантливый поэт, а теперь славянофилом заделался!

Саня, как мы все, шагал в левом марше, где слово «славянофил» обозначало агрессивное существо, еще более опасное, чем советская власть. Два крепеньких мужичка у окна перешли на крик:

– Ты соху сделаешь? Не можешь? А я могу! – горячился славянофил.

– Плевать мне на соху, копайся в своем навозе!

– А борону можешь? Ты бороны в жизни не видел! А я их делал!

– Пошел ты со своей бороной! На Западе о ней уже пятьсот лет забыли!

– Так вали на свой Запад! А пока помни, где живешь! – взывал славянофил.

– Вот сволочь, – шепнул Саня. – А был приличный человек, и жена – еврейка.

– Ты, Санечка, спятил, – сказала я, – причем тут жена? Они «Солнцедаром» обожрались. А для чего он соху делал?

– Да у него заказы от музеев. Он столяр-краснодеревщик, лучший в Москве. Очень богатый человек.

Чтение Чехова в грязном переулке, «Все попрано», краснодеревщик с сохой – в этом городе можно сойти с ума.

– Слушай, может, поедem домой? – предложила я. – Ничего интересного здесь не предвидится.

Но я ошиблась. Пока Саня уговаривал Нину ехать домой и дозванивался до такси, хозяин проснулся, выглянул в окно и объявил:

– Все, Санек, ты застрял, вешай трубку. Сейчас чучело привезут.

Он зевнул и вернулся на диван, а гости, услышав про чучело, стали подтягиваться к столу. Появились новые бутылки.

– Финиш, теперь мы здесь до утра, – сказал Саня. – Ты садись к окну, только задерни занавеску, чтоб снизу не видно было, и жди. Обещаю редкое зрелище. А я пойду к бабам.

– Заодно потуши здесь свет, – отозвался хозяин.

Я устроилась на подоконнике и сверху видела весь переулочек, темные окна в доме напротив и крышу старинного особняка. По краям переулка стояли крытые грузовики, вестибюль особняка был освещен, между шторами окон второго этажа пробились яркие полосы света. Прибавилось огней и внизу, и дом засиял, как елочный фонарик. Из кузовов машин выскочили люди в белых тулупах и встали в цепь, перегородив переулок. Я видела такое в кино про войну, и мелькнула дикая мысль – уж не за нами ли? Комната выглядела зловеще: хозяин лежал на диване, странно запрокинув голову, темные фигуры копошились за столом, шаткая тень споткнулась о хозяйские ноги и выругалась. Из соседней комнаты доносился смех, пение под гитару, в уборной ревела вода. А внизу люди в искрящихся инеем полушубках застыли в цепи и могли бы сойти за Дедов Морозов, если бы не черные палки автоматов у них в руках. Славянофил принес к подоконнику диванный валик, расстелил пальто и лег у батареи.

– Не помешаю? – спросил он снизу. – Кстати, меня зовут Борис. Ну, что там видно?

– Там автоматчики. А на втором этаже очень яркий свет.

– Хирургическая лампа, – сказал он. – Сейчас его привезут.

– Кого?

– Ленина.

Я едва удержалась на подоконнике. «Ну, допился со своей сохой!»

– Здесь у них контора по сохранению праха, – добавил он.

– И пуха, – отозвался из темноты хозяин.

Между тем цепь автоматчиков расступилась, к дверям особняка подъехал автомобиль, оттуда внесли в дом длинный ящик.

– Вы когда-нибудь были в мавзолее? – спросил Борис.

– В детстве. Когда там были две мумии. Странно, я об этом забыла.

– Не мумии, а чучела, – поправил он. – Мумии не выставляли на обозрение, а чучела как раз для этого и делают.

По его словам, Ленина привозили сюда на реставрацию, подновляли грим, одежду, обрабатывали кожу закрепителями.

– Они его, наверно, уже до лайки отделали, – заметил хозяин.

– Поделом вору и мука, – отозвался Борис.

– А мне-то за что? Как подумаю про все это, кусок в горло не лезет. То они Хо Ши Мина набивают, то еще кого-нибудь.

– Не волнуйся, старик, тебя не набьют.

(Мне пять лет, мы едем к Красной площади и встаем в очередь. Отец говорит, что я увижу дедушку Ленина, люди в очереди добродушны и настроены празднично. Со мной разговаривают, дарят шоколадку, и поначалу время идет неза-

метно. Ближе к Красной площади все умолкают, очередь почти не движется, я хнычу, и люди, которые недавно были добры, раздраженно отводят взгляд. Отец больно сжимает мою руку, и к дверям Мавзолея я подхожу в слезах. Мы поднимаемся по ступеням, он приподнимает меня над барьером, и я вижу маленьких мертвецов с раскрашенными лицами – один в костюме, другой в мундире – похожих на мертвых кузнециков. Они ярко освещены, и от этого света у меня опять льются слезы. Потом отец покупает в ГУМе мороженое, я помню, что оно было с изюмом, а остальное забылось.)

Комната за моей спиной остывала, как яма: неподвижные люди, красные точки сигарет, грязная посуда – все несравненно неряшливее стерильного послесмертия сушеного кузнечика. Мы – темная начинка московского пирога, а внизу, под охраной автоматчиков, под светом хирургической лампы, подновляют его глянцевую корку.

Оцепление распалось, солдаты переминались у машин, им принесли лопаты, и преторианцы разбрелись по переулку. Они скребли тротуары, ровняли сугробы и бродили по мостовой, волоча за собой лопаты. Мне казалось, что я слышу этот шуршащий звук, от батареи веяло теплом, и я чуть не заснула на подоконнике. Потом пошла в соседнюю комнату и до рассвета слушала вялую трепотню и нестройное пение. Утром переулочек опять запорошило снегом, в особняке было темно, и единственным доказательством, что мне ничего не примерещилось, была воткнутая в сугроб лопата.

III

Дома мы отключили телефон и легли спать. Я проснулась, когда за окнами было темно. Саня и Нина сидели в кухне – она нанизывала бисер на нитку, Саня смотрел телевизор.

– Что же вы меня не разбудили?

– А зачем? Перед Новым Годом надо выспаться.

– Никто не звонил?

– Звонили, напоминали про маскарад.

Оказывается, вчера нас пригласили на маскарад в мастерскую, а я об этом забыла. Зато хорошо помнила, что обещала встретить Новый Год с профессором N., так что маскарад отменялся.

– Жалко. А мы тебе костюм придумали, – сказала Нина.

N. говорил, что к нему придут старые друзья, супружеская пара, и перспектива отпраздновать Новый Год в этой компании не радовала.

– Решай, – Нина, не поднимая глаз, улыбнулась бисерной россыпи.

– Что ты к ней пристаешь? – сказал Саня. – Она свободный человек и сама сделает выбор.

И я сделала выбор: позвонила профессору N., сказала, что друзья обидятся, если я не пойду с ними на праздник, а к нему могу приехать завтра утром. Я говорила и чувствовала угрызения совести, пока не услышала сухой ответ:

– Хорошо, я все понял. Я заеду за вами в половине третьего. Надеюсь, вы освободитесь к этому времени?

– Да, – ответила я упавшим голосом. – Но ведь у вас гости?

– Они придут ненадолго. Диктуйте адрес.

Я укоряла себя за малодушие, негодовала на N., решавшего все по-своему, но до Нового Года оставалось совсем немного времени, и унывать было некогда.

Нина смастерила себе чудесную бисерную сетку на волосы, Саня выбрал пончо и ее широкополую шляпу, а меня нарядили цыганкой – в черной блузке с огромными макарами и длинной ситцевой юбке. В сумке лежал полумесяц на петельке, вырезанный из плотной фольги.

За день мастерская преобразилась – в ней было чисто, тепло, с абажура свисали нити «серебряного дождя», а посередине стоял накрытый стол. Нас встретил хозяин в полосатом халате и тюбетейке. Хозяйка в солдатской гимнастерке и колготках разложила коробки с гримом и раскрашивала лица гостей. Я повесила на ухо полумесяц, она намалевала мне черные брови с изломом и подвела глаза.

– Погадай, красавица, – попросил молодец в косоворотке, картузе и хромовых сапогах. Я узнала Бориса-краснодеревщика.

– Сперва позолоти ручку, – сказала я, и он дал мне железный рубль.

– Вижу, человек ты дельный, сохи, бороны мастеришь, от этого тебе большой прибыток, но уж больно ты горяч. Уйми сердце, касатик, и будет тебе радость, и полюбит тебя червонная краля.

– Уж не ты ли эта червонная краля?

– Нет, касатик, не я, ищи ближе.

– И до Ленинграда недалеко, – улыбнулся он.

– Нет, золотой, ищи где поближе.

Он внял совету и за столом принялся обхаживать соседку, худобой и платьем с рядом пуговиц вдоль хребта напоминавшую щуку. Я слышала, как она сказала ему: «Я девушка русской литературы, меня волнуют только писатели», после чего он сник и стал налегать на водку. Куранты в радиоприемнике пробили полночь, и мы вошли в Новый год под крики «ура» и звон стаканов. В таких застольях еда всегда кончается раньше, чем водка, и скоро за столом загомонили, человек в обезьяньей маске громко выкрикивал стихи, а его перебивали призывами выпить за искусство. Поэт оскорбился, попытался затеять драку, но его успокоили. Саня мрачно наблюдал, как Нина кокетничала с курчавым брюнетом во фраке, и быстро напивался. Поставили пластинку, хозяйка и краснодеревщик

исполнили рабоче-крестьянскую пляску, она высоко вскидывала ноги, а он скакал вокруг на полусогнутых, изображая присядку. Потом погасили верхний свет, и начались танцы. Под сладкую музыку оркестра Поля Мориа девушка русской литературы прильнула к поэту в обезьяньей маске, Нина танцевала с фрачником, а я с Саней, наступавшим мне на край юбки и на ноги. Я вернулась к столу и разговорилась с хозяином. Он оказался занятым, остроумным собеседником, и под мурлыканье музыки я все реже поглядывала на часы. Спыхватилось, когда было уже без двадцати три.

– Пора уходить, меня ждут внизу. Меня Саня проводит.

Но Саня спал, а Нина рассеянно спросила: «Уходишь? Позвони утром», – и вновь прильнула к своему фрачнику. Хозяин вышел со мной на улицу. У двери стоял замерзший Н. Он хмуро поздоровался с чернобородым бородачом в узбекском халате, потом оглядел меня. Влопыхах я забыла стереть брови и снять серьгу, а ситцевая юбка поверх зимних сапог выглядела дико.

– Я вручаю вам прекрасную даму, – с полупоклоном сказал художник, прикоснулся губами к моей щеке и скрылся в парадной. Н. быстро зашагал вперед, и я с острой жалостью вспоминаю, как он шел, вздернув плечи и сильнее обычного припадая на ногу. Но тогда чувствовала лишь досаду – кому нужен этот приезд в середине ночи? Он угадал вопрос и сказал:

– Не знаю, зачем я приехал. Наверно, потому, что завтра вы возвращаетесь в Ленинград, а мы виделись совсем мало. Здесь у вас своя жизнь, в которой мне, похоже, нет места... Кто вас провожал?

– Художник, хозяин мастерской.

– Хороший художник?

– Интересный, – неуверенно сказала я, вспомнив «Все по-рано».

– А этот ваш Саня? Вы говорили, он хороший поэт.

– Хороший.

– Прочтите что-нибудь, что помните.

Я вспомнила прославившее Саню двестише: «Я ненавижу все, что вижу, и не умею перестать».

– Лихо, – усмехнулся Н. – Станные у вас друзья... какие-то слишком легкие.

– Они не легкие, а свободные, – поправила я.

– Возможно. Но мне кажется, вы от них отличаетесь. Или я ошибаюсь?

(Он не ошибался, но это выяснилось позже, во времена «перестройки». Тогда Саня забросил стихи и стал писать хлесткие статьи о прогрессивных демократах и злобных «патриотах». Потом с головой ушел в политику и даже недолгое время возглавлял какое-то демократическое движение. Теперь у него не было ни минуты свободного времени, и когда мы встретились в Москве, он предложил пойти в его штаб и пого-

ворить по дороге. Санин штаб занимал половину этажа в бывшем советском учреждении; на других этажах находились другие штабы. При входе в штаб сидел охранник, а по коридору, по вытертой ковровой дорожке, расхаживал господин средних лет с российским флагом, накрученным на древко. Он нес его на плече, как удочку, шевелил губами и энергично взмахивал свободной рукой.

– Председатель молодежной секции, – отрывисто пояснил Саня, – сейчас идет на студенческий митинг.

В кабинете Саню ждали несколько человек. У всех был мрачно-озабоченный вид, перед каждым лежала кипа бумаг с планом переустройства России. Саня сел во главе стола, и лицо его стало таким же озабоченно-мрачным. На стене, обитой деревянными рейками, отчего кабинет напоминал сауну, висела фотография – Саня с поджатыми губами и мудрым прищуром глаз. Я вспомнила ящик, который выгружали из машины, таинственный особняк и шуршание снега под лопатами в давний Новый год.)

IV

– Мы заедем в один дом, я хочу поздравить хозяина с Новым годом, – сказал N.

Он назвал имя, от которого захватило дух – этот человек был легендой в филологическом мире. Дверь в квартиру открыла медсестра, мы сняли пальто, и N. знаком велел мне остаться в прихожей. Я разглядывала в зеркале свой наряд и прислушивалась к голосам: N. говорил тихо, а у хозяина был высокий старческий голос. Вдруг он спросил:

– А кого вы оставили в передней?

– Это моя знакомая, поэтесса из Ленинграда, – ответил N.

– Так что же она там стоит? Зовите ее.

N. выглянул в прихожую и сухо сказал: «Зайдите».

Я остановилась в дверях комнаты.

– Ближе, ближе, – приподнявшись, сказал старик.

Я подошла ближе, он с любопытством оглядел меня, опустил голову на подушку и пробормотал:

– Цыганка... цыганочка.

– Она была на маскараде, – словно оправдываясь, отозвался N.

Старик улыбнулся. Наверное, его, автора книги о карнавальном действе, позабавило явление ряженной в новогоднюю ночь.

– Сегодня утомительный день... Вам надо принять лекарство и постараться заснуть, – мягко сказала медсестра.

Мы попрощались и вышли в зимнюю ночь.

Профессор N. жил в районе новостроек, в малогабаритной квартире, где была одна, но существенная странность: в при-

хожей, упираясь в потолок, стояло деревянное распятие. Я протиснулась к вешалке, стараясь не коснуться почерневших узловатых коленей. N. помог мне повесить пальто, прошел в комнату и открыл дверь в смежную – «Располагайтесь». Холщевые занавески на окне, безделушки на книжных полках, горшок с фиалками на подоконнике – в комнатке был милый стародевический уют, и мой маскарадный наряд выглядел здесь нелепо.

– Давайте все же отпразднуем Новый год, – заглянул в дверь N. – Я сожалею, но шампанского не осталось.

Мы сидели в кухне, пили вишневый ликер и закусывали приторно-сладким тортом.

Я все время поглядывала в сторону прихожей. Я знала дома, где иконы были сложены под кроватью, а антресоли забиты церковными книгами, но распятия в прихожей квартиры мне видеть не приходилось. Я спросила N., как оно у него оказалось, и он объяснил, что это подарок известного режиссера – тот после съемок в заброшенной церкви раздал друзьям все, что в ней еще оставалось. Церковь вскоре сгорела, так что, в конечном счете, он поступил дальновидно и правильно. Профессору N. досталось распятие, он собирался отдать его в московскую церковь, но что-то не сладились, и приходится хранить его дома. У меня черная фигура в прихожей вызывала безотчетный страх.

– А что оставалось делать? Вынести его на свалку? – спросил он.

– Может быть, лучше было оставить его на месте, – пробормотала я.

И тогда он, противореча похвале дальновидному режиссеру, гневно заговорил о грабеже церквей.

– И все это творят не уголовники, а интеллигентные люди. Приезжает в деревню такой милый мальчик, останавливается у старушки, а потом исчезает, прихватив из избы иконы.

– Но интеллигентные мальчики, по крайней мере, их сохраняют, – неуверенно возразила я.

– Или сбудут на черном рынке. Вы слышали о «ценителях», которые смывают краски, зная, что новые образа часто писали поверх старых? Они хуже любых варваров!

– Конечно, хуже, – согласилась я.

Он не заметил, что мы поменялись ролями: он обличал грабителей, я вяло возражала, потому что дело было не в церквях и иконах. Он вернулся к роли наставника и добивался признания, подчинения, согласия, к которому привык, а я не походила на восторженную студентку.

– Хотите историю про строительство бани? – примирительно сказала я. – Не знаю, сколько в ней правды, мне рассказали ее в Вологде.

После войны в Вологде решили построить новую баню, а на кирпич разобрать один из окрестных соборов. Навезли ту-

да дров, собрали иконостасы со всей округи (старое дерево жарко горит) и жгли несколько дней – ведь старый строительный раствор разрушается только при сильном жаре. Потом разобрали стены на кирпичи, погрузили на баржу, а баржа по пути затонула. В итоге не стало у них ни иконостасов, ни собора, ни бани. И баржи, конечно...

– Что за ерунда! – в сердцах воскликнул N. – К чему вы это рассказали?

– Да просто занятная история.

– Занятная... – протянул он. – В общем, «я ненавижу все, что вижу», так?

Я почувствовала страшную усталость, бессмысленный разговор отнял остаток сил.

– Да вы засыпаете, – сказал N. – Я тоже, честно говоря, устал. Спокойной ночи.

V

Я проснулась и долго глядела на мутное небо за холщевыми занавесками. Профессор N. сидел за письменным столом.

– С добрым утром, – обернулся он, – а я собирался вас будить. Пора завтракать.

Поезд в Ленинград уходил поздним вечером, а до этого надо было взять у Нины с Саней сумку с моей одеждой. Я упрямо набирала номер их телефона, но они, вероятно, где-то загостились. N. увидел в записной книжке фотографию моего сына и растроганно сказал:

– Какое славное лицо... Да не переживайте о сумке, я пришлю ее вам с проводником ленинградского поезда.

Возвращение домой в цыганском наряде достойно завершало поездку, но пришлось смириться. Я устроилась на диване с книгой, N. зачитывал курьезные суждения из студенческих работ, а я рассказала о доме, где реставрировали Ленина – его наверняка выделали до лайки. «Как вы все-таки легкомысленны и циничны», – отозвался он. Люди его поколения сохраняли почтение к Ленину и мечтали о социализме с человеческим лицом, а мы, легкомысленные и циничные, представляли это лицо по замшелым физиономиям членов Политбюро.

День выдался тихим, и казалось, что оставшиеся в Москве часы пройдут спокойно. Но едва мы сели обедать, в дверь позвонили. N. открыл дверь и отступил в сторону: «Это к вам». На пороге стоял опухший, растрепанный Саня. Он дико взглянул на распятие, накинул шапку на перекладину креста, сбросил пальто на пол и шагнул в кухню:

– Я тебя искал, потом вспомнил, что ты здесь... Нинка, сука, сбежала с этим патлатым! У вас есть что-нибудь выпить?

Глаза у Сани слезились, губы тряслись, он раскачивался, как от боли. N. достал бутылку «Сливовицы», Саня налил полный стакан и выпил залпом. При виде такого варварства хозяина передернуло.

– Я в этой гребаной мастерской заснул, проснулся, а ее нет. Сказали, она слиняла с фрачником. Я к нему, там дверь закрыта, и дома ее нет. Пол-Москвы обежал, всюду спрашивал, никто их не видел...

Он опять потянулся к бутылке, но N. молча убрал ее со стола. На меня напал какой-то столбняк, а N. брезгливо смотрел на Саню – тот был абсолютно пьян.

– Извините, ваше благородие, я вам тут натоптал, – он жалко улыбнулся.

Вокруг Саниных ботинок расплзались грязные лужи.

– Хотите борща? – спросил N.

– Не хочу, я есть не могу... Нинка, сука... Да, тебе же к нам надо, у нас твои вещи.

– Вы пока отдохните, а мы подумаем, как быть, – строго сказал хозяин.

Мы с N. вышли в комнату.

– Простите, – повторяла я, – простите... Я дала им ваш адрес на всякий случай.

– Все понятно, – перебил N. – Зато теперь вы сможете взять у них вещи.

– Да, конечно, сейчас мы уйдем.

«Вы не только циничные и легкомысленные, но и распущенные», – говорил его взгляд.

– Вам его не довезти, сейчас автобуса не дожدهшься. Вообще-то отсюда до их дома недалеко, если идти через поле. С машиной возиться долго, быстрее дойти пешком. Я вас провожу.

Очевидно, ему не хотелось осквернять свою новенькую машину присутствием пьяного Сани. Мы вернулись в кухню, растолкали обмякшего страдальца, и N. изложил наш план. Тот, вроде, ничего не понимал и не видел, но в прихожей спросил:

– А это у вас что?

– Иисус Христос, – сухо ответил N.

– А зачем?

Я нахлобучила на Саню шапку, подала пальто и поспешно вытолкнула за дверь.

За домом N. начинался пустырь, на дальнем краю которого слабо виднелись огни. Поначалу мы шли легко, потом преодолевали глубокие заснеженные канавы, взбирались на холмы, а огни на горизонте пропали. В темноте Саня то и дело падал, я поднимала его, потом N. взял его под руку и потащил за собой. Теперь они падали вместе, попластунски вползали на холм с поваленной голубятней – хромающий N. в

обнимку с Саней были как с батального полотна: старый солдат выносит из-под огня новобранца. Я тащилась рядом по колено в снегу, спотыкаясь, падая, а впереди были только сугробы и обледенелые скаты холмов. Мы шли бесконечно долго и вдруг, перевалив через крутой снежный хребет, скатились на асфальт. N. был прав – мы стояли на улице рядом с Саниным домом, и теперь можно было подвести итог бредового похода: N. разбил часы, Саня потерял шапку, а я промокла до пояса.

Дверь открыла Нина – строгая, бледная, гневная. Она тихо спросила у Сани: «Ну, что, дорогой, сделал все глупости, ничего не забыл?» – он слабо хрюкнул и шмыгнул в комнату. Потом она занялась нами: пальто N. сохло на электрической батарее, я переоделась, Нина поила нас крепким чаем и громко рассказывала, поглядывая туда, где затаился Саня: после моего ухода они продолжили праздник в соседней мастерской, но Саня спал, и его не стали будить.

С утра в мастерскую, где была Нина, стали звонить знакомые с известием, что к ним прибежал Саня, кричал, что она его бросила и сбежала с патлатым подонком. Мстительная Нина просидела в гостях до вечера и только недавно вернулась домой.

Униженный Саня не вышел прощаться, когда мы с N. собрались на вокзал.

– Занятные у вас друзья, что он, что она, – сказал N. в такси. – Абсолютно непостижимая безответственность.

– Ничего, они уже наверняка помирились.

– Он обежал пол-Москвы, наговорил гадостей о жене – и уже помирились!

Как он старомоден, подумала я. Как он прекрасно старомоден: безропотно тащил на себе пьяного, хотя мог просто выставить нас за дверь, а теперь шокирован его отношениями с женой.

С вокзала я позвонила в Ленинград, услышала родные голоса, и все остальное сразу отодвинулось. N. стоял у телефонной будки, привалившись к стене, в расстегнутом пальто и держал руку у сердца.

– Что с вами? Вам плохо?

– У вас было такое счастливое лицо, когда вы говорили. Я не знал, что у вас может быть такое счастливое лицо, – с трудом выговорил он.

Мы сидели на скамейке, ему дали валидол, он молчал и сосредоточенно сосал таблетку. Потом заверил, что с ним все в порядке, но остался сидеть, когда я пошла к перрону. Я обернулась, и он с улыбкой помахал рукой. Вскоре за окном натопленного вагона поплыли освещенные улицы и дома, потом бесконечные заснеженные поля, и невнятица новогодних дней угасла и растворилась в их белизне.

VI

Вскоре пришли письма – от Сани, который вскользь извинялся за «глупую историю», сообщал, что зашел к профессору N., и они славно потолковали, с припиской Нины «Санька – дурак», и от N. – на серебристой бумаге с затейливыми виньетками. Он тоже упомянул о разговоре с Саней – наш нигилизм ему понятен, но думается, что это отказ от жизни и путь в тупик; ему ясно, чему мы говорим «нет», но неясно, чему мы говорим «да». Санин ответ: свободе и демократии, отказу от гнусной идеологии, требованию, чтобы опубликовали «Архипелаг ГУЛАГ» и всех нас тоже – показался ему инфантильным. Мы жалуемся, что нас не печатают, но ничего не пытаемся изменить. Напоследок он задал мне странный вопрос: как я отношусь к героизму? Смысл этого вопроса обнаружился в следующем письме: N. предложил мне написать статью о подвиге семилетней ленинградской девочки. В деревне, где она жила летом, оборвался провод высоковольтной линии, на него наступил ребенок и упал замертво. Девочка бросилась ему на помощь, и ее тоже убило током. N. советовал встретиться с ее родителями, подругами, расспросить о ней и написать статью. Она будет опубликована в «Комсомольской правде», он уже говорил с редактором. Очевидно, у каждого поколения свое представление о героизме, и то, что участник войны N. считал подвигом: она погибла, пытаясь спасти другого – мне казалось трагической случайностью. Я представила, как приду к убитым горем родителям с разговорами о подвиге, и наотрез отказалась. Он обиделся, бумага его посланий становилась все темнее; наконец, пришло письмо, напечатанное черным по коричневому, я разобрала его с трудом и не ответила. Будем считать, что эпистолярный роман закончен.

Но профессор N. продолжил сольную партию: весной общал о смерти старого филолога, которого мы навестили в новогоднюю ночь, а летом о том, что узнал о выходе моей книги в Париже и ему тревожно за меня. А через несколько дней позвонил, сказал, что завтра будет в Ленинграде и нам необходимо встретиться. Я издали увидела высокую фигуру у Дома книги, он стоял, опираясь на трость, и растерянно озибался.

– Может быть, пойдём на набережную? – предложила я.

– Нет, лучше в какое-нибудь тихое место, где нам не помешают.

Мы шли проходными дворами, он оглядывался и, наконец, остановился в тупике двора-колодца. Место было скверное: помойные баки в подворотне, клочок земли с чахлой травой и облупленная скамейка. Он тяжело опустился на нее и спросил:

– Ну, как вы живете? Мы полгода не виделись, вы не отвечали на письма, так что рассказывайте.

– Да все, как обычно. Вожу экскурсии в Петропавловской крепости, хожу по бульжникам, ноги болят, голос садится, а в остальном все по-прежнему.

– А как ваш сын? Так и не ходит в детский сад?

Я начала рассказывать о неудачном опыте с детским садом, он рассеянно слушал и вдруг перебил:

– Что вы с собой сделали?

– А что я сделала?

– Вы попали в канализацию эмиграции, вас издало эмигрантское издательство. Зачем вы с ними связались?

– Ни с кем я не связывалась – обиделась я, – в книге сказано «издано без ведома и разрешения автора», и это правда. И меня, слава Богу, не трогают.

– Пока не трогают, – с нажимом сказал он. – Я приехал поговорить как раз об этом. Выслушайте меня спокойно и постарайтесь понять. Вы ввязались в очень опасное дело, не подумав о своей семье, о сыне. Все это очень серьезно, я не исключаю, что вас могут посадить. За примерами ходить недалеко, тот же Бродский...

– Бродского судили не за связь с эмигрантами, а за тунеядство.

– Ладно, оставим его. Повторяю, вас могут посадить, и с кем останется ваш сын?

– Как с кем? С отцом, конечно.

– Вашего мужа тоже могут посадить.

Эта мысль так меня изумила, что я дослушала его молча.

– Ваша судьба мне не безразлична, думаю, вы об этом знаете. Вы также знаете, как я живу, я одинок, обеспечен, у меня достаточно свободного времени. Поэтому я предлагаю – если вас посадят, отдайте мне сына. Я сделаю для него все возможное, а потом, когда вы вернетесь, решим, как быть дальше.

Он говорил, не глядя на меня, спокойно и твердо, как заранее отрепетированную речь. Самым оскорбительным было его спокойствие – он опять все за меня решил.

– Когда я вернусь? – в ярости повторила я. – Так вот, если посадят меня, и мужа, и всю родню, я лучше отдам его в детский дом, чем вам!

Он смотрел на меня с упреком, обидой, ужасом – такой неблагодарности он не ожидал. Я пошла к подворотне, оставив понурого Н. на скамейке. Больше мы не виделись, но через год он известил меня, что женился и теперь у него есть сын. Письмо было на желтой бумаге – желтый, как известно, цвет измены. Потом я слышала, что он вспоминает меня без обиды, и рад, что у меня все выправилось. И я порадовалась, что у него все выправилось, а эта история осталась лишь виньеткой на морозном стекле судьбы.

Лорина Дымова
НЯНЯ НА ПОЛЯНЕ

Нравы современной жизни

1.

Сидела няня на поляне
С младенцем крошечным в руке.
Мечтала няня о Толяне,
Что проживал невдалеке.

И он сидел с мечтой о няне,
И был он, прямо скажем, прав!
...Но как оставить на поляне
Младенца средь цветов и трав?

Толян глядел мрачнее волка,
С ужасным пламенем в крови...
Так помешало чувство долга
Большой возвышенной любви!

2.

Разлегся Ваня на диване
И сразу принял спящий вид.
Он видит сон: поляна, няня,
А рядом кто-то с ней стоит.

Вгляделся Ваня в ту поляну,
Пытаясь разгадать секрет,
И видит контуры Толяна,
Его знакомый силуэт.

Он понял нянино коварство –
Кого он вздумал полюбить!
Он понял: лучшее лекарство
Скорее няню позабыть.

Зачем любить такую цацу?
Страдать о ней какой резон?
И он решил не просыпаться,
А продолжать здоровый сон.

3.

Присела Лена на полено:
Чего-то Вани долго нет.
Любовь – она страшнее плена
И слаще яблока ранет.

А Ваня – он настолько нежный,
Что можно ждать его хоть год.
Однако ей нужна надежда,
Что он к другой не забредет.

Ах, где ты, Ваня, милый Ваня?
Когда ты явишься ко мне?
А Ваня дрыхнет на диване
С коварной нянею во сне.

4.

Сидела тетя на работе,
Не в силах взяться за дела.
Ошибки делала в отчете,
Хотя ударницей была.

Ее племянница Елена
Уже наверно десять дней
Была бледна, неоткровенна,
И тетя думала о ней.

С ней, видно, что-то не в порядке:
Вчера пересолила щи.
А с Ваньки, ясно, взятки гладки,
Исчезнет – и ищи-свищи.

Мужчины слишком вероломны,
Но женщин все же к ним влечет.
И был в опасности огромной
Рабочий годовой отчет.

5.

А тетин начальник по имени Петя
Сидел, пригорюнясь, в своем кабинете.
Сидел в кабинете, жевал бутерброд
И думал о том, что взбесился народ.

Вот тетя, к примеру, отчет запорола,
А сын за полтинник загнал радиолу,

Людмила уехала в отпуск одна,
И шляется где-то жена допоздна.

Нет в жизни удачи, нет счастья на свете
Так думал начальник по имени Петя.

6.

Жена начальника по имени Светлана
Вообще не знала ни Ивана, ни Толяна.
Она дружила с крупным бизнесменом,
Не склонным к авантюрам и изменам.
Хоть изменял жене он – но нечасто.
Изменит раз-другой, на этом баста!
Светлана же хотела с бизнесменом
Дружить упорно, долго, неизменно.
Ей не хотелось просто «трали-вали».
А потому они конфликтовали.
И бросил из-за этого изъяна
Тот бизнесмен ту глупую Светлану.

7.

Бизнесмена звали Гена,
Он работал вдохновенно,
Но под вечер прогуляться
Шел всегда под сень акаций.

Как-то раз увидел Гена
Под акацией полено,
На котором то и дело
Лена вечером сидела.

В этот день довольно рано
Вышла Лена ждать Ивана,
Чтоб не пропустить Ивана,
Когда слезет он с дивана.

И увидел этот Гена
Ожидющую Лену –
Как сидит она в печали
С беззащитными плечами.

И невидимая искра
Между ними пробежала,

Разрушительней, чем выстрел,
И опаснее кинжала.

И теперь так сладко Лене
Ждать, но вовсе не Ивана.
И теперь известно Гене,
Где находится нирвана.

8.

Намылилась Людмила
Поехать на курорт.
На радостях купила
Своим подругам торт.

Давно начальник Петя
Людмиле был не мил:
Пристанет в кабинете,
А сам как крокодил!

Все время рассуждает,
И нету перспектив.
К тому же осуждает
Людмилу коллектив.

Ну ладно бы машина,
Ну ладно бы оклад!
Поскольку он мужчина,
То значит, виноват.

И потому красotka
Уехала одна.
Ему ж осталась водка,
Будильник и жена.

9.

Сидели Гоги и Людмила
В приморском ресторане.
По небу плавали светила,
Горланили цыгане.

– Чего захочешь, всё получишь, –
Шептал ей Гоги нежно, –
Вагон хурмы, от «Волги» ключик,
Ну и любовь, конечно.

О, если б знала та Людмила
В дурмане ресторана,
Что Гоги всё вокруг немило
Из-за сердечной раны.

Его любимая Фелица,
Которой нет желанней,
Весной уехала в столицу,
Чтоб там работать няней.

– Не верь ему, – шептали звезды, –
Не верь ему, Людмила!
Но было поздно, слишком поздно,
Она уже любила.

10.

Сидела няня на поляне,
У замечательной сосны,
И размышляла о Толяне,
И были мысли те грустны.

Любовь прошла – куда деваться! –
Хоть разрывается душа.
Как просто разочароваться
В том, кто не стоит ни шиша.

Толян – обычный алкоголик
И обожает алкоголь.
Он не джигит, он сущий кролик,
Он просто настоящий ноль.

Вот кто джигит – так это Гоги:
Горящий взгляд, геройский дух!
Конечно, Гоги любит многих,
Но няня тоже не лопух.

Довольно перелетной птицей
Летать, воспитывать детей.
Решила няня возвратиться
И позабыть игру страстей.

Прощай, столица и поляна!
Что наша жизнь?
Сплошной обман!
И няня побрела к Толяну,
Чтоб он купил ей чемодан.

Игорь Губерман

*ГЛАВЫ ИЗ КНИЖИ «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»**

КОРОТКОЕ НАЧАЛО

У меня есть два одинаково заманчивых варианта начала, и я мучительно колеблюсь, какой из них предпочесть. Первый из них наверняка одобрил бы Чехов:

Проезжая по России, мне попала в рот вульгарная инфекция.

Вариант второй пахнет детективом и имеет аромат интриги:

Уже семь дней во рту у меня не было ни капли.

Так как начало это — чисто дневниковое, а я как раз собрался имитировать дневник, то выбрал вариант второй. Ничуть не отвергая первый. Итак.

Уже семь дней во рту у меня не было ни капли. Речь идёт об алкоголе, разумеется, с водой у меня было всё в порядке. Но выпивка была строжайше мне запрещена, я принимал антибиотики и от надежды, что они помогут, стойко переносил мучения целодневной трезвости. Дело в том, что, проезжая по России, мне попала в рот вульгарная инфекция. В городе Ижевске я почувствовал первую, ещё терпимую боль во рту и попытался по привычке отпугнуть её куриным бульоном. Это ведь средство универсально целебное, еврей рифмуется с курицей ничуть не хуже, чем со скрипкой. Но не помогло. В Перми боль стала невыносимой. Все ткани рта пылали этой болью, ночью я не спал ни минуты, хотя съел горсть каких-то болеутоляющих таблеток, погрузивших меня в полубоморочную отключку. Утром был отыскан некий специальный врач, состоявший при опере — я даже не знал, что существуют такие узкие специалисты. Он-то мне и сообщил, что это некая вульгарная инфекция, с которой надо бороться долго и вдумчиво, а голосовые связки он поддержит мне какой-то травяной блокадой, и выступать я вечером смогу. И голос у меня действительно возник, а про выражение лица я два часа старался просто не думать. Думал я про Муция Сцеволу и про несравненную выгоду своей ситуации — и гонорар я получал, и ещё мог на исцеление надеяться.

В Москве я сразу разыскал большую стоматологическую клинику. Кто-то вбухал много денег в роскошное новёшенькое оборудование, на туфли пациента надевался пластиковый пакет, секретарши работали на компьютерах и улыбались, вас увидев. Первое посещение стоило довольно дорого, поэтому

* Полностью книга Игоря Губермана «Вечерний звон» выйдет в «Библиотеке Иерусалимского Журнала».

там было пусто. Усадив меня в удобнейшее кресло и слегка немедля опрокинув, чтобы сам не вылез, три стосковавшихся по работе врача окружили его, глядя мне в рот, как золотоискатели – в промывочный лоток.

– Пять передних нижних надо вырвать сразу, – с нежностью сказала моложавая блондинка сильно средних лет.

– Мы вам вживим в десну полоску стали, – пояснила с той же нежностью блондинка помоложе, – а на неё навинтим новенькие зубики.

– А я бы перед тем, как вырвать, ультразвуком их почистила, – мечтательно сказала первая. Но засмеяться я не мог. Блондинка помоложе улыбнулась. И коллегиально, и конфузливо.

– Сперва надо разрезать очаг воспаления, – сказал худой мужчина в толстом свитере, бестактно оборвав мечты и звуки. – Идёмте в мой кабинет.

Неловко уползая с комфортабельного полуложа, я благодарственно и виновато улыбнулся двум разочарованным коллегам. Моложавая и помоложе смотрели мне вслед, не оставляя надежды. Как две лисы – на упорхнувшую птичку.

Я уселся в кресло, стараясь не смотреть в сторону шкафчика с аккуратно разложенными пыточными инструментами. Хирург неторопливо надевал халат. Бедняга, он уже уверен был, что я не ускользну.

– Доктор, – произнёс я вкрадчиво и проникновенно, – я себя пока что резать не дам. Попробуйте антибиотики. А если не помогут, то я завтра к вам приду и сдамся.

– Но завтра я не работаю, – растерянно возразил молодой энтузиаст. Меня восхитила его римская прямота, но улыбаться было очень больно.

– Потерплю до послезавтра, – согласился я. – Какие-нибудь дайте мне антибиотики покруче.

Температура накануне у меня была – тридцать девять. А уже назавтра – тридцать восемь. И таблетки, утоляющие боль, немедля стали помогать. Я знал, что страх перед хирургическими инструментами весьма целебен моей трусливой натуре, но что настолько – не предполагал. Через неделю всё прошло. Осталась только лёгкая неловкость перед юным эскулапом, понапрасну меня ждавшим с острым скальпелем в руках, и восхитительная жажда выпить.

После такого перерыва нету ничего прекраснее холодной водки, а плоть солёного груздя повергла меня в острое блаженство. Я аж засмеялся от нахлынувшего чувства возвращённой жизни. И немедля вспомнил чью-то замечательную мысль о том, что если человек действительно хочет жить, то медицина тут бессильна. Снова мог я выпивать и путешествовать.

Кем я хочу стать, когда вырасту, я осознал довольно поздно – шёл уже к концу седьмой десяток лет. Но всё совпало: я всю жизнь хотел, как оказалось, быть старым бездельником и получать пособие на пропитание, не ударяя палец о палец. У

старости, однако, выявилась грустная особенность: семь раз отмерив, резать уже не хочется. Поэтому за книгу эту принимался я не раз, однако же, прикинув главы, остывал и всё забрасывал. Правильно сказал когда-то неизвестный древний грек: старость – это убыль одушевлённости. Остатков, что питали мой кураж, на книгу ощутимо не хватало. Пока судьба не подарила мне заповку, столь достойную, что больше я увиливать не мог. Раз ты уж начал, – как шепнула мне в далёкой юности одна подружка. И я сел писать воспоминания.

Две тысячи четвёртый год был юбилейным у меня. Точнее – трижды юбилейным. Двадцать пять лет, как посадили, двадцать – как выпустили, и пятнадцать лет на сцене. И отменный получил я в этот год подарок. Я давно уже прознал, что некая в Одессе существует фраза, даже знал, к кому бывали те слова обращены, и теплил тайную мечту, что я когда-нибудь услышу это сам. И точно в юбилей сбылась моя мечта. Я шёл по Дерибасовской, и возле парка, где стоят художники, меня чуть обогнал некрупный лысый человек лет сорока. Он оглянулся на меня, помедлил бег и вежливо спросил:

– Я извиняюсь, вы Губерман или просто гуляете?

Как я был счастлив! И теперь рассказываю это на своём почти что каждом выступлении. На сцене вообще ужасно тянет хвастаться. Однако попадают истории, которые язык не повернётся вслух пересказать, а письменно – гораздо легче. Не такое от моих коллег терпела беззащитная бумага. В тот же мой приезд в Одессу после интервью на телевидении меня уже на улице догнал мальчонка-осветитель.

– Я всё сомневался, не обидитесь ли вы, – сказал он мне, – но я хочу вам рассказать. Я сам украинец, поэтому и сомневался...

Я молча слушал. У него был дядя, но недавно умер. Дядя этот всю свою жизнь проплавал на торговых кораблях, но это было в нём не главное. А главное – что дядя был антисемитом, и не просто по природе, инстинктивным, нет – осознанно евреев не любил за их умение обманывать и надувать. Как видно, по торговой контрабандной части сталкиваясь с этим – я в детали не вдавался. И ещё любил стихи покойный дядя, часто их читая наизусть на каждой пьянке. А до смерти незадолго он позвал племянника и наказал ему не доверять евреям. Верить можно только трём из них, сказал он мальчику. Христу, который проповедовал, что Бог – это любовь, Спинозе, который говорил, что Бога нет, и Губерману, который написал, что Бог на свете есть, но от людей Он отвернулся.

– Извините, если я вас чем обидел, – мальчик явно был смущён. Я ошарашенно сказал, что мне такое слышать очень лестно. Только вы к евреям так не относитесь, попросил я глупо и растерянно. Да что вы, возразил мне мальчик. И вернулся к осветительным приборам.

Мне даже письменно слегка неловко приводить сейчас эту историю, но только есть в ней нечто и помимо хвастовства. То,

что относится к загадочности нашего рассудка. Был наверняка ведь этот дядя прост, как правда: плавал, воровал, обманывал таможеню и клиентов, по-моряцки крепко выпивал и не любил евреев, что естественно. Однако же – читал и думал. Тут бы что-нибудь высокое и вдумчивое надо написать – о духе и мышлении народном, и про тайности душевного устройства, только на такое у меня рука не поднимается. А слушать было – сладко и приятно.

Да к тому же время на дворе – год Петуха. А значит, можно клетотать, и крыльями махать, и кукарекать. Так что хвастаться ещё не раз я буду. Хитроумно заворачивая это в будто бы насмешку над собой или глубокое о жизни размышление. Не лыком шиты. Я всё время помню, что сказал Вильям Шекспир какому-то хвастливому актёру: учитесь скромности у своего дарования. Возможно, это некогда Эсхил ещё сказал (в беседе с Эмпедоклом), но главное – завет, а не сомнительное авторство.

Как-то в киевской газете написала журналистка про меня такие лестные слова, что лучших мне уже не встретилось нигде. Зря, дескать, все считают Губермана грубияном и невеждой в смысле воспитания: мы вышли из гостиницы с ещё одной знакомой, он нас провожал, а в городе был страшный гололёд. И Губерман всё время оборачивался к нам и говорил заботливо: «Поосторожней, девушки, не ёбнитесь!»

В том же юбилейном году мне улыбнулась ещё одна польстительная радость. Я был приглашён на всеамериканский слёт авторской песни. Собираются они раз в год (а то и дважды) в Пенсильвании, в огромном парке, приспособленном для массовых гуляний (это я о том, что всюду туалеты и полным-полно столов для пирования). Две тысячи отменно молодых людей туда съезжаются со всей Америки. И сотни, соответственно, машин, и довольных мест для парковки. Ставятся палатки, и вокруг огромного костра вершится торжество сохранныго и в памяти и в душах русского языка. Все молодые эти люди – уже полные американцы, преуспевшие в своих профессиях, вписавшиеся в жизнь страны и интересами её живущие, но песни прежней жизни их не оставляют. А компании – кучкуются по городам. И возле каждого стола (их несколько десятков) по-русски выпивают и поют. Я изумлён был, восхищён и донельзя растроган этим слётом. А такой ведь и в Израиле творится ежегодно, и уже в Швейцарии на горном склоне где-то стали учиняться эти песенные праздники. В несчётный раз испытывал я гордость за язык великий. А меж тем – нечаянная радость ожидала меня в этом парке. Раньше никогда я не был здесь, и вдруг мне рассказали, что на прошлом слёте ошивался по тропинкам парка некий юноша, который клеил приглянувшихся ему девиц на удочку простую и, как хочется мне думать, эффективную: он представлялся Губерманом Игорем. И предлагал пройтись, чтоб познакомиться поближе. Очень был я счастлив, это услышав. И горько сожалел, что не узнаю никогда, насколько был успешлив этот самозванец. Я желал удачи суки-

ному сыну: на меня ведь падал дивный отблеск в каждом случае его успеха. А небось, он и стишки талдычил наизусть, я по гордыне идиотской так и в молодости никогда не делал, полагая прозаические чары более достойным инструментом. Я бы с удовольствием с ним повидался, ибо никаких претензий – только благодарность (смешанную с завистью) испытываю я к нему.

Недавно очень поучительный мне сон приснился. Я, правда, сильно позже осознал, что поучительный. В начале я испытывал недоумение и странное предвестие тоски. В компании с людьми, которые весьма сочувствовали мне, осматривал я камеру в тюрьме, где много лет мне предстояло провести. Суд был назначен только на завтра, но исход его был предreshён и всем известен. В камере стоял буфет со множеством разной посуды. И не нары были, даже не кровать, а привлекательного вида пожилой диван. Окно моё в тюремный дворик выходило – очевидно, мне позволено гулять. И стол довольно был большой возле окна, на нём уже лежало что-то. Все друг друга тихо спрашивали, явно обо мне заботясь, сколько книг мне в месяц полагается, и сколько писем можно посылать. А мне уже не странно и не больно – я про всё осведомлён заранее. Но только вот – про что, спросить мне неудобно. Очень хочется остаться одному, уже мне очень надоели эти незнакомые и суетливые доброжелатели. Я знаю их давно, однако же сейчас не помню, кто они. А по костюмам с галстуками судя – из администрации какой-то. В мою сторону они почти не смотрят и ко мне почти не обращаются, хотя выказывают нескрываемую жалость. Я почему-то думаю всё время, что будут трудности с курением, и это беспокоит меня более всего. Какая-то немолодая женщина заботится о бытовом удобстве: трогает диван и проверяет, есть ли в нём постельное бельё. Все, наконец, расходятся, пожимая мне руку, явно торопясь уйти из камеры. Я остаюсь один, закурываю и плетусь к столу. На нём лежит стопа чистой бумаги, а отдельно – лист, на котором что-то напечатано. Я достаю очки, уже я знаю, что лежит там – обвинительное заключение. Я сразу же читаю про свою вину: «Неправедное чувство одиночества и жалобы на это вслух». А ниже – предложение комиссии какой-то (много подписей под ним): «Наказать реальным одиночеством на срок...» Я понимаю, что завтра суд заполнит многоточие. И тут такая на меня тоска, и злоба на себя, и жалость к близким навалились, что от этих ощущений я проснулся. Лёг на левый бок, наверно, а сердчишко этого не любит – первое, что я подумал, снова собираясь тихо спать. Но сон уже не шёл. А мысли потекли – предутренние, трезвые и осудительные мысли. Что напрасно я болтаю, и что грех мне жаловаться, и что сны случайно не бывают, и что я – неблагодарная скотина. Запишу я это назидание, подумал я: внутри меня живёт неведомая личность, более разумная и справедливая, чем та, что пьёт и разглагольствует снаружи.

Пора теперь и к замыслу початой книги обратиться. Это сделать очень просто, ибо никакого замысла в ней нет. И в жизни

моей так же было: я никак не мог найти приличную определённую дорогу, отчего упрямо брёл по нескольким. Вся эта книга рождена словоохотливостью пожилого человека. И ничуть не более того. И я её нисколько не рекомендую для внимательного чтения. Однако же, не полистав её, вы упускаете возможность ощутить сочувственную грусть: вот до чего он докатился, этот некогда весёлый выпивоха. И с немалым воодушевлением подумать, как ещё вы далеки от горестного личного заката.

Но и светлые страницы тоже будут. В начале года Петуха меня постиг на Украине как-то вечером – большой сценический успех. Ещё и до отъезда на гастроль уже знал я, что в Днепропетровске буду выступать в театре оперы. Но когда минут за двадцать до начала меня дёрнули проверить микрофон, я обнаружил между собой и залом большую оркестровую яму. И только тут с восторгом осознал, что я – в театре оперы. И я подумал: идиотом буду, если не спою. Что начисто лишён я слуха и голоса, никогда и ранее меня не смущало. Захотеть, но испугаться – вот что было бы позором, легкомысленно подумал я. И начал так второе отделение:

– Друзья мои, надеюсь, что первое отделение вам понравилось. (Жидкие и удивлённые хлопки.) Поэтому сейчас я причиню вам небольшую эстетическую неприятность. Мне кажется, что глупо было бы – попасть на сцену оперы и ничего не спеть. (Смех, аплодисменты). Неприятность состоит в том, что у меня нет ни слуха, ни голоса. (Провальная тишина – а в зале около тысячи человек). Утешение только в том, что я спою вам коротко, а капелла и на украинском языке. (Полная тишина).

В песне моей и вправду была пара слов на украинском. Аккомпанировал я ногами, чуть приплясывая:

Добрый вечер, девки, вам,
чура, да чура-ра,
я вже жинку поховав,
ку-ку!

Боже, что случилось в зале! Все ожесточённо хлопали, что-то выкрикивали, счастье носилось в воздухе. Я никогда ещё не имел такого успеха. Мне бы сам Лучано Паваротти позавидовал. А после окончания концерта в артистическую ко мне лично пришёл директор театра и пригласил через год выступить ещё раз. Так что книжку эту пишет – не случайный прохиндей, а солист Днепропетровской оперы, прошу иметь в виду.

И в Черновцах я побывал в эту поездку. Там я тоже испытал нечаянную радость. Мне сказали, что в том зале, где я буду завывать мои стишки, играл когда-то композитор Ференц Лист. И я так бурно проявил своё восторженное удивление, что мне бывалый импресарио заметил свысока и снисходительно:

– Вы думаете, он мотался меньше вас?

В Черновцы я вообще приехал с нескрываемым душевным любопытством: ведь у нас в Израиле его повсюду именуют –

«город А». Поскольку, если спрашивают человека: вы откуда? – услышав, что он из Черновиц, на это реагируют коротким «А!». То ли некую гордыню проявляли слишком часто черновицкие бывшие обитатели, а то ли на отсутствие культуры сетовали чаще прочих – я доподлинно не знаю. А приехавши – немедленно спросил. И выяснил, что город был действительно культурный: непрерывные гастроли всяческих артистов, и остаточная аура империи австрийской, только главное – всего километров за двадцать до границы расположен этот город. И поставка всякой контрабанды – столь была бесперебойной, что хватало всей бескрайней Украине. У людей умелых и проворных было всё, что нужно человеку. А порой – и более того. Тут жить и жить, конечно, а евреи легкомысленно уехали. И скучно им теперь без ауры, культуры, контрабанды, этого в помине нет в Израиле.

Сегодня на дворе стоит повсюду – зыбкое и неприкаянное время. Смутное, тревожное и полное неясных ожиданий. И такие злоба и вражда клубятся всюду в воздухе, что вряд ли они могут рассосаться от незрячей суеты политиков. Я просто в силу возраста уже за этим наблюдаю как бы чуть со стороны. И те бесчисленные штормы и цунами, что бесчинствуют в житейском море – тоже не страшны моему утлому семейному судёнышку. А то, что некоему банку по гроб жизни буду я выплачивать когдатошнюю ссуду на квартиру – это на весь век моя Долгофа. От такого наступившего покоя – и беспечность моего неспешного повествования. Никогда и раньше я не угрызался от сознания морального несовершенства своего, теперь уж и подавно я спокоен. Нет моей заслуги в этом равновесии душевном, просто так удачно гены предков разложились. А жена вот моя Тата с раннего детства слушала передачу «Пионерская зорька», и в местах, где говорилось о плохих учениках и нехороших детях, думала с печалью и тревогой: ну откуда они всё про меня знают? И навсегда осталось в ней такое угрызенie души. Но я её посильно утешаю.

Да и радости мне щедро доставляет затянувшаяся жизнь, которая течёт, что очень важно, – в удивительной и очень полюбившейся стране. Мне тут недавно туристическая фирма из Америки внезапно заказала что-нибудь чувствительное и призывное сказать на киноплёнку, чтоб её показывать евреям из России. Всюду путешествуют они по миру, а в Израиль ехать не хотят, поскольку очень нашей жизни опасаются. А так как я в Америке довольно часто выступаю, то лицо моё знакомо, имя – тоже, и чего-нибудь такое пригласительное может повлиять на их маршрут. Я для этой цели написал стишок, и он, по-моему, довольно убедительно звучал:

Мы евреям – душу греем,
и хотя у нас бардак,
если хочешь быть евреем,
приезжай сюда, мудаки!

И даже гонорар получил, но чтобы это приглашение передавали – не слышал. Что очень жалко и обидно, зря старался. Я в Израиле читал это со сцены – все смеются. Нам, конечно, проще, мы уже привыкли к нашему гулянию по краю. Только жалко, что они не приезжают. Потому что нету в мире ничего похожего на нашу уникальную страну. Ни одной державе столько неприязненного времени не уделяют мировые средства массовой промывки разума. Ибо мы в Израиле – не только что евреи, вдруг загадочно собравшиеся вместе, но ещё и оказались на передней линии борьбы с чумой, неведомой доселе по размаху. Впрочем, пусть об этом пишут журналисты: им виднее и понятней злоба дня. А я хочу напомнить вам о вечном. Хорошо сказал об этом в Питере один четырёхлетний мальчик:

– Я много наблюдал за взрослыми: они поговорят, поговорят, и выпьют.

А поскольку до сих пор бытует медицинский миф, что выпивка вредна здоровью, я хочу в самом начале книги твёрдо заявить, что несколько десятков лет я проверял сию паскудную легенду на себе. Чушью это оказалось, не вредна нам выпивка нисколько. А возникло это заблуждение по нашей общей, в сущности, вине: мы часто выпиваем с теми, с кем не следует садиться рядом и делить божественный напиток. А вот это – вредно безусловно. Только проявляется намного позже. И обильно обвинили в этом выпивку. Не сразу я додумался до истины и много лет себя бездумно отравлял. Только ныне я своё здоровье неусыпно и свирепо берегу: я начисто лишил себя общения с людьми, которые мне малосимпатичны. И любое возлияние приносит мне одну лишь пользу. Присмотритесь, и согласие со мной намного освежит существование.

Благой совет преподнеся, я выпил рюмку, покурил, и что-нибудь сентиментальное мне страстно захотелось написать. О нашем нестихающем пристрастии к российской речи, например. У наших тут знакомых есть подросток – девочка, и имя у неё – еврейское вполне, но ласковая кличка дома – чисто русская: Снегурочка. Она на свет явилась потому, что из-за снега, выпавшего как-то в Иерусалиме, мать её не выбралась к врачу, чтоб выписать рецепт на противозачаточное средство (это у нас строго по рецепту).

Ещё я рассказать хочу историю из нашей мельтешной и бескультурной жизни. Очень пожилой приятель мой, искусствовед – попал в финансовое крупное недомогание. И в городской библиотеке Иерусалима учинили небольшой благотворительный аукцион. Двадцать пять художников и керамистов, знающие этого человека, дали для продажи свои работы. Ни копейки с этого не получая. Просто принесли и привезли. Из них семнадцать мы спустили с молотка. В аукционе молоток участвовал впервые: лишь отбивкой мяса раньше занимался этот деревянный инструмент. Отменные работы, между прочим, были проданы в тот день по небольшой, сознательно занижен-

ной цене. И несколько десятков книжек нанесли писатели, их раскупили полностью. И в тот же день отвезен был полученный доход. Испытывали радость все – и покупатели, и зрители, и авторы. Для этой цели я надел парик, в котором выглядел продажным пожилым судебским восемнадцатого века, но молотком стучал и цены объявлял – с высоким упоением.

Теперь и книжку можно начинать. С заведомой готовностью терпеть неслыханные творческие муки. Потому что творческие муки – это не когда ты сочиняешь, а когда уже насочинял и убеждаешься, что вышла полная херня. Но до поры, пока перечитал, ещё надеешься. Мне где-то интересный факт попался: что цыгане в таборах варили необыкновенно вкусный борщ. Состав его менялся раз от разу: в поместительный чугун с водой, кипящей на огне, кидали члены табора еду, которую сегодня удалось наворовать. А так как всем понятно, что плохого не воруют, борщ цыганский неизменно удавался. Этот замечательный рецепт наполнил меня светлым оптимизмом. Да тем более что я чужие мысли очень часто нахожу и там, где авторы до них додуматься не успевали: подходили близко, но сворачивали вбок. Поэтому в моём борще продукты будут с огорода чисто личного. А свежесть я спокойно гарантирую.

Сперва – о путешествиях, конечно.

ОДНОВРЕМЕННО ВЗГЛЯНИТЕ И НАЛЕВО И НАПРАВО

Повсюду ездить – очень я люблю, и страсть мою усердно утоляю. В молодости это объяснялось любопытством, ныне меня колет в зад совсем иное побуждение. Оно понятно мне и объяснимо с лёгкостью. Я себя в Израиле чувствую настолько дома, что периодически ужасно тянет погулять по улице. Одна моя знакомая заметила со справедливой прямоотой: нас тянет на люди, чтобы свой показать и у других посмотреть. И в некоем общем смысле это так и есть. Поэтому, как говорила некогда поэтесса Давидович – пока можешь ходить, надо ездить. Я это и делаю по мере сил. А что касается возможностей, то их предоставляет случай. Любое путешествие весьма обогащает кругозор. Сколь ни тривиальна эта фраза, в ней имеется разумное зерно, и я его сейчас охотно вылушу.

Будучи сам личностью, в высшей степени слабо образованной и несведущей в чём бы то ни было, я с благодарностью ловлю любые крохи, что перепадают мне случайно с пиршества сегодняшнего знания. Впрочем, и вчерашние крохи мне столь же интересны и питательны. Я в этом смысле часто напоминаю собой коллег и друзей некогда знаменитого штангиста Григория Новака. Это было в очень, очень давние времена. Даже, возможно, ещё раньше. В ходе какой-то затянувшейся ресторанной пьянки этот русский богатырь (и одновременно –

гордость еврейского народа), осерчав на собутыльника, кинул в него стол. Нет, не опрокинул, даже не ударил его столом (что мог бы сделать ввиду былинной могучности), а именно кинул. Чем нанёс телесные увечья. Нет, его, насколько помню, не судили, но лишили права поднимать штангу – дисквалифицировали, говоря по-спортивному. И стало Грише очень скучно жить. Однако же, коллеги его не забыли и довольно часто навещали. В основном это были богатыри из Азербайджана, Грузии и Армении. Вообще ведь такой вид спорта, как поднятие штанги, стоит по интеллектуальной насыщенности сразу после перетягивания каната, именно такого уровня и были эти верные друзья. А сам Григорий Новак, как я уже намекнул, был евреем, из-за чего хранил в себе какие-то обрывки знаний, кои усердно пополнял, страдая неискоренимым национальным любопытством. Этими знаниями он теперь потчевал навещавших его коллег. И те в таком восторге находились, что каждый раз, уходя, неизменно говорили ему одну и ту же фразу:

– С тобой, Гриша, один вечер посидишь – как будто среднее образование закончил!

Именно такое чувство я испытываю неизменно, если мне вешают на уши всё равно какую познавательную лапшу. Так что в этом смысле я – турист, но так как мне по жизни довелось быть экскурсоводом, то не рассказать об этом просто не могу.

Каждый, кто хоть раз водил экскурсии, прекрасно знает, что турист – совсем особое двуногое, и требует для обращения с собой особых навыков.

Есть у нас тут с Окунем приятель – чистой выделки еврей по разнообразному бурлению способностей. Был некогда пианистом, после стал доцентом по марксистско-ленинской философии, в Израиле образовался по туристической части. Вскоре обзавёлся собственной конторой Кука, отправлял туристов по набитым и заезженным маршрутам, даже дом построил на всеобщем нашем любопытстве к путешествиям. Тут-то в нём и оживился мелкий творческий бес, почти было скукожившийся от густых коммерческих забот. А может быть, разыграла пресловутая духовность, жуткое и вязкое наследие каждого советского еврея. (Пошное донельзя это слово, разве что с патриотизмом и романтикой оно сопоставимо по затасканности, но замены я пока не подыскал). И на нас с Окунем эта духовность обрела живые очертания. Он сочинил экскурсии, в которых мы с Окунем были приглашённые эксперты. Мы отправились в Европу платным приложением к экскурсоводу из конторы. Саша Окунь должен был рассказывать о художниках, повсюду живших в разные времена, а я – о писателях и авантюристах. Окунь был в материале изначально, я же – тщательно и скрупулёзно готовился. Мы побывали в южной Франции, в северной Италии, в Испании и Нидерландах. После прекратились эти дивные поездки: то ли снова подувал уставший бес, а то ли (что скорей всего) – печально выявилась хилая доходность всей затеи. И

ещё последняя поездка получилась с непредвиденной накладкой: в некоем городе Голландии две бедные старушки оказались не просто в одном номере, но и в одной постели. И одна из них присутствие духа сохранила, царственно сказав другой наутро, что теперь она готова на ней жениться, но вторая юмора не оценила. И какие-то последовали письменные жалобы. И всё закончилось, хотя довольных было больше, чем жалеющих. А на наш с Окунем просветительский гонорар мы ещё и жён возили, что в моём лично возрасте равносильно исполнению супружеского долга.

Спустя года приятно вспоминать о тех крошечных ситуациях, из коих вывернулся с честью и достоинством. Так было у меня во время поездки по Франции. Нам предстояло посетить город Ареццо, в котором много лет провёл Франческа Петрарка. Говорить о нём, разумеется, должен был я. И я отменно приготовился к почти часу автобусного повествования: три листа выписка о его биографии лежали у меня в чемодане с самого выезда. Я даже два его сонета переписал, чтоб иллюстрировать историю пожизненной любви к Лауре. А когда настало моё время, и уже я сел в автобусе за микрофон, то обнаружил, что листочки взять я взял, но, к сожалению, не о Петрарке. У меня там было много всяких заготовок, потому что я старательный, ответственный и обязательный человек. А микрофон включил я машинально, за спиной моей уже повисло доброжелательное ожидающее молчание.

Я ненадолго отвлекусь, поскольку от коллеги Яна Левинсона слышал как-то дивную историю о девчущке, попавшей в такую же ситуацию на экзамене. Приятель Яна принимал у будущих филологов экзамен, а второй вопрос в билете у девицы этой (первого она не знала начисто) был такой: «Творчество польского поэта Мицкевича». В отчаяние впад, а оттого – во вдохновение, девица бойко и развязно заголосила:

– Поэт Мицкевич был поляком и потому писал по-польски. Он так хорошо писал, что если бы он был венгром, то его, конечно же, любили бы все венгры, но он был поляк и его любили все поляки...

Учителю всё стало ясно, только двойку ставить не хотелось, и поэтому он ласково сказал:

– Мне всё понятно, я вам дам последний шанс: скажите мне, как звали поэта Мицкевича, и я вам ставлю удовлетворительно.

Девушка медленно и вдумчиво ответила:

– Так ведь его по – разному звали. На работе по – одному, а дома по – другому, а друзья...

Сам преподаватель стихи Адама Мицкевича любил не слишком, отчего решил помочь хитрожопой бедняжке.

– Я вам подскажу, – сурово сказал он, – как звали первого мужчину?

И лицо девицы расцвело пониманием:

– Валера, – с нежностью ответила она.

Вот в такой как раз ситуации оказался и я. Хотя немного лучшей: помнил почему-то год рождения Петрарки. И его немедленно сообщил. И вдохновение, рождённое отчаянием, окутало меня благоуханной пеленой. Я с убеждённостью сказал, что мы все, отъявленные и отпетые питомцы русской словесности, должны ценить в Петрарке не столько его сладкозвучные итальянские напевы, сколько то влияние, которое он оказал на русскую поэзию. Поэтому не буду я вдаваться в чахлые подробности его печальной жизни, а наглядно почитаю тех поэтов, которые впитали его дивные мотивы и напевы. После чего я принялся читать всё, что помнил. Начал я почему-то с детских стихов Веры Инбер. После я стремительно и плавно перешёл на Константина Симонова. Я когда-то знал разные стихи километрами. И сантиметров пять во мне осталось. Я завывал и наслаждался. Сашка Окунь мне потом сказал (из чистой зависти, конечно), что я забывал называть авторов, ввиду чего автобус благодарно полагал, что это я сам пишу так разнообразно. И меня хватило на всю дорогу, вдалеке уже виднелся город. Мне похлопали, и я, ещё пылая благородством вспомненных стихов, пошёл на место. В нашей группе ехала одна ветхая и крайне образованная старушка. Она остановила меня и застенчиво сказала:

– Замечательно! Вы только извините, Игорь, но насколько я помню, Петрарка родился не в том году, что вы сказали...

– Сейчас появились новые данные, – легко и снисходительно ответил я. Она кивнула с благодарностью. Я сел и выпил за удачу – у меня с собой, по счастью, было. Автобус уже стоял у почему-то конного памятника.

Но было бы неверно умолчать о случаях, когда я всю экскурсию отважно выручал. С нами по одной стране ездила редкостной капризности и столь же малосимпатичная женщина. Она всё время что-нибудь записывала, охотно объяснив, что это нужно ей для лекций, которые она незамедлительно по возвращении прочтёт для любопытствующих пенсионеров. В этих целях она непрерывно требовала от нашего гида объяснения всего, что попадалось по дороге. Перегоны были длинные, а возле почти каждой деревушки стоял неказистый памятник местного значения – уверен, впрочем, что и местные жители слабо знали о происхождении каждого такого монумента. И довольно мерзкий требовательный голос этой пациентки постепенно вывел весь автобус из себя. На меня посматривали с надеждой, и не стать Матросовым в подобной ситуации было бы низкой слабостью. Я сел сзади неё и внятным полусшепотом сказал, что именно об этих незначительных скульптурах я осведомлён доподлинно и досконально, гида лучше не тревожить лишними вопросами, я всё ей расскажу. Автобус благодарно и без ожидания затих.

Поскольку часто попадались женщины с ребёнком, было ясно, что стоят мадонны местного значения. Но так как весь ав-

тобус ждал разнообразия, то некая из них спасла из-под туристского автобуса чужого малыша (вон на руках у неё – видите?), другая же – наоборот: оставила своё единокровное дитя, уехавши в Париж бороться за запрет абортот. С мужиками было легче: тот ушёл по пьянке в лес и стал известным партизаном, а вот этот был недолго мэром города, но через год сознался, что ворует из общественной казны. И горожане были так восхищены, что памятник ему поставили при жизни. Каменная девушка без никакого на руках ребёнка оказалась местной Зоей Космодемьянской, тоже состоявшей на психиатрическом учёте, но в деревне этого не знали. А полуразвалившийся от старости большой фонтан таким и был сооружён – в честь разрушения Бастилии. И Павлика Морозова из этих мест я тоже заготовил в юркой памяти, но монумента с мальчиком не попалось.

И затихшая от зачарованности баба всё это писала быстрым почерком. Отменную прочтёт она, вернувшись, лекцию, подумал я меланхолически: там будет правдой только факт, что памятники были большей частью каменные и что решётки были из железа.

Туристу вообще следует отвечать незамедлительно. Можно называть любую дату (подлинность столетия – желательна) и как угодно связывать между собою имена и факты, но ответ должен быть молниеносным. Всё равно турист забудет его столь же немедленно, как он забудет всё остальное, что ему говорилось, но останется главное для любой экскурсии – благостное чувство тесного прикосновения к истории, искусству и истории искусства. И поэтому не думать нужно, вспоминая и колеблясь, а немедленно и с апломбом отвечать. Работники Эрмитажа любят рассказывать, что раз в полгода непременно задаётся кем-нибудь из посетителей вопрос: где то окно, которое царь Пётр пробил в Европу. И в ответ экскурсоводы грустно и занудливо мемекают, что это, дескать, образ, в переносном смысле сказано и вообще метафора. И слушатели грустно киснут. А однажды при таком вопросе рядом пробежал какой-то молодой сотрудник Эрмитажа. И уж раз так повезло, решил ответить:

– Окно на реставрации, – пояснил он на бегу сурово и отрывисто. И группа вся единодушно покачала головами с пониманием.

Ещё и потому ведь следует отвечать немедленно и наобум, что сами объекты посетительского интереса – сплошь и рядом фальшаки или привязаны к тому, что повествуется о них, буквально за уши. Которые торчат, но экскурсантам это совершенно безразлично. А поэтому в местах, где выются и кучкуются туристы, то и дело возникают новые, волнующие ум и сердце древние объекты. Однажды мы в каком-то итальянском южном городе вдруг увидали жестяную яркую табличку со словами, что направо через переулок можно повидать могилу Моны Ли-

зы. Господи, какое счастье для туриста! Кое-как запарковав машину, мы туда отправились пешком и пылко вспоминали по дороге, как впервые мы увидели когда-то эту самую известную работу Леонардо да Винчи. Оказалось, что идти довольно далеко, к тому же – круто в гору, а такие трудности рождают у туристов пессимизм и скепсис. Как могла она здесь оказаться, вдруг возникнув, почему о сей могиле нету ничего в путеводителях, не упустивших куда менее волнующих и интересных мест? Нас остановила яркая догадка, что отцы этого города, пылая завистью к соседям, у которых толпы экскурсантов каждый день, – придумали и оборудовали этот привлекательный объект. Чтобы проверить правильность догадки, мы отменно вежливо пристали к пожилому итальянцу, сумрачно курившему на стуле возле дома. Английский он, естественно, не знал. А впрочем, если бы и знал, то вряд ли опознал этот язык в моём произношении. А тот американский, на котором говорил наш друг, ему бы просто показался варварским и диким. Тем не менее, мы как-то объяснились. Более того: то главное, что он сказал нам, все мы поняли отменно. А сказал он вот что:

– Не ходите, там ещё ничего нет.

В первый же свой год в Израиле я натолкнулся на такое же, незабываемое с той поры сооружение. Мы с одной киношной съёмочной группой (Саша Окунь и я – о нас как раз снимался фильм) попали в Цфат, где на второй день съёмок загуляли, пили до утра и в очень мутном виде оказались возле стройки небольшого каменного дома. А по пьянке (и волшебный был рассвет к тому же) мы говорили о высоком и вечном. Город Цфат весьма располагает к этому. Здесь в шестнадцатом веке жил великий (и великим почитаемый, что у евреев совпадает не всегда) учёный и мудрец Иосиф Каро. А главная работа его жизни – книга «Шульхан Арух» – содержит все почти законы и предписания, что нужны для праведной жизни всякому благочестивому еврею. Каро когда-то жил в Испании, бежал оттуда в Турцию, до Цфата он добрался уже в очень зрелом возрасте, здесь были у него ученики, и имя его свято в этом городе. О духе и томлении духовном мы и говорили что-то малосодержательное, но с большим душевным волнением. А возле этого почти законченного маленького дома уже скапливались каменщики, начиная день труда. И медленно прохаживался немолодой еврей слегка начальственного вида. Из пустого любопытства я попросил Сашку спросить у этого еврея, что тут будет (сам-то я иврит уже тогда не знал). Ответ я буду помнить всю оставшуюся жизнь.

– Это строят, – с важностью ответил человек, – тот дом, в котором Иосиф Каро писал «Шульхан Арух».

Так что к работе экскурсовода я был готов, по сути, с первых дней приезда. А учился я у Сашки Окуня сперва (он, хотя любитель, но в тяжёлом весе), а потом – у ныне уже покойной Марины Фельдман. И доныне я ей очень благодарен. Вскоре по-

сле первых же уроков (просто я ездил вместе с ней в экскурсионном автобусе) она доверила мне вести по Старому городу группу московских артистов из Театра юного зрителя. Два каких-то мужика, по-моему, там были, но запомнилась мне дружная щебечущая стайка симпатичных женщин разной молодости возраста. Уже у меня были мелкие примочки для установления в экскурсионной группе климата сплочённого одушевления. В еврейском квартале Старого города идёт по середине мостовой вдоль каждой узкой улочки заметный неглубокий жёлоб для стекания воды, чтоб в сильный дождь не спотыкались пешеходы и чтобы мостовую было удобно мыть.

– Вы замечали на обеих плоских сторонах у сабель и кинжалов узкий желобок, идущий вдоль всего клинка? – спрашивал я строго и слегка торжественно. Все припоминали, что действительно такие выемки на саблях и кинжалах они видели.

– А для чего такое сделано – не думали? – сурово продолжал экскурсовод. И сам себе немедля отвечал (немедля, чтобы не успел никто догадаться, что просто для облегчения веса):

– Это сделано для стока крови. А наш город столько раз переходил из рук в руки, и такое творилось на его узких улочках, что мостовые здесь кладут с такой вот выемкой, взгляните себе под ноги, друзья!

Кошмарное очарование истории витало с той минуты в душах до самого конца экскурсии.

Один лишь раз очарование мгновенно испарилось. Я недоучёл душевную чувствительность актрисок. У большинства из них на шеях были крестики, а я на эту важную деталь внимания не обратил, точнее – так старался не смотреть на их ложбинки и выемки, что крестиков заметить и не мог. А возле входа в Храм гроба Господня я их предупредил неосторожно, чтоб они не целовали мраморную плиту, на которой якобы обмывали Христа после того, как ушли стражники. Плита эта – фальшак, объяснил я, положена сюда недавно, и её целуют настолько разные паломники, что каждый час её моют специальной дезинфекцией. Когда я спохватился, было уже поздно. Светлые глаза актрисок потемнели и сузились. Уже в них не осталось ничего от благодарной преданности, только что сиявшей и лучившейся. Они все разом вспомнили, что это я распял ихнего Иисуса Христа на этом как раз месте. Ну не я, так мои близкие предки. И теперь такие мерзости им повествую о плите, на которой некогда лежало его божественное тело. И сплочённой стайкой кинулись они целовать эту плиту, время от времени с демонстративным омерзением на меня оглядываясь. Я молчал, ругательски себя ругая. После я повёл их наверх, где они упоённо целовали отверстие, в котором стоял крест, и что по очень достоверным данным Христос был распят вовсе не здесь, я уже им не рассказывал. И за моё экскурсионное очарование я беспокоился не очень, потому что знал, что будет сразу после выхода из храма. Так оно и получилось: их немед-

ля облепила толпа юных арабчат, предлагая всяческие бусы и браслеты, а посредником в быстротекущем счастье этих обретенных мог быть только я. Я усердно торговался, сбивая цену с каждой туристической херни, которую им всучивали наглые бывалые подростки, и в засиявших артистических глазах я снова видел благодарную симпатию. И правда ведь, распыл не я, а предки, и навряд ли непосредственно мои, а бусы со Святой Земли – высокое и истинное счастье. И дешевле получились почти вдвое благодаря участию носатого и пожилого нехристя.

В этом храме дивные случаются порою мелкие, но происшествия, заметные только участникам экскурсии. Однажды гид один привёл туда очень солидного российского бандита. Ну, не буду я настолько груб – нового русского с двумя амбалами-телохранителями он туда привёл. Этому крестному отцу лет шестьдесят уже, наверно, было, всякое он видел, но сентиментальности не потерял. (А впрочем, она свойственна бывалым и матерым – ведь отсюда и такое изобилие чувствительных песен о старушке-маме сочиняется на зонах.) И когда они все вчетвером (телохранители его не оставляли) протиснулись с трудом в капеллу ангела (где и двоим-то тесновато), гид настолько трогательно всё им рассказал о вознесении Христа из этой каменной могилы, что стареющий бандит пустил слезу. Когда они оттуда выбрались, и два амбала увидели слёзы босса, то они немедля тоже прослезились. И один из них спросил экскурсовода:

– А скажи, браток, а где же кости?

Но экскурсовод ответить не успел. Поскольку, слёз не утерев, российский босс отвесил жуткой силы подзатыльник своему амбалу и свирепо объяснил:

– Ты что же, падла, не слыхал, что он вознёсся?

Однажды очень правильно ответила одна экскурсоводша на вопрос, застигнувший её врасплох. На реке Иордан это было, а вся группа – из Германии приехала. Мне в Кёльне это повестнул участник той экскурсии. Евангелие никогда он не читал, поэтому рассказ о том, что именно в водах этой речки некий Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа, поразил его до глубины души. Но почему ж тогда, спросил он любознательно, вся христианская религия не названа по имени того первого, кто был до Иисуса и крестил его? Экскурсоводша, с ужасом сообразив, что никогда об этом не задумалась, ответила вопросом на вопрос:

– Вы христианин?

– Нет, – ответил мой рассказчик. И добавил простодушно:

– Я еврей, я инженер, из Кёльна я.

И со свирепой назидательностью даже не сказала, а скорее выдохнула опытная экскурсоводша:

– Я вам советую: не лезьте в их дела!

Необходимость отвечать находчиво и сразу – развивает и, по-моему, спортивно закаляет каждого, кто водит экскурсии. А у

отдельных личностей – защитную сметливость тонизирует. Мне как-то рассказали об одном экскурсоводе, которого в шесть утра подняли неожиданным звонком.

– Здравствуйте, – услышал он незнакомый мужской голос, – меня зовут Пётр, а телефон ваш дал мне Павел...

И, не дожидаясь объяснения, зачем ему звонят, разбуженный экскурсовод незамедлительно ответил:

– Но у меня нет автобуса на двенадцать человек!

Любое путешествие весьма полезно ещё тем, что в людях открываются черты, тебе доселе неизвестные, поскольку попадаешь в обстоятельства, которых до сих пор никак не ожидал. Я помню посейчас, как я в одной поездке в тех гостиницах, где не было носильщиков, таскал и подносил тяжёлые чемоданы пожилых попутчиков. А среди этих стариков стояли неподвижно трое молодых мужчин. Им в голову не приходило, что как раз их неучастие роняет их паскудное мужское достоинство. Однако же, подобные открытия бывают даже с близкими людьми.

Однажды двух моих приятелей (со мной, естественно) случайно занесло в грузинский город, широко известный пользой и целебностью своей воды. В Боржоми занесло нас, к знаменитым минеральным водам. Их не только пьют, как оказалось, но весьма успешно промывают ими организм, который, очищаясь, молодеет и функционирует намного безупречней. Так нам объяснили принимавшие нас местные люди, в подтверждение своим словам показывая на роскошные дома, в которых обитают, приезжая, все почти грузинские вожди. И завтра утром обещала чуть пораньше выйти на работу медицинская сестра Эмма – выдающийся специалист по этой части. А дело было вечером, и мы уже изрядно утомились в долгом переезде, мы кивнули – благодарно и не очень понимая, что нас ждёт, немного выпили и кинулись поспать. А утром вяло и послушно поплелись в тот корпус, на который указали нам вчера. И приветливая Эмма (дама пожилая) величаво, но гостеприимно распахнула дверь в свой кабинет. И мы все трое – вмиг оцепенели и застыли, догадавшись, что нам предстоит. Поскольку на стене висел огромный бак, и от него спускался шланг, а завершалась эта толстая резиновая трубка – ярко-жёлтым медным наконечником, похожим на слегка уменьшенный пожарный брандспойт. И явно этот жуткий наконечник был несоразмерен беззащитным нежным дырочкам, в которые его должны были нам вставить. И мгновенно полиняли и осунулись мои приятели, в которых доблесть и отвага проступали в каждом шаге ещё пять минут назад. Отъявленные мужики, и в армии служили оба – мне смешно и стыдно было видеть их сейчас. Но более того: они сплочённо и настойчиво подталкивали-двигали меня вперёд, с любовью бормоча, что я уже по жизни много видел, вообще пожил вполне достаточно, и пусть я буду первым в этот раз. И я, сурово скрыв, что именно житейский опыт вынуждает меня трусить ещё пуще, посмотрел на них высокомерно и презрительно, по-

сле чего решительно вошёл. И дверь за мной закрылась – навсегда, быть может, ибо наконечник был чудовищно велик. Я снял штаны, трусы и лёг на левый бок лицом к стене. Я обещал себе вести себя достойно и, чтоб легче было, начал вызывать в свою пугливо замершую память образ Муция Сцеволы. А как только ощутил, что наконечник мягко и совсем не больно оказался внутри, то сообразил, что было бы естественней мне вспомнить лагерных или тюремных педерастов. И я расслабился, что было преждевременно. Через минуту я почувствовал себя воздушным шариком, который надувают с помощью автомобильного насоса. Это настенный бак неизмеримого объёма принялся накачивать целительной водой мой бедный и ни в чём не виноватый организм. К тому же Эмма, оказавшаяся вдохновенной энтузиасткой минеральной процедуры, непрерывно мне повествовала, что внутри меня на данную минуту происходит. К сожалению, я не могу пересказать детали и подробности, но видит Бог – они не облегчали надувание. А думал я всё это время – только о немислимых размерах бака. Но в секунду, когда понял я, что лопну, и легонько застонал – меня освободили и позволили уйти за ширму (выпускание воды обратно тоже было предусмотрено процессом), а затем всё начали сначала. Тут уже иной потёк из Эммы текст: она рассказывала, сколько знаменитейших людей (журчали имена) здесь возлежали, очищая изношенные свои организмы. А некий из Италии киноартист – он вообще так полюбил тут находиться, что по три раза в год он приезжает, и его жена ревнует его к Эмме. К наконечнику она его ревнует, подумал я с глубоким пониманием. Когда я клал уже на стол оговорённый гонорар (вот слово точное для артистизма медсестры), то Эмма снисходительно сказала, что для первого приёма я держался сносно, принял двадцать шесть литров – до рекорда далеко, поскольку многие выдерживают сорок.

А за дверью я увидел два лица, горящие доброжелательством и страхом. Я уже примерно знал, как наказать их малодушные натуры. И хриплым шепотом я сообщил, что этот наконечник – он не одноразовый, а постоянный, и его не моют, чтоб не повредить конфигурацию вводимой части.

После мы гуляли по огромной площади, курили, и я понял суть и глубину давнишнего российского образа: такая дружба, что водой не разольёшь.

А одну историю о водных процедурах я услышал как-то в знаменитом Баден-Бадене. Я сперва шатался по роскошным паркам, слушая вполуха краткую историю литературы русской – имена Тургенева и Гоголя, Вяземского и Карамзина – слетали с уст моего провожатого на каждой аллейке. Бедняга Достоевский проиграл здесь в казино так много денег, что ему воздвигли бюст на гостиничном балконе того дома, где он обычно жил. (А в городе Висбадене за те же самые заслуги его именем называли улицу. Знай наших!). А во двор особняка, где

жил Тургенев, нам войти не удалось. Ранее владелец дома всех пускал, но пару лет назад сюда явились русские туристы и засели выпивать на берегу пруда, который мне уже не удалось увидеть. Там плавали два лебедя, и кто-то из наследников великой русской литературы похвалился, что сумеет в лебедя попасть бутылкой. И попал. С тех пор сюда туристов не пускают. И пошли мы в заведение, второе по известности после казино – бассейны с той целительной водой, которой наслаждались некогда открывшие её легионеры Рима. А в бассейнах этих – сделаны отверстия, откуда под напором бьёт вода, массируя тела купальщиков на разных уровнях – от шеи до почти лодыжек. И передвигаясь постепенно вдоль стены бассейна, получаешь удовольствие от полного массажа тела. Группа наших русских экскурсанток так передвигалась, наслаждаясь постепенным перемещением тёплой тугой струи, но вдруг застыла: некая туристка ни за что не пожелала уходить с одного места, где струя ей доставляла несравненное приятство.

– Двигайся дальше, – попросили её спутницы, – ты всех задерживаешь!

Но виновница задержки умоляюще сказала:

– Вам-то всем сюда зачем? Вы и так замужем.

Я чуть не заплакал от сочувствия, услышав эти дивные слова. Но предстояло нам ещё одно здесь развлечение: на верхнем этаже располагались сауны, а там ходили только нагишом. Пойдёте? – вкрадчиво спросил меня Вергилий. Я решился. Мне скрывать уже почти что нечего, сказал я грустно. И не пожалел. Поскольку то, что я увидел, у меня не вызвало ни зависти, ни интереса. Посещение бассейнов стоит дорого, и те, кто позволяет себе эту роскошь, более ничем уже не могут похвалиться.

Но поедem дальше.

В путешествиях (и на гастролях) я неоднократно замечал, насколько благодатно действуют на нас порою те детали и не крупные подробности, которые нам попадают совсем случайно и никак не относясь к тем грандиозностям, ради которых мы поехали. Возможно, это чисто личное, но я ведь и пишу о чисто личном.

Резкие перепады настроения – от радостной приподнятости до глухой тоски внезапной – были мне свойственны всегда, причинами бывали мелочи, настолько незаметные, что я не успевал их осознать. А если успевал, то неизменно поражался мизерности и пустяжности тех обстоятельств, что меняют настроение так радикально. Помню, как однажды я приехал в город Бонн, где через час мне предстояло выступление в недавно здесь возникшем Женском музее. Я ожидал какой-нибудь эротики, но залы крохотного юного музея густо пахли оголтелым феминизмом. Так, одна из комнат была вся заполнена изысками на тему мягкой мебели, исполненной из мужской одежды и так ловко скомпонованной, как будто это были не диваны, кресла и пуфики, а некие удобно скорчившиеся мужики.

Музей был ещё наполовину пуст (я говорю об экспонатах), а фойе, где уже стояли стулья и мой стол с микрофоном, – тоже пустовало (тут я говорю о публике). Две устроительницы жарко обещали, что, несмотря на полное отсутствие рекламы и оповещения (что-то там у них не получилось, кто-то их подвёл и вообще, экономический упадок), всё-таки придёт человек тридцать. Но не сразу, извините и пойдите погулять. И я пошёл. А к тому дню уже я здорово поездил по Германии, мне завывать мои стишки весьма обрыдло, и это явно обвалившееся выступление вогнало меня в дикую тоску. Я потому сейчас и вспоминаю полчаса того гуляния, чтоб аккуратно перечислить мелочи, вернувшие меня обратно в дивное расположение души. Во-первых, во дворе стояла современная скульптура: три вертикально укрепленные и безобразно искореженные полосы строительного железа. Сколько помнится – «Подруги» называлось это дикое сооружение. «Есть женщины в русских селеньях», – вспомнил я меланхолически, и мне немного полегчало. А в торце музея приютилась лесенка, ведущая прямо со двора на второй этаж. Огромный около неё плакат всем сообщал, что здесь располагается городское общество лесбиянок. И пунктуально добавлялось, что это общество – «с ограниченной ответственностью». Со двора на улицу я вышел уже слегка посвежевший. Тут я уткнулся в пивную – закусочную с названием «Сократ-1», а метров двести пробредя, нашёл такую же под вывеской «Сократ-2». На перекрёстке голову задрав, я обнаружил, что гуляю по просторной и уютной улице Адольфштрассе. В честь какого Адольфа была некогда названа эта улица, сомнений не было, но здесь никто не помышлял переименовывать привычные названия. И больше, видит Бог, ничего со мной за эти полчаса не случилось, но в музей вернулся бодрый и подтянутый израильтянин, из которого так и сочились радость бытия и путешествия. Этот кураж немедля и естественно перехлестнулся на собравшихся (откуда они взялись – явно удивило устроительниц), и вечер удался.

А кстати, восхитительный кураж, который в нас играет накануне путешествия, точнее – в самом его начале, очень способствует поступкам странным и порою неожиданным для самого себя. Я до сих пор горжусь и вспоминать люблю, как мы с женой летели самолётом российской компании Трансаэро, и предстоящим гостеванием в Москве были взволнованы и радостно возбуждены, а тут подъехал ящик на колёсах, но давали только сок и воду. Мы уже летели минут сорок, в это время все компании давали и спиртное.

– Девушка, – спросил я у стюардессы с вежливым достоинством, – а где же выпивка?

– Вино сухое белое и красное, – ответила она, как автомат, – будет предложено к горячему питанию.

– Ласточка, – сказал я тихо и внушительно, – если сейчас вы не дадите выпить, дальше я не полечу.

Стюардесса крутанулась вокруг себя от удивления и возмущения, хотела засмеяться этой шутке, но подумала, что вдруг это не шутка, посмотрела на меня внимательно и длинно, упорхнула и вернулась с выпивкой. Жена даже не успела обругать меня, и я поэтому с ней честно поделился.

Я очень люблю истории про оговорки и ошибки гидов. Как-то в Киеве мне рассказали про экскурсовода, любящего точность и детальность. Было это в глухое советское время, за такую оговорку запросто его могли уволить, если не похуже. Жарко повествуя о древности, он сказал, что в это время Киев часто разоряли печенеги.

– Налетали они каждый раз, – добавил он и показал рукой, – оттуда вон, со стороны обкома партии.

А мой приятель Игорь Марков ездил на экскурсии с женой – она прекрасно ориентировалась в географии различных городов и говорила ему, когда начать взволнованный рассказ о месте, в котором они остановились. Шла она впереди группы, и была у них система знаков – что и где повествовать. В одном из переулков Парижа он получил условленное сообщение, что здесь был некогда застрелен атаман Петлюра. Он убит был молодым евреем, мстившим за гибель близких при погроме в их местечке: конница Петлюры ворвалась туда, пылая боевым азартом. И французский суд убийцу оправдал. Экскурсовод был говорлив и эмоционален: лилась кровь, сбегались люди, бледный молодой еврей стоял, сжимая пистолет – столпившиеся экскурсанты жарко волновались, чуть ли не воочию переживая давнюю историю. Но тут к экскурсоводу подошла жена и что-то виновато прошептала ему на ухо. Ни тон его не изменился, ни запал, но продолжать решил он на ходу, и группа потекла за ним, ловя дальнейшее повествование. А ему, бедняге, отойти хотелось поскорей, его терзала совесть профессионала, что такую он завёл возвышенную речь совсем не на том месте, где студент убил Петлюру. Первый раз жена ошиблась в географии и так не вовремя покаялась в ошибке.

Я понимал его желание уйти с этого места поскорей: и у меня такое побуждение частенько возникало там, где я показывал заведомый (хотя и ненарочный) исторический фальшак. У нас ведь некогда здесь побывала ярая неистовая христианка царица Елена, мать императора Константина Великого, давшего легальность христианству. А она – спустя три века после тех евангельских событий – принялась искать свидетелей распятия Христа. И отмечать места, которые с ним были связаны. А так как она щедро и безоговорочно платила за каждый факт и каждую историю, то от свидетелей и знатоков – отбоя не было. Мгновенно отыскиались даже три креста – один святой и два изпод разбойников. Поэтому всё то, что здесь показывают впечатлительным туристам – довольно часто и сомнения не вызывает, ибо никакого нет сомнения, что это и по времени не то, и расположено не там. Однако трогает сердца ничуть не меньше.

А игра такая – и впоследствии веками продолжалась. Так, например, могила царя Давида в Иерусалиме расположена в монастыре времён крестоносцев (как не позже), но несоразмерность в тыщу с лишним лет никого не тревожит. Даже самих верующих, кстати. У какого-то достопочтенного рава спросили как-то, не беспокоит ли его, что царь Давид покоится с очевидно не в этом месте благоговейного поклонения посетителей.

– Отнюдь, – ответил рав спокойно и находчиво, – если такое количество евреев уже столько лет сюда приходит, то царь Давид наверняка уже сюда перебрался.

Я как-то тут стоял с Зиновием Ефимовичем Гердтом, тихо что-то повествуя, когда вышел из толпы молившихся довольно молодой еврей в кипе и лапсердаке, направляясь прямо к нам.

– Я извиняюсь, – вежливо спросил он у меня, – это действительно артист Зиновий Гердт?

Я ошарашено кивнул. Тогда он обратился к Гердту с просьбой об автографе. И вытащил блокнот и ручку.

– Я с удовольствием, – сказал Зиновий Гердт, изысканно изобразив религиозное сомнение, – а Додик не обидится?

Но в блокноте расписался, и мы с ним отправились наверх.

А прямо над царём Давидом (над его, точнее, могилой), на втором этаже монастыря образовалось в некие незапамятные времена столь же достоверное место, где, оказывается, Иисус Христос сидел с апостолами на Тайной Вечере. И многие десятилетия течёт сквозь эту комнату поток христиан, благостно поющих славословия и гимны.

Тут я вспомнил дивные слова, когда-то сказанные замечательным одним художником российским. Он совсем не циник, но настолько ошалел, помпейские увидя фрески, что когда они Помпею покидали, жарко и восторженно с женою поделился:

– Слушай, ведь какое счастье, что Везувий извергался! Мы ж могли всё это не увидеть!

А теперь я ненадолго отвлекусь на очень важную особенность устройства нашей любознательности к миру. С азартом отправляясь в путешествия, оцениваем мы весьма невысоко те познавательные радости, что нас напрасно ждут в родных местах. Я много лет довольно много ездил по России, и в любом из городов отыскивал музеи, по которым с удовольствием шатался. А в Москве я тоже навещал музеи, но особо часто – Третьяковку, ибо живопись давно уже люблю. Так вот ходить туда – я сразу перестал, как только поселился от неё через дорогу. И однажды это с удивлением заметил. Но пойти ещё два года не собрался. А как только переехал – вновь завспоминал и вскорости пошёл. Такой вот феномен. И потому отвлёкся я, чтоб лишний раз упомянуть: мне посчастливилось остаток жизни коротать в великом городе, и я об Иерусалиме собираюсь рассказать загадочное нечто и известное не слишком.

Мы спокойно ходим по узким улочкам Старого Города, вяло вспоминаем что-нибудь из той лапши, которую нам вешали на

уши, когда мы только что приехали, спокойно и почти что равнодушно – словно стены комнаты, где мы живём – окидываем взглядом исторические всякие места, и даже тень волнения душевного давно не посещает нас. А между тем, Иерусалим – единственный в мире город, имя которого есть в перечне острых психических расстройств: иерусалимский синдром. Среди паломников, стекающихся в этот Город с самых удалённых уголков планеты, он встречается настолько часто, что уже описан психиатрами как уникальное (короткое, по счастью) душевное заболевание. В больнице Кфар-Шауль уже лет двадцать пять есть специальное отделение, где быстро и привычно лечат бедолаг, свихнувшихся рассудком от нахлынувшего в душу их восторга. Человек пятьсот за это время здесь перебивало. Были среди них пророки Даниэль и Элиягу, Иоанн Креститель (тоже не один), дева Мария, царь Давид и даже Сатана. А вполне здоровый (до приезда к нам) американец ощутил внезапно здесь, что он – Самсон, и взят был санитарями возле Стены Плача: он пытался сдвинуть многотонный каменный блок, поскольку тот стоял неправильно и не на месте. А когда его уже в больницу привезли, врач попытался возвратить его в нормальное сознание простейшей логикой: Самсон ведь не бывал в Иерусалиме. Но Самсон не внял словам врача, он выставил окно и выскочил. Но убежал недалеко и на автобусной возле больницы остановке ожидал автобуса, чтобы вернуться и доделать начатое. За ним было послали дюжих санитаров, только опытная медсестра сказала, что она всё сделает сама. И подойдя к нему, она сказала: «Господин Самсон, уже вы доказали только что, что вы действительно Самсон, теперь вернитесь ненадолго, вам необходимо отдохнуть». Такую логику Самсон воспринял и послушно возвратился. А уже через неделю сам не помнил, что с ним именно происходило.

Сапожник из Германии давно мечтал сюда приехать, чтобы тихо и смиренно поклониться всем святым местам. Однако же приехав, громогласно и прилюдно объявил, что он на самом деле – свыше посланный пророк по имени «Святой сапожник» и принялся провозглашать и проповедовать основы той морали, что забыли грешные обитатели нашего города. Тут я подумал мельком, что отчасти прав этот бедняга, но не будем отвлекаться от сюжета.

Тихая немолодая шведка (по профессии – учительница и психолог), только что вступивши в Старый Город через Яффские ворота, замерла от ужаса: на крыше дома через маленькую площадь от неё – стоял и улыбался дьявол. Вмиг переместившись с крыши вниз, он принялся входить в людей и выходить из них. Шведка ощутила в себе дикую божественную силу, чтобы побороться с ним, и с криками набросилась на окружающих. А полицейского, пытавшегося задержать её и образумить, – она чуть не задушила, ибо именно в него укрывался в ту минуту дьявол.

А другая женщина вполне спокойно две недели путешествовала по Израилю в составе группы, а сорвалась – сразу по приезде в Город. Вдруг она исчезла из гостиницы. И только через двое суток обнаружили её, точнее – необычным образом она сама внезапно объявилась. Без еды и питья она два дня бродила по улицам, разыскивая Иисуса Христа, поскольку явственно почувствовала (было озарение), что именно она – его невеста. Она всё время слышала его голос и отвечала ему. А на исходе вторых суток этот голос ей сказал, что ведь она, по сути, – голубь, и пускай она летит на небеса. Подумав (рассудительно и здраво), что одежда помешает ей взлететь, она разделась и неслась по улице, размахивая руками. Только тут её и обнаружили.

Ну, о Мессиях нечего и говорить – они являются так буднично и часто, что врачам, мне кажется, уже не интересно содержание их кратковременного бреда, их немедленно и успешно лечат. Но бывают свихи необычные: один паломник ощутил себя внезапно – ускорителем земной истории. Он призван был разрушить несколько святых исламских мест, чтоб вызвать битву Гога и Магога, а затем – приход Антихриста, чтобы вслед пришёл Мессия. Был задержан при попытке поджигания мечети.

Даже гиды по Иерусалиму знают основные признаки душевного смятения от встречи с уникальным городом. И если человек обособляется от группы, проявляет явную нервозность, прикупает белую одежду (или сам её себе сооружает из гостиничных пододеяльников и простыней), с повышенным ажиотажем исполняет гимны и псалмы – тут можно ожидать и срыва. А дальше – спутанная речь, невнятное сознание и жаркие порывы громогласно проповедовать мораль. Не более недели тратят психиатры на лечение паломников, чьи души и рассудок отравляются восторгом после встречи с нашим городом. А мы, туземцы, преспокойно и нелюбопытно бродим по местам, таящим столь могучее духовное излучение.

Похоже, я распелся чересчур. Но очень уж приятно похвалиться обаянием тех мест, где пребываешь буднично и запросто. Вернусь я к теме.

Ещё дивные случаются и разговоры в путешествиях. Порой такие, что жалеешь позже: почему ты, идиот ленивый, их не записал тогда на месте? А потом уже возможен только пересказ. Так было у меня однажды в Саарбрюкене. Представьте себе: юг Германии, в квартире небольшой пируют за столом два пожилых еврея и хозяйка. В недалёком прошлом – двое ленинградцев и один москвич. Уже в этом лёгкая содержится подсказка, только всё же попытайтесь угадать – о чём они беседуют сейчас? Я голову на отсечение даю – не угадаете. Хозяин дома этот разговор затеял, он сейчас экскурсовод, и много ездит по Германии. А разговор – о жизни и судьбе Дантеса. Поскольку тут неподалёку, в Сульце – родовое их имение.

Дантес, вернувшись из России, вскоре занялся политикой. Чутьё, сноровка, деловая хватка – стал он мэром города, потом его избрали даже в Учредительное собрание Франции. Ему нисколько не мешало, что иначе как «убийца» литераторы парижские его не называли. Это даже выделяло его и способствовало заметности. Как точно сформулировал Проспер Мери-ме, сказавши как-то, что Дантес «принёс смерть Пушкину, а Пушкин принёс ему бессмертие». Тут моя душа российского еврея не могла больше терпеть, и я спросил – неужто никакое воздаяние его по жизни не постигло? Всё-таки постигло, мне ведь потому так и запомнился наш тот вечерний разговор, я раньше этого не знал. Дантес очень любил свою младшую дочь, она росла слегка подвинутой в рассудке. И – чрезмерно эмоциональной и чувствительной. Она боготворила в этой жизни – русского поэта Пушкина. И комнату свою в подобие часовни обратила, где иконой пушкинский портрет висел. Она молилась на него. Отца она убийцей называла, избегала с ним общения и вообще его существование в упор не замечала. Это длилось несколько десятков лет. И умерла она, когда Дантес ещё был жив.

Такой был разговор у нас, а про несчастную Россию мы в тот раз совсем не говорили, что довольно странно для немолодых евреев – россиян, собравшихся для тесного душевного общения.

Редкостно везёт, конечно, тем туристам, кто наткнулся по случайности на старожила местного пространства. Тут услышать можно дивные истории, такие ни в одном путеводителе не сыщутся. Мой друг однажды был в Кижях – в расположившемся на острове музее старой деревянной архитектуры. Там церкви есть и несколько жилых домов. В одном из них экскурсовод им повестнул, что от печи под общие полаты здесь идёт искусно сделанный воздухопровод, и зимою лютой на полатах спать очень тепло. И вся огромная семья здесь спит вповалку. Друг мой, человек с воображением, себе немедленно представил, как сыновья с их жёнами, и дочери с мужьями, да включая холостых и незамужних, могут спать совместно. Получалась очень тяжкая картина неминуемого свального греха. Тем более что ночь глухая, да ещё и выпившие все. Спросить экскурсовода было неудобно, и к тому же явно бесполезно: очень был советской выучки товарищ. Тут мой друг сообразил, что возле входа в дом сидевший старикан вполне мог оказаться старожилом этих мест. И смылся от экскурсии наружу.

Довольно дряхлый дед ещё сидел на стуле около крыльца и медленно смолил махорочную самокрутку.

– А вы, отец, – спросил его мой друг, – давно ли тут живёте?

– А всегда, – приветливо откликнулся старик.

И тут заезжий фраер мягко и тактично изложил, что именно его интересует в личной жизни обитателей такого дома. Он запинался и слегка неловко себя чувствовал. Старик, однако же,

спокойно объяснил, что спали чуть поодаль друг от друга, и что нравы были строгие, но те, которые ходили ещё в девках – те ложились в валенках, чтоб их на всякий случай даже в темноте немедля можно было опознать.

У фраера заезжего ещё сильнее разгорелось любопытство, и спросил он: как же, если девка по беспамятству или, к примеру, опьянев, без валенок залезет на полати?

И тут помолодел старик, и блёклые глаза чуть заблестели, и с большим достоинством сказал он:

– А всенепременно уебут!

Мне в Казани как-то повезло со старожилом. А возможно, в Нижнем Новгороде это было – просто с Горьким оба города так тесно связаны, что точно я уже не помню. Но в одном из этих городов – штук пять попало нам подряд мемориальных досок, что работал буревестник революции когда-то в этом доме. Я спросил, естественно, откуда столько мест, где протекала трудовая юность пролетарского писателя, и замечательный ответ услышал:

– Да работал он хуёво, отовсюду гнали.

Но необходимо тут заметить, что и обольщаться при общении со старожилами – отнюдь не следует. Особенно, если такой туземец – ваш экскурсовод. Его обязанность – не только сообщить вам информацию, но и доставить по возможности приятность, тут и следует не впасть оплошно в некое очарование напрасное. Об этом я вам на простом примере расскажу.

Приехал как-то в Иерусалим какой-то видный посетитель из Москвы, и Саша Окунь был к нему (и лицам из сопровождения) – приставлен, чтобы разговор переводить. Всю их компанию вёл по Старому городу главный смотритель этого древнего великолепия, водил он самолично – только очень выдающихся гостей. А когда возле Стены Плача его спросили – правда ли, что посланные отсюда записки (вложенные в расщелины между камнями) достигают Бога, он медлительно и важно сообщил, что вот недавно он водил тут кандидата в президенты господина Джорджа Буша-старшего. Всё это было прямо накануне избирательной кампании, и вполне поэтому ясно, какую записку вложил этот Буш в Стену Плача. И вот, пожалуйста – он президент Америки теперь. И все восторженно заохали, запричитали, принялись искать бумагу и готовить ручки, а смотритель отвернулся в сторону слегка и доверительно сказал Саше Окуню:

– Я и соперника его сюда водил, он тоже оставлял записку.

Из далёких странствий возвратившись, путешественники пылко врут. И здесь не их вина, а тех друзей и близких, что кидаются толпой на выпивку по случаю приезда и галдят: ну, как там было? Что ты видел? И рассказывай подробней! А при этом выпивают и закусывают, будто со вчера во рту росинки не было, и хищно смотрят на тебя. Но цель и смысл любого путешествия (а потому – и содержание его) – лишь череда различных впечатлений. Это чувства, ощущения, мелькание случай-

ных настроений, удивлений и восторгов, задохнувшиеся в горле восклицания. Ну, то есть то как раз, что невозможно передать словами. Тут и начинается враньё. Без умысла, а в горестных попытках передать очарование, остоленение, оцепенение и нечто, что захватывало дух. Вот, например – пещера в Турции, её недавно обнаружили и наскоро открыли для туризма. Сталактиты там свисают – как огромные мечи и зубы, а растущие повсюду сталагмиты – нежные и разных обликов хуйки. А каменный раствор, который за столетия натёк на стены – он то хоругви и знамёна более всего напоминает, то причудливый орган барочный, то роскошные и вычурные башни фантастических средневековых замков. Как это возможно рассказать? А как возможно объяснить те чувства ностальгии, удивления, симпатии, которые нахлынули вдруг на меня, когда стоял я перед памятником Ленину в американском городе Сиэтле? На побережье Тихого океана, между прочим. А покуда я курил и пребывал в ошеломлении от собственных переживаний, мне повествовали поразительную, чисто американскую историю. Чудак какой-то этот памятник привёз аж из Словакии. А восемь тонн он весит. И поставил его где-то на дворе этот чудак, чтоб любоваться им с террасы, попивая виски. Постепенно памятник стал в землю уходить под собственной тяжестью. А тот чудак – разбился в автокатастрофе. И тогда купил Ульянова владелец ресторана – чтобы посрамить коллег и конкурентов. Но вмешались городские власти: этот памятник являлся, по их мнению – наглядной пропагандой коммунизма. Но владелец ресторана гениально их перехитрил: он заявил, что памятник поставлен на продажу. А торговля – дело частное, святое, и объект продажи – неприкосновенен. Так что есть у Ленина цена – притом такая, что любой желающий немедленно уходит. И незыблемо стоит Ильич уже немало лет. Возле него свидания порою назначают, и цветы лежат на постаменте. А бронзовой фигуры сбоку – то ли там штыки, то ли знамёна, да и сам Ильич так устремлён вперёд, как будто в светлое грядущее идёт, которое, всем нам на радость, не случилось.

А кстати, много из того, что было в прошлом, тоже вспоминается впоследствии как некое куда-то путешествие, где дивные случались приключения. Сегодня мне таким как раз и видится тот год, когда я после института оказался далеко от дома. По Башкирии водил я грузовые поезда, и был я – машинист электровоза (очень уважаемая в те поры профессия и должность). По субботам машинисты с их помощниками (те, кто не был, разумеется, в поездке) собирались в роще под посёлком Дёма (от Уфы недалеко), и сотворялся некий карнавал с заведомо известным расписанием. Рассаживались чуть поодаль друг от друга две большие группы, разделявшиеся по гастрономическим пристрастиям. А разница – она вся состояла в том, что в пятилитровый бидон с пивом заливала одна группа – туалетную воду «Сирень», а вторая группа – «Ландыш». Большие

пузырьки с этой водой свободно и задёшево приобретались в любой аптеке, а в воде той (кроме химии с цветочным запахом) – большая доза спирта содержалась. Я не поручусь, что питьевого, но тогда нас это мало волновало. Содержимое бидона непрерывно пополнялось, а по ходу выпивания говоруны из каждой группы издевались над соседней за позорность вкусовых пристрастий. И часа примерно через два полемика переходила в драку. Возвращались мы толпой уже единой, крепко освежённые и со следами битвы почти все. А если праздник очень удавался, то бывали даже выбитые зубы. Пострадавший непременно заявлял, что этот зуб был всё равно гнилой (чем понижалось достижение противника). Сегодня и понять я не могу, зачем я принимал участие в тех богатырских играх, только чувством путешествия возможно это объяснить.

Конечно, возраст изменяет наше восприятие, однако же – меняются порою и места, где мы бывали раньше и теперь приехали опять. Давным-давно когда-то были мы с женой в пещерах Киево-Печерской Лавры. А тогда они музеем были, и лежали там открыто щуплые тела Божьих угодников – монахов, которые по смерти не истлели, а высохли до вида мумий. Кожа (а порой и волосы) на головах у них была сохранна, а тела были прикрыты, но торчали руки – с кожей, столь же сохранившейся. До вида жёлтого пергамента она только усохла. Через три десятка лет я посетил эти пещеры снова. Но теперь они уже принадлежали церкви, мумии угодников под вышитыми покрывалами хранились, их уже увидеть было невозможно, разве что – поставить свечку, ибо они разное помогали от телесных всяческих недугов. Я полюбовался ростом Ильи Муромца былинного (он тоже там лежит, а был он – 177 сантиметров, что изрядным почиталось в его время) и благоговейно (чуть не написал – коллегияльно) прикоснулся к покрывалу летописца Нестора. Уже собрался уходить, когда увидел в полутёмной нише множество больших стеклянных банок, в каждой из которых ясно различалась небольшая голова, точнее – череп с жёлтой кожей. Это оказались головы подвижников, которые при жизни отличались такой святостью и верой, что уже многие столетия их черепа источают благовонное масло. Так они и называются – мирроточивые головы. Библейское мирро, как всем известно, – это масло, добываемое из растений. В христианской практике оно на букву сократилось и готовится из местного растительного масла с добавлением ароматных веществ. А помазание сей жидкостью с молитвой специальной – благодать дарует и способность жить по-христиански. Это самое миро – сочится уже многие века из тридцати двух черепов давно усопших угодников. А чудес на свете нет, как всем известно, только всем опять-таки известно, что они случаются. Я, например, к разряду чуда отношу не факт мирроточения, а то, что при советской власти его не было. А кончилась она, и чудо вновь возобновилось. И приставлен к этим банкам

специальный тут служитель, чтоб вычерпывать без перерыва натекающую благодать. А про её целебность – уже многие века легенды ходят.

Долго я стоял, на это глядя. Боже упаси, не Емельян я Ярославский (хотя мы почти однофамильцы – он ведь Губельман), чтоб сомневаться в таинствах любой религии, мне просто интересно очень было. Но никак одну историю не мог не вспомнить. Полтора века назад (за год накануне Крымской войны) стоял на этом месте самодержец всероссийский Николай Первый. И спросил он у сопровождавшего монаха:

– Скажи-ка лучше, ты когда последний раз подливал масло вон в тот череп?

И монах (царю ведь не стемнишь) ответил огорошено:

– В пятницу, Ваше Императорское Величество.

У каждого, кто много ездит, появляются любимые места, которые с большой охотой навещает он опять и снова. У меня есть два таких, и это странные, нисколько не туристские места. В Самаре уже трижды приходил я в бункер Сталина. Это загадочное место: здесь моя душа преисполняется каким-то смутным, неисповедимым чувством. Я здесь ощущаю дух империи, давным-давно уже (какое счастье!) канувшей в небытие. Это нора почти что в сорок метров глубиной – двенадцатизэтажный дом, если не больше. А похоже – на тоннель метро, сооружённый вертикально. И в такие же стальные кольца намертво, непроницаемо заключена эта гигантская дыра в земле. Два лифта (друг за другом вслед) возносят или опускают посетителей. На самом нижнем этаже воспроизведен кабинет генералиссимуса в Кремле. И даже несколько дверей (он обожал непредсказуемое появление) там тоже есть, хотя работает всего одна, а остальные – фальшаки. И зал для совещаний – копия, и карта сохранилась во всю стену. Множество подсобных помещений: тут и кухня ведь была, и комнаты obsługi и охраны, и механизмы вентиляции, не говоря уже о генераторе для собственной системы освещения. Продуктов было – на пять дней для нескольких десятков человек. Сейчас в тех комнатах, которые открыты – только фотографии по стенам: тот безумный воинский парад, когда на волоске висела вся дальнейшая судьба страны. Какое-то немыслимое сочетание величия с убожеством витает в этом логове, которое трусливому хозяину не пригodiлось. Ещё порядком это впечатление усугубляют дюжие экскурсоводы, у которых внешность – сильно не музейная, и не оставляет никаких сомнений их былая принадлежность к ведомству охраны, пресечения и соблюдения военной тайны. С гордостью они рассказывают, что в начале войны в Самаре (Куйбышев она тогда была) такой же состоялся воинский парад, как и в Москве – на страх и удивление посольствам тех держав, что наскоро сюда перевелись. И что начальства было здесь в ту пору – видимо-невидимо, поскольку соби́рался тут укрыться штаб ведения войны и сам верховный полководец.

Построили эту нору – за считанные месяцы вручную – человек шестьсот привезенных сюда в глубокой тайне метростроителей со стажем, опытом и чистотой анкеты. Ни единого из современных механизмов там не применялось – только древний ворот (как повсюду – на колодцах) поднимал бадьи с землёй. К тому же рыли – прямоком под зданием обкома партии и горсовета (частная была там раньше школа музыкальная – добротный дом). О том неслыханном труде нет ни единого воспоминания – я знающих людей просил это проверить. Ни единого. И я не удивился бы, узнав, что расстреляли их потом (поскольку просто в лагере – могли бы проболтаться). Только очень может быть, что уцелели – потому что знать не знали, куда именно их привезли. Они вкопались в землю в день приезда, и все месяцы работы там и жили, а в каких условиях – не хочется себе и представлять. Во всяком случае, они не появлялись в городе. А после, взяв подписку о секретности строжайшей, их могли обратно привезти. И я на этой версии остановлюсь, мне так душевно легче. Только всем этим проектом пристально и лично управлял Лаврентий Берия – вот откуда горестные подозрения мои. Я думаю об этом всякий раз, когда оказываюсь под невидимой и дикой толщины плитой, которая была положена, чтобы укрыть подземный бункер от любых бомбёжек – даже и от газовой атаки.

И похожее – по некоему смертному очарованию – нашёл я место в солнечной и жизнерадостной Сицилии. В Палермо. Это было подлинное кладбище, но только – расположенное под землёй. Под зданием довольно древнего монастыря монахов-капуцинов. И покойники там не в земле лежат, а выставлены напоказ. Шесть тысяч их – в одежде своего столетия и выставленных стоя или лежа открыто на широких деревянных полках. В конце шестнадцатого века некий местный врач изобрёл простой и быстрый способ бальзамирования умерших: какие-то он впрыскивал им химикалии. А сам он вскоре умер тоже, и секрет унёс с собой в могилу, но идея сохраняться после смерти – капуцинам очень по душе пришлась. И множеству других, кто побывал на этой выставке покойников. Им тоже захотелось после смерти не в земле лежать, с годами обращаясь в голые кости, а в почти сохранном виде, в собственной одежде быть доступными для посещения потомками. И немедля отыскался новый способ консервации: покойника погружали в раствор мышьяка (потом он заменился известью), а вытацив, сушили восемь месяцев в холодной камере. А после мыли в уксусе и надевали его личную одежду. В катакомбах под монастырём, в нескольких огромных залах, под высокими сводчатыми потолками – тянутся и тянутся ряды этих разряженных скелетов. Женщины одеты в шелковые платья с кружевами, в чепчиках и шляпках, а мужчины – в одеяниях, названия которых разве что в истории костюмов можно отыскать. Наполеоновский солдат, к примеру – он в мундире, голова его покрыта треуголкой, на ру-

ках – перчатки, белые когда-то. Там залы для монахов-капуцинов (в балахонах с капюшонами они стоят или лежат), а зал отдельно – для священников, а в зале светских обитателей – учителя, врачи, художники и адвокаты, офицеры и какие-то ещё профессии. У многих сохранилась кожа на лице и на руках, а то и волосы остались (три покойника отдельно вынесены за стекло – они как будто спят, настолько всё у них сохранно), большинство, однако – просто-напросто одетые скелеты.

Страшновато, я не спорю. Две минуты выдержала там моя жена. Потом ушла, сказав мне замечательную фразу:

– Только умоляю, ничего не трогай здесь.

Я засмеялся, первое оцепенение прошло, и я пошёл шататься между этими рядами. Кое-где остатки живописи виделись на стенах, только за четыре века сильно заселились эти катакомбы, и свободных мест почти что уже не было. И от желающих захорониться так же – до сих пор отбоя нет. Сюда можно попасть лишь с разрешения высших приоров ордена капуцинов. Я ходил и думал, что ведь это – уникальный памятник нашему яростному и неистребимому желанию хоть как-то после смерти сохраниться. И в любом, даже кошмарном этом виде – но остаться на земле.

А после это странное кладбищенское обаяние внезапно совместилось с именем, никак не относящимся к Сицилии. Тут побывал когда-то итальянский поэт Ипполито Пиндемонти. Под впечатлением от этих катакомб он написал поэму, посвящённую тому, что он увидел тут, и вообще – о жизни и о смерти. Городские власти именем его назвали улицу, ведущую к монастырю. Теперь я понял, почему таким знакомым показался мне адрес монастыря. У Пушкина стихотворение, написанное незадолго до дуэли, так и называлось – «Из Пиндемонти». Я слова из этого стихотворения твердил когда-то наизусть, так поразило и очаровало меня пушкинское вольное дыхание. И вот такая странная образовалась связь, что я туда ещё раз обязательно хочу приехать.

Кстати говоря, из подземелья этого по каменной недлинной лестнице поднявшись, выйти на прогретый солнцем свежий воздух – тоже радость далеко не из последних.

Стоит, несомненно, стоит путешествовать. Наперёд не зная, что увидишь – даже лучше. Лишь бы этого хотелось. У меня одна знакомая работала когда-то в Эрмитаже. И сидела там недолго за конторкой возле входа, отвечая на вопросы, где и что. И подарила ей судьба один роскошный диалог с пришедшей парой:

– Вот мы купили билеты и не знаем, что смотреть.

– А что вас интересует?

– А нас ничего не интересует.

Про такое состояние души мне замечательно сказала одна ветхая старушка:

– Чем так жить – лучше, не дай Бог, умереть.

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА.

1

Наверняка понятие «негритянская работа» некогда возникло у литераторов. И как-то очень прочно утвердилось в языке. Некто что-то сочинил, но появился этот плод труда и вдохновения под именем того, кто оплатил работу. За множество политиков писали книги нанятые ими литературные рабы, а негры, писавшие за советских вождей, вообще были часто хорошо известны. Мне рассказывали как-то (байка устная, за достоверность не ручаюсь), что в Тарусе жили сразу несколько известных борзописцев негритянской ориентации, им заказывали и журнальные статьи, и книги, это были мастера на все руки, тайна сохранялась свято. Очень я обрадовался, где-то прочитав недавно, что работал негритянские труды Андрей Платонов, и что многие переводы с китайского заказывала неграм Анна Ахматова (платили ей достаточно повышенную ставку, чтобы гонорара всем хватило). Список этот можно долго продолжать. И ещё везде, повсюду обитали в моё время молодые востроглазые ребята (преимущественно – с длинными носами и в очках), писавшие чужие диссертации на любую заданную тему. Я сам знал нескольких таких, а было их – число немыслимое. И по всем республикам империи отменно защищались эти диссертации, плодя доцентов и профессоров.

Если чуть понятие расширить в смысле жанра негритянского труда, то я вступил на эту скользкую стезю ещё на первом курсе института. Шёл зачёт по физкультуре, надо было на одних руках подняться по канату – метра три, не Бог весть что, но двум моим приятелям это оказалось не под силу. А физкультурный педагог не знал нас – подменял коллегу, так что смухлевать труда не представляло. Я сдал своё влезание одним из первых, обождая немного и пошёл опять, назвав фамилию приятеля. Физрук кивнул мне подбородком на канат, я под него улёгся – поднимались с пола, и немедля услышал:

– Иди обратно и не суйся. За других чтобы сдавать, меняй трусы и майку.

Я конфузливо поднялся, а физрук добавил, вызвав общий хохот:

– И лицо.

Я бы забыл, конечно, этот первый опыт негритянства, но спустя лет восемь старший брат мой попросил, чтобы я сдал экзамен по математике за его приятеля, мучительно одолевавшего заочный политехнический институт. Я не мог не согласиться, а точнее – согласился с радостью, ибо немыслимый азарт авантюризма сотрясал и мучил в те года мою неустоявшуюся душу. Даже это мелкое мошенничество было мне целебно привлекательно. Только что, кстати, сел за то же самое в тюрьму Саша Гинзбург, но его так неумеренно жестоко покарала Лубянка – за три номера журнала «Синтаксис», открывшего эпоху Самиздата. Я о

такой опасности не помышлял, ибо душой был чист, как дворник Герасим. Я вообще созрел душевно и умственно довольно поздно (если вообще созрел, в чём мои близкие довольно справедливо сомневаются).

На экзаменационную карточку была наклеена моя фотография, и даже печать на ней изобразил какой-то неизвестный мне умелец. Уровень в этом заочном институте был намного ниже нашего, а я когда-то математике учился с удовольствием, поэтому ответил очень бодро на вопросы и решил какую-то задачу (или уравнение, уже не помню). И преподаватель с равнодушным и незамысловатым лицом взял мою карточку и поставил мне четвёрку. Я удивлённо глянул на него, и он мне сухо сообщил:

– Вам этой отметки хватит...

Чуть помедлил и глумливо добавил, глядя на меня и чуть косясь на карточку:

– ...студент Иванов.

Я выскочил, благословляя этого безликого Песталоцци.

И ещё лет десять утекло, и позвонила мне приятельница, Юна Вертман. Театральный режиссёр она была, и помнят её до сих пор ученики, ставшие очень известными актёрами. Сама она успела поставить очень немного, и не только потому, что рано умерла, но как-то плохо она вписывалась в мир советского театра, а водила дружбу – с очень предосудительными людьми. С ней у меня связана память об одном удивительном переживании – я отвлекусь от негритянства ненадолго, очень уж была уникальна та вечерняя ситуация в нашем доме.

Юна как-то позвонила мне: ей надо было где-нибудь погостевать какого-то заезжего приятеля, не сможем ли мы их принять сегодня вечером. Да, разумеется, я встречу вас в метро, незамедлительно ответил я. И побежал в районную кулинарию: мы тогда по бедности кормили всех бифштексами оттуда. Многие ли нынче помнят эти жалкие котлеты из мясных обрезков? А под водку это была царская еда. Приятель Юны оказался только что выпущенным на свободу зеком, а сидел он вместе с Юликом Даниелем, написал о лагере отменную книжку, я горел желанием порасспросить его о лагере подробнее (с ним сидел и Сашка Гинзбург), но не получилось. Часом позже Юны позвонила с той же просьбой давняя моя подруга Люся – к ней тоже приехал какой-то киношник, и ей сегодня вечером с ним было некуда податься. Итак, нас оказалось шестеро, о чём-то мы трепались, выпивая, и вдруг выяснилось, что оба этих мужика – из города Свердловска в молодости. Дальше в разговоре обозначилась ещё какая-то деталь, и вдруг киношник вежливо спросил, не тот ли это самый человек, который некогда был арестован за Самиздат и ухитрился смыться прямо из милицейского воронка. Гость Юны жутко оживился и подтвердил: да, да, менты закрыли дверь как-то неплотно, и он ухитрился выброситься на полном ходу, догадавшись даже взять в руки за-

пасное колесо для умягчения удара о дорогу. И сбежал. Не очень-то надолго, но сбежал.

— А я тогда был в комсомольской дружине и с ментами вместе вас везде искал, — радостно сообщил киношник. Мы оцепенели. Очевидной была неминуемая враждебность жертвы и преследователя, это не вязалось с дружеской попойкой, а что делать, я не знал. Но эти оба вмиг заговорили — и с настолько искренней симпатией друг к другу, что мы только переглядывались в молчаливом изумлении от этого скрещения советских судеб.

Но вернусь я к негритянству. Юна мне звонила с просьбой. У неё была уже на выходе (вот-вот защита) кандидатская диссертация, но выяснилось вдруг, что ей не хватает одной публикации. Их полагалось некое число, в которое засчитывалась даже статья в научно-популярном журнале. А ты ведь, Гарька, пишешь всякую херню в эти журналы, горестно жужжала Юна, ты там знаешь всех, мне срочно нужна статья об актёре Михаиле Чехове, я в тебя верю, ты её немедленно накропаешь, у меня нет ни минуты времени, выручай.

— Но, Юна, — в изумлении ответил я, — дай Бог мне в жизни столько неприятностей, сколько я знаю хоть чего-нибудь о Михаиле Чехове!

— А я тебе прямо сейчас всё расскажу, а ты это обернёшь во что-нибудь научно-популярное, — обрадовалась Юна. И с немыслимым воодушевлением за какие-нибудь минут сорок мне наговорила биографию этого действительно выдающегося актёра и режиссёра. Слушал я с большим вниманием и даже интересом, но никак не мог уловить, как можно это жизнеописание превратить в научно-популярную статью. Уже хотел я малодушно отказаться, только вдруг какой-то хвостик я поймал.

— Когда всё это нужно? — спросил я деловито.

— Позавчера, — счастливым голосом ответила подруга. — До сдачи реферата диссертации остался месяц. Можно два. У тебя есть уже идея?

— Есть только тень её, но этого мне хватит, — ответил я словами, от которых не отказался бы и сам Шекспир. Я очень был обрадован этой смутной тенью. Перечисляя вехи творчества доселе мне неизвестного Михаила Чехова, на пулемётной скорости мне Юна сообщила, что жесты и мимика актёра, по мнению Чехова, рождают в этом актёре соответствующие внутренние переживания. Этого было достаточно для моего спекулятивного мышления. Статью о том, что индийские йоги и великий русский режиссёр Михаил Чехов думали одинаково, я накропал за одну ночь. Во мне играл и пенился азарт мошенника, и я этот азарт изрядно утопил. Всё остальное было делом техники: в журнале «Наука и религия» у меня было достаточно приятелей, с которыми я разговаривал открытым текстом. И статью Ю. Вертман в номер вставили без очереди. Это была подлинная негритянская работа. Что судьба теперь запишет меня в негры прочно и надолго, я ещё не знал.

А в семьдесят втором под осень появился к нам домой писатель Марк Поповский, давний мой приятель – главным образом, по Самиздату. Он задумал написать большую книгу о хирурге и епископе Воино-Ясенецком, человеке поразительном как по таланту, так и по стойкой приверженности вере, жившем в самые что ни на есть советские времена, издевавшем тюрьму и ссылку, но от веры и от сана не отрёкшемся. Марк отыскал его дневники, нашёл воспоминателей, когда-то его знавших лично, и горел от вожделения эту заведомо непечатную книжку написать, чтоб не пропали имя и дела такого человека. Но давно уже висел на Марке договор с издательством (и был уже проеден весь аванс) на книгу о народовольце Николае Морозове. А вы о нём, конечно, Игорь, знаете? Не более того, что он участвовал в убийстве царя и потом чуть ли не три десятка лет просидел в крепости. Немного, но достаточно, чтоб сесть и написать об этом книгу. Весь гонорар за вычетом аванса – ваш, но имя на обложке – моё. Классическая негритянская работа. Вы согласны? Разумеется! Когда срок сдачи рукописи?

И засел я в Ленинку надолго. Я читал журнал «Былое», «Каторгу и ссылку» я читал, и самого Морозова немного (почему немного, станет ясно из дальнейшего), и постепенно в ужас приходил от явственной неисполнимости задачи. Мне предстояло повесть сочинить об основателе и теоретике российского террора, о редакторе первой нелегальной газеты, о великом и – что чудо – состоявшемся учёном возрожденческой разброанности интересов и открытий.

А когда я одолел свой страх и стал писать, то целый год меня не покидало чувство счастья. Потому что годы шли – семидесятые, и ровно век тому назад в России было то же самое. И я не канувшее время восстанавливал, естественно и густо привирая, а писал о том, что понимал и ощущал вокруг себя. Чтоб это пояснить, я напишу немного о Морозове, по праву черпая из той давнишней (тридцать лет уже прошло), непонятно как прошедшей сквозь цензуру книги.

Юный Николай Морозов жадно слушал разговоры взрослых о необходимости Россию как-то переделать. Это было срочно и необходимо. В год освобождения крестьян ему исполнилось семь лет. (Не могу не вспомнить, кстати, что как раз в тот год, когда в России отменили рабство, в Лондоне пошли вагоны первого метро.) Но долгожданные российские реформы – только усугубили и обострили эти разговоры о насущности дальнейших перемен. Реформами остались недовольны все, и все по собственным причинам, и лишь дух отчётливой российской несвободы, дух оставшегося в душах рабства – эти недовольства в нечто общее объединял. Все обсуждали перспективы и возможные пути России, спорили до хрипа и попутно надо всем смеялись.

Но никто, никто, никто, ни единая живая душа, ни единый развитый ум не знали такого единственного, точного и совер-

шенного пути, какой открылся юному гимназисту Николаю Морозову. А дело в том, что он ещё до поступления в гимназию прочёл два старых учебника по астрономии. Потом – брошюру о пищеварении, дыхании и кровообращении. А будучи уже в гимназии, перечитал немыслимое количество книг по естествознанию. Потом он принялся за историю, залпом проглотил несколько трудов об обществе, его устройстве и развитии, и окончательная истина воссияла перед ним немеркнущим и ослепительным светом. Человечество спасёт наука. Лишь она позволит во всём мире (и в России – в частности) установить свободу, равенство и братство. Ибо развитие естественных наук – волшебный ключ к этому тройственному счастью человечества.

И в исполнение этой идеи Николай Морозов принялся себя готовить к равно увлекательным (на всякий случай – двум) и равно благородным профессиям: профессора университета и великого путешественника. Он собрал большую коллекцию окаменелостей разных периодов и даже подарил в московский университет им найденную челюсть плезиозавра. Он часы просиживал над микроскопом, он собрал коллекцию жуков и бабочек, он составлял гербарии, а книгами заставил всё возможное пространство. Накинув по-студенчески на плечи плед, он бегал в зоологический и геологический музеи университета, отрываясь на часы, когда знакомые студенты-медики его брали с собой в анатомический театр. Чтоб не отстать от старших, там он ел и пил с ними вместе.

Николай Морозов (академик будущий) гимназию закончить не успел. Читал он столько, что не мог не выйти на людей, читавших книги и журналы нелегальные. В кружке, куда его позвали, говорили о свободе слова и о долге перед угнетённым и бесправным народом. А про упование на свет науки было даже заикнуться здесь опасно и смешно. Здесь обсуждались только средства пробуждения и возбуждения народа. Сделать это, с несомненностью, обязана была та молодёжь, что получила всё своё образование благодаря народному труду. И медлить было более нельзя, пора было вернуть свой долг. А споры были – только о конкретных действиях. Одни были уверены, что надо жить в народе, просвещать его по мере сил и помогать ему в его убогом прозябании. Другие были полностью убеждены, что народ уже готов к освободительному бунту, надо лишь ободрить и призвать его решиться. Третьи осторожно говорили, что сперва надо пожить в народе, чтоб узнать эту великую загадочную массу вчерашних рабов. И единственное общее из этих споров вытекало: как только наступит лето, надо всем идти в народ. А кружков таких – десятки были, это зримо воплощались в молодёжи всероссийский дух и настроение.

То знаменитое хождение в народ мгновенно завершилось несколькими сотнями арестов, ибо в деревнях и сёлах юных городских смутьянов связывали и сдавали в полицейские участки сами же страдалцы, ради благоденствия которых это за-

тевалось. Молодые люди шли в народ бездумно, вдохновенно, слепо, с полным самоотвержением и пламенной надеждой. Такое только лишь в России и случилось, кажется, за всю историю. А беззаветная и гибельная чистота души пошедших – сопоставима только с полным их незнанием жизни и характера боготворимого народа. И поэтому они так верили друг другу, книгам и статьям, их уверявшим, что необходимо лишь припасть к народу, как Антей – к земле, и все несправедливости и неустройства рухнут сами от такого благотворного слияния.

А в Женеве, между прочим, жил один сбежавший публицист, который всех уже заранее предупреждал, что «нечего обращаться за помощью туда, куда надо, наоборот, протягивать руку помощи». Ткачёв предлагал заговор, захват власти любыми средствами, и только после этого – переустройство. Но сторонников тогда у него было – двое или трое, да и то – включая, кажется, жену. Это лишь потом, потом его прочтёт своими цепкими глазами и его идеи полностью оценит некий неизвестный никому ещё Владимир Ульянов.

Нашему герою посчастливилось: он беспрепятственно уехать смог в Женеву. Там он свиделся со многими людьми, чьи книги и статьи так повернули его жизнь. И в частности – с самим Ткачёвым. Все наперебой пытались убедить его примкнуть к их именно категорическому мнению о способах преобразования России. Тут очень важную особенность Морозова пора упомянуть и описать.

Его всю жизнь любили все, с кем он общался. Не за стати внешние, отнюдь: был он высокий и нескладный, был худым до подозрения в чахотке, и носил очки, а волосы – лохматые до неприличия. Но был он жизнерадостен и весел, был умён и образован чрезвычайно, только знания свои скорей скрывал, чем выставлял наружу; главное же – был он искренне доброжелателен ко всем подряд и обо всех он без разбора отзывался в превосходной степени. И дух беспечности (однако же, ничуть не легкомыслия) витал вокруг него и благотворно действовал на окружающих. Кроме того, он постоянно был в кого-нибудь влюблён, и это чувство счастья (во взаимности оно несколько не нуждалось) – тоже очень действовало на людей. Поэтому его и звали все всегда – примкнуть и разделить участие.

А он в Женеве мучался ужасно. Ибо пару раз сходил на лекции в университет, и вновь его свирепо потянуло стать учёным. Только мысли об оставленных друзьях, уже в тюрьме сидевших, боль за них – родили в нём идею, показавшуюся юному Морозову – высоким шепотом судьбы. Если он борьбу за русскую свободу бросит и оставит именно теперь и здесь – такой бы это подлостью явилось, трусостью и мерзостью, что и в науку незачем идти – природа не раскроет свои тайны человеку, столь ничтожному душой и совестью.

И раздарил Морозов свои вновь накопленные книги, документы ему сделали отличные, а деньги на билет нашлись у та-

мошней студентки Веры Фигнер (Боже, как он был в неё влюблён! И почему-то все об этом знали).

Взяли его прямо на границе – по случайности нелепой. Документы заподозрили в подделке, пару дней он отпирался, но грозили посадить проводника-контрабандиста (дома – шестеро детей), и сдался Николай Морозов и себя назвал. А числился он в длинном списке возмутителей, смутьянов и преступников. И таким образом, впервые он попал в тюрьму двадцатилетним.

В ожидании суда почти три года он провёл в одиночной камере Дома предварительного заключения. Для таких, как он, и было выстроено это историческое здание в столице русской империи. И продолжительность дознания легко было понять: в одном лишь Петербурге был составлен тридцать один том протоколов следствия, где на сорока восьми тысячах страниц перечислялось всё, что говорили дети, собираясь пробудить отцов и сверстников. И два вагона с вещественными доказательствами – книги, письма, прокламации, записки – прибыли, чтобы явиться на суде. Осваивая непомерное количество пришедших сведений, один из офицеров «от чрезмерной работы и утомления впал в чахотку и умер». Это написал о нём коллега, выдержавший тяжкий труд «благодаря возрасту и здоровью».

А Морозов – обживался и вполне прижился в своей крохотной камере. Общался он с друзьями ежедневно (стуком, на прогулках, и ещё одним коварным способом, уникальным в истории тюремного дела – чуть о нём попозже). И в неограниченном количестве им дозволялись книги, в камере Морозова они горой лежали, тихо осыпаясь иногда. Он довольно быстро выучил английский – по самоучителю и нескольким романам, после – итальянский. По либретто опер, ничего другого не нашлось, потом испанский – «Дон Кихота» он прочёл уже на языке автора. И часто по утрам он даже пел, проснувшись. Потому что всем нутром своим, всем существом он ощущал как несомненную реальность, что впереди ещё – прекрасная и очень содержательная жизнь. А худ он был – индус во время голода.

Впоследствии у Николая Морозова было несколько различных кличек. Его звали Воробьём (за лёгкость и повсюдность), Арсеналом (за любовь к оружию), Сумчатым (повсюду он таскал с собою сумку, некогда подаренную Верой Фигнер), Зодиаком (за незаурядные познания в астрономии), Маркизом (за удивительную для всех мягкость и вежливость). Но ни одна из кличек не доставляла ему такой гордости и наслаждения, как Поэт. А так его прозвали за стихи, которые тогда читали тысячи таких же молодых людей по всей России. Стихи его печатались в нелегальных сборниках, издавались отдельно, заучивались наизусть, копировались и передавались в списках.

О, как же было хорошо мне ровно через век писать о самиздате той поры! Меня просто захлёстывали радость и злорадство. Тем более, что очень часто я заканчивал рабочий день советского писателя (хотя и негра) тем, что завозил куда-то или

забирал какие-нибудь папки с самиздатом наших лет. Поэтому о том давнишнем я писал – как будто мне дано было благословить любого, кто когда-нибудь дышал в России запрещённым воздухом свободы.

История поэзии знавала всякие пути распространения, но тот, который найден был узниками Дома предварительного заключения – был уникален безо всякого сомнения. Тюрьму эту построили вполне гуманно: с первого и по шестой этаж её пронизывали трубы канализации. От каждой из них шли на каждом этаже два ответвления по камерам. А сами стульчаки, похожие слегка на граммофонные уродливые раструбы, соединялись с общей трубой узким выгнутым коленцем, где всегда застаивалась часть смывной воды. Неизвестно, кто из заключённых догадался вдруг и, одолев брезгливость, вычерпал руками эту воду. А потом он постучал соседям, попросил их сделать то же самое, и потекла у них через пустую ту трубу отменная неторопливая беседа. А вскорости заговорила вся тюрьма. Вполголоса, поскольку слышимость была отличной. И надзирателям не удавалось пресечение: когда они врывались в камеру, то крышка стульчака уже была захлопнута, и наглое весёлое лицо преступника так не гармонировало с вонью, пронизавшей камеру, что надзиратели выскакивали, матерясь. И начальство от бессилия махнуло рукой на эти подлые плоды тюремного прогресса. Туда ему, в конце концов, и дорога, этому гнилому книжному духу, той отраве, что вскружила молодые и пустые головы. А потаскали бы параша – и быстрее одумались наверняка. Однако же тюремный врач в своём докладе констатировал, что заключённые явственно и несомненно поздоровели от взаимных разговоров, многие избавились от нервного истощения, а жалобы на всякие недомогания заметно сократились. Стадные бараны, одержимы коллективным духом, сечь их надо и пороть – но это он в доклад не записал.

Первое своё стихотворение Николай Морозов прочитал, уткнувшись всем лицом в стульчак Дома предварительного заключения. Кося глазами в тетрадь, поправляя очки, потный от волнения, не ощущая вовсе мерзкий запах сточных труб, дрожа от страха, что его немедленно разоблачат, поскольку он сказал, что читает Огарёва.

Стихи спасли его, явившись неожиданно и сразу, когда он однажды, сам не понимая почему, оставил чтение, со всеми перестал общаться и смертельно вдруг затосковал. С утра наваливалась слабость, изнуряющая тошнота, невыносимые головные боли, острое и давящее чувство прозябания в железной клетке. Утекали, испарялись невозвратно силы, мысли и само желание существовать.

И вдруг – стихи. Он бегал по своей камерке, не догадываясь поднять и пристегнуть к стене кровать, о стол и табуретку ударяясь непрерывно, потому что надо было двигаться в такт ритму, гулу, вдруг проснувшемуся в нём и с лёгкостью обрастав-

шему словами. Это были стихи о тюрьме, непонятным образом избавлявшие от всех тюремных переживаний. И несомненно возвращавшие ему утраченное было чувство жизни.

Он переписал стихи в тетрадь, почувствовал усталость и опустошённость – это были сладостные ощущения, теперь написанное надо было срочно прочитать кому-нибудь. А слушателей было в достатке. Сквозь трубу читали здесь порою Лермонтова и Некрасова. И вот Морозов чуть осипшим, севшим голосом сказал, что почитает Огарёва. И наступила тишина, и он впервые в жизни начал вслух читать свои стихи, и вмиг почувствовал, как это слабо, и наивно, и коряво, только было поздно прекратить. Да ещё крышка стульчака ударила по голове и так застыла. Было нечем дышать, хотелось замолчать и исчезнуть.

Молчание показалось осудительным и невыносимо долгим.

– Это надо обязательно списать, продиктуйте, – раздался первый голос, тут же покрытый другими, – восторгались и просили повторить. Стихи ведь были о тюрьме, о них, о том, что видишь и переживаешь, когда схвачен.

– Диктуйте, это непременно надо помнить наизусть, – сказал чахоточный сосед, вскоре умерший, суда не дождавшись. – Какие прекрасные стихи писал, оказывается, Огарёв.

– Это не Огарёв, – застенчиво сказал Морозов, которому хотелось прыгать и кричать.

Теперь восторгам не было конца, а похвалы удесятились. Они все очень любили друг друга. Им было по двадцать лет, и они были заодно, и все были в плену у врага, и каждый бы отдал жизнь за другого.

Стихи были продиктованы, попали очень быстро на свободу и путём, уже традиционным для России, возвратились в нелегальном сборнике «Из-за решётки».

Жизнь Морозова обрела утраченный смысл, краски, звуки, снова стала полной и сулящей счастье несомненное.

Судили этих почти двести человек – три месяца, и проявили к ним неслыханное снисхождение. Почти все были отпущены на свободу, ибо время предварительного заключения намного превышало срок осуждения. И уже очень скоро общество российское сошлось во мнении (изрядно справедливом), что так называемый Большой процесс лишь укрепил всех этих одержимых в их решимости продолжить начатое.

Про общество «Земля и Воля», про его раскол и появление «Народной воли» я писал хотя и с удовольствием – уж очень современно говорили все тогда о русском рабстве, но чувство счастья испытал я, принявшись за нелегальную печать.

Недавний герценовский «Колокол» затеей был блистательной, удавшейся, достойной восхваления и подражания, но что-то с той поры неуловимо изменилось в воздухе. И стало ясно всем, что время всяческой борьбы из-за границы – кануло, ушло и кончилось. И только дома, в гибельном российском клима-

те имела смысл и звучание свободная печать. Однако же проваливались все попытки. Наладить дело регулярное – не удавалось очень долго никому. Покуда не возникло дерзкое, неуловимое и поразительное предприятие – Вольная Петербургская типография. Так и значился этот ярлык на всех её изданиях, приводя в бессильную, клокочущую ярость всех ревнителей недремлющего ока. А ничто сильнее и глубже не точит устои, чем слабый и негромкий, но непрестанный и неостановимый голос обличения, насмешки и несогласия.

Как же было хорошо и сладостно писать мне это в семьдесят третьем году! Ведь не говоря о Самиздате с Тамиздатом, выходила уже несколько лет «Хроника текущих событий». И как за ней охотились! И безуспешно. А в регулярно выходившие листки эти (на папиросной бумаге) – попадали образом непостижимым даже новости из лагерей и тюрем. Я знал нескольких участников этой высокой и погибельной игры, а с Толей Якобсоном, Юрой Гастевым – дружил, скрывая за насмешками своё благоговение и восхищение. А с Сергеем Ковалёвым познакомил меня Толя, уезжая – вы друг другу пригодитесь, сказал он мне усмешливо и наставительно. Но не пришлось. Был вычислен Серёжа Ковалёв, и безупречно вёл себя на следствии, и в лагере свой срок отбыл, и мы уже увиделись, когда он стал депутатом Государственной Думы и снова раздражал своих пластичных современников неукротимой архаической порядочностью. А с Наташей Горбаневской (это всё она придумала) мы хорошо знакомы были ещё по дому Сашки Гинзбурга, но подружиться не могли – уж очень разные писали мы стихи.

И преклонение моё перед душевной чистотой народовольцев – отнюдь не из журналов давних лет явилось непреложным ощущением, а было впечатлением живым, питавшимся от разговоров и общения с живыми, очень разными людьми. Ну, словом, я писал о Вольной Петербургской типографии – как бы свои благословения передавая множеству знакомых через солидное и чёрное учреждение – «Политиздат». Именно там выходила серия «Пламенные революционеры», для которой сочинялась повесть Марка Поповского.

А поставил эту типографию – вчерашний ученик раввинского училища (ешивы) в Вильнюсе – неторопливый, основательный и малословный Арон Зунделевич. Он настолько хладнокровен и всегда спокоен был, идя на риск, что удивлялись этому контрабандисты западной границы – верные и постоянные сотрудники его. Он закупил станок в Берлине, переправил контрабандой через все кордоны и отправил в Петербург товарной скоростью, успев приехать для устройства и отладки. До трёх сотен экземпляров многостраничной газеты печатал за один лишь день такой станок. И свободно уместался, когда не был нужен, в замечательной уютности кушетку. Так что даже полотёры посещали эту комнату раз в месяц и вполне могли при случае сказать, что комната – обычная и скучная. А из редакторов

подпольной газеты «Земля и воля» приходил сюда только один. Секретарь её, душа газеты и держатель всех материалов и статей, недоучившийся гимназист, несостоявшийся (пока) учёный – Николай Морозов.

А ещё по всяческим салонам и гостиним шлся вечерами обаятельно восторженный, весёлый и доброжелательный, смешной и по-мальчишески наивный человек. Он был помощником присяжного поверенного Корша и повсюду был желанным гостем. А что касается опять-таки мальчишеского любопытства, то вполне оно понятно было: Николай Иванович Полозов на свете прожил только жалкие двадцать четыре года, вот и не остыла ещё жажда все понять и всё постигнуть. Ничего, в России это быстро остывает.

И Морозову со снисходительным расположением рассказывали часто новости, которые никак иначе не достигли бы подпольной типографии.

Общество «Земля и воля» вскоре раскололось – по незримым линиям непримиримых убеждений, и возникла та «Народная воля», во главе которой был – и вскоре легендарным стал – неуловимый Исполнительный Комитет. А в том, что он постановил и сделал – так была заметно велика (из лет сегодняшних мне хочется сказать – вина) роль Николая Морозова, что это стоит вспомнить подробнее. Потому что мысли о терроре (а скорей – о партизанских действиях) ему явились ещё некогда в Женеве. Шиллер их ему навеял, а точнее – героическая пьеса о Вильгельме Телле. Пьесу эту он читал (вернее – перечитывал) в уютной и уже привычной обстановке: на большой стопе бумаги лёжа в опустевшей на ночь типографии. Не то чтобы в Женеве было негде жить, но – не на что, поскольку деньги все Морозов сразу по приезде дал займы, а что не отдадут – сообразил немного позже. На еду нехитрую он наскребал, но спал уже давно на кипе забракованной бумаги, радуясь тому, что высоту подушки мог легко менять – бумагу добавляя или убавляя. А когда он прочитал в конце про вольного стрелка Вильгельма Телля, как тот возникает из засады и пронзает деспота стрелой, и говорит с утёса гордые слова, и исчезает вновь, то всё Морозову и про Россию стало ясно. Тихо, словно мог кого-то разбудить, он встал и на клочке бумаги записал: «Телль. Выстрел. Свобода. Ультиматум. Способ!» – и улёгся спать счастливый. Всё теперь понятно было, просто и логично.

Связанная совестью и честью, группа заговорщиков должна существовать. Захватывать, однако, власть совсем не надо, тут Ткачёв не прав. Не говоря уже о том, что захватить её не просто, главное – что вовсе и не надо. Нет, пускай невидимая партия выносит приговор особенно усердным слугам деспотии. И приводит в исполнение его. Во-первых, этим покарается жестокое усердие, что наверняка заставит многих призадуматься. Но главное – что напечатает подпольная печать те требования, при исполнении которых все убийства моментально прекратят-

ся. А потребуют они лишь то, что стало уже много лет назад обычной нормой жизни в европейских странах: полная свобода слова, полная свобода всяких обществ и собраний, всяческое обуздание недремлющего ока, сеющего в людях неискоренимый и позорный страх. А уж тогда – и пропаганда, и образование народа, и всеобщая разумная и гласная для всей России выработка идеала будущего строя.

А готовые на жертву – с безусловностью найдутся, и конечно же, он будет первым среди тех, кто кинется на гибель. Не других же посылать на путь, который он нашёл. Науками займётся без него то поколение, которому откроется свобода.

Идею о такой борьбе он неустанно и не без успеха проповедовал и терпеливо разъяснял. А так как именно на этот путь толкала воспалённых молодых людей и полицейская охота, и само болотное стояние российской жизни, и безжалостные казни пойманных, что постепенно все их устремления слились в единое и чёткое. И приговор царю был встречен ими с полным единодушием.

Потом известный был подкуп в Москве, и не могли они уже остановиться. А Морозова судьба нечаянно спасла. Во-первых, провалилась типография (случайно обнаружили её, заслуги сыска тут почти что не было), и как бы у Морозова образовался явный перерыв в его занятиях печатью. И разные психологические разногласия пошли у него с прежними друзьями (неохота мне в подробности вдаваться), а ещё – рожать собралась его давняя подруга (и жена по сфабрикованному паспорту). И всё сходилось к одному: пускай уедет ненадолго Воробей, в Женеве ему будет легче написать историю движения и привести в порядок свои мысли. Роль свою в истории России эти молодые люди, как ни странно, понимали, и архив, заведенный Морозовым, считали очень важным для грядущих поколений. Его даже с отъездом торопили, ибо вот уже вот-вот раздаться должен был и взрыв под Зимним. Так и получилось, что когда Морозов возвратился (и немедля на границе схвачен был), то он уже не на мгновенную расправу над убийцами царя попал, а сильно позже – над остатками «Народной воли» был тот суд. И защищали те остатки – лучшие в России адвокаты, имена из первого десятка.

Выходило, что Морозов – только автор множества статей в «Народной воле», автор книги о террористической борьбе, написанной в Женеве только что (Желябов на суде о ней не то что снисходительно – скорее отчуждённо отозвался), а на допросах все его друзья – и знать не знали о каком-либо практическом участии Морозова в движении. Ну, правда, был Морозов автором статей, за только чтение которых люди уходили в ссылку, но уже немного поостыло гневное бурление, возникшее вослед цареубийству, можно было ожидать и послабления. А сам Морозов ничего не ожидал, поскольку виселица или каторга – едино было при его весьма несильном здоровье. И адвокат у него был – из неизвестных, был отцом, должно быть, нанят. В

камере, где познакомились они, он вёл себя доброжелательно, приветливо – не более того. И ничего не обещал. И ни единым словом обнадёживать не стал. Какой-то Рихтер. И скорей всего – из немцев обрусевших, ибо явственный педант, аккуратист и буквоед. Типичное крапивное семя.

Но адвокат Морозова – блестящую и убедительную речь сказал в его защиту. (Два этих эпитета чуть ниже мне придётся объяснить.) И несколько отрывков я тут непременно приведу, надеясь, что тяжеловатый стиль судебного красноречия конца того ушедшего века нам не мешает в нём услышать содержательную часть.

Трудный для разбора смысл и отличие государственного преступления, сказал адвокат Рихтер, заключается в том, что оно судимо только собственным временем, а уже через одно-два поколения может трактоваться как доблесть, как предмет гордости, как выражение лучших, в те поры покуда лишь подспудных требований назревающей эпохи. Вспомните, господа судьи, как откликались мы все ещё недавно на робкие призывы покончить с крепостной зависимостью, уже ненужно, пагубно тяготевшей над Россией, вспомним, как откликалось правосудие на попытки громко возвать об отмене постыдного для середины века, бессмысленного рабства российских землепашцев... Преходящая правда тех судебных приговоров – не урок ли она нам, осуждающим сегодня молодёжь за горячую жажду перемен, возможно, уже назревших в воздухе времени?

Дальше Рихтер говорил о том, что Николай Морозов был как раз носителем и описателем тех устремлений, что назрели в русском обществе. И главный аргумент свой произнёс:

Выходит, господа сенаторы и сословные представители, что мы судим человека только за его убеждения. Вслушайтесь, господа: за образ мыслей, за то, что он думает как-то иначе, чем мы все. Но, господа, при несомненной разнице во мнениях по множеству вопросов, то есть в совокупности – той разнице мировоззрений, наверняка существующей даже между нами, собравшимися здесь сейчас, – что, если мы станем судить друг друга? Во что превратится само общество, если одни его члены воспользуются возможностью судить других за разные с ними убеждения? Не остановится ли само развитие этого общества, не застынет ли оно в своём духовном движении, пагубно ликвидируя благостное разномыслие, рождающее в схватке и борении непрерывный поступательный ход истории человеческого духа?

Дальше Рихтер говорил о безусловной, явной одарённости своего подзащитного. И впечатление его коллег о нескольких других было таким же. Польза, которую они могли бы принести своей стране, так несомненна, сказал он, что, милость проявив, суд настоящее явил бы правосудие.

Но только был Морозов обречён, и никакие аргументы не могли его спасти. А мне – пора тут объясниться, почему эпитеты

«блестящая и убедительная» были мной применены к защитной речи адвоката Рихтера. И почему его слова я тут нигде не брал в кавычки, как это принято с цитатами. А потому, что эту речь я сочинил с начала до конца, речь адвоката мне не удалось найти. Ведь суд закрытый был, и речи остальных не сохранились тоже. А толстый том речей защитников тех лет я прочитал от корки и до корки, чтоб усвоить стиль и обороты того времени. И речь я сочинил – в защиту Даниэля (с Юлием ещё знаком я не был, посчастливилось чуть позже). А лагерь свой уже давно он отсидел, но эта речь была – как если бы я мог её произнести тому назад лет восемь – столь же безуспешно, разумеется. Но сочинять такую речь – невыразимо было интересно и приятно, и душевный свой подъём я помню до сих пор.

Подсудимые на том суде отказывались от последнего слова, но Морозову я приписал (поскольку я о Даниэле думал) тихие спокойные слова:

– Говорить что-либо оправдательное потому уже бессмысленно и нецелесообразно, что господа сенаторы – люди такие же несвободные, такие же подневольные, такие же обречённые чужой воле, как мы. Пожалуй, мы даже более свободны, хоть какое-то время поступая согласно убеждениям, а господа сенаторы много лет уже по рукам и ногам связаны в своих поступках страхом и благополучием. О чём же мне вас просить?

Суд вынес приговор, в котором было десять виселиц. Морозов этого и ожидал. Но высочайшее решение государя оставило смертный приговор лишь моряку Суханову (он приносил присягу некогда), а остальным – бессрочное заключение в крепость. Там тоже ожидала неминуемая смерть, отсроченная очень ненадолго.

А теперь я расскажу о чуде.

Заключённый номер десять ясно понимал, что умирает. Красные пятна на обеих ногах стремительно почернели, и обе ноги опухли, превратившись в толстые синеватые обрубки. Ходить было невыносимо больно. Только стоило прилечь – ноги немели, и сознание уплывало. Горлом почти непрерывно шла кровь. Он отхаркивал её в парашу, глядя без удивления и ужаса, как выплёвывает собственную жизнь. Притупились все ощущения, голова была мутной и тяжёлой. Весь год этот прошёл как в тумане (или полтора уже прошло?). Раньше они перестукивались оживлённо, что-то хотели сообщить друг другу, но с каждым днём желание общаться уменьшалось. Было всё время сыро, холодно и пусто. И не было отчаяния, жажды жить и сил сопротивляться. Боль только была. Она и мучила, и мешала забыться. Всё внимание сосредотачивалось на этой невыносимой боли. Он однажды подумал, что надо взять себя в руки и что-то очень важное припомнить, но и сама об этом мысль куда-то уплыла. Густела и наваливалась тишина.

Он чуть повернул голову, и взгляд его упал на толстый том только что выданной каждому узнику Библии. Ему достался

экземпляр на французском языке, старинное издание с чьими-то пометками ногтем. Хотелось думать, что её читали декабристы. Непостижимая какая эстафета – может быть, в ней тайный смысл? И много легче умирать, подумав, что прожил в одном ряду именно с ними. Люди ведь, конечно же, разделены по неизвестным для них тайным категориям: одним они живут, похоже дышат, за одно и то же отдают, если придётся, жизни. И, словно символы духовного родства – такие попадания одних и тех же книг в одни и те же родственные руки.

От того, что в голове, набитой все последние месяцы густым туманом, появилась эта связанная законченная мысль, стало умиравшему приятно и тепло. Полузабытое им ощущение нашло какой-то кончик нити в слипшемся и затвердевшем клубке памяти: когда он выходил с процесса года полтора назад, возникло в точности такое же радостное чувство непонятно отчего. Но возникло, чуть подлилось и исчезло. Вот сейчас пройдёт и это.

Он насторожился: нет, не проходило. Странное, забытое, пугающее чувство. Не радость, нет – предчувствие радости. Так было в молодости: просыпаешься и ждёшь радости, уверенный, что она придёт. Но потому она ведь и приходит, вероятно. А сейчас? Странно, что боли в ногах нет. Просто внимание от боли отвлеклось. Так вот, о той давнишней смутной радости: к какой-то мысли относилось это вспыхнувшее чувство. Прямо где-то рядом эта мысль снова крутится сейчас. Да вот же она, вот! А я же умереть мог, вот дурак!

Морозов неуклюже ковылял по камере, при каждом шаге припадая на каждую поочерёдно ногу, и невыносимая боль мешалась с распирающим его восторгом. Он издавал хриплые лающие звуки, будучи уверен, что смеётся про себя и что никто его не слышит. Вот какая мысль ему пришла: ведь он теперь свободен. Он волен делать то, о чём давно мечтал. От долга быть со всеми и как все, отныне он свободен. А смеялся потому он, что вдруг ярко вспомнил, как ещё во время первого ареста надзиратель в камеру ему принёс для умывания некрупный таз с водой, стал рядом, чуть не за руку Морозова держа, и отказался наотрез сходить за мылом.

– Знаем мы вашего брата, – ответил он на просьбу о мыле, – только отвернёшься, а вы – в таз и пропали. Намедни рассказывали мне: один из ваших в таз нырнул, а вынырнул – уже в Москве-реке.

Как же ты был прав, тёмный солдатик! Я немедленно убегу отсюда, и никто меня не остановит. Не настигнет, не задержит, не вернёт. А потому что не придумано покуда средство поймать человека, убегающего в собственный мир. И надо только, чтоб он был, а у меня он есть. Было время, и я сам заколотил его парадные двери. А сегодня я войду в них опять. До свидания, господа охранники, сторожите моё тело, идиоты. Оно справится теперь и с цингой, потому что оно мне нужно. И конечно, с кровохарканьем справится. Тем более что я ему помогу. А кашлять надо обязательно в подушку, чтобы не было резкого воздуш-

ного перепада, от которого сосуды очень рвутся. А начну с того, что вспомню всё, что знал, я прочитал достаточно, и книг пока не нужно. И немедленно – за Библию. Древнюю историю никто ещё не прочитал глазами естествознателя. Всё запоминать придётся. Это даже к лучшему – быстрее время потечёт.

Спустя двадцать с лишним лет известный в Петербурге врач с немалым изумлением заметит своему худому, как факир индусский, пациенту:

– Батенька, у вас рубец огромный вдоль всего правого лёгкого, ну просто от плеча до поясицы. Непостижимо, как у вас зарубцевался и погас такой убийственный туберкулёз?

А много ранее (через шестнадцать лет им письма разрешили – в год одно) Морозов написал сестре:

«...Никакой смертельной болезни у меня пока нет, а что касается несмертельных, то их было очень много. Было и ежедневное кровохарканье в продолжение многих лет, и цинга три раза, и бронхиты (перестал считать), и всевозможные хронические катары, и даже грудная жаба. Года три назад был сильный ревматизм в ступне правой ноги, но, убедившись, что никакие лекарства не помогают, я вылечил его очень оригинальным способом, который рекомендую каждому! Каждое утро, встав с постели, я минут пять (вместо гимнастики) танцевал мазурку. Это был, могу тебя уверить, ужасный танец: словно бьёшь босой ногой по гвоздям, особенно когда нужно при танце пристукнуть пяткой. Но зато через две недели такой гимнастики ревматизм был выбит из ступни и более туда не возвращался!..»

С того памятного осеннего дня в камере номер десять Алексеевского рavelина появился совершенно другой узник, иной Морозов – тот, который прожил вторую, очень долгую и очень яркую жизнь. Морозов – физик, химик, астроном, историк. Морозов, читавший книги на одиннадцати языках. Он вышел на свободу, пробыв в заточении двадцать пять лет (не считая первого трёхлетнего заключения), – в самом конце тысяча девятьсот пятого года. И было ему – чуть за пятьдесят. Он прожил ещё сорок лет, и до последнего почти что дня работал и общался с людьми. «Природа не засчитывает мне времени, проведенного в тюрьме, и согласитесь, что это с её стороны справедливо», – объяснял он всем, кто проявлял удивление

Когда закончили перестройку старинной государевой тюрьмы, то выживших троих перевели в Шлиссельбург. Под номером четыре он и пробыл там до самого освобождения.

И постепенно появились книги. Их сначала привозил тюремный врач – для переплёта, а потом их разрешили. Даже специальные журналы разрешили – например, по химии. Четвёртый номер их особенно просил. Он в том как раз письме к сестре ей сообщал, что у него сейчас период химии, он написал уже полторы тысячи страниц. Его труды смогли увидеть свет лишь после выхода на волю. Но и десятилетия спустя, и до сих пор звучат по поводу его работ слова удивления и восхищения.

Оторванный от живого общения с коллегами, и без единого эксперимента, разумом одним, однако изощрённым до предельного накала, он опережал современную ему науку лет на двадцать. Фантастическими были его частые удачи.

Он открыл, например, инертные газы. Заключённый номер четыре на пятнадцатом году своего заточения однажды летом на прогулке что-то жарко объяснял своему давнему товарищу. Он пылко и несвязно бормотал, картуз его то на затылок напал, то надвигался на очки, фигура походила на огородное пугало благодаря почти лохмотьям, на него надетым, — он даже летом очень мёрз от худобы. И надзиратель с часовым покатывались от хохота, глядя на своего самого мирного и тихого из подопечных злодеев. А Морозов говорил, от радости жестикулируя излишне, что ещё шесть лет назад пришёл к идее, что в менделеевской периодической системе элементов не хватает нескольких веществ, которые с металлами соединяться неспособны из-за нулевой активности. Они инертны и недеятельны — неужели ты не понимаешь? И вот пришёл журнал — они действительно существуют, эти инертные газы, и теперь войдут в систему. Представляешь, я ведь угадал!

Кристально бескорыстен был его научный интерес к устройству мира. Начисто лишён был этот интерес — тщеславия, желания установить приоритет, любой вообще внешней цели. Был необходим он, как дыхание. Возможно, потому он столько достиг.

И получил однажды разрешение кому-нибудь авторитетному свои работы показать. В девятьсот первом году некий профессор в Петербурге получил — на отзыв — рукопись по химии. Из департамента полиции она пришла. И с сожалением, слегка брезгливо он подумал, что всего скорее тут пустое баловство: какой-нибудь из политических в тоске от заключения свой вывихнутый ум к науке обратил. А если бы он знал, что автор этой рукописи — недоучившийся гимназист, он вовсе бы читать не стал. Но он, по счастью, этого не знал. И потому от эрудиции автора, от тонкости и изощрённости научного мышления он получил ничем не омрачённое удовольствие. Что искренне отметил в отзыве. Подумав мельком, не без сожаления, что обладатель этих явственно незаурядных научных способностей — не покатысь он по наклонному пути — возможно, стал бы неплохим учёным. А теперь, в отрыве от лабораторий современных, он надсаживает ум, пустые и бесплодные теории изобретая. Вот ведь бедолага что удумал: атомы по его мнению — это сложные и разложимые структуры. И что элементы разных веществ могут превращаться друг в друга, как будто вовсе не являются простейшими и неизменными детальками. И это говорится, когда сам Менделеев, сам творец периодической системы элементов, написал, что «элемент есть нечто, изменению не подлежащее», то есть основа и кирпич, исчерпывающее слово — атом. Оттого и всякое их превращение — немыслимо и невоз-

можно. И снисходительно профессор написал: «Конечно, никому не возбраняется предполагать, что элементы могут превращаться друг в друга, но опыты, беспощадные опыты показывают, что во всех случаях, когда дело как будто бы шло о превращениях элементов, была или ошибка, или обман».

А Морозов – более обрадовался, нежели огорчился. Он себя в науке чувствовал, как гимназист, нахально вторгшийся в интимные владения умов высоких и таинственно талантливых. И потому вполне доброжелательное равенство в тоне отзыва ему было важнее гораздо, чем любое несогласие профессора. К тому же в правоте своей он тоже был вполне по-гимназически уверен. И прошло совсем немного лет, и «опыты, беспощадные опыты» подтвердили умозрительную правоту узника номер четыре.

Его идея о сложности атомов была предельно революционной по тому времени. И еретической настолько, что всерьёз её нельзя было принять, она обречена была остаться незамеченной. А он ведь предложил ещё дальнейшую гипотезу: что в атоме имеются и положительно, и отрицательно заряженные частицы. На фоне общего научного убеждения, что атомы неделимы, он спокойно обсуждал свою первую в мире модель строения атома.

А кстати, эти глубоко научные идеи излагал он языком доступным, сочным, даже романтическим отчасти. Ведь никто не правил никогда его статей и публикаций к диссертации, никто не выхолащивал его язык до общепринятого уровня и тона.

И снова пронизательность, приличная в то время разве что фантасту: в атоме сокрыта дикая энергия, которую вполне можно извлечь при расщеплении его. Возможно, именно таким путём и образуются новые звёзды в результате взрыва старых – от высвобождения огромной порции энергии.

Было ещё много всякого другого. В двадцати шести тетрадях вынес на свободу Николай Морозов чисто умозрительные новые идеи, а путём экспериментов подтвердились они сильно позже – с помощью немыслимой аппаратуры, оснастившей в прошлом веке все научные лаборатории.

А в Шлиссельбурге как-то Вера Фигнер спросила у Иосифа Лукашевича, человека столь же энциклопедических познаний, будущего известного геофизика, пока что – заключённого народолюбца:

– А скажите мне, Иосиф, кем, по вашему мнению, был бы Морозик, занимайся он одной наукой? Где-нибудь в Европе, например?

И Лукашевич засмеялся, что-то сам себе пробормотал польски и ответил убеждённо:

– Фарадеем. Это был великий химик и великий физик – Фарадей. Вам это мало говорит, Верочка, я готов объяснить подробнее, но заложенного в нём – на Фарадея. Только вот какая штука, Верочка: так нельзя говорить о русских. Потому что стать в России Морозовым – это, как бы вам сказать – это ве-

личественней, чем стать в Англии Фарадеем. Хоть и бесполезней для науки, которая его лишена. Но величие и бесполезность – право же, они так близки друг к другу...

А ещё, за книгой этой сидя, было мне забавно помянуть и тех, кто в эти годы сторожил весёлого и даже что-то напевающего узника. Они ведь на свободе были, все эти служивые люди. За это время два коменданта крепости сошли с ума, а третий – перевёлся, ибо опасался он такого же исхода. Первоначального смотрителя разбил на нервной почве паралич, его преемник пил напропалую и писал на всех коллег доносы, кончив тем, что по недоразумению или в горячке написал донос на самого себя – о непорядках, за которые он сам и должен был ответить. Был уволен. А другие – непрерывно сетовали на свою пропащую и совершенно каторжную жизнь, узникам они как раз и жаловались, кто бы их ещё сумел понять?

Спустя несколько лет после того, как я это писал, мне лично довелось узнать, каким кошмаром жизнь была у вольных надзирателей и у охраны лагеря, где я сидел. Там зеков часто выводили, чтобы вскапывать начальству огороды или что-то делать по хозяйству, и такого я слышался (меня не брали), что мне жутко жалко становилось этих поголовно спившихся и крепко недостаточных людей. И ничего я с этой жалостью не мог поделать. Хотя очень надо мной смеялись все мои соседи по барaku.

И в неполных пятьдесят два года вышел Николай Морозов на свободу. Ждала его кафедра в Вольной Высшей школе, пригласил его туда работать знаменитый в те поры врач и анатом Пётр Лесгафт. Он не ахал и не восторгался современным Монтекристо, а пришёл, представился и предложил Морозову – студентам химию преподавать, чтоб не пропали те богатства, кои накопил Морозов на острове Шлиссельбург. Морозов стал профессором, стал книги выпускать, работал он со страстью одержимого. Он занялся воздухоплаванием, летал на самых первых самолётах, высказал и здесь какие-то идеи, а увлёкся так, что чудом оставался жив несколько раз. Его догадки о микрофизике облаков – чуть позже, как всегда – специалисты подтвердили с помощью приборов.

И ту же самую он сохранил наивную доверчивость. Насквозь продрогший незнакомый человек зимой однажды постучался в его дверь. И рассказал несвязно жалостную некую историю, глазами бегая по стенам в это время. И Морозов без единого вопроса сам отдал пришельцу своё зимнее пальто. А через час пришли двое друзей и с удивлением спросили, кто на визитной карточке Морозова, приколотой к дверям, мог написать – «старый дурак». Морозов догадался, кто. Друзья негодовали, а он радостно смеялся, закидывая седую голову. Ибо всерьёз его в то время волновала только давняя его теория о метеоритном происхождении лунных кратеров – сейчас он собирал к ней доказательства.

Да, вот ещё: всего шесть лет проживши на свободе, снова отсидел он год в тюрьме. На этот раз – за сборник собственных

стихов. Хоть обвинение было предъявлено издателю, но автор принял всю вину на одного себя. И на суде упорно защищался сам. Он говорил, что по статье «о дерзостном неуважении к верховной власти» – его нелепо обвинять, поскольку вне конкретного сегодняшнего времени и вне конкретного пространства все его стихи, они – лишь философия, если хотите, а статья закона – о России. И переглядывались многочисленные зрители: как чист и как наивен этот седой талантливый мальчишка. И ровно год сидел он в Двинской крепости. Ему смешон был комедийный этот срок, уже ведь двадцать восемь лет он отсидел.

Но тут вернуться надо ненадолго в Шлиссельбург. Однажды Вера Фигнер попросила его хоть на месяц, но отвлечься от науки, и на Новый год ей подарить воспоминания о прошлой жизни. Ужасно не хотелось прерывать работу о периодической системе строения вещества, такие там идеи возникали, от которых он зажмуривался, как от света, бьющего в глаза. Но чего бы стоила дружба, если б на неё жалели время? Вспоминать понравилось ему. И через месяц подарил он, как просили, толстую тетрадь воспоминаний.

А тут собрались Веру Фигнер выпускать. Они договорились так: её рукою переписанную книгу она попробует с собою увезти. А не сумеет – сообщит в письме. А вскоре и письмо пришло: не только, что не пропустили эти тонкие тетрадки, но и написал донос усердный комендант крепости. Что, дескать, вовсе не раскаялась злодейка Фигнер, ежели такое пишет.

Прочитав известие, пошёл Морозов в переплётную мастерскую, аккуратным образом обмазал несколько сот исписанных листочков очень жидким желатином, разделил их на четыре части и зажал под прессом. Получилось у него четыре листа плотного, как фанера, картона. После этого он переплёл в них, как в обложку, свою книгу по теоретической физике и принялся спокойно ждать освобождения. Опущенные в кипяток, листы немедленно отдадут свой быстро растворяющийся желатин, и все обложки мигом распадутся на листы, покрытые спешащей карандашной вязью. Что стоили бы наши обещания друзьям, если какие-то коменданты крепости в силах повлиять на их исполнение? Так и возник, и скрылся до поры, и появился заново на свет первый том его воспоминаний.

А сидя в Двинской крепости, на целый год оставит он науку. Так попросила молодая, горячо любимая жена: из заключения ей привезти в подарок том второй. И вслед за ним она поехала, и поселилась рядом с крепостью. Ужели для контроля? Этот том он за год написал. И дар его литературный очень привередливый читатель оценил – Лев Николаевич Толстой.

Но с неких пор он отдавал всё время той идее, что спасла его когда-то в Алексеевском равелине. Он ведь тогда решил, что и одной лишь Библии вполне достаточно для бегства в древнюю историю и собственное знание о мире. Он ещё тогда остановился, поражённый, на одной – пожалуй, самой стран-

ной – книге Библии – на Откровении Иоанна, на Апокалипсисе. Знаток звёздного неба, он вдруг ясно и неоспоримо обнаружил, что загадочные тёмные пророчества этой книги – не что иное, как символы различных созвездий. Описанием астрономических наблюдений, записью природных и космических событий – явственно увиделись ему все самые невнятные, таинственные даже фразы Апокалипсиса. Так появилась – вскоре после выхода на свободу – удивительная и необычная книга: «Откровение в грозе и буре». Все известные истории даты передвинул в ней Морозов, убедительно показывая, что написан был Апокалипсис не в первом веке новой эры, а на четыреста лет позднее. Появление его труда вызвало ожесточённую полемику, грозу и бурю породило в тихой заводи, где жили в мире и согласии все умудрённые специалисты по истории тех канувших времён. В ходе полемики его идеи, начисто менявшие всю древнюю историю, разбиты были в пух и прах, развеяны по ветру и отнесены в разряд научной ахинеи, нередко порождаемой даже учёными и одаренными людьми. Морозов усмехался, всех благодаря за соучастие, и продолжал свою работу в том же направлении. Так явилось грандиозное десятитомное исследование «Христос», в подзаголовке названное им – «История человеческой культуры в естественнонаучном освещении». А родилось её начало там же – в гибельном, заплесневелом и промозглом Алексеевском равелине. Писал он эту книгу весь остаток своей жизни. В ней было выдвинуто несчётное количество гипотез из области древней истории, которая была им передвинута на несколько сот лет и сильно изменила вид. Тогда и родилась та шутка, что в отместку за свои тюремные года Морозов порешил отнять у человечества несколько веков его истории. И снова умудрённые специалисты разносили начисто его затейливую кройку и шитьё из ветхого материала полудостоверных фактов и противоречивых письменных источников (которые читал он – на одиннадцати языках). Но разносили – воздавая должное и необъятной исторической осведомлённости, и самому размаху этого парадоксального ума, родившего такие дерзкие догадки и сопоставления. Значительную часть которых – так и не смогли отвергнуть с полным основанием. И не отвергли до сих пор.

Но более того: прошло чуть больше полувека, и появилось множество работ, в которых древняя история (и даже не такая древняя) – меняется, во времени значительно сужаясь. Авторы таких работ – почтительно упоминают то начало, которое однажды положил недоучившийся гимназист Морозов. Ну, а степень правоты его – ещё весьма нескоро прояснится.

А завершив свой многолетний (и десятитомный) труд, собрался Николай Морозов поработать с выдающимся прибором века – циклотроном. Он хотел проверить свои мысли о структуре и устройстве атома.

Но не успел. Уже ему ведь было – девяносто два.

Надеюсь, что хоть наскоро, но всё же объяснил я, почему я так был счастлив, прикоснувшись к этой поразительной судьбе и личности.

И рукопись понравилась в редакции, и рецензенты (два историка) её с научной снисходительностью тоже похвалили. И через год (такие были сроки) повесть Марка Поповского «Побеждённое время» вышла в свет. Марк безупречно вёл себя: он перед самым выходом книги заявился на приём к директору издательства и попросил, чтоб на обложке указали и меня – я, дескать, и сидел в архивах, и насчёт сюжета помогал, и всякое такое. Выслушав его, директор замечательно сказал:

– Но, дорогой Марк Александрович, поймите, нам на обложке так вот (и провёл рукой по шее) хватит одного.

И очень мы потом смеялись оба. А понять директора легко было: несметное количество евреев там печатали свои разнообразные труды. А в том числе – и поносительные книги об Израиле. Самые чёрные из них – были написаны евреями.

Но я отвлёкся. Марк отдал мне всё, что получил в издательстве, а на подаренном мне экземпляре книги даже написал стихи:

«Я не водил пером,
я не махал пером –
и не хотел того, и не мог,
я лишь кассиром был, я был бухгалтером,
только бухгалтером, видит Бог».

Марк выдержал гораздо более тяжелое испытание: его стали хвалить за эту книгу. А какой-то с ним давно уже не знавшийся приятель написал откуда-то издалека, что наконец-то стал писать Поповский книги настоящие и честные, и вновь готов этот приятель с ним общаться. И наши с Марком отношения нисколько не испортились, хотя меня предупреждали знатоки – психологи, что негритянство очень рушит дружбу, одновременно с двух концов её подтачивая очень крепко. А вскоре Марк в Америку уехал (царствие ему небесное, недавно умер он в Нью-Йорке), вследствие чего и книгу наскоро из всех библиотек изъяли – мол, уехал, так и не было тебя. У тех она осталась, кто купил, но и владельцы про её существование наверняка давно уже забыли. Я ведь потому так и писал подробно о Морозове – нельзя, чтобы такая личность канула в небытие.

И, наконец, последнее. Историки рассказывали мне (а я и по историкам ходил), что есть легенда: будто бы в конце тридцатых, незадолго до войны – случайно или неслучайно – Николай Морозов с Верой Фигнер встретились и много обсудили. А Веру Фигнер в это время волновал кошмар, творившийся в России, и она хотела у Морозова спросить про степень их вины в этом кошмаре. И Морозов будто бы её посильно успокаивал. И более того: он ей сказал, что он это безумие предвидел в те поры ещё, когда он только-только вышел на свободу (то есть очень,

очень рано посетило его это справедливое прозрение). И почему, он тоже объяснил. Его тогда повсюду приглашали, и в немыслимом количестве домов он побывал, где о России говорили люди образованные, с пониманием и знанием немалым. Только знаешь, Верочка, сказал ей якобы Морозов: говорили то же самое, что тридцать лет назад я слышал от отцов и дедов этих же или таких же будто бы интеллигентов и дворян. С такой же одержимостью они мечтали разом всё переменить и всё устроить, и Россию поносили – теми же словами. И пришедшие вослед за нами молодые – Верочка, поверь мне – были этим духом и пропитаны, и вспоены на нём. Россию погубило образованное, лучшее её сословие, а нынешние все убийцы – это извержение народа, о котором ничего они не знали, но, слепыми будучи, хотели пробудить. И пробудили, и нескоро это кончится, уж очень диким и нечеловечески безжалостным он оказался, этот вдруг разбуженный Везувий. И опять поверь мне, старому угадчику: хоть постепенно очень, только это изойдёт и канет.

Над неиссякаемым упрямым оптимизмом Николая Морозова – смеялись почти все, кто с ним встречался за его густую продолжительную жизнь.

2

Я почему-то понимал тогда и чувствовал, что негритянство – это некая воронка, и меня в неё бесповоротно засосёт. Настолько понимал, что даже мысленно прикидывал, о ком ещё я мог бы написать с таким же удовольствием и интересом. А тщеславие – ничуть не мучило меня, спасибо генам местечковых предков. Мне хотелось делать то, что нравится и что могу, кормить семью и неустанно пополнять тетрадь стихами, обречёнными остаться в ней навечно. Все хвалили повесть о Морозове, а на плантациях писательского промысла была нехватка негров, на которых можно положиться.

Среди сверстников Морозова, с готовностью сгубивших свои жизни, – были очень одарённые люди. Это становилось явственно, особенно заметно по дальнейшим судьбам тех, кто уцелел, кто выпал почему-либо из коллективной одержимости их поколения. Пример ярчайший – близкий друг Морозова, хотя его и старше несравненно (двадцать восемь лет уже исполнилось) – Дмитрий Клеменц. Насмешливый и остроумный, резкий и в суждениях и в осуждениях, настолько он ценил свою независимость, что денег из общей кассы не брал, предпочитая зарабатывать какими-то статьями. Плотный, невысокий, круглолицый, всюду он ходил в простонародной подпоясанной рубахе, сапогах и кафтане. Обожал он всяческие розыгрыши, и одежда эта – очень им способствовала. Отправляясь куда-нибудь, ездил он только в общих вагонах, и любил рассказы-

вать, как ловились на него охочие до пропаганды случайные попутчики – студенты.

– Он на меня, милый, глядит, как щука на карася, прямо подмывает его обратить меня в свою веру. Тут я ему и помогаю: что, говорю, господин хороший, не из студентов будете? Тут он ко мне подсаживается и давай на ухо жужжать: и про налоги непомерные, и про бесправие, и что, дескать, собраться надо всем воедино и жизнь эту проклятую переделать. Я слушаю, киваю согласно, а потом ему говорю: значит, вы, господин хороший, полагаете достижение анархии по Прудону гипотетически возможным при помощи якобинских методов? У него от моих слов – лицо пятнами, и до самой станции молчок. А я ему ещё перед выходом: а что вы полагаете о федерации вольных хлебопашеских общин? И тут он от меня бегом, как чёрт от лаdana.

Клеменц был арестован одним из первых в «Земле и Воле». И держали его очень долго: он ни в чём не признавался, никаких имён не называл, на множество вопросов просто отказался дать ответы. Ему чудом повезло: вещественные улики, найденные при его аресте, начисто пропали, потерялись. Он был так обворожителен, этот сметливый простодушный мужичок, так остроумен и уклончив при всём его расположении к следствию, что ничего, ну ровно ничего не удалось вменить ему в вину. Была перехваченная переписка, но её по закону нельзя было предъявлять в суде. И Дмитрий Клеменц отделался всегонавсего ссылкой. Тут и обнаружилась высокая незаурядность этой личности.

В Минусинск попал он прямо с арестантской баржи, медленно прошлёпавшей по Енисею. В городе давно существовал прекрасный и богатый краеведческий музей, созданный неким бескорыстным энтузиастом. И в сотрудники по описанию коллекций сразу и охотно приняли грамотного молодого ссыльного. Около двух лет Клеменц читал всё подряд, что удавалось выписать по археологии, географии, истории этого древнего края. Потом он выпустил книгу с описанием коллекций музея, и в глухой Минусинск посыпались восторженные письма специалистов. Он отправился с проезжей экспедицией по рекам Томи и Абакану – по безлюдной и нехоженой тайге. Привёз он уникальные материалы и описания – он первым был, кто исследовал эти места. В последующие годы он оказался первым из учёных, исколесивших всю Внешнюю Монголию, и составил геологические описания, вошедшие во все мировые справочники. Он проложил по ней пятнадцать тысяч вёрст нехоженных до него маршрутов, собрал несколько тысяч образцов пород и окаменелостей, гербарий в сорок тысяч экспонатов. Он оставил толстые тетради записей обрядов, мифов, обычаев и традиций нескольких народностей, населявших этот край. Он участвовал в исследовании Каракорума, древней столицы монгольских ханов, и его статьи привлекли в Центральную Азию новые экспедиции из разных стран. Многие развалины древних храмов и

руины древних городов – обязаны ему своим открытием и интересом археологов. А памятники письменности и искусства – обнаружением и тщательной сохранностью своей. Потратил он на это всё – пятнадцать лет.

Потом ему позволили вернуться в Петербург, работу предложив, с которой только он и мог бы справиться: организация этнографического отдела при музее императора Александра Третьего. Восемь лет отдал он этому отдельному, по сути, музею, став его заведующим и пополнителем. Посылки, слававшиеся отовсюду – не музею посылались, а лично Клеменцу, поэтому и было их такое множество.

И в этом качестве он как-то пояснения давал – царю, однажды посетившему музей. Конечно же, заранее шепнули самодержцу о былых грехах седого старика с быстрыми молодыми глазами и живой весёлой речью. Обширные познания при полном отсутствии учёного занудства и непринуждённость лёгкого общения – весьма понравились царю. И он по окончании осмотра дружелюбно и доброжелательно спросил: неужели не жалеет господин Клеменц о своём таком напрасном прошлом?

– Я горжусь им, – был незамедлительный ответ. – Это были мои лучшие годы.

У сопровождавших дрогнули лица, а сам царь, приподняв брови, недоуменно пожал плечами и сухо попрощался. Посещение могло кончиться орденом, как объяснили Клеменцу знающие люди, а кончилось – довольно скоро – отставкой с пенсией.

А умер он в Москве, в начале первой мировой, на руках у съехавшихся отовсюду старых друзей. И среди них, проводивших жизнь в подполье, за границей и по тюрьмам, были столь же одарённые талантом люди. Но только предпочли они – борьбу за эфемерную российскую свободу.

А ещё мне о Кибальчиче хотелось написать. Это ведь он был сочинителем взрывчатки, что закладывалась в Зимнем, и в подкопы, и металась в царскую карету. А что он был гением – узналось только после казни: будучи в тюремной камере уже, он передал адвокату схему первого в мире ракетного устройства.

В гостиницу «Москва» меня позвал поговорить советский классик Даниил Гранин. Был он краток, суховат и сдержан. Я был негром и его прекрасно понимал. Ему понравилась прочитанная повесть о Морозове. А у него давно уже закончился срок сдачи рукописи о народовольце Кибальчиче (лицо моё не выражало никаких эмоций), и договор вот-вот расторгнут. Очень жалко ему было возвращать давно потраченный аванс, а книгу сочинять – ни времени и ни желания у него не было. Вы как насчёт Кибальчича? Я полностью в материале и готов, как пионер, ответил я с достоинством и радостью, которую, по-моему, не скрыл. Тут он замялся чуть, и я ему немедленно помог (мы, негры, деликатны и чувствительны к запросам белого заказчика):

– А пробную главу я привезу вам в Питер через месяц.

От такого понимания лицо его слегка раздвинулось в подобии улыбки, и со мною он немедля распрощался.

Я настолько был в материале, что не пробную главу, а чуть не половину повести привез немного времени спустя. Был Гранин столь же сух, а взявши папку с рукописью, прямо от порога отослал меня до послезавтра. Позвонить. И я совсем другой услышал голос через день по телефону. В нём была приветливость, коллегиальность и расположение души. Потом меня поили чаем, пристально расспрашивали и безудержно хвалили. Вот на этом я и подломился. Он ведь был всегда умён безмерно (это и по книжкам очень видно), его дружелюбность мне вдруг показалась искренней, и я, мудака наивный, возомнил, что я могу с ним о соавторстве заговорить. Тут он посуровел и мне с надменностью ответил, что в соавторстве он никогда ни с кем не состоял.

— А вот недавно вы сценарий с кем-то написали, — возразил я нагло.

— Это я его и написал, — ответил Гранин, — просто две фамилии пришлось поставить.

— Понимаете, — настаивал я гибельно и легкомысленно, — я с вами о соавторстве заговорил не только и не столько в силу авторского, вам понятного желания поставить имя, но и потому ещё, что множество читателей узнает руку, стиль, ведь это у меня уже вторая негритянская работа.

Такая мысль ему и в голову не приходила, мне же было известно об этом опасении благоразумно промолчать.

— Ну, мы ещё поговорим об этом, — сказал он медленно, — а сделанную часть я завтра же пошлю в издательство, чтобы они не расторгали договор.

И с облегчением пожал мне руку.

Далее мне Гранин учинил такое хамство, что его я помню и поныне, потому что никогда со мной ни ранее, ни впредь настолько унижительно никто не поступал. Он просто мне не позвонил. Как будто не было меня. И не было договорённости и рукописи, им расхваленной донельзя. А через полгода его где-то встретила редакторша той серии (они в издательстве об этом негритянстве знали) и спросила, где же рукопись. И глазом не моргнув, ответил Гранин, что её послал он по ошибке в некое другое издательство, она вернулась, и вот — вот он перешлёт её по правильному адресу. И тридцать лет прошло, и нет уже того издательства давным-давно, а рукопись он так и не прислал. А почему я сам не позвонил? Мне трудно объяснить. Как-то противно было, мерзко и рука не поднималась. Я ведь не просил его мне оплатить ту пробную работу, мог он позвонить и просто отказать от любого продолжения, но не было и этого. А я уже писал о психиатре Бехтерева книгу, шли и сыпались стишки, мне не хотелось портить настроение. А много лет спустя, когда позволили российским людям стать людьми, и вольнодумство разрешили, прочитал я, что заядлым и отпетым гуманистом

стал писатель Гранин, просто – профессионалом гуманизма. И тогда мне остро вспомнилось то наплевательское и пренебрежительное хамство, но уже мне было разве что смешно.

А с копией той рукописи – дивная произошла история. Она валялась где-то в куче неразобранных бумаг, а тут меня арестовали, привезли домой и дикий учинили обыск. Длился он три дня, заметно был повернут интерес ментов к архиву, письмам и бесчисленному в папках самиздату. А валялось это всё богатство – где попало, и внезапно отыскалась под диваном книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Но от машинописной этой копии была только вторая половина. И ко мне пристала неотвязно следовательница Никитина: куда я задевал начало? Я только плечами пожимал. Уже лет пять там эта копия валялась, никому давно не нужная – уже была такая книга в тамиздате. А Никитина не унималась: где начало? И как раз в минуты эти, вытащив из груды папок, молодой сыскарь рассматривал машинопись той части книги о Кибальчиче, что я отвёз когда-то Гранину. А первая глава в той повести была мной названа – «Начало».

– Вот же оно, вот начало! – закричал сыскарь в восторге. И мою несбывшуюся книгу положили в папку с памятью о женских лагерях Гулага. И решил я, что писалось не напрасно.

Всё, чего хотел я, как-то счастливо и неожиданно сбывалось. А хотел я, в частности – большую книгу написать о том забытом начисто поэте, именем которого Морозов заслонился, когда первое своё читал стихотворение. Об Огарёве мне хотелось написать. Но кто б со мною договор на эту книгу заключил? В писательском Союзе я не состоял и не совался, а писать в пространство, на авось – не мог, нуждаясь в регулярном заработке. Судьба, однако же, доброжелательно за мной следила. И едва я рукопись о психиатре Бехтереве сдал, как писательница Либединская (тёща моя, Лидия Борисовна) мне предложила повесть о поэте Огарёве сочинить. Для той же самой серии о пламенных революционерах. И со всегдашним опасением не справиться засел я за газету «Колокол» и подвернувшиеся книги – их было в достатке, даже слишком.

И тут я обалдел от изумления, иного слова я не подыщу. Немыслимо похожими оказались переживания людей, разделённых полутора столетиями российской истории. Среди них в изобилии ходила подпольная литература: как и в наше время, совесть и ум России говорили с ней из-за границы. Собирались тайные кружки, членов которых то и дело арестовывали и сажали. Разговоры в этих обществах – почти ничем не отличались от кухонных нашего времени. Обсуждали произвол и несвободу, взяточничество и лихоимство власть предержащих, даже об отъезде за границу разговаривали так же, как евреи в середине семидесятых. В переписке Герцена и Огарёва эта тема проступает непрерывно. Вот одно из писем Огарёва – романтически высокий тон, но так они тогда писали почти все:

«Герцен! А ведь дома жить нельзя. Подумай об этом. Я убеждён, что нельзя. Человек, чуждый в своём семействе, обязан разорвать с семейством. Он должен сказать своему семейству, что он ему чужой. И если б мы были чужды в целом мире, мы обязаны сказать это. Только выговоренное убеждение свято. Жить несообразно со своим принципом есть умирание. Прятать истину есть подлость. Лгать из боязни есть трусость. Жертвовать истиной – преступление. Польза! Да какая ж польза в прятаньи? Всё скрытое да будет проклято. В темноте бродят разбойники, а люди истины не боятся дня. Наконец, есть святая обязанность быть свободным. Мне надоело всё носить внутри. Мне нужен поступок. Мне – слабому, нерешительному, непрактичному, мечтательному – нужен поступок! Что ж после этого вам, более меня сильным? Или мы амфибии нравственного мира и можем жить попеременно во лжи и в истине?»

Мне только одного жаль – степей и тройки, берёзы, соловья и снеговой поляны, жаль этого романтизма, которого я нигде не находил и не найду. Это привязанность к детству, к прошлому, к могилам....»

Огарёв был истинным поэтом своего времени. Его стихи читали, переписывали, передавали списки, декламировали, клали на музыку. Ими жили. По ним поверяли и ставили мировоззрение, они были благодатным достоянием тогдашнего сознания современников. А некоторые из его стихов – те были самиздатом столь крамольным, что, уже уехав за границу, Герцен их боялся напечатать, чтоб не подвести куда не уехавшего друга.

А ещё я сладострастно повыписывал из «Колокола» фразы, полностью созвучные сегодняшнему времени – их каждый самиздатский публицист мог написать:

«Люди, на которых лежит кровь ближних и все возможные преступления, ещё живы и даже пользуются почётом; нужно, чтобы их знало новое поколение, нужно, чтобы они были заклеимены общим презрением...»

Я так, дурак-образованец, радовался, это переписывая, словно что-нибудь могли переменить в империи советской те слова, что и тогда не доходили до российского сознания.

И на ещё одну подробность натёкался я всё время и в статьях, и в письмах Герцена: «Колокол» основал Огарёв. А мой герой настолько заслонён был поразительной фигурой друга, что я ещё и справедливость восстанавливал.

Ну, словом, перечислил я то главное, благодаря чему был крайне счастлив те два года, что кропал свой негритянский труд. А кстати, и писал я о весьма счастливом человеке. Был он болен эпилепсией, чудовищно обманут был в любви, и многими приятелями был не только предан, но и оклеветан; добровольно стал изгнанником, Россию обожая более всего на свете; много лет запойно пил, и что бы ни случалось, оставался сам собой. Нет, я, пожалуй, всё-таки немного расскажу и здесь об

этой странной и неповторимой личности. Есть у меня печальная уверенность, что к тем забытым временам ещё не раз, быть может, обратится рыболовный взгляд историков, но просто так читать о людях той эпохи – более никто не будет. Уже черезчур впоследствии свалилось многое и на Россию, и на россиян, чтоб интересны были им те странные ростки свободы, что каким-то чудом зарождались в душах той поры. И очень жаль, поскольку и сегодня ещё очень много общего таится в этих двух несхожих жизненных течениях.

Ему было двенадцать лет, когда казнили декабристов. И приглушённое, придушенное как бы на дворе стояло время. И Герцен очень точные нашёл об этом времени слова:

«Тон общества менялся наглазно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести тёплого слова о родных, о друзьях, которым ещё вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства, одни из подлости, а другие хуже – бескорыстно».

Если вынести отсюда слово «аристократы», то созвучие эпох (сквозь полтора почти столетия) – так поражало, что поёживался я, выписывая эту и подобные цитаты. А когда – двадцатилетние уже – кружок друзей собрали Герцен с Огарёвым, то слились до неразличимости их разговоры с тем, что говорилось в годы моей молодости на интеллигентских кухнях посреди империи советской. Впрочем, я от Огарёва отвлекаюсь. Если Герцен был умом кружка, то Огарёв – душой и сердцем. Это многие потом писали, и такую разницу в ролях они навеки сохранили.

А кстати, высшего образования герой мой не имел: занятия в Московском университете он забросил ещё раньше, чем всевидящее око того времени заметило его гуляние по жизни. Снова Герцен: «Всегда глубокий в деле мысли и искусства, Огарёв никогда не умел судить о людях. Для него все не скучные и не пошлые люди были прекрасными...» (А спустя много лет, уже в Лондоне – пообещает Герцен ящик шампанского тому, кто приведёт человека, который не понравился бы Огарёву.)

С такими вот прекрасными людьми и пел Огарёв прекрасные, но возмутительные песни летом тридцать четвёртого года прямо на улице. И был он арестован – по доносу одного из этих прекрасных людей. Сперва его, правда, выпустили на поруки родственников: зелёный, как апрельский листок, весёлый, загульный и проказливый мальчишка, но спустя дней десять взяли снова. Потому что почитали взятые при обыске заметки, письма и конспекты – явно обнаружилось крамольное и дерзкое мышление. И тут же Герцена арестовали. И полгода провели они под следствием, к тому же – в одиночном заключении. Председатель следственной комиссии довольно снисходитель-

но решил, что все их письменные прегрешения – «не что иное суть, как одни мечты пылкового воображения, возбуждённые при незрелости рассудка чтением новейших книг». И к замечательному выводу пришёл: «Двое этих юношей вредоносны, ибо... образованны и способны».

А впрочем, полугодичное заключение и ссылки в отдалённую губернию – вполне достаточным казалось председателю для охлаждения сих пылких молодых умов.

Какая мягкость и гуманность, думал я, и лагерные многолетние сроки моих приятелей невольно вспоминались мне при этом.

Всё время заточения был Огарёв несообразно счастлив: он, наконец-то, мученик за свободное слово, непрерывно сочиняются стихи, а от друзей и родственников еда и вино поступают в таких количествах, что хватает и на караульных надзирателей.

И сослан вовсе не на север он, а в Пензу, родной город, где отец его – влиятельный и уважаемый человек, а сам он знает с детства всех и каждого.

Но только Огарёв – на то он и поэт – унижен и обескуражен. Он ведь пострадать хотел, мечтал о наказании суровом и тяжёлом, а его не приняли всерьёз.

Но молодость взяла своё, и к Пензе подъезжал он с нетерпением: созрела философская система, по которой равенство, свобода и цветение всеобщей справедливости – из самого устройства человека вытекали убедительно и внятно. И снова это был тот Огарёв, в котором странно сочетались меланхолия – с весёлостью, а доброта, уступчивость и мягкость – с каменной и нерушимой твёрдостью во всём, что совести касалось или убеждений сокровенных.

А вскорости влюбился Огарёв, немедленно женился, и отец его был полностью спокоен, умирая: образумился любимый сын, и миллионное наследство будет ему верным основанием для долгой и благополучной жизни.

Первое, что сделал Огарёв – на волю отпустил он около двух тысяч крепостных. Потом он выстроил огромную для той поры больницу. Мечту свою – устроить фабрику вольнонаёмного труда – чуть позже он осуществил. Кудрявый странный этот барин запрещал мужикам снимать при виде его шапку, а бабам – целовать ему при встрече руку. И говорил он мужикам чужие непонятные слова: о чувстве личного достоинства, к примеру, что в себе его необходимо развивать. По счастью, вскоре за границу он уехал – настояла молодая барыня.

В Италии жена оставила его, стремительно и пылко полюбив художника, недавнего знакомого из России. Огарёв мотался по Европе, обучаясь химии и медицине, посещая лекции по философии, срываясь в частые загулы. Чуть позже эта женщина так ухитрилась обокрасть его (точнее – обокрасть, он был доверчив, как ребёнок), что остаток жизни он существовал на пенсию от детей Герцена. Впрочем, это всё случилось позже, а покуда ещё

деньги были, Огарёв ссужал любого, кто его просил о помощи. Но не известен ни один, кто этот долг потом отдал бы.

А в Россию возвратясь, он посвятил себя всего – писчебумажной фабрике, построенной для воспитания в рабах вчерашних – вкуса к вольному труду. И снова он женился, и опять был счастлив, и стихи писались, и насмешливость друзей ничуть не умеряла его веру в то, что можно, можно в русском мужике образовать свободную личность. А уже давно был за границей Герцен, и немыслимо тянуло Огарёва присоединиться к другу, но казалось низостью – уехать, не пытаясь побороться с русским рабством изнутри.

А зимой пятьдесят пятого года, среди ночи вспыхнув, до фундамента к утру сгорело его последнее российское предприятие. Говорили все потом, что фабрику подожгли сами крестьяне: видели они в системе вольнонаёмного труда – какую-то им непонятную барскую каверзу. И, не дожидаясь выяснения, сами разрубили этот узел.

Огарёв приехал на пожар. Ярко пылало в ледяной февральской ночи первое реальное детище русской утопической мысли. И странное, немного стыдное испытывал он чувство облегчения. Освобождения, скорее, от всего, что так привязывало его к России: от надежд, иллюзий и наивности, растаявшей от близкого огня. Теперь он мог уехать, что произошло довольно скоро.

Десять лет они не видели друг друга. Десять лет. А письма, как бы часто ни писались, никогда не заменяли им живого общения. Ибо какая-то искра возникала в каждом, когда рядом был другой. Они так устали оба за первые два часа несвязных вопросов и ответов, объятий, хлопания по плечу и даже слёз, что сразу же после обеда отправились спать, конфузливо и насмешливо сославшись на своё стариковство.

Огарёв приехал в Лондон, привезя с собою свежее дыхание России, словно часть её сгущённой атмосферы предрассвета. Он привёз большую кипу рукописей, ходивших в Петербурге по рукам, прозу и стихи, не пропущенные цензурой или даже к ней не поступавшие ввиду заведомости возмутительного содержания. И, переполненный идеями (в которых собственное разочарование в быстром изгнании холопского духа играло не последнюю роль), – он предложил издание газеты.

В первом же номере был разбор отчёта министра внутренних дел царю. Личный отчёт министра! Полный демагогии, риторики и фальши. Добавив то, что утаил и не упомянул министр, газетный автор написал: «Или господин министр не знает всего этого? Ну, тогда он не способен быть министром».

От вольности такого подхода – волосы должны были зашевелиться на голове у непривычного российского читателя. Но поток писем, хлынувших вскоре в Лондон, подтвердил освежающую пользу тона, языка и полной раскованности газеты. Потребность в справедливости и воздаянии – глубинная и очень острая человеческая потребность. Голос справедливости утешает даже в

случае, когда поздно уже исправить совершенное зло. А сама возможность воззвать к справедливости и воздаянию – целебна для души и разума. Вот таким недостающим голосом и стал для России «Колокол». В других странах эту роль давно уже исполняли регулярные обычные газеты. Но на то она ведь и Россия.

Выяснялось, что российское чиновное начальство – сплошь и рядом, сверху донизу, почти что поголовно – занимается жестоким вымогательством, поборами и взятками. «Они открыто говорят: дай денег, будешь сыт и спокоен; не дашь – погублю и разорю». Удивительными словами, кстати, заканчивалось письмо этого неизвестного россиянина: «Примите уверение в чувствах того высокого уважения, которое может питать рвущийся на свободу раб к человеку свободному...»

Излишне говорить, каким озоном радости дышал я, переписывая это для легальной книги в семьдесят шестом году. Однако, вот что крайне интересно: тридцать лет спустя (а на дворе – две тысячи пятый), перечитывая книжку о поэте Огарёве, я всё время натывался на слова и мысли, полностью созвучные уже сегодняшней России. Господи, но полторы ведь сотни лет прошло! А «Колокол» тогда писал, что каждый, обретающий чиновную или судебскую власть, чувствует временность, непрочность, зыбкость своего положения. Поскольку он от произвола сверху – начисто, ничем не защищён. От чувства ненадёжности – и происходит лихорадочное воровство, поборы и грабёж – казны и подвернувшихся удачно под руку.

И глухой тоской российской в душу мне повеяло от этой безысходной вековой похожести.

А вот ещё. Какой-то безымянный автор усмотрел высокую роль «Колокола» как органа всероссийского покаяния. Ибо никак нельзя, писал, перекладывать лишь на верхушку власти всю ответственность за грязь и мерзость, в которых погрязла Россия. Все мы поровну виновны, писал он, в зверствах и холопстве, кои друг от друга отделить нельзя. «Мы систематически воспитывались все в привычке и любви к насилию, этой оборотной стороне внутреннего и внешнего рабства, а без собственного освобождения каждого в самом себе – и страна свободной не станет».

Я эту длинную цитату выписал сюда, чтобы зазря не повторять, насколько наши разговоры на интеллигентских кухнях – были те же самые спустя сто лет.

А тогда газетой «Колокол» чиновники пугали друг друга.

«Колокол» читали при дворе.

«Колокол» использовала как справочник комиссия по крестьянскому вопросу.

Им зачитывались студенты как в обеих столицах, так и в провинции. Он попадал в гимназии и семинарии. Дружеские и родственные семьи обменивались номерами, словно модными романами.

И длилось это – десять лет. В феврале шестьдесят первого года на одной из центральных лондонских улиц (точнее – попе-

рёк её) висел огромный транспарант, подсвеченный газовыми светильниками: «Сегодня в России получили свободу двадцать миллионов рабов». Немыслимый банкет устроил тогда Герцен в честь освобождения. Первым произнёс он тост за русскую свободу и просил простить его за хмурость: в Польше проливалась кровь восставших. Это было самое начало.

«Колокол» безоговорочно и сразу встал на сторону поляков. Понимая, что восстание заведомо обречено, и что одним из их читателей на Польшу наплевать, и что другие – чересчур ещё рабы, чтобы сочувствовать восставшим за свободу. И что боясь ожесточения властей, впадут и те, и другие – в мерзостный и искренний патриотизм, который напрочь разорвёт их зыбкие симпатии к двум лондонским неколебимым вольнодумцам. Так оно вскоре и случилось.

Описывая эти годы, я угрюмо вспоминал, как уже в наше время задушили Венгрию, как танки разутюживали Прагу, и с каким злорадством обсуждали это жители империи советской. Словно вертится на карусели вся история российская с повторами насилия и унижения.

Но я ещё немного расскажу об Огарёве. Жуткая история случилась в его жизни очень вскоре по приезде в Лондон. Жена его, Наталья Огарёва – полюбила Герцена, и Огарёв – благословил их близость. Был патологически великодушен этот человек и устранился, пресекая на корню то бурные попытки друга объясниться, то истерики вчера лишь близкой Натали. Впоследствии один из современников, пытаясь нечто главное во всех поступках Огарёва сформулировать как можно лаконичней, очень точные нашёл слова: «разнузданное благородство».

И годами сохранялась эта внутренняя тайна – до таких немыслимых пределов, что родившихся у Натали и Герцена детей – довольно долго все считали детьми Огарёва. Позже, встретившись случайно, он сошёлся с некой Мэри Сатерленд, и её уличное профессиональное прошлое – ничуть его не озаботило. Он прожил с ней восемнадцать лет, она его боготворила, так и не сумев понять за эти годы, почему он всё-таки уехал из России. И она же положила на его закрывшиеся глаза два медяка, которые он некогда привёз оттуда.

Интересно обратиться ненадолго к той растерянности и к тому фиаско, что герой мой потерпел, когда пытался объяснить английской женщине резоны, по которым он уехал из России. Кстати, о России, когда он её спросил, она всего два факта знала – я боюсь, что посегодняя это знание присуще большинству земного человечества:

– Там у вас по улицам медведи ходят, а российский царь ссылает всех в Сибирь.

Казалось бы, он мог ей объяснить: в его статьях во множестве разбросаны различные похабства русской жизни, только лаконично всё сложить и сформулировать – ему не довелось. И мне забавно было, что задолго до него – ещё когда – блиста-

тельно соединил все ощущения такого рода Александр Пушкин. Но известна много позже стала эта фраза, в одном из писем к Чаадаеву она была:

«Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние...»

И тут же хочется мне привести слова не то чтобы полярные, но очень важные для понимания той ностальгической тоски, что все почти года томила двух этих изгнанников великих. А слова эти когда-то о России Герцен написал:

«В нашей жизни, в самом деле, есть что-то безумное, но нет ничего пошлого, ничего мещанского».

Мы все в свои шестидесятые (как и они за век до нас) убеждены были, что свобода слова и свобода вообще – немедленно все российские проблемы разрешат. Ведь если можно вслух совместно обсудить и сообща договориться – как же не найти путей к отменной жизни! И какая-никакая, но свобода всё же наступила. А достоинство, однако, попирается с цинизмом ещё большим, пошлость торжествует невозбранно, разве что безумие кошмарно возросло. Что эти двое нам сегодня бы сказали, посмотрев на их мечту о вольных русских хлебопашцах? Всё-таки большое это счастье, что обычно люди умирают, не пережив свою эпоху.

И в одном лишь месте книги о поэте Огарёве я слухавил, передёрнул и смолчал. Настолько полюбился мне герой, что я уклончивую полуправду написал об увлечённости его одним зловещим, страшным человеком. А Сергей Нечаев, как и всех, использовал его и выжал всё, что было нужно: деньги, имя и участие. Впрочем, здесь присутствовал и третий, но и дружбу с Михаилом Бакуниным я обошёл, как бы стеснясь слепоты поэта Огарёва. Сказавший некогда безумные и яркие слова – «Страсть к разрушению есть творческая страсть», Бакунин сохранял им верность всю свою жизнь. К нему и появился тощий воспалённый юноша, чьё имя очень скоро превратилось в символ лжи, мистификации и полного презрения к любому человеку, если он не нужен революции. Написанный Нечаевым «Катехизис революционера» проклинали вслух и письменно все те, кто вольно и невольно следовал ему. Ибо словами точными и беспощадными там говорилось всё, что полагали в глубине души (и воплощали в дело) ниспровергатели и разрушители во всех последующих поколениях. Это оттуда шли слова, на многие десятилетия моралью и заветом ставшие: «Нравственно всё, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно всё, что мешает ему». Кошмарная мораль эта впоследствии перехлестнулась и на то, что делали с Россией устроители земного царства справедливости (поскольку революция – ещё и мировая намечалась).

Я приведу отрывки из набросков, которые читал Нечаев вслух (как было в книжке у меня) – Бакунину и Огарёву.

«Революционер – человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собствен-

ности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью – революцией....

Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нём единою холодной страстью революционного дела... Стремясь неуклонно и неумолимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками всё, что мешает её достижению...

Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Все и вся должны быть ему равно ненавистны... Он не может и не должен останавливаться перед истреблением всего, что может помешать ходу всеочищающего разрушения...

Не сильно грамотный, не образованный совсем, лишённый литераторского дара начисто – не мог Сергей Нечаев написать такие пламенные лаконические строки. В том, что часть из этого написана Бакуниным (отредактировано всё) – сомнений нет, но только страшно было мне признать, что Огарёв не мог не принимать в этом участие. Он так увлёкся молодым и ярким разрушителем, что деньги для него достал (истребовал у Герцена), и множество нелепых прокламаций написал для якобы существовавшей многочисленной когорты всех соратников Нечаева в России. А Нечаев, как известно, просто врал. А Огарёв, как выше было сказано, во многом разбирался, но не в людях. Герцену не просто неприятен, а скорее – омерзителен был этот человек, но друга переубедить он не сумел. Да и в плохом душевном состоянии был Герцен в этот год до смерти. Прекратился «Колокол», и связь с Россией оборвалась, и в семье настал разлад полнейший. Это время я не стал описывать подробно, мой герой ещё не раз обманывался в людях. Но такую я к нему испытывал душевную симпатию, что нескольких побочных лиц из книги ею щедро наделил. И это правдой было: множество людей любили этого нелепого талантливоего человека.

Когда книгу о поэте Николае Огарёве прочитали и одобрили в издательстве, ещё я на свободе был, но всё уже вокруг дымилось. Этот запах ясно ощущала жена Тата, только ей никак не удавалось вразумить безнужного мужа. Задним-то числом я понимаю, что уже был обречён, однако глупостей я мог бы сделать меньше. Но не об этом вся история.

Она о том, что есть у книг судьба, и Провидение за той судьбой следит, порою помогая так разительно и зримо, что не остаётся никаких сомнений и в существовании его. Уже я был в тюрьме, вживался с любопытством в новое существование и неслышно радовался, что на негритянский гонорар семья моя прокормится довольно долго. Хорошо, что там не будет и в помине моего преступного имени, думал я, а то бы вмиг зарезали издание. А Тате в ужасе позвонила редакторша (она о негритянстве знала, как и прежде): на столе её лежала вёрстка, но в цензуру надо было представить удостоверяющие ссылки на

газету «Колокол». Ну, в смысле подлинности всех цитат, и даже тех, что были раскавычены и просто пересказаны автором близко к тексту. Поскольку Герцен с Огарёвым, сами не подозревая, высказали множество антисоветских мыслей, я ими напичкал книгу, разумеется – они звучали как свежайшая крамола. Вот, к примеру: (только я прошу припомнить возраст всех вождей кремлёвских того времени): «Страшная беда меняющейся России, писали авторы газеты, в том, что и посейчас жизнь её и все перемены решаются теми же самыми зловецкими стариками, что решали эту жизнь в гнусную эпоху Незабвенного. Их бы судить надобно, их деяния описывать необходимо, и в этом состояло бы главное и подлинное духовное и умственное освобождение страны от наследства пагубного и цепкого».

И тут я вспомнил (вот он, старческий склероз, куда кремлёвскому), что я эту прекрасную историю уже в недавней книге упомянул, теперь я просто из неё и выпишу (на склоне лет разумно – экономить силы и слова).

Тате предстояло перелопатить два или три толстенных тома подшивки «Колокола». Что-нибудь найти там быстро было просто невозможно. С этими томами Тата кинулась в издательство, редакторша ей предоставила опасные цитаты, только вместо помощи мешала их искать, ибо журчала непрерывно, поверяя свои женские печали. И Тата понимала: дело безнадежно: книга выйдет исковерканной, ежели выйдет вообще. А время истекало на глазах, начальство и цензура жаждали удостовериться в источнике. В придачу ко всему, у Таты раскалывалась от боли голова. Утром того дня арестовали нашего друга Витю Брайловского. Пространство жизни ужималось и темнело.

Тата отпросилась в коридор покурить и прихватила заодно с собой два тома «Колокола» и листки с предполагаемой крамолкой. В коридоре возле подоконника её незримо и неслышно ждало упомянутое Провидение. Необъятно толстые тома подшивки сами открывались на любой искомой цитате. Через четверть часа дело было кончено. Цитаты действительно принадлежали Огарёву и Герцену, а не являлись злокозненной выдумкой негра-наёмника (а кстати, опасения редакторши отнюдь пустыми не были: она-то была в курсе, кто писал, и знала в этом смысле криминальные замашки автора). И вёрстка повести «С того берега» прошла цензуру, в типографию ушла, и стала книгой. А на гонорар от жизнеописания этого государственного преступника мы вскорости приобрели избу в Сибири.

Однако я причастен лично к некоему унижению, которому подверглось второе издание этой книги. Я не каюсь, я рассказываю просто. Был уже я на свободе, ветры вольные свистели по России, и затеял Горбачёв ту памятную антиалкогольную кампанию, которая должна была империю от пьянства отучить. Как было трудно в это время водку доставать! И самогонная горячка разом вспыхнула. Но я том, чего не ведал Горбачёв в

его смешных, заведомо пустых попытках разлучить народ с бутылкой. Потакая замыслу начальства, те холопы, что пониже были, начисто распорядились вымарать из выходящих книг малейшее упоминание о вековечном русском пьянстве. Вековечном и спасительном, добавлю, ибо не могу себе представить, как Россия (и сегодняшние мы) смогли бы выжить без целебного побега из реальности в стакан. А тут издательство затеяло переиздать удавшуюся повесть, но категорическое выставила мне условие: все эпизоды, где герои выпивали – выбросить или тактично заменить на чай. Я малодушно (есть хотелось) согласился. И через месяц Огарёв (он не был алкоголиком, отнюдь, но много и со вкусом пил всю жизнь), и Герцен, и все прочие герои книги, разговаривая о несчастьях русской жизни, пили не коньяк, а что-то непонятное, но не было уже там никаких упоминаний о спиртном в различных его видах.

Вы меня за сделанную пакость извините, Николай Платонович, уж очень в это время я в растерянности был, а вся моя семья – весьма нуждалась в пропитании.

А много лет спустя в Израиле мне заказали текст к уже снятому кино – про разные красоты нашей маленькой, но солнечной страны. Точнее, фильма ещё не было, мне предстояло уложить в порядке интересном и пристойном – две кассеты снятого по всей стране материала. И теперь уже я сам был вынужден искать какого-нибудь негра, хорошо осведомлённого насчёт тех мест, которые засняли операторы. А Саша Окунь знал Израиль превосходно, я его и нанял в негры. Саша сочинил порядок монтажа всей киноплёнки и принёс наброски дикторского текста. Я его чуть переделал твёрдою рукой надменного заказчика, а после он записан был в моём прочтении. И фильмом этим уже много лет торгуют в книжных магазинах и автобусах туристских. Гонорар напополам мы поделили, потому что я давно уже усвоил: неграм переплачивать не стоит. Очень портится у них от этого характер, возрастают алчность и претензии. А вдруг ещё чего-нибудь мне кто-нибудь закажет?

СЕЗОН ОБЛЕТЕВШЕЙ ЛИСТВЫ

Когда я, наконец, закончу эту книжку – сяду за любовные романы. Я уже начало сочинил для первого из них: «Аглая вошла в комнату, и через пять минут её прельстительные кудри разметались по батистовой подушке».

Правда же, красиво? Хотя и слабже, несомненно, чем какой-то автор написал о том же самом: там герой в порыве страсти – «целовал губами щеки на ее лице». Но я и до такого постепенно дорасту. Именно поэтому ничуть не удручаюсь я и не тоскую от моей наставшей старости. Поскольку, как известно всем и каждому, у старости есть две главнейшие печали: отсутствие заня-

тия, которому хотелось бы отдать себя и всё оставшееся время, и томительное ощущение своей ненужности для человечества.

А я – закоренелый и отпетый графоман. И у меня до самой смерти есть посильное занятие. Мало пристойное, но есть. А это очень важно: я прочёл во множестве трактатов о закате, сумерках и тьме, что главное – иметь хотя бы плёвое, но всё-таки какое-никакое дело. По той причине, что досуг, о коем все мы так мечтаем всю сознательную жизнь – становится невыносим, обременителен и надоедлив, как только мы его обретаем. Ну чуть попозже, а не сразу, но становится. А это, кстати, и по выходным заметно, и по праздникам любим, а в отпуске – особенно. К концу (а то и в середине) этих кратких дней отдохновения спастись возможно только алкоголем, так тоскливо на душе и тянет на обрыдлую работу. А если этот отпуск – навсегда? И ещё пенсию тебе дают вдогонку – чтоб не сразу помер от нахлынувшей свободы и возможности пожить немного без привычного ярма, оглобель и телеги. Но немедля выясняется, что старость – это то единственное время, когда хочется трудиться. А ещё ведь так недавно превосходно понимали (ощущали), что работа – уж совсем не самый лучший способ коротания недлинной жизни. Но куда-то мигом испарилось это, безусловно, правильное мироощущение. И у всех почти что поголовно, возникает чувство огорчения, отчаяния даже, что их выпустили, выбросили, не спрося, из общей мясорубки жизни. Как будто светлое грядущее они слегка достроить не успели. Или им хотелось пособить родной стране догнать хотя бы Турцию по качеству еды на душу населения.

Присмотритесь! Просто вам хотелось, чтобы время вашей краткой жизни убивалось день за днём так именно, как вы уже привыкли, а не как-то иначе, как вы ещё не знаете и не придумали. А мудрый Ежи Лец как-то сказал, что ежели у человека нету обязательной работы, он довольно много может сделать. Но забавно, что как раз такое чувство выброшенности из мельничных бесчеловечных жерновов – сильнее всего тревожит и волнует старческие души. И смыкается с томящим этим чувством – ощущение, что ты уже не нужен никому.

Но мне и в этом смысле повезло. Поскольку я давным давно, десятки лет назад прекрасно осознал и ясно понял свою полную ненужность, бесполезность и отчасти даже вред для неминуемого счастья человечества. И ощутил такую дивную свободу, что впоследствии в тюрьму попал вполне естественно.

Мне даже и на улицу надолго выйти неохота, до того дошло, что я не каждый день осведомлён, какая на дворе погода. А если окажусь на улице по некоей необходимости, то сразу кашляю, поскольку свежий воздух попадает мне в дыхательное горло. И поэтому о грустных сверстниках моих я далее примусь писать – воздержанно, тактично, деликатно, щепетильно, а нисколько не по-хамски и наотмашь, как пишу я о себе и чувствах собственных.

В моём сегодняшнем существовании есть несомненное достоинство: я никуда не тороплюсь, поскольку уже всюду опоздал.

Отсюда – плавная медлительность моих суждений и благостная снисходительность во взгляде на бегущих и спешащих. Им ведь, бедолагам, даже ночью снится календарь с разметкой мельтешения на полную неделю. А мои все деловые попечения остались там же, где мечты и упования.

А способность к сопереживанию и душевная впечатлительность – они, по счастью, в нас не только что сохранены – более того: они, похоже, обострились и усугубились. Жаль немного, что играют эти струны более от книг и телевизора, чем от реальной жизни, на которую мы давно махнули рукой. А мысли – не бурлят они уже, а вяло шелохаются, как усталые и снулые раки. Но в этом же и состоит целительная благодать отдыха от канувших былых переживаний в откипевшем прошлом.

Про старческий склероз теперь могу я рассказать на собственном примере. Как-то позвонил мне пожилой приятель и оставил на автоответчике сообщение. Он звонил последним, значит – можно было набрать звёздочку и номер сорок два, и попадал ты напрямую к последнему звонившему. Так я и сделал. Трубку подняла маленькая девочка. Попроси дедушку, сказал я. И услышал, как его позвала: дедушка, дедушка! Но дедушка не подходил, и трубку положили. Спит, наверное, подумал я. И позвонил ещё раз. Девочка опять послушно закричала куда-то: дедушка, дедушка! Но старый пень не отвечал, и трубку снова положили. Погода короткое время выяснилось, что я попал в квартиру дочери и общался с собственной внучкой – это она звонила нам последней, только не оставила сообщение. А дедушка какой-то странный, застенчиво пожаловалась внучка бабушке: я ему кричу – дедушка, дедушка! – а он мне отвечает так задумчиво: уснул, наверное, старый пень.

За собственную старость лучше всего наблюдать утром. Голова болит или кружится – даже если пили накануне мало или нехотя. В различнейших частях проснувшегося тела ощутимо ноет, колет, свербит или потягивает (если ничего такого нет, то значит – уже умер). Вообще специалисты утверждают, что здоровая старость – это когда болит всё и везде, а нездоровая – в одном лишь месте. Тут полезно похвалить себя за то, что всё же встал самостоятельно. Желающие могут вознести за это благодарность Богу и судьбе (и будут, несомненно, правы). Застенчивая вялость организма побуждает размышлять об отдыхе. На склоне лет ведь вообще – гораздо меньше надо времени, чтоб ощутить усталость, и гораздо более – на отдых от неё. Однако же ложиться сразу – неудобно (миф о святой необходимости трудиться – хоть и мерзок, но живуч), к тому же – хочется дожидаться завтрака с горячим кофе. После него ничуть не лучше, хотя общая туманность ощущений чуть светлеет. Но в просветах ничего хорошего не проступает. Очень тянет выпить рюмку, а мысли о холодном пиве освежают сами по себе. Уже почти одиннадцать к тому же – это время, когда можно уступить влечению. Утренняя лёгкая заправка хороша ещё и тем, что улучшает помышления о

вечере с его законной выпивкой всерьёз. Но главное – не слушать с утра радио и не читать газету, ибо от этого жить вообще уже не хочется. А если передача бодрая и с оптимизмом, то ещё и чуть подташнивает. Пока никто не позвонил, а значит – вертится планета, и Мессия не пришёл. Очень также важно до полудня не смотреть на себя в зеркало, что может покалечить душу на весь день. А чистить утром зубы, умываться и причёсываться хорошо вслепую. Кстати, люди оттого, возможно, и лысеют (а точнее – затем), чтоб можно было причесаться, в зеркало не глядя. Это нечаянный гуманизм природы. И зубы в пожилые годы лучше чистить, вынув изо рта, тут зеркало совсем не нужно. Посудите сами: если знаешь, как ты плохо выглядишь – зачем же в этом убеждаться лишний раз?

И вообще – насчёт изображения в этом коварном и безжалостном стекле: на склоне лет полезно быть готовым ко всему. От перенесенных печалей, страхов и невзгод все люди с возрастом становятся похожи на печальных пожилых евреев (это далеко не всем приятно). Или – на китайцев, живших много лет среди татар. А старики, кто поумнее (и поэтому страдали в жизни больше) – и на тех, и на других. Так что лучше не приглядываться к своему отражению – подмигнул и умываешь руки.

О времени вставания – отдельно следует сказать, а то я эту тему чуть не упустил. У Льва Толстого есть в «Войне и мире» замечательно оплошные слова: «Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам». Подобной чуши я не ожидал от зеркала русской революции. Не надо обобщать, и обобщён не будешь, как часто говорила моя бабушка. Не все, но большинство – помногу и со вкусом спят на склоне лет. И радость позднего вставания – достойная награда за пожизненную утреннюю пытку звоном подлого будильника. Конечно, нелегко – избавиться от обаяния бесчисленных и гнусно назидательных пословиц типа – «Кто рано встаёт, тому Бог даёт» или, к примеру, – «Ранней пташке – жирный червяк». Это придумали когда-то бедные крестьяне, наглухо закрепощённые весенними посевами и сбором урожая осенью. Зато зимой они почище спали, чем медведи. А ведь у нас, ровесники, как раз пришла зима! Уж я не говорю о дивных снах, которые нам снятся поздним утром, и которые безмерно сладостны, поскольку о весне они и лете. А что долгий сон целебен для здоровья, даже и врачи теперь не отрицают. Так что – спи спокойно, дорогой товарищ, и чем долее ты спишь, тем позже над тобой произнесут эти слова.

По поводу бессонницы у многих стариков – читал и слышал, но не знаю, как это случается. Я лично, если вдруг не засыпаю сразу, начинаю думать о высоком, нравственном и светлом. Например – о смысле жизни. Я не знаю лучшего снотворного.

Ещё об утренней поре. По жизни я знавал немало стариков – самоубийц, которые с утра мучительно производили физзарядку, неуклюже вскидывая ревматические руки и суча увялыми ногами.

Я их обычно навещал уже в больнице, ибо по утрам они бежали от инфаркта, непременно ошибаясь в направлении.

Поближе к середине дня проходит не сонливость, а тупая убежденность в трудовом предназначении человека, тут пора и придремнуть. Но только очень важно помнить (понимать и не надеяться), что сумерки и вечер – наше самочувствие нисколько не улучшат. Это важно для душевного покоя.

Что касается меня, то лет уже, наверно, пятьдесят – с непреходящим удовольствием веду я нездоровый образ жизни. И богини Парки, ткущие мою судьбу, уже давно, должно быть, задыхаются от моего частого курения (хотя и сами, думается мне, покуряют травку из богатого набора зелья на Олимпе). А кашлянув, они вполне случайно могут оборвать мою немного затянувшуюся нить. Про всякое спиртное – и подумать даже страшно. Эти Парки – с бытом древних греков попривыкли иметь дело, то есть с лёгким (да и то с водою смешанным) сухим вином, и запах водки или виски вряд ли нравится их нежному и щепетильному обонянию. А тут недолго и чихнуть, а нитка – тонкая. Ну что ж, я заслужил бесславный мой конец, хотя, сказать по совести, покуда не совсем к нему готов. И более того: чем дольше я живу, тем это всё мне нравится сильнее, а главное – осознанней, как тут ни странно это слово. Поскольку мы живём – один лишь раз. И то – совсем не все. И мне довольно много ещё хочется прочесть и выпить, да и мысли кой-какие мельтешат ещё покуда в голове. А свои или чужие – мне уже не важно. Впрочем, интересно, что едва задумаешься над какой-нибудь забавной темой, то чужие мысли в голову приходят много раньше, чем свои. Это наглядно говорит о том, что механизмы памяти в нас изнасились несравненно меньше механизмов разума, что освежает и бодрит.

Ну, имена, фамилии, названия – конечно, забываем. И притом – в момент произнесения. Но к этому довольно быстро привыкаешь. Даже более того: со сверстником встречаясь, можно запросто прослыть заботливым и благородным человеком. Потому что имени его не помнишь, но, учитывая возраст, можно запросто сказать:

– Я слышал, вы болели? Как теперь?

А так как он болел наверняка, то счастлив будет рассказать, как именно недомогал и чем лечился. И в рассказе этом неминуемо он упомянет, как его зовут. Займёт это не больше часа, дело того стоит.

Кто-то сказал недавно (или написал), что старость – это время, когда наше состояние телесное не позволяет заниматься нам физическим трудом, а состояние рассудка – умственным. Второе – чистая неправда. Более того: есть авторы, которые считают, что на склоне лет как раз целебно и спасительно заняться осмыслением итогов прожитого времени и размышлять о канувшем былом. У Сомерсета Моэма (на то он и писатель настоящий) тягостный возник вопрос однажды: в чём таится смысл такого подведения итогов? И, подумав, сам себе ответил честный анг-

личанин, что нет в этом занятии ни пользы никакой, ни даже смысла, только утоляется при этом нечто, чему нету точного названия. Ну, то есть закрутил читателю шараду, где разгадка ребуса – внутри кроссворда.

Мне-то проще: я своё былое – обожаю вспоминать. И всё, что вспомню, я немедленно бумаге доверяю. Потому и мемуары мои – истинная правда. В них описаны события, которые со мной случались или же могли случиться, что практически – одно и то же. Где-то сказано (возможно, я это читал), что мемуары – это послесловие к прожитой жизни. Но и к непрожитой отнюдь не грех досочинить лихое послесловие. А при таких роскошных допущениях о прошлом размышлять – одна сплошная радость.

Только тут меня и спросит вдумчивый читатель: а тем, чьё прошлое – кроваво и черно, как им его перебирать и вспоминать? Убийцам, палачам, предателям?

За них не надо беспокоиться и волноваться. Прошлые своё такие люди обелили полностью, давным-давно, и угрызений не испытывают никаких. Такое, дескать, время было, и всего только приказы чьи-то исполняли они с ревностным усердием, и не ясен до сих пор моральный облик пострадавших, и потому только построили державу. А кому-то они даже помогали в эту страшную эпоху.

Как-то близкий друг мой оказался в доме у незаурядно крупного убийцы сталинских времён – у генерала Судоплатова. Старик разговорился о своей прекрасной молодости, когда он работал палачом на Украине, где искоренял антисоветскую крамолу. И припомнил о внезапно появившихся листовках, явно детским почерком написанных. Нашли мальчонку очень быстро, а за ним – и взрослых, под влиянием которых он пошёл на это преступление. Конечно, этих вдохновителей немедленно вывели в расход, а мальчика – решили пощадить. И, пожевав безгубым ртом, растроганно сказал убийца – профессионал:

– Да, много было гуманного, много...

А совсем недавно всплыли дневники и письма тихо и спокойно умершего в покое и благоденствии доктора Менгеле, того самого знаменитого «ангела смерти» из Освенцима. Его искали много лет, но он очень надёжно спрятался в Бразилии, даже архив его нашли спустя несколько лет после его кончины. У меня не поднимается рука напомнить о чудовищных его экспериментах на живых подопытных. Так вот, не только нет ни капли сожаления в его бразильских дневниках и письмах, но все послевоенные десятилетия он с раздражением и злобой осуждает за (прислушайтесь!) – расслабленную бездуховность.

И забавно мне, что те, в ком сострадание и жалость не были когда-то выжжены ни пламенем идеи, ни гипнозом службы и служения, гораздо больше мучаются от уколов их сохранный памяти. Порой – от мизерных настолько, что смешно и стыдно говорить об этом вслух. Поскольку мемуары – жанр исповедальный, расскажу я о подобной мелочи из собственного опыта. Я на выступ-

лениях своих в антракте продаю обычно книги. И в любой из стран и городов две-три из этой груды книг у меня крадут. Мне часто говорят об этом, и прекрасно это знаю (а порою – даже вижу) я и сам, и отвечаю всем улыбочиво, что наплевать, что это даже мне приятно. Только тут в другом причина. Лет уже четырнадцать тому назад (как не поболее: я только-только начал торговать своими книгами и очень этим наслаждался) увидел я старушку, прихватившую одну из книжек и ушедшую – неторопливо и с достоинством. И почему-то мне её лицо запомнилось. Я усмехнулся и продолжил свой приятный труд (поскольку я ещё на каждой книжке что-нибудь пишу, их потому и покупают, хотя нагло продаю я их дороже магазинных цен). Однако же минут через пятнадцать эта бабушка вернулась. Скраденная книжка у неё была прикрыта сумкой и прижата к боку локтем. А пришла она затем, чтобы украсть другую книжку (я тогда двухтомник выпустил) – ну просто превращалась бабушка в лихую профессионалку. И когда она взяла вторую книжку, я глумливо ей сказал:

– Давайте я сперва вон ту вам подпишу.

О Господи, что сделалось со сморщенным старушкиным лицом! Оно пошло какими-то чудовищными пятнами, и слёзы полились, и кинулась старушка от стола бегом, неловко и хромливо переваливаясь с ноги на ногу. Об этой мелочной и незначительной истории, в которой поступил я, как типичный мелкий жлоб, я не случайно повествую так пространно и подробно. Много лет уже прошло, но ту старушку и её лицо – я непрерывно со стыдом и болью вспоминаю. Так себя Раскольников, наверно, чувствовал, и мизерность моего собственного случая – насколько это жжение не уменьшает.

Но пора вернуться к нашей теме. Про болезни стариковские – пустое дело говорить: за только что уплывшее столетие врачи насочиняли столько видов разной хвори, что избежать хоть одной из них – простому человеку недоступно. Да к тому же вот ведь интересно: женщины болеют много чаще, чем мужчины, но живут гораздо дольше; мужики почти что не болеют, но активно мрут быстрее жён. Загадку эту нам никак не расплести, а пакостей на склоне лет хватает и здоровым людям. Я главу эту пишу, по горло начитавшись книгой «Психология старости». Едва начав её листать, я ощутил нечаянную радость, на учёную статистику наткнувшись: общее заметное снижение по старости всех умственных способностей – как раз там выпадало на мой возраст. В этом я увидел явный знак, что выбрал книгу правильно и неслучайно.

Тут пора предупредить, что о болезнях и недугах – говорить не буду вообще. Поскольку самое опасное, что ждёт на склоне лет – это желание лечиться. Нет, конечно, если всё безвыходно и больно, то приходится сдаваться. Если же вы с помощью врачей хотите просто сохранить своё здоровье, то пиши пропало. И бросайте грабли, и гасите свет. Ведь врачи – не более чем люди. Их, конечно, обучили бесполезно и бесцельно слушать сердце с левой стороны и почти сразу отличать простудный кашель от хро-

нического плоскостопия. Но дальше – чистое пространство домысла и безответственных предположений. И чем меньше знает врач, тем он авторитетней выглядит, врачам ведь тоже надо выживать. Итак, пришли вы к терапевту. Он напишет вам огромный список того, что вам уже нельзя, и крохотный – того, что ещё можно. А потом пошлёт к специалистам. Те потребуют анализы. И поплетётесь вы по этому шоссе энтузиастов (гастроэнтеролог и уролог, а за ним эндокринолог, ортопед, гомеопат и кардиолог, всех не перечислишь, только именно от их названий возникают новые симптомы нездоровья). Каждый из них, следуя клятве Гипократа, искренне пытаясь вам помочь, составит собственные списки вашей жизни и еды. Остановитесь и сравните эти списки! Есть вам ничего уже нельзя, про пить – забудьте, а дышать вам следует реже.

У меня приятель есть, он выдающийся хиропракт: он пациента не расспрашивает о болезнях и недомоганиях, он кладёт его на живот, гуляет пальцами по позвонкам – и говорит о всех недугах и скорбях попавшегося ему в руки организма. Много раз он предлагал мне: ляг на стол, я расскажу тебе такое, что ты ахнешь. Я отказываюсь наотрез: ведь он наверняка отыщет во мне скрытые болезни, а потом придётся их лечить – зачем мне это нужно? Я ему всегда напоминаю о двух старушках, живших некогда в соседних деревнях. Они ходили друг к другу в гости, расстояние в пять километров – не помеха закадычной дружбе. Но потом приехали землемеры, тщательно измерили пространство, и теперь старушкам приходится идти в гости – шесть километров. А для пожилого возраста такая разница – уже довольно много. И распалась их былая близость.

Словом, речь пойдёт о старости здоровой и нормальной. Ну, черты характера меняются (и разумеется – не к лучшему), но всё-таки поговорим о ровной и пристойной старости. И чуть не с каждой из страниц упомянутой книги списывал я слово или два, которые такой составят перечень естественно текущей старости, что и болезни никакие не нужны.

Слабость, оскудение, дряхление...

Замкнутость, обидчивость, мнительность...

Вялость, утомляемость, замедленность....

Упрямство, подозрительность, эгоцентризм....

Сонливость, ворчливость, запоры....

Всё-таки упоминания недуга я не избежал. Но он, как всем известно, тесно связан с психологией. Поскольку те, кто начитался Фрейда, соотносят это грустное желудочное затруднение – с житейской скупостью, присущей бедному страдальцу. Тут я не берусь судить, и только выразить могу сочувствие по поводу обоих этих свойств – и организма, и души.

Вся наша старость – драгоценный промежуток жизни от подёрнутой увяданием зрелости до непонятного загробного грядущего. Естественно, я собираюсь обсуждать её до той границы, где горестно являются (тут замечательная медицинская цитата) –

«несфокусированный взгляд и неосознанное мочеиспускание». Здесь у меня тоже загодя припасена история, и мы к ней непременно обратимся.

А пока читал я этот сборник (там полсотни авторов – психологов), много утешительного выискал себе на радость. Оказалась, что давным давно уже я принялся готовиться к сей мало привлекательной эпохе. Кто-то сказал однажды, что старение – это единственный способ жить долго. И нужна тут некая осведомлённость. Я охотно поделюсь почерпнутыми крохами.

Давно уже таил я опасение, что если даже доживу, то не достигну величавости и просветлённости ума, которые всегда сопутствуют наставшей старости. А виноваты книги, очевидно, где кочует и гнездится этот образ-миф. И вдруг читаю: «Опыт показывает, что образ мудрого благого старика далёк от реальности». И вторит этому ещё один известный доктор, повидавший сотни мне подобных: «Ни одного из виденных мной стариков годы не наделили мудростью и спокойствием, присущим их книжным образам».

Какую радость ощутил я, это прочитав! Не надо напрягаться, притворяться и ловчить: вокруг такие же, как я – пожившие, но мало поумневшие. Или ещё похлеще, ведь житейский опыт сообщает дураку самоуверенность. Словом, я был искренне доволен: не в ответе я уже ни за какую свежееотмороженную глупость. Зря меня жена ругает за мои отвязанные шутки, мне они позволены теперь. Я полностью свободен от любых запретов и условностей, поскольку я – старик, а тут о мудрости не может быть и речи.

А ещё я прочитал, что многие психологи с тактичным состраданием хотят мой возраст обозначить как «период поздней взрослости». Бабушка моя, когда вполне по делу порывалась идиотом обзывать меня, то брала себя в руки и негромко говорила: «Гаренька, ты всё никак не повзрослеешь!». Видишь, бабушка, теперь я повзрослел, учёные об этом пишут люди.

Вовсе не исключено, что миф об умудрённости на склоне лет – родился от неторопливости и осторожности в суждениях, что свойственны и вправду старикам. Кавалерийские наскоки с шашкой наголо на все загадки и проблемы пожилые люди совершать уже не расположены. Что крайне мудро в наше время, когда слепо и охотно рубят все проблемы по живому. Только стариковские категорические разговоры о политике мне кажутся невольной данью наползающему слабоумию, но, молодых послушав, начинаешь понимать, что это общая, вне возраста, беда.

А далее прочёл я драгоценную врачебную инструкцию, что заниматься надо только тем и ровно столько, чем и сколько полагаешь нужным сам. Но я уже десятки лет живу по этому рецепту! Раньше я слегка стеснялся, полагал, что это просто безалаберность характера и лень, а между тем – интуитивно репетировал здоровый образ жизни старика.

И очень ещё важно помнить, что от нас уже не ожидают ничего, и нам не надо тужиться и напрягаться, мы теперь имеем пра-

во на расслабленное вялое блаженство. Как-то я имел возможность в этом убедиться. У меня в Берлине есть семья друзей, где я всегда прошу приюта, приезжая на гастроли. Как-то я приехал, и хозяйка дома мне заботливо сказала, что уже звонило несколько знакомых – им хотелось повидаться. Ты ведь, Гарька, вряд ли в состоянии?

И светлое озарение посетило мою тёмную голову. Я попросил:

– Скажи им всем, что я за два прошедших года так состарился, что всё свободное время сижу на стуле и плачу.

Так она и поступила. И случилось ожидаемое чудо: ни один из позвонивших не обиделся, а каждый с пониманием сказал, что старость – это старость, жаль беднягу. И дня три я прожил в полном отдыхе, читая книги и рассматривая гениальные рисунки Славы Сысоева.

Да, чтоб не забыть: о нашем опыте житейском. Он велик настолько и при этом так разнообразен, что нелепо разбазаривать его на неуместные советы молодым. А когда клюнет их петух, то сами и придут, и спросят. Моему товарищу-врачу однажды в панике полнейшей позвонил его коллега. У семьи знакомых – жуткое несчастье: маленький двухлетний сын сегодня утром выпил тормозную жидкость. В прихожей возле вешалки наткнулся на бутылку, ухитрился откупорить и отпил немного. Плачет в голос, у него болит живот, уже его доставили в больницу, собираются вводить в желудок зонд, чтобы его промыть, и капельницу ставят. Малышу такое делать – глупо и жестоко, а они мне говорят: советуйте, на вас тогда ложится и ответственность.

– Ты трубку не клади и дай мне три минуты, – попросил мой товарищ. И позвал к себе лифтера Тимофеича. Известно было, что старик – заядлый выпивоха, только на работу никогда он пьяным не являлся, ибо всячески гордился, что в известном медицинском учреждении – сотрудник. Мой товарищ у него спросил совета.

– Тормозуху выпил мальчик! – восхитился Тимофеич. – А какую? Для автомобиля или самолётную?

Коллега сообщил, что выпита автомобильная.

– Эта лучше будет, – объяснил лифтер, – она с солёными грибочками хорошо идёт. А делать ничего не надо. Дать ему воды побольше и пускай поспит. Уж если наревелся, то заснёт. А то и сонную таблетку ему дайте. И просрётся ваш малыш, покуда спит, и будет, как огурчик.

Всё так и сделали, и всё прекрасно обошлось. А Тимофеич, донельзя польщённый, что врачи его просили о совете, головой качал, из кабинета выходя, и дважды с некоей печалью повторил:

– А маленькие сами просятся, им легче.

Но теперь пора вернуться к той учёной книжке. Я прочёл, что часто пожилые люди в поисках уместного для старости мировоззрения приходят к тем идеям, о которых многие века твердят восточные религии. Будучи невеждой полным в этой интересной теме, приведу научную цитату: «Действительно, буддизм и инду-

изм призывают отказаться от гордости, лишиться всех желаний, отбросить всякую ненависть, покончить со всеми иллюзиями. Даоизм исповедует, что бездействие – лучшая форма существования, ибо тот, кто действует, в конце концов потерпит неудачу».

Господи, но это же как раз тот похуизм, который ненавязчиво, но всем своим житейским поведением я демонстрирую все годы своего существования на свете! И поэтому, быть может, сохранил себя для старческого прозябания.

На слове «сохранил» я обязательно остановлюсь подробнее. Если попросить любого, чтобы он сказал, что более всего калечит человека на его пути по жизни, каждый скажет: властолюбие и алчность. Ну, про властолюбие я вообще уверен, что это Божья кара, заживо ниспосланная человеку. Потому она его настолько и калечит. А что касается желания иметь достаток, то вполне ведь это уважительная страсть. Естественно – в понятных разуму пределах. А дальше начинается азарт игры, а как игра меняет человека, знает каждый. Равнодушие душевное к обоим этим пагубам – необходимо, чтобы личность сохранить, а старикам – и жизненно необходимо.

Тут запахло чтением морали, упаси меня Господь, и написанием рецептов тут запахло, и поэтому я брошу эту тему.

Только про иллюзии скажу ещё немного. Настоящий похуист с иллюзиями начисто расстался, иначе он похуистом стать не смог бы. Старикам же с ними полностью покончить – помогает тайное устройство нашей памяти. В нём пока наука разобраться не сумела, только позаботилась ярлык наклеить, обозвав психологической защитой. И если бы на склоне лет мы размышляли о былом и вспомнили свои тогдашние иллюзии, мечты с надеждами и упования – то мигом бы свихнулись или запили. И даже если вдруг какие-то мечты сбылись, то если бы мы объективно видели, насколько искукожился их облик – непременно мы бы тоже чуть подвинулись в рассудке от разочарования и горя. Только этого не происходит. Мы, по счастью, слабо помним или вообще не помним то сияние, которое нам источали дерзостные миражи зелёных лет. Об этом наша память позаботилась, её таинственные психологические защиты. Флёр забвения всего, что может растревожить, благотельно окутал нашу старость, сохранив лишь то, что безопасно для спокойствия души. Поэтому былое нам перебирать – одно сплошное удовольствие. Там настолько всё уже красиво, прибрано и чисто-аккуратно, словно в захолустную деревню ожидается приезд высокого начальства. Может, это так мошенничает наша память, вовсе не о нас заботясь, а готовясь к Страшному Суду? Ведь и при жизни дознаватели любые вытащить из нас могли лишь то, что мы выбалтывали сами. Вот и память подчищает наши биографии, готовя для небесного дознания безгрешный благостный фальшак. Не знаю, право. Мне важнее и интереснее пока, что мы ещё в таких воспоминаниях легко и просто обретаем то, чего мы в жизни вовсе не имели. И лишь от нашего воображения теперь зависит яркость нашего былого и

минувшего. А чем сильнее увяла память, тем оно становится прекрасней и значительней.

Особенно, когда в нём удаётся выловить какие-нибудь выдающиеся имена. А если нет их, то полезно чуть соврать. Поскольку в старости все средства хороши, чтобы привлечь к себе хотя бы ненадолго интерес высокомерной молодёжи и тем самым – приосаниться чуть-чуть внутри себя. А если пару-тройку раз повторишь эту выдумку, то начинаешь в неё верить сам – весьма это способствует необходимому для пожилого человека самоуважению. Целебно это очень для душевного здоровья, и поэтому приврать – ничуть не грех. Однако же, нужна ориентация во времени, чтобы мелькало имя человека, не ушедшего из жизни до рождения рассказчика, а также и пространство следует учитывать. Поскольку, например, с Набоковым (вообразив, что он меня пустил) – я мог по времени распить бутылку божоле, но я в Женеву мог попасть лишь сильно после его смерти. То же самое – и с Сашей Чёрным. Поэтому ни о Спинозе, ни о Лоуренсе Аравийском – речи быть не может.

У меня для дряхлой старости припасена история, как некогда у нас обедал в Иерусалиме шахматный гроссмейстер Михаил Таль. И жена его была, и дочка – есть кому при случае удостоверить, что не вру. А разговор хороший был, распахнутый и в меру пьяный. Он ведь был и чемпионом мира, если мне не изменяет память. Если изменяет, то – тем более. А к нам приехали они – по настоянию дочери: она в каком-то классе средней школы написала сочинение, используя мои стихи, но кажется, её из школы всё таки не выгнали. Так вот я Талю в ходе задушевной той беседы предложил сыграть в шахматы. С условием, что я ему дам фору – целую ладью. У него не то чтобы глаза на лоб полезли, только как-то видоизменились, потемнев. Но я ему немедленно объяснил простой свой замысел: я проиграю быстро и вразнос (ходы я знаю, но не более того), однако же я право получу упоминать, что как-то с Талем в шахматы играл и проиграл лишь потому, что я большую слишком фору предложил. Тут он расхохотался и великодушно мне позволил говорить направо и налево, что когда-то мы свели игру вничью.

Но я ещё присутствовал однажды при беседе несомненно исторической, и её как раз уместно вспомнить. Тем более что обсуждалась явственная польза всяческой литературы для конкретной личной жизни. Обращаясь к знаменитому искусствоведу Илье Зильберштейну, говорил отменный исторический писатель Юрий Давыдов. Имя первого, боюсь я, далеко не всем известно, и поэтому я кратко поясню – напомним. Илья Самойлович Зильберштейн был инициатором и создателем огромных тех томов «Литературного наследства» (их уже, по-моему, за девяносто), без которых попросту была бы невозможна вся история литературы русской. Только вулканической его энергии хватило на ещё один – немыслимый, но совершённый подвиг. Он вернул в Россию, привезя из-за границы, сотни писем разных замечательных

людей, картины и гравюры выдающихся художников российских, рукописи и архивы, некогда увезенные в эмиграцию. Эти бесценные сокровища – ему дарили, а не продавали, ибо все уехавшие россияне были счастливы обогатить музеи родины, которую они любили до сих пор. А эта родина – не только не давала Зильберштейну ни копейки, но ещё в лице своих чиновных представителей мешала, и порою – очень унижительно. Он был фанатик и энтузиаст, поэтому его не останавливало хамство, проявляемое вместо благодарности. Известен даже случай, когда он пешком (откуда деньги на такси?) тащил в гостиницу две неподъёмных сумки с ценными архивами – и потерял сознание на улице. И помогли ему не представители посольства, а всё те же эмигранты. Но вернусь к тому застолью, очень памятного мне.

– Дорогой Илья Самойлович, – сказал Юра Давыдов, стоя с рюмкой в руке, – я вам весьма обязан. Помните, вы напечатали в журнале «Огонёк» портреты женщин-декабристок? Это был, наверно, год пятидесятый, около того. Я уже в лагере сидел и был на общих, котлован копали мы вручную. И попал к нам тот журнал. У каждого из нас была своя лопата, и каждому из тамошних моих приятелей досталось по портрету. Мы его на ручку от лопаты и наклеили. Лично мне Волконская досталась, и её лицо я помню до сих пор в малейших чёрточках. А лагерь был – одни мужчины, как водилось, и свою тоску по женщине мы утоляли по-солдатски, по-морячки, как подростки это делают, уж извините за подробности в такой компании. А в этой ситуации – о женщине обычно думают. Желательно – конкретной, и чтоб помнилось лицо. Вы понимаете, о чём я говорю. Так вот – спасибо вам огромное за ваши публикации бесценные!

И церемонно чокнулся со стариком. Под хохот публики я записал тогда весь этот тост в блокнот, не выходя из комнаты, как я это обычно делал.

Ещё раз повторю свою святую убеждённость: нам надо, надо, нам целебно вспоминать о встречах и удачах прошлых лет. И о сражениях известных (но желательно уже не раньше Первой Мировой), и о случайных похвалах каких – либо чуть-чуть, но замечательных людей. И тут я снова вспомнил об одном прекрасном разговоре.

Где-нибудь в семидесятом это было или чуть попозже – я тогда довольно часто ездил в Ленинград, халтуря там на киностудии. По Невскому гуляя, непременно заходил я в книжный магазин, который соблазнительно именовался Книжной лавкой писателей. В Москве существовал такой же, но туда протыриться гораздо было тяжелее: там спрашивали, член ли ты в писательском Союзе. Так как я им не был никогда, то вежливо просили выйти вон. А в Питере – свободно с этим было. И, возле прилавка с букинистикой торча, разговорился я с ужасно тощим и понурым стариком. Оказался он писателем Леонидом Борисовым, сочинившем некогда об Александре Грине книгу, мной любимую весьма – «Волшебник из Гель-Гью». Немедля я сказал

ему об этом, чем заметно и его к себе расположил. Мы вышли вместе. Возле перехода, где нам предстояло разойтись, он вдруг сказал мне:

– Я вас ни о чём не спрашивал, заметьте, но уверен, что вы пишете стихи. Так вот хочу сказать вам, что ни одного хорошего стиха вы не напишете.

Я так был удивлён и раздосадован, что только молча на него смотрел. А он глумливо усмехнулся и, сияя торжеством, мне пояснил:

– А потому что я, сметливый юноша, нюхал пиджак у Блока, вам, сегодняшним, его понюхать не у кого.

И перебежал дорогу, не прощаясь.

Нет, непременно надо вспоминать. Одну только деталь в виду имея. Как известно, враль и сочинитель – обладать должны отменной памятью, чтоб раз от разу не менялись их истории столь кардинально, что какой-нибудь нахал мог за руку схватить, припомнив прежний вариант. А память сильно с возрастом слабеет. Но не надо огорчаться: повторение историй только тренирует, укрепляет нашу память. А чтоб вас – за воинскую доблесть, например, – не похвалил однажды Талейран или Суворов, то иметь полезно дома хоть какую, но энциклопедию. Вот лично я – советскую держу. Там дочиста обруганы крест-накрест все хоть маломальски выдающиеся люди прошлого и настоящего, но даты их рождения и смерти – обязательно имеются.

К тому же – есть ещё и вдовы этих выдающихся людей, а с ними можно было пообщаться много позже, обаяние фамилии ушедшего и этому общению может придать немалый интерес. Я как-то в молодости был моей приятельницей Люсей необдуманно притащен в дом вдовы поэта Шенгели, очень представительной и донельзя литературной дамы. И конечно, я стихи там завывал. А когда стали уходить, вдова Шенгели царственно сказала Люсе:

– Дорогая, помните, что этот дом всегда для вас открыт. Приходите запросто и непременно!

А потом ко мне оборотилась и сказала коротко:

– Всего хорошего.

Слушатели нам на склоне лет – необходимы. Как и собеседники, конечно. Но не те, которые нам повествуют о своих болезнях, не имея такта выслушать о наших. Нам настоящие нужны: внимательные, деликатные, желательно – слегка немые. Ибо чувство одиночества – исконное недомогание старения. Оно нас посещает даже в окружении родных и близких. А точнее сказать – в особенности среди них. И чувство это – неизбывное, кромешное. Не как у той старушки (я недавно это прочитал), которая свой домик обнесла глухим забором, завела собаку злющую, и тут же побрела к врачам пожаловаться, как ей одиноко. Ко многим чувство одиночества задолго до старения приходит, но на склоне лет оно становится особенно и больно ощутимым. Думается мне, что даже Прометей страдал не только от того, что ежедневно прилетающий орёл клевал ему печень, но и от того

ещё, что некому пожаловаться было, что сегодня как-то необычно длительно клевала его гадостная птица.

На закате лет задумаешься поневоле над мечтой, всегда присущей человеку – жить подольше. О мечте этой – в том виде, как она сбылась – отменно всё описано у мудрого безжалостного Джонатана Свифта. У него эта мечта с лихвой воплощена: его струльдбруги живут вечно. Только это вечная старость. Вот вам описание её: «Они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют всё, что попадает под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начала фразы, когда они доходят до её конца; таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения».

Невольно оказался я свидетелем кошмарного эксперимента (надо бы другое слово, но никак его я не найду), который длился лет пятнадцать в Балтиморе. На гастроли я в Америку обычно приезжаю раз в два года, и бываю в Балтиморе непременно. Там я это всё и наблюдал. И недоумевал, и ужасался. Это как раз та обещанная мной история о грани, за которой обсуждается уже не старость, но сама необходимость (и разумность) всех попыток продлевать земную жизнь. Поскольку мы и жизнью это отключённое существование назвать не можем.

Физик Виктор Блок в Америку приехал в смутное и межеумочное время: всё в империи советской гласностью бурлило перестройкой, и уже забрезжила свобода. То ли не надеялся он таковой дожждаться, то ли подтолкнули неуклонные чекисты – я с ним не успел об этом толком побеседовать, хотя застал его ещё немного говорившим. Кроме явных (и проявленных) способностей к науке, обладал он и общественным немалым темпераментом, ввиду чего задолго до отъезда был он у всевидящего ока на примете и слежении. В восемьдесят седьмом году уже преподавал он физику в каком-то из американских университетов, а когда его коллеги и друзья приехали – возник журнал, который по сию пору существует. Но уже без Виктора, который был и основателем, и вдохновителем, и неперменным автором – он по призванию был лидером, и это всеми признавалось в их компании. Спустя три года первый поступил сигнал от организма: отказала правая рука. Диагноз – боковой склероз, в ходе которого отказывают постепенно все до единой мышцы тела. Дальние прогнозы – полный паралич. Ещё его статьи печатали научные журналы, но спустя три года он уже не мог глотать еду, а вскоре – отказали и дыхательные мышцы. Жил он на искусственном питании и на искусственном дыхании. При круглосуточном дежурстве, разумеется. Вся их компания жила в том доме, где в подвале продолжали издавать они журнал. И Виктор ещё в нём участвовал. Работал он на специаль-

ной выделки компьютере, который управлялся от движения глазных зрачков. А после отказали и они. В девяносто восьмом у него остановилось сердце, но врачи его спасти успели, сердце снова стало биться, а сознание уже не возвращалось. И после этого почти шесть лет (пять лет и девять месяцев!) его удерживали в этом состоянии. Мне страшно было в этом доме находиться по приезду, только было неудобно отказаться. Как он жил все эти годы? Сознавал ли, что с ним происходит? И зачем в нём теплили эту растительную жизнь? Возможно – и мучительную крайне, если он хоть что-то мог понять. Но показать, что понял – был не в состоянии. Как будто заживо был похоронен верными ему людьми. Зачем они так продлевали существование безжизненного препарата? Не берусь судить, не знаю и не понимаю. И любовь это была (надежды уже явно не было) или нехватка сострадательной решимости прервать искусственное внешнее насилие.

На этом я останавлиюсь, чтоб утаить свои прозрачные сомнения по поводу разумности такого прозябания. И всякого подобного ему – пускай даже намного легче, но уже за гранью, на которой жизнь практически теряет право называться таковой. Недаром слово «эвтания» (у греков оно взято – лёгкая смерть) – мелькает то и дело в разговорах множества врачей в различных странах. Но куда мне эта проблема (чисто личная у каждого) – столь удалённой представляется, что я о ней и думать не хочу.

Поэтому обсудим лучше перспективы дивного загробного блаженства. Нам на склоне лет особенно полезно понимать, что смерть – это единственный наш путь на небо. Из несчётного количества гипотез, сочинённых человечеством, я выбрал ту, естественно, что более всего мне симпатична. Выдвинул её полузабытый шведский мистик Сведенборг (век восемнадцатый, мыслитель был не из последних). Он решительно и смело утверждал, что после смерти человек всенепременно – «остается тем же человеком и живёт». Становится он, правда, духом, ничего тут не попишешь, но однако: «Он видит, как прежде, слышит и говорит, как прежде, познаёт обонянием, вкусом и осязанием, как прежде. У него такие же наклонности, желания, страсти, он думает, размышляет, бывает чем-то затронут или поражен, он любит и хочет, как прежде».

Не правда ли – отменная и утешительная перспектива? Где же обитают эти миллиарды духов? Но над этим я задумываться не хочу. Нам ведь известно три всего лишь места обитания души, а споров и по поводу этих трёх мест вполне избыточно. И тут я предпочту одну идею, уж не помню, кем предложенную: ад, конечно, существует, только там никого нет. Он существует только для того, чтоб устрашать и образумливать. Очень я обрадовался по сугубо личным обстоятельствам – уж я-то знаю, где я окажусь, если ошибся автор этой милосердной и душе-спасительной идеи. А ещё мне очень хочется, чтобы ошибся

мой любимый афорист Борис Крутиер, когда-то заявивший наотрез: «В раю есть всё, кроме жизни».

А про рай весьма различны все догадки и гипотезы. Уже полвека минуло, как человечество живое испытало ликование, прочтя, что люди, пережившие клиническую смерть, одно и то же излагали: свет в конце туннеля, лёгкость, ощущение свободы и покоя, чувство ласковой опеки и защиты.

Я давно уже себе в тетрадку выписал (не помню, где прочёл) отменно грустные слова, давно когда-то сказанные неким пожилым и набожным человеком, да к тому же – старостой церковным: «Я, конечно, верю в вечное блаженство, но давайте поговорим о чём-либо менее тоскливом». Он имел в виду, конечно, изнурительную скуку несмолкаемой игры на арфах и на лютнях и бесцельное шатание по райским кущам, что придумали убогие на выдумку бытописатели загробной жизни христианских праведников. Да и мы, евреи тоже, кстати, хоть и много раньше начали об этом думать, только ничего повеселей не догадались сочинить. У мусульман это гораздо интересней, рай у них – чисто мужское заведение, похожее на дорогой бордель: кто праведники – в шёлковых одеждах возлежат на комфортабельных кушетках, а вокруг – вино и фрукты, и десятки юных гурий утоляют их потребность в женской ласке. Интересно, кстати, что, мужчину обласкав, они опять впадают в девственность. А в нордическом раю все праведники – это воины без страха и упрёка: с рассвета дотемна они сражаются мечами и ножами, а поближе к ночи – начинают пировать, свинину запивая мёдом. Древние ацтеки, те попроще были: праведники пели у них песни, в чехарду играли и ловили бабочек. В любом раю, естественно, растут везде цветы и всякие съедобные растения. Об аде в разных представлениях писать не буду, ибо мы условились, что это место – пусто и темно.

Однако же, немного лет тому назад я, в Красноярске будучи, с художником Андреем Поздеевым, моим давнишним другом, именно на эту тему разговаривал. Он мне сказал – загадочно и смутно – что уже там был, что забирали его, чтобы показать. Кто забирал и что он видел, он рассказывать не стал, поскольку, по его словам, был связан обещанием подробностей не излагать. Он трезвый был, мы с ним не пили в этот день (уж очень перебрали накануне), и ему хотелось явно – как бы это выразиться поточней? – меня предупредить, чтобы я нечто знал заранее. И он эти слова нашёл, и просиял, и мне сказал, в детали не вдаваясь:

– Там тебе знакомо будет, это вроде лагеря огромного.

И я, вульгарный тёмный атеист, расхохотался, потому что не научен думать дальше завтрашнего дня, и про свою клиническую смерть (про сон, галлюцинацию, видение) он дальше мне рассказывать не стал. И я бы позабыл об этом разговоре: мало ли что видится и чудится немолодым усталым выпивохам, да к тому же и художникам. Но с год спустя мой столь же давний

друг Володя Файвишевский рассказал очередной свой сон. А доктор этот – поразительные видит сны, и к ним я отношусь серьёзно.

Доктору Володе Файвишевскому приснился странный сон: куда-то после смерти он попал и ничего понять не может, хотя ясно помнит, что его послали в рай. Стоит он на широкой каменной дороге, вдоль скалы идущей, и дорога мрачная довольно: справа – эта высоченная скала, а слева – пропасть, наглухо покрытая туманом. Из-за поворота появилась вдруг толпа людей, куда-то медленно бредущих. Файвишевский чуть посторожился, пропуская их, и с радостью узнал давно знакомые по книгам лица. Шли такие люди, что его почтение и оторопь сковали. Он узнал Монтеня и Спинозу, были там Паскаль и Достоевский, возле Фрейда брёл понурый Гёте. Были они в серых одинаковых костюмах, более похожих на пижамы из дерюги, и были все сосредоточены, угрюмы, большинство смотрело в землю, как бы размышляя, многие держали руки за спиной. Какие-то ещё он лица опознал, но имена не мог припомнить. А весёлый и жестикулирующий Сократ шёл чуть отдельно, сам себе негромко что-то говоря. Володя спохватился, что мечтал всю жизнь об этой встрече, кинулся к Монтеню и залепетал с восторгом и почтением:

– Простите, господин Монтень, но вы – любимый мой писатель, я давно уже хочу спросить у вас: в российского издания трёхтомнике есть ваш портрет, и я весьма похож на вас, по этому портрету судя. Может быть, мы родственники с вами?

Но Мишель Монтень так неприязненно и неразборчиво чего-то буркнул, что Володя законфузился, отстал и оказался возле продолжавшего с самим собой беседовать Сократа.

– Извините, господин Сократ, – спросил он робко, – что я вижу и куда вы все идёте?

– Мы идём на ужин, – объяснил Сократ улыбочиво, – а после ужина мы слушаем концерт из местной музыки, там арфы с лютиями и чьё-то пение. Вы новичок?

– А почему все хмурые такие? Или просто все задумались о чём-нибудь? – опасливо спросил Володя.

– Да кто как, – Сократ уже не улыбался, – тут ведь вот какие правила: кто если не согласен или сомневается, что это рай, того кидают в эту пропасть, на повторный Страшный Суд. А усомниться даже мысленно нельзя, все наши мысли ангелу – хранителю прозрачны и понятны. Так что сами понимаете, нам веселиться не с чего, компания элитная, и все уже поссорились друг с другом.

– А почему же сами вы об этом так свободно говорите вслух? – Володя полон был почтения и восхищения.

– А здесь на каждую компанию положено иметь одного шута или юродивого, – охотно пояснил Сократ. – Он как бы разрешённый диссидент, по-русски говоря, чтоб вам понятней было. Я таким тут и являюсь. Присоединяйтесь.

У Володи в горле встал комок, и он от этого проснулся. Чёрт возьми, подумал он, даже про рай мне могут сниться чёрные пессимистические сны. А если то не сон, а знак, чтоб я не торопился? А Мишель Монтень какая сука, больше я не буду числить его в дальних предках.

А после этого – как не увериться мне было в достоверности того, что ждёт меня в потусторонней жизни? Уже я думал о конкретностях различных: с кем хотел бы рядом я бродить, неторопливо рассуждая о минувшем. И тут я понял, что могу изрядно заплутаться. Ну, в компанию приличную меня навряд ли пустят, только вдруг предложат выбирать? Как мне искать когдатощних приятелей? Даже пускай и выпивох, и проходимцев, но чтобы я хоть каплю светлого былого мог дообсудить, чтобы язык был общий и понятен собеседник. От пустой начитанности всплыла и другая закавыка: вспомнил я один рассказ у Марка Твена. Там некий капитан Стромфилд – враль такой, что мог и правду наболтать, попал по недосмотру в рай. И оказалось, что в загадочном пространстве этом пользуются уважением не только те, кто что-то сочинил и совершил, но ещё более – кто обладал талантом нераскрывшимся. И Ганнибал, и Александр Македонский, и Наполеон – почтительно смотрели на безвестного каменщика Джонса: он был истинно военным гением, великим полководцем всех времён, но только в армии не прослужил и дня, поскольку не хватало на руках двух пальцев. Но в раю судили по несбывшейся судьбе и по способностям, не обнаруженным при жизни.

И я понял, что навряд ли разыщу приятеля, с которым очень я хотел бы пообщаться. Был он так разнообразно одарён, что главное его призвание – всегда мне оставалось непонятным. А поскольку никуда я не спешу, и книга эта – предназначена для тех, кому достанет сил и интереса на прочтение, то я немного отвлекусь от темы старости и расскажу о том приятеле, с которым разминулсЯ в этой жизни. Я совсем недавно услышал одну историю, с которой и начну.

Рассказчик вспоминал те давние года, когда учился в институте. Проживал он в общежитии, и в комнате их было четверо. Проснувшись как-то в воскресенье, все они лежали, приходя в себя после вчерашнего дешёвого портвейна. И один вдруг громко спросил в пространство, почему это с похмелья утром хер навтыяжку стоит. Как ананас. И двое засмеялись, соглашаясь, а один, куда-то глядя в потолок, сказал негромко и солидно – словно лекцию читал:

– А русские цари очень любили ананасы...

Тут они от неожиданности было снова засмеялись, но затихли, потому что лекцию свою студент неторопливо продолжал:

– В теплицах им выращивали ананасы. А когда плод созревал, то садовник перед тем, как его срезать, сильно топором подрубливал у основания тот ствол, на котором выросли и

плод, и листья. И тогда свои последние все соки – словно чувствуя, что погибает, этот ствол мгновенно посылал в созревший плод...

Тут говоривший замолчал, и кто-то из троих его спросил недоумённо:

– А при чём тут хер наш оттопыренный?

Не поворачивая голову, сосед спокойно пояснил:

– А с похмелья организму кажется, что он умирает.

Я чуть не закричал тогда, что знаю имя этого соседа, только спохватился: я рассказчика был старше лет на двадцать, и приятель мой Роман, ровесник мой – никак не мог бы с ним учиться. Но замашка эта – начинать издали и с точностью на тему возвращаться – свойственна была Роману, и впоследствии ни разу я с таким мышлением не встретился ни у кого. Его фамилию мне неохота называть. Навряд ли он ещё живой, но дети могут быть (он обожал занятия по их созданию), и ни к чему его фамилия в дальнейшем тексте.

В молодые годы я довольно часто с ним общался. Он, как я уже сказал, был мой ровесник, но по знаниям я не годился ему даже в новорожденные правнуки. Такое изобилие премудрости, усвоенной извне, к добру не приводит, как упреждала ещё Книга книг. Облик его был овеян такой высокой, углублённой и смурной печалью, какая приключается только от величия мыслей или при хроническом недомогании. Был он целиком погружен в некие значительные лингвистические изыскания и на поверхность дел житейских не выныривал. Короче говоря, штеко будланула его глокая куздра. Благо, при советской власти можно было кормиться в каком-то институте, где такие же, как он, годами сравнивали количество запятых и разницу в устройстве предложения у Гончарова и Тургенева. Это по неясным связям имело отношение к созданию искусственного интеллекта, который, в свою очередь, мог насмерть поразить всю оборонную мощь американцев. Институт был засекреченный, и в нём ещё покруче чайники имели кой-какое пропитание. А почему общался он со мной, и посеиас ума не приложу. Одна лишь у меня есть давняя гипотеза, не защищаю истинность её, поскольку сам уверен в её истинности твёрдо.

Бывают люди – их немало всюду и везде – которым жизненно питательно излучение чужой энергии, чужой беспечности и просто оптимизма. Эти духовные вампиры ничего не отнимают у своих невольных доноров, но витаминно ихним душам то биологическое поле чисто животной радости существования, что клубится вокруг жизнерадостных идиотов. Я в те годы был источник хоть куда.

Припомнил я сейчас того филолога Романа (жив ли ещё он при нынешних затруднениях с подножным кормом?), потому что из тёмных глубин его перенасыщенной памяти и странного, как будто сдвинутого в сторону ума (мне слово свихнутость тут

кажется чрезмерным) вылетали часто крохи, жадно подбиравшиеся мной.

Однажды мы на пьянке – набежало несколько историков – заговорили вдруг, откуда Ленин взял свой псевдоним. Оказалось, что предположений много, но никто не знает с полной достоверностью. И разговор этот угас сам по себе. А когда мы уже брели с Романом к остановке, он рассеянно сказал:

– Смешные эти все историки, а всё так просто...

– Ты о чём конкретно? – спросил я. Уж очень много всякого мы обсудили в этот пьяный вечер.

– О ком же, как не об Ульянове с его загадочной кликухой, – пояснил Роман. – Хоть заглянули бы в словарь Брокгауза-Эфрона.

Я выжидательно молчал.

– В Германии когда-то жил монах-провидец, знаменитый тем, что предсказал крушение династии Гогенцоллернов, – лениво говорил Роман. – Ещё в семнадцатом, если не раньше, веке. А Володя наш Ульянов – он о брате старшем помнил неотрывно, так что он не только на царизм российский зуб точил, но и на всю династию Романовых. Ты думаешь – случайно что ли перебили всю эту семью?

– Я что-то связь не уловил, – сказал я огорчённо.

– Так ведь монах тот жил в деревне Ленин – удивился моему непониманию Роман, – и Ленинским пророчеством весь бред его назвали.

Я, конечно же, проверил эту версию назавтра утром. Да, был такой монах, и молодой Ильич ещё в Казани мог о нём прочесть или услышать от профессора на лекции. Но как додумался Роман?

Это сейчас о нём пишу я облегчённо – снисходительно и даже как бы свысока немного: так ученики, впадая в грех неблагодарности, спустя года припоминают тех учителей, которым более всего обязаны. Я регулярного гуманитарного образования не получил, а то, что вычитал из книг, настолько хаотично и несвязно, что и до сих пор я сохраняю уважение к филологам, историкам и прочим, кто учился специально. Сплошь и рядом убеждаюсь я, насколько это уважение напрасно, но искоренить его никак не соберусь. Роман и был как раз таким впервые мною встреченным филологом, к тому же обо всём имел суждения неординарные.

Я, правда, и тогда подтрунивал над ним, поскольку слабость у него была такая явная и уязвимая, что удержаться я не мог. Он сочинял стихи, и делал это непрерывно, и вполне серьёзно относился к ним. А тексты были тёмные, высокопарные и монотонные. В них философия была, мне непонятная, но полная печали и занудливо надрывная. Он подражал Волошину, считая его гением, пророком и провидцем, я по молодости лет ещё не понимал, что никого нельзя разубедить в заветном и глубоком заблуждении. И я глумливо усмехался, слушая стихи Ро-

мана, а читать их было – невозможно вообще. И я ему об этом тоже говорил. А для чего, зачем я это делал, я уже понять не в силах. То ли я дразнил его, а то ли я отстаивал свою самостоятельность. Он на меня не обижался. Или замечательно скрывал свою обиду. Наши отношения прервались много позже – словно разошлись мы молча по своим каким-то линиям судьбы, и видаться не стало больше интереса. Только я и посейчас уверен: в нём таилось и дремало истинно высокое и небанальное призвание, но именно какое (не стихи наверняка) – осталось неизвестным и сокрытым. А возможно, я всё это сочиняю. Только я после рассказа Марка Твена полагаю его встретить среди очень крупных, но несбывшихся мыслителей. Я там его и поищу. С годами у меня скопилось много тем, на кои я хотел бы поболтать именно с ним. А есть ещё догадки, сообщить которые хотел бы именно ему – он их одобрит.

Например, я совершенно убеждён, что Казимир Малевич знаменитую свою картину «Чёрный квадрат», которой целые уже тома искусствоведы посвятили, из иных писал соображений, чем все те, которые он позже сочинил. А просто-напросто он разругался и поссорился (не в первый раз и не в последний) с Марком Шагалом, и на выставку очередную он картину вывесил, которую ему Шагал когда-то подарил, но всю её замазал рассердившийся Малевич чёрной краской. Чтобы поглумиться над Шагалом. А когда увидел тот восторг, который вызван был таким произведением искусства, то смолчал, ещё впоследствии намалевал два или три таких квадрата, и роскошную теорию развёл вокруг нечаянной удачи. Впрочем, я отвлёкся ненадолго – отложу до повидания с Романом. Это в его духе, и другие меня явно не поддержат.

А после того, как мы подробно (и довольно достоверно, я надеюсь) обсудили перспективы нашего загробного существования – не стоит ли вернуться снова к несомненным тягостям того загадочного времени, которое мы деликатно именуем просто-напросто преклонным возрастом?

Давайте обратимся к теме, для меня – болезненной весьма. С годами утихает, вянет, уменьшается наш интерес и любопытство к миру. Кстати говоря – и ко всему тому, что связано со смертью. Все психологи об этом пишут с изумлением. Поскольку старики гораздо более прохладно и совсем без страха говорят о смерти. И спокойно думают о ней, в отличие от молодых и зрелых. Как-то у Монтеня замечательные я нашёл слова: «Плакать из-за того, что мы не будем жить сто лет спустя, столь же безумно, как плакать из-за того, что мы не жили сто лет назад».

Мне потому ещё так симпатично это несколько лукавое соображение, что уважаемый Мишель Монтень – уворовал его у древнего философа Сенеки. Я, когда случайно это обнаружил, возликовал безмерно: значит, и задолго до меня почтеннейшие люди крали друг у друга изречения.

Но я – о любопытстве всё-таки хочу сказать, точнее – об увядании его. О том, как блекнет и тускнеет это чувство, очень важное для жизни. В том потустороннем мире я б ещё с одним приятелем охотно встретился. Он жив ещё (дай Бог ему здоровья), мы с ним выпиваем изредка, но я очень хотел бы – сильно позже повидаться. Он очень способный математик, и в Америке себя нашёл он полностью, но вдруг – в совсем иную сторону вильнул. Его такое посетило озарение, что он только о нём и говорил, когда мы виделись недавно.

А идея вот такая – в том, конечно, виде, как я смог её понять. Мы все – только трёхмерные фигуры на немыслимом компьютере у Бога. У Творца, у Вседержителя, у Демииурга – как его ни назови, но главное – что у великого и страстного игрока. Мы – не пассивные фигурки на его экране, есть у нас определённая свобода действий и поступков, но свобода эта – только разжигает его страстный интерес к игре.

Приятель мой (Семён его зовут – еврей, конечно) отыскал какие-то вполне научные обоснования и доказательства своей безумной и прельстительной идеи. Даже у философа Платона ухитрился подходящую найти цитату: «Человек – игрушка Бога». Написал (и напечатал!) несколько статей в журналах – тех высоколбых и простому смертному невнятных, что специалистам предназначены, его никто не опроверг, не обругал и не предал насмешке. Но только физики – единственные люди, с кем он мог бы это обсудить – никак его не звали и не допускали даже на свои учёные конференции. На это он и жаловался в разговоре:

– Они, ты понимаешь, вежливо и так уклончиво мне говорят: какой ты, на хуй, физик, если ты – врождённый математик. Даже выслушать не соглашаются, вот суки! Страшно им, что не сумеют возразить.

А я – вполуха его слушал, искоса поглядывая в сторону стола, где дивным инеем сияла водка – только что из холодильника. Как жадно я его расспрашивал бы раньше, как бы наслаждался от уловленных деталей этого прекрасного умалишения – а вдруг и правда? Я тогда и ощутил, как высохло моё былое любопытство. Потому я и хочу с ним повидаться чуть попозже, там ведь это выяснится наверняка.

А ещё психологи приписывают моему возрасту – и недоверчивость и простодушие одновременно. Я, дескать, подозрителен и скептик, только и наивен и доверчив. Самое обидное, что так оно и есть. Чтoб не вдаваться в обсуждение, я просто расскажу одну историю. В Москву как-то из Питера (тогда ещё – из Ленинграда) очень грамотный торговец живописью прикатил. В те времена именовали их фарцовщиками. А явился он по зову одного известного (впоследствии) поэта, ибо с ним они работали на пару. И купили они так удачно несколько картин, что им ещё одну работу за почти бесплатно уступили. Глядя (уже дома у поэта) на картину эту, озарённо вдруг сказал фарцовщик:

– А ведь это может быть вполне портретом молодого Маяковского работы Жегина!

Партнёры молча друг на друга глянули и поняли друг друга с полувзгляда. И поэт взял трубку, чтобы позвонить Лиле Брик. Он у неё в гостях бывал и числился вполне приличным человеком, но такие нравственные мелочи немного стоили перед возможностью отменно заработать. И конечно, были сразу же они приглашены приехать показать такую ценную находку. Лиля Брик не слышала от Маяковского о том, что был такой портрет, но сходство было, его можно было усмотреть, и нескрываясь разволновалась импульсивная старушка. Да тем более, немедленно выяснилось, что из Питера был специально тот портрет привезен этим симпатичным человеком, явно знатоком и понимателем. Да и поэт уверен был, что это юный Маяковский. О цене узнав, поахала старушка, а чтобы подумать не спеша, этих гурманов живописи пригласила посмотреть на то, что у неё уже давно висело. Среди прочего похвасталась она работой Пиросмани – хоть и небольшим холстом, однако же отменным примитивом. И застенчиво сказала, что картину эту обожает, что большие деньги на неё потратила и ценит более всего в своей коллекции. Потом они вернулись в комнату, откуда начали весь разговор, и где стоял на стуле предлагаемый портрет, и Лиля Брик спросила, разливая кофе, до какой цены возможно снизить плату. Но фарцовщик холодно сказал, что о деньгах уже не может быть и речи: так ему понравилась работа Пиросмани, что возможен только лишь обмен. Хотя он понимает, что неравноценна эта мена, и немало он на этом потеряет, но уж очень ему хочется повесить Пиросмани у себя. Старушка отказалась наотрез. Они неторопливо пили кофе, вдумчиво беседуя о живописи, только Лиля Брик с портрета не сводила глаз и явно проникалась вожделением. Поэт портретом тоже любовался, чем немало, очевидно, это вожделение подстёгивал. И через час два этих жулика ушли с работой Пиросмани. А на улице фарцовщик кинулся к ближайшей будке телефона – автомата, чтобы позвонить знакомому коллекционеру. Сумма обещала быть значительной. И разумеется, их пригласили приезжать немедленно. Фанатик-коллекционер, бумагу развернув, сказал восторженно:

– Ах, Боже мой!

Потом опять сказал:

– Какое счастье!

И немедленно пояснил:

– Ну, наконец-то Лиля Юрьевна отделалась от своего фальшака.

А впрочем, и наивны мы бываем тоже очень часто. Как это учёным ни обидно, только старость непонятна и загадочна для изучения ничуть не менее, чем молодость. У нас от состояния здоровья – так меняются поступки и суждения, что молодым нас просто не понять. Отсюда – и легенды о капризности и пе-

ременчивости настроения у многих пожилых людей. А это просто вразнобой играют наши внутренние органы. Влияя на разлад и дисгармонию всех наших чувств, ума, души и осознания реальности.

Поэтому порою разговоры стариков забавны так же, как наивные речения детей. В одном американском госпитале моя добрая знакомая работает переводчицей: у русских стариков с английским плохо. Изредка она записывает диалоги. Вот один из них, к примеру.

Врач скорой помощи: «Больная всё время что-то повторяет!»

Переводчик: «Вы что-то хотите сказать врачу и медсестре?»

Пациентка: «Чтоб они все сдохли!»

А две фразы из услышанного мельком диалога в очереди на приём я просто не могу не привести – уж очень яркое свидетельство того, что жизнелюбие сохранны и в весьма преклонном возрасте.

Мужчина: «Что вы такое говорите! Это в мои-то годы!»

Женщина: «Ну ведь лежать-то ты можешь!»

Но всё же без короткого целебного рецепта я никак не обойдусь. У одного из мудрейших людей нашего времени, у раввина Адина Штейнзальца я наткнулся в интервью каком-то на благоуханную хасидскую байку. Однажды у зашедшего приятеля спросил хозяин дома, не желает ли гость немного выпить. С удовольствием, ответил гость, пошлите мальчика, пускай нам принесёт. Но пожилой хозяин встал и сам принёс вино.

– А почему ты не послал мальчика? – спросил приятель.

– Видишь ли, – сказал ему хозяин, – я стараюсь сохранить мальчика в себе и потому время от времени я посылаю его что-нибудь сделать.

Я за то и обожаю байки, что в отличие от мыслей – никаких они не просят комментариев.

Да, пакостный и зачастую унижительный сезон, конечно, эта светлая безоблачная старость. Только есть в нём что-то привлекательное тоже. Я и молодым, и зрелым искренне советую: не проходите мимо. Лучше времени, чтобы обдумать и постичь несовершенство мироздания, у вас уже не будет никогда. Притом – достаточного времени, чтоб это постижение облечь в достойные и крайне точные слова. Так, например, одна одесская старушка мне сказала:

– Главное в мужчине – чтобы мог взаимопонимать.

На кухне нашей ужиная как-то раз, мы разговаривали о свободе слова и печати – редкостном периоде в истории российской. И спросил я свою очень пожилую тещу, что она об этом думает. И Лидия Борисовна ответила задумчиво:

– Ну, страха уже нет почти, про стыд – совсем забыли, а в общем, если посмотреть – то как писали всякую хуйню, то так и пишут.

Игорь Бяльский
СВОЙ ВОСПЕВАЯ КРУГ

ПЕСНЯ

Марине Меламед

Каждому дал Господь
выбрать себе свой путь.
Если тебе дано —
выбери что-нибудь.
Можешь сады сажать
или дрова колоть.
Волен молоть зерно
и чепуху молоть.

Но наступает час
и созывает нас
складывать, складывать, складывать, складывать камни.

Время своё всему
в зареве зим и лет.
Звёзды летят во тьму,
в небо летит рассвет.
Запад люби, Восток,
пей и ласкай подруг —
свой отпевая век,
свой воспевая круг.

Но наступает миг,
и наступает срок
складывать, складывать, складывать, складывать камни.

Камень за камнем ряд
тянется по стене.
Рядом с тобою, брат,
все времена — по мне.
В радости ли, во мгле
камень на камень — ввысь.
Здесь, на своей земле,
все времена сошлись.

Время складывать камни,
время складывать камни,
складывать, складывать, складывать, складывать камни.

МОЛИТВА

Шломи

Небесный Ловец растерях,
храни его душу от моря,
особенно в южных морях,
южнее Одесского моря.

Храни его душу. Она
по небу скользнёт замирая...
Лишь миг – и до самого дна
в плену у подводного рая.

Когда он плывёт как во сне
среди разноцветных кораллов,
сирены ему в тишине
каких не слагают хоралов...

Всевышний Отец простаков,
Прости возносящейся твари.
Слипаются веки веков,
а небо и ночью в ударе.

Храни его душу. Она
не так уж и неуловима,
когда он летит ото сна
к востоку от Ерусалима.

Когда он, радары глуша,
летит над пустыней безлунной,
ужели спасётся душа
одною системой иммунной...

Храни его душу, Господь,
когда он приходит по суше
по вражьей, а всё-таки – души.
Храни его душу.

И плоть.

декабрь 2004 – январь 2005

МЕЛЬНИЦА

(Из Еуды Амихая)

Отродясь этой мельнице не довелось намотать муки.
И намоленный воздух смолола, и взмыленный век,
идеалы сгодились в дело, и мелкий стыд,
и мучительный быт молола, и гулкий ад,
и снаряды тоже перемолоть пришлось,
а смолоть муки – ни разу не довелось.

А теперь и наша очередь – добралась
и до наших жизней, мелет их день за днем,
перетирая в мучной порошок «Шалом».
Из него потом и выпекут свежий хрустящий шалом
для тех, кто придет потом.

В ПОРЯДКЕ БРЕДА

Алексею Тарновицкому

И пытался понять, почему облака
собираются в тучи, а бывший герой...
И летели навстречу огни свысока,
и сияли, и тоже казались игрой.

И пытался связать хоть какую-то нить,
и эпитеты перебирал.
Говорил и не мог ничего объяснить.
...Боевой офицер, генерал...

И над Газой летел боевой вертолёт
с пулемётом и боезапасом ракет,
и у Шхемских ворот возносился шахид,
не дошедший до Яффских ворот.

И вокруг, и на весь возносящийся мир
разносился курлычущий ор голубей.
...Полководец, премьер, всенародный кумир...
И не мог совместить, хоть убей.

И тогда я сошёл, продолжая пенять
на себя и на свой непонятный народ.
И винулся, и даже пытался принять,
и устал, не осилив двухсот.

И на сотовый мой полетели чуть свет,
виртуальный, но этот пока, а не тот,
пожеланья, советы и самоотвод:
«Улетаю. Прощай. Магомет».

И уставился в новую бездну сычом
необъятное дообнимать.
А когда показалось, что понял, почём,
и себя перестал понимать.

январь 2005

Марина Меланец
ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА

ЗАСТАВКА

Бабочка-однодневка опускается на цветок и складывает крылья, и засыпает, и весь её полёт беспечный – уже вчерашний сон, как и не было.

Почти пустой ресторанчик, грязная посуда, снуют тихие официантки, убирают. Празднующие постепенно уходят на улицу, переставая праздновать. А на сцене трио музыкантов продолжают петь в полный голос что-то французское... или итальянское.

Или пляж зимой. Качели раскачивает ветер, накатывается синяя волна, но пусто, и холодно... праздник умер.

А теперь поставим на зимний пустой пляж саксофониста, который играет сам себе...

Или – кукольника с большой куклой, жонглировать большими шарами...

Всё уже началось и никогда не закончится.

ПЕРВАЯ ПЛЁНКА

Вначале выключается свет. В темноте появляются титры – имя, фамилия, место рождения. Особые приметы. Характер, привычки, судьба, анфас и профиль. Краткое содержание предыдущих серий – мелко, не разобрать, ангел, говорят, щёлкнул по лбу и «что-то с памятью моей стало»...

Включаются цвет и звук – «А-а-а-а-а!!!», можно чуть потише, время пошло.

1963

Лежу на диванчике, вечер, по потолку летят цветные блики, скользят, улетают, возвращаются, только бы и смотреть...

Вообще меня придумали раньше, чем оказалось на самом деле... Потому что папа детей не очень хотел, и мама заявила, что уже. То есть, что ребёнок уже вот-вот. Тогда папа расслабился, терять было нечего, и я замаячила в перспективе. Когда перспектива приблизилась, мне тут же захотелось обратно, и я, как могла, стала вырываться, но уже не удалось...

1964

Колочу ногами по стенке, захлёбываясь рёвом: «Хочу к па-а-а-а-а-е-е!...» Яркое солнце на стене. Мои родители развелись.

1965

У соседей фильмоскоп, картинка-надпись, и новая картинка, и опять цветной квадратик со словами, сколько счастья в темноте на ярком экране, лишь бы плёнка никогда-никогда не кончалась...

1966

Гуляем иногда с папой. Он курит и бросает окурки на мокрый асфальт. Каждый раз бегу и поднимаю – это же папино! Папа не запрещает, хотя явно недоволен. Молчит. На очередном окурочке хватаюсь за горящую сигарету, естественно, рёв и – спокойное объяснение: теперь ты сама понимаешь, что не надо хвататься за папины окурочки...

Это, вне всякого сомнения, мудро, и даже – педагогично. Но так случилось, что всю жизнь я подбираю эти папины окурочки, – так хотелось быть как он, жить, как он, читать те же книги, жить в таком же доме...

Ральф – это собака, рыжий боксёр, больше меня ростом. Теплохранитель, защитник, друг... Хозяин Ральфа – мамин муж, холодный, чужой, зачем он здесь – понять невозможно. Но ближе Ральфа нет у меня человека...

Мама расстаётся с отчимом, и Ральфа он забирает с собой. Конец первой серии...

ВТОРАЯ ПЛЁНКА

1967

Дома вечерами бегают блики по стенам, синие, красные, зелёные... кажется, что на картинке больше света, чем на самом деле...

1968

Варшавский кукольный театр. Надпись на дверях «Театр жи-довский». В Варшаве я съела четыре порции мороженого и решила стать кукольником, но потом об этом забыла.

1969

Первый раз в первый класс. Учительница первая моя, крикливая, толстая, брезгливо поглядывает из-под шиньона... особенно плохо у меня шло чистописание. Криво шло, не в ту сторону... откуда все так точно знают, какая сторона – та?..

Ностальгия по садику... Садик тоже был не фунт изюма, – весь день без мамы, с чужими, и главное, днём спать, но зато не нужно было выходить к доске. Выслушивать, какая(ой) ты никакой. Сорок пять минут подряд сидеть, не двигаясь. Есть талантливые люди, которые могут. Я так до сих пор не умею...

1970

В «Ясную поляну», детскую санаторию в жидком лесочке под Харьковом, меня сдают два раза в год. Нервная система оказалась очень нервной... Поэтому, чтоб её подлечить, человека отрывают от мамы на два месяца и кормят три раза в день, приучая ничего не оставлять на тарелке, даже если это сладкий рис с изюмом.

Зато зимой можно сколько угодно кататься на санках, это примиряет и с санаторием, и с отсутствием мамы, да и рыцари всё норовят дуэль на снежках из-за тебя устроить, а ты залезаешь на дерево и никак не можешь решить, стоящее это дело быть девчонкой, или, всё-таки, мальчишкой лучше?.. а летом смотреть заворуженно, как взлетают метелью бабочки-капустницы и ровно гудят шмели...

Ещё в санатории мы играем «Золушку», из года в год играем, что-то, наверное, очень терапевтическое было в этой сказке... Особенно, когда я оказалась в главной роли – Принца. Карьера, стало быть, задалась – в предыдущие годы довелось играть пажа, раза четыре. Теперь ставила новая медсестра, по её режиссёрской задумке я должна была при виде Золушки восклицать: «О небо, о звёзды! Она очаровательна!» Золушка была дура душой. И розовое платье на ней не застёгивалось. А текст... Я с такой ненавистью его произносила (зато естественно, как сейчас говорят – органично), что Золушку сносило куда-то вбок. Она тут же начинала скакать и прыгать...

Да, кстати, именно тогда, наконец, мне открыли глаза на главное. Оказывается, мы евреи, объяснил мне мальчик Игорь. Он был уже в пятом классе и точно знал, что нас загоняют в общий зал вместо гулять вдвоём именно потому, что мы – эти самые они. «Вокруг – антисемиты», – печально вздыхал мальчик Игорь, глядя на экран, где показывали наш любимый диафильм про Крошечку-Хаврошечку...

Фильмоскоп уютно грелся, печать нелёгкой тайны устраивалась на моём непрочном челе... оказалось, что мы – это свои, а все остальные – чужие. Да. В пятом классе ещё и не такому учат...

1971

Музыкальная школа, меня вручили учительнице, надолго, лет на шесть. Соседи за стеной говорили, что виолончель – это хорошо... Скрипка звучала бы громче и пронзительней...

Поступить в хор мне запретили, потому что виолончелистке положено играть в оркестре. Хор состоял из пианистов. Правила существуют для того, чтобы их выполнять... или хотя бы выучить наизусть.

Однажды я услышала, как люди поют по-настоящему – в большом зале (в котором сидели одни пианисты) выступал хор

«Скворушка» за прозрачной полуоткрытой дверью... и было это невыносимо прекрасно. Прямо здесь происходило счастье... так бы и растворилась в музыке и больше ничего не болит, и никаких обид, а только летящие голоса и музыка, музыка, музыка...

Я поехала на другой конец города проситься в «Скворушку». Стояла, караулила за колонной... то, что меня взяли, было явной победой над стихией правил и параграфов. То есть, иногда добиваться своего – получается, жизнь становится прекрасна и даже удивительна. Начался праздник, три раза в неделю праздник, репетиции, выступления... Дворец пионеров, с большим холлом и длинным коридором вправо, откуда мелькал шёлковый клетчатый платок и звучал прохладный лёгкий голос, от которого мы послушно вспархивали в хоровой класс и оседали, как воробы на проводах...

1972

«Бременские музыканты» сами собой запомнились наизусть. Иван Франко никак не смог проникнуть в мою память, не говоря уже о Лесе Украинке, а тут – пожалуйста. И стала я рассказывать про этих музыкантов в сопровождении песен на стихи Юрия Энтина где ни попадя. Премьера состоялась в пятой палате малявочного отделения детского санатория. Я у мелких была как бы вожатой, укладывала их на ночь с песнями и плясками. Когда появились страшные лесные разбойники во главе со своей атаманшей, прибежала дежурная медсестра. Мелкие сидели под кроватями, затаив дыхание. Атаманша с разбойниками распевала на всё отделение, думая, что шёпотом...

1973

Хор «Скворушка» едет в Ленинград, плещутся каналы, между ними и нами – узорные решётки. Всю дорогу поём, оно само поётся, такие птицы споют хоть гамму, хоть алфавит ...

Вообще, детский хор – это такие специальные дети, построенные, чтобы петь красивую музыку оптимистическими голосами (было дело, даже пели «Мы – коммунисты»...), но нам повезло с руководительницей хора, и мы поём «Улетел скворец от стужи, тихо за морем живёт...», даже в ленинградской филармонии поём, и такая там акустика, про какую мы даже не знали, что она бывает...

По возвращении на классной доске появляется надпись: «Галля Злотникова, убирайся в свой Израиль». И Галя скоро уезжает. Улетел скворец от стужи...

Моя бабушка получает письма из Израиля. А ещё моей подружке сказали слово «жидовка», и этой говорившей я расквасила нос немедленно. Сообщив, что так будет с каждым. Вообще руки чешутся бороться за справедливость...

1974

Встречаем с мамой Новый год, по телику КВН, на столе – остывший чай без сахара и шпроты, а мы болеем за КВН, и всю дорогу спрашиваю: «А ты за кого?..» Вообще-то мне пофигу, за кого болеть, просто я – за маму.

1975

Художник из дома напротив ходит в тёмной рубашке с оборванными пуговицами, а на плече у него сидит обезьянка. В любую погоду иду за ними, как зачарованная, обезьянка крутится, откусывает пуговицы, поглядывает на мир круглыми бусинами-глазами – что же всё так странно?

Улица, фонари, машины, всё гудит, свистит, он тихо идёт себе... грузный человек с обезьянкой на плече.

Оказался – главный художник театра кукол, Щеглов. Художники, даже главные – совсем не то, что главные, скажем, инженеры, хотя я ничего не имею против инженеров, просто у художника всегда сидит обезьянка на плече...

1976

Не хочу играть на виолончели. То есть, слушать хочу, а так – нет. Один палец аккуратно режу бритвой, две недели свободы... А гитарные струны прижимать не больно. Кажется, будто руки сами играют, голос сам поёт, как облака сами распахиваются над головой, когда выскакиваешь из троллейбуса на Тринклера и сворачиваешь на Сумскую – там совершенно особенный запах мокрого асфальта...

Веду дневник. Пишу, перечитываю, вычёркиваю, переделываю, опять перечитываю, исправляю, опять вычёркиваю, как будто жизнь может стать иной, если найти точные слова, а ненужные – выкинуть...

1977

Разбилась моя виолончель. Я упала, спускаясь со сцены, на минуту потеряв сознание. Правда, оно тут же вернулось, когда кто-то сказал, что виолончель разбита и стоит пятьдесят рублей... Завхоз ругался, клеил её из обломков, выдал новую, уже за двести пятьдесят, большую, взрослую.

Нужно учиться падать, поднимая виолончель над собой, сказала учительница, тогда вы обе сможете продержаться в этой жизни. Очень не хотелось падать, но в ту зиму был гололёд, я падала и падала, и держала виолончель над собой...

1978

Хампердинк, Пресли, Битлз, Бизе, Шопен, Ким, Окуджава, Высоцкий... слушать, подбирать то, что звучит вокруг, как воро-

бей подбирает свои крошки, перебирать струны... и ни перед кем не отчитываться выученными параграфами...

Пионерлагерь «Костёр», заповедный лагерь института «Гипросталь», где воспитателями подрабатывали обычные инженеры, туристы, гитаристы, альпинисты... Наша отрядная песня – «Сентиментальный марш» Окуджавы. Жизнь действительно прекрасна.

14 мая, весна на проводе, скоро придётся сдавать физику, но мой репетитор, физический студент, замирает на пороге, не успев познакомиться... Обвал, тайфун, цунами, а нужно сдавать физику, не говоря об остальных выпускных экзаменах. И я их сдала, но какое это имеет значение?... Даже поступила в музучилище, хотя для этого пришлось на целую неделю расстаться...

Обрыв ленты, на стене видна перфорация, чёрное на белом, жёлтое на чёрном.

ТРЕТЬЯ ПЛЁНКА

И снова проваливаюсь в начало, как в мартовский лёд, словно другого берега и нет, и другой меня никогда не было, существует только это время, и никакое другое больше не наступит... Должен когда-нибудь прийти 1980 год? Или нет?

Мы съезжаемся с бабушкой, её нельзя оставлять одну, говорит мама. Теперь мы живём на первом этаже, перед моим окном – двор, разбитая мусорка, а через двор – пятиэтажка, и на пятом этаже напротив по ночам всегда горит цвет. Перечитывая Цветаеву, думаю о том, что у каждого, наверное, должно быть такое окно, где до утра не спят...

В окне я вижу первую любовь, затем вторую, а последнюю не вижу, может, её и не было, и это хорошо, зачем нам последняя, мы будем помнить только первую... Но как о ней расскажешь? Разве что опять начать с начала...

1979 года просто не было. То есть, была улица Свердлова, холодная колючая пыль, трамваи, а с первой любовью нам встречаться нельзя, это временная мера, ему нужно закончить институт, а то он слишком увлёкся еврейским прошлым и нашим с ним настоящим... Ледяная пыльная зима в Харькове.

Окна кухни выходят на улицу, на проспект Ленина, в кухне тепло, огромный жестяной чайник, тахта, на которой валяются песенники, сборники стихов и я, забравшись на неё с ногами, глядя в окно.

Там, за окном, снег, напротив дома – троллейбусная остановка. Тихо, словно немое кино – подъезжают троллейбусы, выходят люди, идут куда-то, и снова идут, склоняясь под ветром, а

потом темнеет, и снег блестит под фонарями, и только две замёрзшие фигуры медленно выходят из последнего троллейбуса, осторожно идут, поддерживая один другого...

1979

А потом мы снова шли по лужам, по улице Пушкинской, по направлению к центру, хотя очень хочется написать «По направлению к Свану», тем более что именно им я в ту пору зачитывалась, хотя нужно было всё ещё играть на виолончели. Я очень удачно сидела за четвёртым пультом, и дирижёру не было видно, что у меня стоит на подставке для нот.

Дирижёр в мятой рубашке махал своей палочкой без самозабвения, я вообще не понимаю, зачем он ею махал, потому что если бы он хотел музыки, мог бы так и сказать, но он просто покрикивал, а контрабасы за нашими спинами фальшивили по команде и с удовольствием, потому что им было скучно.

И рассматривать особенно было нечего, кроме мятой рубашки дирижёра, хотя нет, ещё над моей головой кусок промокшей штукатурки дружелюбно целился прямо по голове, но так и не оторвался, никому и ни от чего тут было не оторваться, хотя храм, конечно, этой... да, Мельпомены, тоска, только Сван и спасал, это одно предложение длиной в две страницы... умеют же люди пользоваться словами, думала я и завела себе очередной блокнот для мудрых мыслей, в котором стала писать и вычёркивать, и снова, и опять...

Иногда приходилось выдирать страницы с мясом и переписывать заново, потому что надо же было как-то редактировать самое себя...

1980

Из музучилища на Свердлова иду домой пешком через весь город, мимо трамвая, который до сих пор мне снится, словно отвозит неизвестно куда, и оттуда я снова пешком иду домой...

Никогда не сяду в трамвай, который идёт неизвестно куда, и не уйду с ветром, и не сбегу с бродячим цирком, я иду за человеком с обезьянкой на плече... Он остался на другой улице, но я всё равно иду за ним, через Сумскую, мимо улицы Иванова, на Пушкинский въезд – а там так блестит-переливается листва под фонарями, и тёплый воздух несёт тебя сам собой...

1981

В городе Харькове есть Дом учёных. А в Доме учёных – трапезная. Быть может, она ещё как-нибудь называется, но это мне неизвестно – трапезная и есть. Красивый зал, да и весь домик уютно-интеллигентский. Творческие сборища физиков и примкнувших к ним нефизиков назывались агитбригадой «Россинант». Агитбригада агитировала за то, что отдых должен

быть творческим. Естественно, на личном примере. Прямо в трапезной Дома учёных.

Писался сценарий – помню действо в нескольких частях под гордым названием «Евангелие от фонаря», музыку «Пульсаров», и как в темноте читал Олег В. стихи собственного сочинения: «Нет на земле свободных мест! Один лишь крест! Один лишь крест!!!»

Смутно мелькает... кто-то читал... нет, это мы пели: «Иерусалим, открылась тайная вечеря, там пели песни, пили виски, вермут, черри, а черри не было, так пили кальвадос, и пил со всеми сам Иисус Христос. И вот, во тьме, когда апостолы балдели, когда Иисус держал Марию в чёрном теле, среди хмельных паров, побоев, водки, мата он стал читать про Понтия Пилата...»

И Боря К., тогдашний харьковский Христос, забирался на стул и произносил, становясь похожим на актёра Валентина Никулина: «В Иерусалиме прокуратор – блат, он всемогущий аж до неприличья, а Понтий по фамилии Пилат страдает только манией величия, себя великим Понтием он мнит, но невдомёк великому Пилату, что даже харьковский архимандрит архимандрирует по блату...»

Заканчивалось всё трагически, но с удовольствием. Второго пришествия не было, то есть, было, но в виде сатаны. Олег В. был типичным сатаной, и это он заставил меня сочинять песни. То есть, он просто сообщил, что вот стихи и что нужно их спеть. И ведь до сих пор что-то ещё сочиняется, а это значит, – поставил человек серьёзную программу...

Боря К. покончил с собой, бросился с четвёртого этажа, и никто не знает, почему. Обрыв плёнки...

1982 год ушёл на песни, фестивали, костры, запах дыма, опавшую листву, аккорды, аккорды, аккорды...

1982

Театр чтеца. Сюжет строится из иных материалов, нежели завязка и развязка. Вообще, слово завязка примеряет меня с сюжетом, когда представляю её себе в виде завязи цветка – тогда она перестаёт напоминать корабельные узлы. А развязка – естественно, дорожная развязка, дороги расходятся по своим неизбежным стрелкам-направлениям...

В театре играли чудный спектакль о домовых, до сих пор носятся какие-то обрывки в голове... «Домовой, страдающий зубной болью... Том, я приехал!...» какой-то пожар... и ощущение несбыточной любви, которая одна только истинна, а сбывшаяся опускается с неба на землю и неизбежно движется в направлении развязки...

Мы собираемся на платформе Лосево и едем-едем-едем, а потом долго идём, нет, не туристский я человек, носить рюкзак могу только от о-о-о-очень большой любви к песням под гитару...

Но, когда мы уже там, на огромной поляне, которую называют Эсхар, сумасшедшая жёлто-красная листва удивительно пахнет

лесом, дорогой и отшибает на время память о какой-то другой жизни...

Сырое дерево постепенно начинает дымиться, белый пар поднимается вверх, воздух становится колючим, а потом опять нежным, и снова – колючим... Говорите, счастье – это когда нет несчастья?.. А если молча сидеть у такого костерка, и тут закипает котелок, кружка обжигает руки, а сахар вкуснее вприкуску...

Впоследствии оказалось, что на чистой сливочной лирике тоже далеко не уедешь. Только поблизости, за туманом, в тайгу. А однажды оказалось – на юг, за персиками...

1983

Отдыхать мы с подругой Леной ездили в Ялту. Один раз – в Прибалтику, в чудный городок Нида на Куршской косе, где каждый домик – в своём отдельном стиле, и можно было пройти городок насквозь от Балтийского моря к заливу, но я не об этом, мы всё равно возвращались в Ялту, чтобы рано вставать, ехать троллейбусом к морю, сидеть у моря на камнях, окунаться (не люблю плавать, а сидеть у моря и любить его – сколько угодно), и пожирать персики килограммами....

Мы едем с подругой Леной в Закавказье, заслуженно пожиная плоды своей небесной красоты... тьфу ты, я хотела сказать – возраста и выражения лица. Моя подруга Лена похожа на грузинку и армянку одновременно и демонстрирует профиль почти как Клеопатра. Почти, потому что Клеопатра никогда не была еврейкой, хоть в этом мы как народ точно не виноваты, но с другой стороны, если хорошо подумать и развернуть предложение на пару страниц, может выясниться Бог знает что. То есть, что мы за всех в ответе и так далее.

А в блокноте я по-прежнему ни за что не писала о себе, потому что мне же это потом перечитывать, а подражать стоит только Кривину, ну, в крайнем случае – Эренбургу, это я тогда точно знала. Заодно переписала статью Эренбурга «Ложка дёгтя» от руки (сборник статей «Белый уголь или Слёзы Вертера» не переиздавался, надо было как-то себя обеспечить), и теперь могла её цитировать с любого места, создавая иллюзию... сами понимаете, не каждая, даже начитанная, девушка сходу цитирует статьи Эренбурга. Это хоть как-то компенсировало Ахматову, которую подруга Лена запоминала, а я почему-то нет, даже когда пела. То есть, кроме слов «сероглазый король», естественно...

И вот этого «мой милый, что тебе я сделала»... короче, была я гордо-ироническая девушка, хотя профиль подгулял – ну ничего грузинского или хотя бы армянского не просматривалось. Поэтому при поселении в гостиницу (а в Тбилиси такой профиль особенно уважали) моя подруга Лена повернулась лицом вбок и мы тут же получили номер с горячей водой и телевизором. Затем была серия юношей, укладывавшихся штабелями к ногам

прекрасного профиля (ну почему же, и к моим тоже, но наблюдать со стороны было гораздо интереснее, а вблизи они значительно менее живописны). Юноши гортанно просили о вечной любви, осыпаясь цветами и конфетами, а иногда – шашлыком. Так что наслаждались мы вовсю...

На очередном переезде, в местечке под названием Закаталы, наступил апогей, он же кульминация, до суда дело дошло.

Юноши поначалу угостили нас вином («я знаю, где они работают», – успокаивающе шепнула подруга Лена), а потом вломились к нам в номер. Стоп. Нет, не вломились.

Подруга Лена гостеприимно открыла им окно и чистым голоском позвала: «Мальчики, заходите!» – она явно решила, что это харьковский мехмат... Всё-таки, выпили мы неслабо, да ещё шёл дождь, и сочувствие к промокшему ближнему совершенно неуместно и не вовремя, вообще, с этим сочувствием всегда проблемы... Ближние стали нас немедленно помогать.

Но я была трезва, как стёклышко – весь вечер у меня болела голова и поэтому артподготовка в виде «Мукузани» не подействовала. Вообще, когда от меня хотят тёмного, у меня болит голова, причём начинает заранее, за час. Чтобы я успела как-то сориентироваться. Не то чтобы обмануть меня совсем нельзя было, нет, попробовать можно, но настроение будет испорчено...

Короче, я вырвалась в коридор и позвала на помощь. Помощь пришла, обругала посетителей на одном из местных диалектов, предложила им дождаться, когда закончится дождь... но посетителям по-прежнему хотелось согреться, а выпить было нечего, и девушки тоже не радовали... И только после повторного вызова этой скорой помощи нас переселили, а гостей с нами, наконец, разлучили, хотя не навсегда.

Последующие два дня нас держали в местной прокуратуре и снимали показания. Преступники извинялись, жаловались, что их посадят, и предлагали деньги. Месяц спустя они приехали в Харьков и снова предложили деньги. Почему мы всегда пролетаем мимо кассы? Тысячу предложили. И знакомый адвокат написал в Москву прокурору о том, что молодые люди оступились по молодости, но тысячу мы так и не взяли...

Одному из них дали год условно, второго, более настырного, посадили. Впоследствии он написал мне трогательное письмо из мест не столь отдалённых, сколь, всё-таки, надёжно запертых, с угрозами и требованием сообщить его родителям, что он чист, а если нет – приедет, мол, зарежет. Вместе с письмом я побежала спасаться к папе.

«Моя дочь, – утешающе сказал папа, – непременно во что-нибудь вляпается... Не бойся, всё равно не поможет, живи как живётся...»

И, успокоенные, мы с подругой Леной забрались на мой старый диван с видом на негаснущее окно на чьём-то пятом этаже, и впервые закурили «Честерфильд», слушая пластинку Челентано...

Мне больше никогда не хотелось персиков. Один раз в год, понюхать – я считаю, вполне достаточно.

1984

Замечательное имя – Алька, оно, безусловно, украдено у Крапивина, у бесконечного лета, по которому бегают мальчишки, гоняя колесо и распевая во всё горло. Когда мне встретился человек по имени Алька, я не стала домогаться, какое там полное наименование, а просто радовалась тому, что это имя можно произносить на самом деле.

Человек, насколько я успела заметить, имени соответствовал, по крайней мере, в моём присутствии. Его главным подвигом было приехать ко мне на работу на станцию Люботин и привезти банку варенья из розовых лепестков для поднятия духа. И дух распрямлялся на некоторое время. Дело в том, что в клубе на станции Люботин я преподавала гитару.

Вокруг Люботинского клуба роились тёмные небритые личности, пропахшие пивом, они мрачно тащились в кино, которое крутили в том же клубе, а отдельную комнату для занятий мне, как самой молодой, пока не выделяли. И вся эта толпа текла сквозь нас с маленьким учеником и тринадцатирублёвой гитарой Ленинградской фабрики, пока нас не переселили в проходную, но, всё-таки, отдельную от публики, комнату с отдельным разбитым окном.

Мы занимались в пальто и не снимая шапок-ушанок, мои ученики дружно запели Окуджаву, поскольку освоить «Бумажного солдатика» мне казалось важнее во всех отношениях, чем, скажем, выучить ноты. Хотя ноты народ тоже учил, но я не настаивала. Всё было просто: не зная нот, как сыграешь музыку?..

Почему на меня покрикивала заведующая, не помню вовсе... но её потом посадили вроде бы за взятки. Какие взятки могли быть в клубе на станции Люботин, ума не приложу... разве что те несчастные рубли, которыми родители моих учеников оплачивали нашу музыку?..

ЧЕТВЁРТАЯ ПЛЁНКА

1985

Когда-то я донашивала за ней синие полосатые брюки...

Проходные дворы от Сумской, внутри – длинный дворик прямиком к дому, к балкону первого этажа, нужно пролезть между перил, а потом – через окно, через тропу на подоконнике – просочиться внутрь. Во-первых, там жила дивная псина боксёрской породы по кличке Дези. И какие бы волны ни прокатывались по этому дому, как бы ни гибли эти замечательные собаки – одну украли, вторую сбила машина и так далее, но здесь снова и снова заводились рыжие улыбчивые создания породы боксёр.

Говорят, что каждый, кто хоть раз заводил боксёра, на других собак и смотреть не будет (хотя подозреваю, что так можно сказать и о других любителях других пород, но всё-таки...).

Затем обнаруживался дядя Толя, безногий архитектор, который передвигался на сильных руках, всё чинил всем и едва мог отбиться от Дези, периодически норовившей его облизать. Возможно, она считала его своим щенком, хотя, как знать, иногда собаки считают своими щенками всех хозяев без исключения, даже тех, кто любит отдавать приказы толстым голосом с высоты более полутора метров...

Жена дяди Толи, завхоз Петровна, высокая статная женщина с вечной сигаретой в зубах, с рыжей, как у Дези, копной волос и высоким богатым голосом, оттеняла красоту этого дома. Здесь вкусно ели-пили-хохотали по праздникам, а если удавалось – и в будни, и мы с мамой проводили здесь половину жизни, пока я не стала проводить свои времена по другим адресам, а мама осталась тут, потому что близкие друзья – это одна семья, один организм...

Петровна руководила домом – двумя мальчишками, собаками-кошками, волнистыми попугайчиками и постоянным потоком друзей – легко, разговорчиво и хлебосольно. Обратно домой я отчего-то всегда уходила через дверь. Должно быть, заходить и выходить в одном и том же месте – через окно – было бы неправильно, не по курсу...

Оба пацана дяди Толи и Петровны были безнадежно влюблены в одну и ту же личность с короткой стрижкой, улыбчивым лицом, присыпанным веснушками, лёгкой подвижной фигуркой в синих полосатых брюках, которую все называли не иначе как Сашенька. В неё был влюблён весь район в возрасте от десяти и до шестидесяти.

В её доме на Чернышевского, 10 была всегда была открыта дверь, и постоянно кто-то сидел на кухне, курил, рассуждая то ли о Мандельштаме, то ли об Окуджаве, а то и даже пел песенки, здешние и нездешние, как дождь за окном... а хозяйка дома легко и необидно могла расхохотаться по поводу несуразной строки или чего-нибудь странного... Сашенька и сама писала стихи, но они не сохранились.

Многое не успевает сохраниться, облетает перед зимними метелями, а Сашенька успела многое. Родить пятерых детей, остаться такой же лёгкой-воздушной точёной Сашенькой с неизменной иронической улыбкой, веснушками и внезапно-абсурдным чувством юмора.

Она и умерла внезапно, от болевого шока. Её муж впоследствии так и не женился, вырастил сам пятерых детей, и даже защитил докторскую, не расставаясь с детьми... Только иногда, ненадолго, дома у Петровны оседала вся компания, но без Сашеньки всё стало иным, никто больше не умел так внезапно расхохотаться по какому-нибудь странному поводу...

1986

Какая-то колея, наконец, нашлась под ногами и более-менее ровной походкой зашагалось вдоль улицы Карла Маркса в Ленинский Дом пионеров, где образовался детский клуб. И очередная несчастная любовь заодно оказалась счастливой, видимо, по недосмотру. Потому что мы жили далеко и виделись редко, это очень способствует...

Лето у самого синего Азовского моря стало греть немыслимым теплом в окружении необыкновенных людей на берегу Керченского пролива, в песенном лагере Барзовка.

Эти люди писали, если не стихи, то песни, если не песни, то говорили так, что хотелось слушать, едва успевая окунуться в море, чтобы успеть их снова увидеть и услышать. Влюбляться можно было бы через одного, ну, хотя бы в пятерых как минимум, но, как уже написано выше, моя несчастная, далее по тексту, любовь, оказалась счастливой... Потому что он тоже туда приезжал. А разговаривать предпочитал, когда публика в виде меня находилась рядом.

1987

С другой стороны, миф о том, что с мужиками дружить нельзя, потому что подоплёка... ну, и так далее... да какая, собственно, разница? Моих друзей я люблю, «как сорок тысяч братьев любить не могут», и они меня, чтоб вы не сомневались. Хотя один из них – в Бостоне, это очень далеко, но не мешает ему звонить регулярно, чтобы выслушать, как я счастлива его слышать, особенно если звонок раздаётся в три часа ночи...

...Работаю, даже получаю полторы ставки, сто пятьдесят рублей, ох, нет у меня нынче таких денег и уже не будет... «Дети» не намного меня младше, но называют по имени-отчеству, было такое светлое время, пока я не решила съездить с ними в Барзовку, тут то всё и случилось. То есть – там.

Поехало четверо счастливцев подежурить на кухне, попеть у костра каждый вечер, купаться в море, ловить мидий и придумывать сумасшедшие штуки... Но приличные люди в этом месте все – на «ты», невзирая на возраст и пол, поэтому пришлось.

Затаив дыхание, слушал остальной детский клуб рассказы умудрённых поездкой повзрослевших корсаров – о том, как прошёл костёр с гордым названием «Вы их хотели», да, забыла объяснить, что костёр – это не столько сам огонь, сколько круглая лавочка вокруг него, на которой сидят люди, а дальнейшее зависит от ведущего, но кружки с чаем дежурные гейши разносят на подносах, а к чаю положен пилёный сахар вприкуску...

...И очень хотелось учить идиш, но хватило меня ненадолго – то ли учитель не вдохновил, со мной это часто бывает, то ли глагольные конструкции, пахнущие немецким...

То есть читать-писать – свободно, но слова не запоминались напрочь. Если учесть, что песенки запоминались сами собой и

вызывали такую бурю эмоций, что трудно было держать себя в руках – всё это странно... А что в нашей жизни не странно?..

1988

Уходит моя бабушка. Из жизни уходит. Она больше не вставала после того, как упала на ступеньках нашего дома. Даже честно предупредила меня где-то за месяц, что умирает и попросила, чтобы я не плакала. И я перестала. Лучше не плакать, хотя иногда очень хочется, но близких надо беречь...

Два месяца подряд приезжают скорые, колют её, потом пьют чай на кухне, среди них бывшие одноклассники, иногда грубые тётки, которые переворачивают бабушку, как тряпку... эфиопский мальчик без медсестры, неужели с ним никто не захотел поехать?.. и укол не больно, и так успокаивающе что-то сказал с акцентом... А как-то всю ночь я пела колыбельную на идиш, сама не понимая, зачем, просто пелось, тихо, словно укачивая ребёнка, под утро её не стало. Это худенькое слепое тело перестало мучиться.

...Я учу иврит, и слова сами запоминаются, словно всплывают откуда-то из подсознания, но никуда не собираюсь уезжать, зачем? У меня же тут все – а там – чужая страна, и иврит мне просто для себя, учат же некоторые японский?

Мой дед, который всю жизнь писал бабушке свои польские письма, выполняет её последнюю волю – организует мне поездку к себе в гости. В Израиль.

Дело не в том, что меня потряс экзотический рай, хотя нежные чувства к пальмам до сих пор объяснить не могу... и не изобилие, на которое я старательно не обращала внимания, собирая одноразовые бутылочки в подарок друзьям...

Просто в Иерусалиме, даже не в самом городе, а в Иудейской пустыне, где мы гуляли на разбитой машине одного приятеля, я вышла куда глаза глядят. И захотела остаться, потому что ноги не захотели уходить. Организм трясло необъяснимо – словно я вернулась, наконец, домой, хотя этого дома больше не существует, но я всё рано оказалась в нём и идти мне больше некуда и незачем. Но надо было вернуться.

Продолжение следует, некоторые герои меняют свои портреты, титры, инициалы, а счастливая любовь оказалась опять несчастной и закончилась как раз тогда, когда превратилась в роман...

ПЯТАЯ ПЛЁНКА

Начало, середина, конец, начало, не стать уже балериной, не пойти в инженеры, о физике и говорить нечего, но где-то я слышала, что Лобачевский выдвинул гипотезу о ветвящемся времени...

Ветви задевают лицо, шелестят о чём-то своём, бегают лучи по листве, и тихий ветер никуда не сдувает, а только стоишь се-

бе и не можешь отойти от дерева, говорят, что своё дерево помогает, нужно просто постоять рядом, и силы вернутся...

1989

В Харькове можно было ходить, задрав голову к небу. Такое количество звёзд, что невозможно на них не смотреть. Не свалиться и не споткнуться удавалось то ли оттого, что вокруг были какие-то свои, наверное, люди, то ли потому, что небу нравилось, что от него не могут оторвать глаз... Названий, правда, не помню и по сей день, небо – большое. Но почему бы сейчас не пройти, подняв глаза к небу? Звёзд в Иерусалиме не меньше...

Друзья уезжают, и кажется, что с их отъездом разрушаются и исчезают дома...

Жизнь рушится по углам, хотя всё вроде в порядке, мы по-прежнему ездим на фестивали и поём, всё поём... Дотянем до леса, решили друзья, становится трудно дотянуть до лета...

Первый Песах. Пасхальную Агаду переводили на русский и ужасно хотелось есть, но долго-долго было нельзя, пока всю книжку не прочитали вслух да ещё с переводом на русский... часа три читали. Голодный еврейский народ терпеливо ждал выпить-закусить...

Вообще, обнародование совместной любви к еврейскому народу чем-то смутило... много людей вокруг, человек пятьдесят,, которые разговаривают и жуют. Мацу жуют, но это не спасает...

И в самый ответственный момент (кажется, говорили о чаше для Ильи-пророка), где-то вдали, в конце коридора, прямо по курсу открылась дверь. Приоткрытая, по правилам, для Ильи-пророка... В ней показался мой товарищ из Одессы, и мы ушли. Всё-таки, вдвоём иногда бывает легче...

Собака. Очередной миф, что это мы себе заводим собак, даже и не пытался осесть в моей голове – конечно, на самом деле это они нас выбирают. Единственная рыжая в куче чёрно-белых комочков, выползла – слепой ещё кутёнок – пробралась через всю комнату, улеглась мне на руку. Выбрала меня, и выбрала нашу общую с ней судьбу, не побоюсь этого громкого слова...

Короче говоря, вы не поверите, но желания иногда осуществляются. И не обязательно тогда, когда становятся нафиг не нужны. Я приходила из университета, где училась на филфаке, а у дверей меня встречала рыжая маленькая хвостатая комета, и она улыбалась...

1990

В Москве на иврит никто не обращает внимания – мало ли иностранцев спускаются в метро и заходят в кафе? Курсы иврита длятся всего полдня (и целый месяц), этого очень мало, но нужно успеть выучить до завтра кучу всего, и некогда – пока доедешь, пока посидишь с друзьями... Сегодня новые слова со-

всем перестали запоминаться – думаю, всё дело в том, что в Израиле нет метро...

Мне мерещится Иерусалим. Настоящий, потому что я успела его повидать чуть ранее, но призрачный, потому что мерещится. Сквозь кирпичную кладку Харькова, Ужгорода проступают стены Иерусалима, и жить без него больше невозможно.

Университет пришлось бросить, потому что мы уезжали. Замечательного кота по кличке Биньямин-Бекицер-бен-Гурион пришлось оставить, потому что мы уезжали.

Мама продала квартиру, и мы накупили каких-то дурацких шмоток, которые впоследствии не сохранились... Мама тащила на себе наш отъезд, как хороший танкер, нервных клеток у неё оставалось все меньше, а оставшиеся в наличии в ужасе оглядывались вокруг и не понимали, что происходит...

В последний вечер я простилась с папой. Не грусти, сказал он, мы ещё не раз встретимся. Никогда мы больше не встретимся, вдруг поняла я, но ничего не ответила... Знаете, когда судьба берёт тебя в охапку, это заметно невооружённым глазом, а глаза наших близких и вовсе беззащитны...

Переход в параллельный мир не всем даётся просто, мы уходили, как зуб, который шатался, но всё-таки некая сила выдёргивала его без наркоза, местное обезболивание мы организовали сами... Друзья пришли провожать на вокзал. Мы с мамой и маленькой рыжей собачкой на фоне огромных зелёных баулов смотрелись неплохо. И никто ни за что не плакал.

В Шереметьево мы лихо распевали еврейские песни под гитару, и тонус поднимался – а куда он мог деться?.. Мой друг-приятель, охраняя нас с собакой до последнего, умудрился перемахнуть через заграждение и сдать наш багаж...

ШЕСТАЯ ПЛЁНКА

Моя собака облаивает что-то невидимое в прихожей, говорю ей, не оборачиваясь, не обращай внимания, это просто воспоминания, это ко мне ...

Тепло, ещё теплее, уже горячо, фильмоскоп перегрелся, пора менять плёнку...

1990

Первым делом я позвонила папе из аэропорта Бен-Гурион, было у нас такое право на один звонок другу... Затем мы приехали в Хайфу, чтобы как-то начинать жить.

Квартирка на улице Рабби Акива с чудным балкончиком в тени и листве, мы стали привыкать, правда, я и так чувствовала себя дома, хотя не хватало всего того, что составляло дом прежних времён.

Чего я от себя не ожидала, так это тоски. У меня был неплохой разговорный иврит, привезённый ненарочно из Харькова, чувство дома и тоска такого размера, что хватило бы на пару семей при должной экономии.

(Позднейшая вставка по поводу иврита: год примерно 1977-й, мы с молодым человеком прогуливаемся по парку Горького. Солнечный день, кафе под полосатыми зонтиками. Но мы гуляем в сторону. На скамейке ненадолго присаживаемся. Я вот-вот заканчиваю школу, пора подумать о более важных вещах, о главном для нормальной еврейской девушки. Об иврите...

Молодой человек рисует прутиком на земле букву алеф, потом букву бет...

Кстати, в известной песенке про ребе поётся примерно так: «А когда вы, дети, состаритесь, и станет вам тяжело и больно, и не будет спасенья от беды – повторяйте и повторяйте эти буквы...»)

Иногда я приезжала в Иерусалим просто так, побродить, и тогда меня отпускало, потому что должно же человека отпускать хоть иногда...

С октября стали подъезжать друзья, оседать у нас и влиять благотворно. Особенно благотворно влиял Женя Дреер, потому что он по-прежнему курил ростовские сигареты «Наша марка», а прозрачный хайфский воздух довольно быстро меня перестроил, и «Наша марка» стала казаться настоящей газовой атакой...

Тоска оказалась обыкновенным предчувствием – не стало папы. И всё это время телефон в Харькове был занят, помехи на линии, а у нас шла война, мои друзья дозванивались папе из России и передавали приветы, он лежал в больнице, и я ничего о нём не знала... Потом его выписали, вроде пошёл на поправку, веселил друзей, однажды лёг спать – и не проснулся...

Когда-то, в 1977-м, мы отдыхали вместе с папой под Харьковом, и однажды в коридоре выключился свет. В коридорной темноте мы шли с папой в обнимку и распевали «Мы идём, ковыляя во мгле, Мы идём на последнем крыле... Хвост горит, бак пробит, но машина летит На честном слове и на одном крыле...»

1991

Война в Заливе мимо не прошла. Мы передвигались с противогазами наперевес и послушно заклеивали двери при звуках сирены. Этот заунывный звук я как-то предчувствовала – однажды сидела на кухне, курила в форточку, мама позвала в комнату, на что было отвечено, что до сирены ровно десять минут и что я хочу посидеть спокойно, пока есть время... И через десять минут сирена действительно взывала.

Вообще, мама проявила себя беспечным человеком с большим запасом весёлого мужества, а я – трусливым мизантропом с задатками диктатора. После сирены я загоняла маму в комна-

ту, заклеивала дверь и сосредоточенно слушала радио, не понимая ни слова на нервной почве, кроме приказа «снять противогазы». На беседу не отзывалась. Молилась, перечисляя имена, которые, пожалуйста, чтобы были живы и здоровы. Эта привычка у меня сохранилась по сей день, когда страшно, я уже знаю, чем заняться...

Мама не сидела, застыв в противогазе – она пыталась вести со мной светские беседы, рассказывала последние новости и краткое содержание прочитанных книг... Противогаз её не смущал. Её вообще ничего не смущало кроме собственной дочери – но тут, как говорится, есть то, что есть...

Иногда дрожали стёкла. Собака вела себя идеально – ныряла под одеяло и ждала, когда мы успокоимся... Тяжёлый дым просочился в комнату не у нас, это соседи один раз забыли включить газ, и получили небольшую персональную газовую атаку. У нас была химическая...

Во время одной из атак мы сидели довольно долго, а в мире ничего не менялось. Крыша моя, и так не самой прочной закалки, съехала ниже уровня моря: на потолке я увидела каплю. Она аккуратно собиралась упасть в центре комнаты.

Конечно, химическая, сказала я маме, ни в коем случае не снимай противогаз. Мама поняла, что со мной временно всё кончено, сняла противогаз и позвонила приятельнице. Оказалось, атака закончилась полчаса тому назад, мы просто не услышали сообщения по радио. Невинная капля сконденсировалась на потолке, не думая о дурном. Я никогда не учила физику...

Наконец, проступили запахи, включили цвет – Хайфа благоухала, Израиль оказался ярким, прозрачно-воздушным и удивительно своим.

Однажды на улице меня подобрали актёры, Сеня и Изольда. Их было двое, они собирались играть «Соловья и розу» В. Инбер. На той же улице Ерушалаим они подобрали скрипача Яшу. И жизнь стала налаживаться.

Мы встречались в «Бейтену», репетиции, Моцарт, Массне, песни, цитатами из «Соловья» наполнился воздух, как трелями весенних птиц...

«Рецепт весны таков: совершенно свежие и острые почки распускаются на старом тополе. Рекомендуется глубоко вдыхать их запах – он один из прекраснейших на свете»...

При таком оформлении жизни можно было и погулять у моря, антураж, что и говорить, удачный, только море всё норовит из антуража превратиться в лирического героя, потому что свидание было, в первую очередь, с ним... И море ничего ни от кого не требовало, а только перекачивалось прибоем, успокаивающе шурша: «Всё ещё случится... всё уже прошло...»

А любителям любовных историй скажу так: завязка, развитие, кульминация, развязка, финал. Возможны вариации и отсутствие развязки. Иногда – послесловие...

1992

В Тель-Авиве ещё теплее, чем в Хайфе, по нему можно долго идти, он горизонтальный и распахнутый широким жестом южных рук и раскидистых пальм. Он пахнет иначе. Неуловимый привкус бензина, моря, кардамона и ещё каких восточных трав, жарится шварма, а салаты можно набирать и набирать, и разгуливать у прилавка с питой в руке, пока организм не скажет «хватит» и не отпустит тебя дальше параллельно солнцу.

Тель-Авив вытащил меня на улицу с гитарой и микрофончиком, отправил в старый Яффо любоваться на причал и позволил запеть о прошлом и будущем, стоя на каменной брусчатке пустынно-туристской площади.

Настоящее было более-менее ясно. Идти пешком в старый Яффо, собирая шекели при помощи бардовской песни, возвращаться и погружаться в лёгкий трёп на улице Барзилай, где нас осело несколько таких же, хоть и не обязательно музыкантов.

Мама осталась в Хайфе, некоторое время ей жилось легко и почти беззаботно. Жить в разных городах оказалось не очень удобно, мы перезванивались всё чаще, а разговаривать нам становилось всё легче...

Друзья притянулись к нашей коммуналке магнитом. Такая радуга лёгкости и пенящегося веселья поднималась над нашим домом, что могло притянуть кого хочешь и вовремя. То есть, «пылали закаты, и ливень бил в стекло, всё было когда-то... и любовь была». По крайней мере, вулканов и страстей мне хватило надолго, эта стихия не покидала нас года два, постоянное напряжение – хорошая зарядка для нервов, особенно для гипнотизёра-трансформатора, которым по праву считается скорпион обоих полов, а уж как мы понимали друг друга – как скорпион скорпиона... То есть, без слов.

Тебя постоянно прощупывает рентген и всё – слышишь? – абсолютно всё принимает прямо к открытому сердцу. Как там было у Аграновича – «одной рукой за рукоять, другой рукой за остриё», и это вовсе не метафора, а вполне натуральное описание. Наверняка знал автор, о чём писал...

1993

...После того, как мил друг заболел нервным кошмаром... после того, как он чудом выжил... а я стала за него дрожать уже на ровном месте, потому что когда место неровное, в особенности – обрыв, то всё делается как надо и даже спокойствия хватает, откуда только берётся... нужно вязать узлы и тащить верёвку вверх, времени на сантименты не остаётся, а как только минует опасность, и вы отойдёте от обрыва – тут-то организм возьмёт своё...

Короче, когда всё уже было хорошо, я захотела исчезнуть. Не от страха или, скажем, ужаса бездны, хотя всё может быть, инстинкт самосохранения и не такое помнит... где-то я прочла про

«векторное кольцо», от которого нет спасения – с примерами из жизни замечательных людей – Есенина, скажем, и так далее. Уже сейчас прочла, а тогда ничего не знала об этом, «судьба Онегина хранила» от такого знания, мир с ними обоими. Спасение есть. Но потом нужно очень осторожно передвигаться и долго бежать на цыпочках без оглядки.

Хотя внешне всё выглядело довольно пристойно – мы играли вместе (он – на скрипочке), куда-то ездили, забывая поглядывать по сторонам... А когда я нечаянно посмотрела на дорогу – оказалось, что мы движемся в сторону развязки, постепенно ускоряя шаг...

К слову, я знаю, как не думать о зелёной обезьяне. Это изобретение Ходжи Насреддина. Запрет на зелёную обезьяну приводит к тому, что вы больше ни о чём не можете думать, кроме неё.

Нужно зацепиться вниманием за что-нибудь не особенно противное – облака, звуки – всё равно, за что, и отпустить мысли на волю, хоть на какое-то время. Когда очень паршиво, человек и не на такое становится способен...

А потом непременно появится фиолетовый верблюд и займёт собой всё обозримое пространство. Оптимистическая концовка, не правда ли?

СЕДЬМАЯ ПЛЁНКА

Сюжеты тянутся не вдоль, а поперёк, как рисунки на древесине, сквозь годы по касательной... Таких сюжетов мы несём на себе больше, чем помним о них, и когда начинает болеть спина от непереносимой тяжести собственного сюжета, нам и в голову не приходит, что развязка – не худшее, что может приключиться с нашими мелкими драмами...

Когда это было – «блестит-переливается листва под фонарями, и тёплый воздух несёт тебя сам собой...», и было ли? Нет возврата, и не может быть, да и кому он нужен, возврат, но почему же так трудно идти вперёд с головой, повернутой назад?.. Как бы развернуть прямо, да и раскрасить стрелочки разными цветами... Кстати, я уже говорила, что постоянно живу на перекрёстке?

Крыши и голуби

1991-1993-?..

А вот на крыше в Харькове пожить не удалось, хотя поднималась пару раз посмотреть на небо. Нужно было прятаться от дворника, и небо было рассмотрено невнимательно. Собственно, небо хорошо было видно с земли, если идти, глядя наверх,

так что особой необходимости в крыше как-то не возникало. Или она была неосознанной, эта необходимость, подсознание никак не могло достучаться в то место, которым думают или хотя бы планируют, тем более что события от этого места всё равно не зависят. Пофигу событиям наши места, которыми думают, а особенно – планируют...

В Израиле само собой случилось, что собака с мамой ушли от меня по своим делам, налаживалась у них личная жизнь, им стоило хотя бы попробовать, как это бывает. Так что поселились мы отдельно, и я оказалась на крыше в небольшой квартирке, то есть небольшой – это даже преувеличение. Квартирка оказалась такой маленькой, что можно было порадоваться одиночеству – там помещался только один человек, особенно, если не иметь привычки ходить по комнате. Сидеть и лежать – да, а ходить – нет. Но вокруг этой крохотной квартирки была крыша, а над ней прямо без предупреждения – небо.

Кстати, привычка задирать голову вверх, чтобы рассматривать звёзды, когда идёшь по земле, куда-то подевалась, так что крыша оказалась очень кстати...

Днём там было так жарко, что нужно было, прохладаясь, спускаться вниз по всяким делам, возвращаться к вечеру, устраиваться рядом с квартиркой в разболтанное кресло прямо под звёздами, заваривать кофе...

Плохо только то, что зима всё-таки началась и продолжилась, спасение от дождя и ветра не наступило, и пришлось бежать к друзьям в другой город, где целое окно охраняло и стены тоже все были почти целы. Но к весне я обнаружила себя опять на крыше в крохотной квартирке, хотя и в другом городе...

Не знаю, почему я там не задержалась. Наверное, более сильный ветер, чем просто погода, уносит нас в только ему ведомую сторону. Особенно оттуда, где так уютно, где видны звёзды и когда так не хочется уходить...

Кстати, голуби тут только для красоты названия, голуби мне встречались, но в другое время и в отдельном городе. Зато вороны попадались регулярно и везде.

Ну вот, главное как бы сказано, хотя кто знает, где это главное и в чём оно? Сейчас 2005 год, а крыши нет как нет... До сегодняшнего дня осталось десять лет, даже больше, а по внутренним часам – около двадцати... Дважды я успела постареть и трижды впасть в детство, а юность пробуждается периодически, что всякий раз удивляет несказанно. Самое главное – 1994-й год впоследствии наступил, не говоря уже о 2000-м. И комета на нас пока не упала.

Короче говоря, время непостижимо, я это и раньше знала, но каждый раз удивляюсь, потому что оно значительно более непостижимо, чем на первый взгляд. В общем, я не прощаюсь, у меня такое впечатление, что заключительный аккорд может опять обернуться началом. Трудно угадать заранее...

А в самом конце нужно будет непременно написать: «Продолжение следует».

Титры, наконец, пишутся не просто так, а шрифтом. Более того – рисуются от руки, после чего фотографируются прямо на плёнку. Заметно, что плёнка стала цветная? Мы не ищем лёгких путей, наш ослик идёт прямо, сворачивая строго куда попало.

Театр – это жизнь, актёры в ней живут не по сценарию...

1993

Четвёртый этаж громадного серого здания, на соседних этажах красиво названы школы – кино и телевидения, драматического мастерства, а мы гордо молчим о том, что здесь единственная в Израиле Школа визуального или – ещё красивее – альтернативного театра. Альтернативного – драме, надо полагать, в особенности, психологической русской драме, потому что воробей на вершине дерева и человек мало отличаются с точки зрения высшего смысла...

А вот цветом и формой они разительно отличаются... Вот здесь нужно аккуратно оборвать, иначе придётся долго мусолить слово *концепция*, а спрашивается, для чего? Кому-то в монументальную живопись, кому-то – в клоунаду, если коротко.

Попала я туда случайно и неизбежно, как всегда, когда происходит судьба, извините за пафос. Кто-то позвонил, куда-то я поехала зачем-то и была вдруг принята невзирая на конкурс, потому что даже и не заметила, как это случилось... Тут надо бы начать новую главу или хотя бы повесить занавес, но... Понимаете, бывает такой театр, который можно начать с огромной кукольной руки, что держится за дверную ручку снаружи, а сам человек (или кто там окажется) давно внутри... И публика не может зайти, пока Рука не откроет Дверь...

Вот, например, этюд, один из многих: «Несоответствие». Кто-то приволок лилию, пахнущую валерьянкой, кто-то другой удобно устроил лезвие бритвы прямо в зубной щётке... А между дверей лифта посадили маленького плюшевого медвежонка. Стальные двери закрывались, а медвежонок, расставив лапы, не давал им закрыться... Они опять угрожающе надвигались, но мягкий медвежонок их так и не пустил...

Вот такая психология вместо драмы. Тут, скорее, поэзия, поэтический театр. Полунин, между прочим, о своих спектаклях так и говорит, и вовсе не нужно пытаться рассмешить почтеннейшую публику, а просто поиграть с ней в мяч – тогда у неё открывается совсем другое лицо... Если бы удалось всё-таки удрать с бродячим цирком – то, пожалуй, только в Полунинский театр, идти под снегом и тащить за собой игрушечный домик на колёсах, в котором светится окно...

Посреди школы кто-то выстроил кровать для семи гномиков, ступеньки, помост... и даже застелил её и уложил несколько подушечек. Нечаянно я оказалась Белоснежкой. Застряла в школе, чтобы закончить ручки из глины, то есть там потом нужно гипс и папье-маше, скоро спектакль первого курса, где я собиралась, между прочим, играть Убегающую Ногу, а заодно мы же сами ваяли оформление. К пяти утра меня сморило, не помню, где, проснулась на этой самой кровати, когда появился директор школы, ранняя пташка и кукольник по призванию. Жалко, что он не знал сказку про Машу и трех медведей, как раз хорошо бы получилось удрать из одного сюжета в другой...

Странное дело – меня как раз обучали говорить об одном, начало-середина-конец, даже если это не рассказ, а... да что я несу, какая разница, что у всего бывает композиция, но мне часто чудился шарманщик, который забывает одну историю, перескакивает на другую в самом неожиданном месте, вдруг поёт, потом помолчит, покрутит шарманку и снова откуда-то с середины продолжит неизвестную сказку или даже настоящую историю, тут не поймёшь...

Откуда он взялся – Бог его знает, нигде о таком не читала. Только оказалось, что он – мой любимый герой. И я всю жизнь пытаюсь его зачем-то сыграть...

Картинку я увидела за пару минут до пробуждения, звонка будильника и выпрыгивания из уютной постели в холодный мир зубных щёток и завтраков. То есть, я уже знала, что не сплю. Успела испугаться, но кто-то отзывчивый объяснил, что у художников нормальной психики вообще не бывает, и я успокоилась. Меня вообще легко успокоить, если знать, как.

Короче говоря, в картинке – пустой разорённый город. Ветер гонит обрывки бумаг, пыль, мусор, завывает в пустых домах, холод. На дороге валяется разбитая шарманка. Иногда ветер крутит ручку шарманки, слышно тихую мелодию. Потом на улице появляется человек. Он откуда-то выворачивает – не успеваю заметить лица – и уходит. Высокий, в чёрной шляпе, седые волосы довольно длинные, развеваются, он идёт, чуть ссутулившись. Всё.

1994

Первый мой кукольный клоун мог летать в своей ночной рубашке, как небольшой Карлсон. Мы играли с ним номер.

На садовой скамейке, где я как бы дремала, ну, не божж, просто так дремала, чтобы заметно стало, как рядом с неподвижным человеком из сумки появляется клоун-ребёнок, будит человека, потому что больше ему поговорить-поиграть не с кем... Они начинают играть в прятки, а потом человек прячется от куклы, и клоуну ничего не остаётся, кроме как идти прямо на публику, повторяя тонким голосом: «Вы мою маму не видели?..»

Наши детские воспоминания – такой хороший материал для рассказа либо театральной постановки...

Кстати, умение терять ещё никому не помешало. Расставаться легко, периодически прощаясь. А куклы живут в доме на полных правах. У них никого нет, кроме меня, это большая ответственность...

1995

Мы рисуем на песке. Это занятие, урок, – на стол высыпан песок, молча подходим к нему по одному и пишем слово, первое, что в голову взбредёт. Молчим, смотрим на него несколько секунд, затем стираем. И отходим в сторону.

Писали на иврите. Кто-то написал «я», кто-то – «следы», были слова «зачем?», «дорога», «любовь», слова выглядели так, словно они только что родились – на языке Ветхого Завета...

Я написала «забывать». И это было, как попытка вспомнить что-то забытое во времена неведомые и неизвестно, о чём... Что-то было в этом песке вечное и притягательное на ощупь, как детская погремушка, кстати, слово «пустыня» так никто и не написал.

Тогда, после наших занятий, тексты древних псалмов вдруг стали читаться сами собой с удивительным распевным акцентом. Парочка даже сходу запомнились или вспомнились наизусть, и крыша снова на время вернулась. Но ненадолго. В пьесе «В ожидании Годо» я должна была играть сумасшедшего...

Идти с верёвкой на шее, смотреть неизвестно куда сквозь стены, тащить чемоданы и бормотать на птичьем языке. Идти нужно было медленно, в своём ритме и думать всё на том же птичьем языке (то есть текст из пьесы), внутренний монолог, как и положено... Полгода репетиций по системе Гратовского окончательно оторвали меня от людей, но я твёрдо знала дорогу домой и что такая жизнь мне нравится, хотя непонятно чем...

Есть во мне что-то от бродячего шарманщика, никуда не денешься, хотя иногда неплохо бы куда-нибудь деться, хоть на время... После спектакля я сработала себе поролоновую птицу с головой, слегка смахивающей на моё выражение лица, когда шла с верёвкой на шее и бормотала на птичьем языке...

Она размахивала прозрачными крыльями, мы танцевали жестокое танго под любимую музыку тридцатых годов, и психика возвращалась в надежде на то, что её больше не тронут...

1996

Польша, Вроцлав, спектакль можно играть по-русски, Боже, какое счастье... А для того, чтобы тебя понимали все – можно играть без слов. Но тогда нельзя петь, песня всегда на каком-нибудь языке. И любовь всегда на каком-нибудь языке, хотя тут я бы поспорила сама с собой...

Когда говоришь с милым на неродном наречьи, хоть и до боли близком, а милый тоже не так давно его выучил, но у него родное вовсе третье... трудно разобраться с нюансами.

Короче, я придумала себе героя, с нами такое часто бывает, но тут я подошла к делу концептуально – зря, что ли, меня учили четыре года? Я спросила себя – а кто у нас герой в последнем спектакле? Должен же быть показатель романтической э... направленности, да? Спектакль, всё-таки, свой, к тому же – моно, всё должно быть на виду, хоть оно и подсознание.

Героем оказался пропавший ребе. По сценарию – пропавший. Он нашёлся во второй части спектакля, прогулялся от кульминации к финалу, совершил Самый Важный Поступок, объявил восстание в гетто... короче, он был самый-самый и герой. При этом, по сценарию, восставшие победили, и плевать я хотела на правду жизни. Потому что – как сочиним, так и будет, и что с того, что всё было иначе?..

Кстати, там, в спектакле, у героя была семья – обычная еврейская семья, куча малышей, стираются пелёнки, варится обед, всё как у людей. Любовные драмы еврейскому человеку ни к чему, особенно, если он – герой спектакля и всеобщий спасатель.

Домой я вернулась с психикой набекрень. Снилось религиозная семья и трое детей, которых я там, во сне, кормила неизвестной едой с названием чолнт. На следующий день наступил Песах. И там, где мы его праздновали, оказался молодой ребе из Швейцарии, большой человек с милой улыбкой, распеваящий псалмы и другую музыку поставленным голосом.

Он стал постепенно заполнять мою жизнь собой, попутно разъясняя, как мне при нём надо ходить, разговаривать, и вообще – всё делать по правилам... То есть, говорить ему обо всём, а без него вообще лучше ни с кем не беседовать, тем более, на непонятном ему языке... С мамой тоже при нём следовало говорить на иврите...

И сначала я всё напоминала себе – ну, как же, это же Тот Самый Ребе, которого я умудрилась увидеть в собственном спектакле...

То, что лучше не смешивать сырники с аджикой, выдумку и действительность, или смешивать их только на бумаге, а собственную жизнь оставить в покое... мудро. Вопрос, как этому научиться?..

Ну вот, а счастливым финалом является то, что мне удалось избежать нормальной семейной жизни, удрать из-под венца и переехать вовремя. Потому что жить по команде я не умею. Помощи ждать было неоткуда, все сроки назначены, стройся и шагай по одному...

Вдруг я просто попросила Всевышнего, сказав Ему честно – вот, мол, не могу совсем, с этими людьми так трудно подобрать

нужные слова, не говоря уже о поступках, может, лучше пока без личной жизни? Ну, хоть какое-то время...

Плакалась я у Стены Плача, чтобы не дать себя увезти ни в Англию, ни в Швейцарию, чтобы остаться в Иерусалиме и по возможности – самой собой. Всевышний в ответ дал мне силы. Хотя молилась я не на иврите и не по правилам, а как сумела...

Послесловие

Мы с юности твёрдо знали, что не в вокале счастье, а в интонации... Но и в бокале, конечно, и в хорошей компании, и в том, чтобы пройтись под листвой, когда тебя несёт тёплый воздух... да мало ли, в чём оно, счастье?

Старые сюжеты дремлют по углам, заново привыкая к месту. Сколько ни забирайся в любые времена, а всё это рядом... нужно вовремя возвращать голову в положение «здесь и сейчас». Сегодня тоже неплохое время, если на него хоть изредка обращать внимание...

ФИНАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА

Дождь. Темно. Ползу к автобусу, его нет, приходится пешком, и небо светлеет, хотя всё ещё мокро и сыро. Пустое шоссе, ни собак, ни людей, ни автобусов, я мелкая точка, ползущая по вечному городу. Куда иду и зачем... Направление – домой, но хочется улететь с этим воздухом и раствориться неведомо где. Я вольная птица, привязанная за обе ноги...

Навстречу катится мячик, его сносит ветер прямо на шоссе, и тут же появляются машины–автобусы–грузовики, пока мячику удаётся ускользнуть, но ещё минуту и... нам удалось от них убежать. Дальше мы пошли вместе домой, потому что мячик нужно было отмыть.

Пару раз в год мы вместе выходим на улицу, то есть, мы выходим втроём, – мяч, я и кукла-клоун по кличке Швабр (швабра, кроссовки и большая рыжая голова в веснушках). Швабр играет в мяч и улица готова бросать мячик обратно или бегать за ним, а меня и не видно, можно играть в куклы и придуриваться, что меня здесь нет, я просто где-то летаю с ветром...

Иерусалим, 2005

Наум Басовский

ЕДИНСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВОПУТОК

1.

Весьма возможна третья мировая,
а может быть, она уже идёт.
С утра, ещё и глаз не открывая,
надеемся, что вывезет кривая –
опять то недалёт, то перелёт.

Последние известия рутинны:
теракт, мятеж, заложников захват.
А после в телевизоре картины –
злодеи в масках, трупы и руины,
и всё равно, восход или закат.

Способны вызвать ступор кадры эти,
но переходим на другой канал –
возводятся мосты, играют дети,
есть красота, и есть любовь на свете,
и человек, что зависти не знал.

Так что сильнее – граната с карабином,
тротил в авто, застенки и тюрьма
или искусник в сюртуке старинном,
со сцены на дыхании едином
произносящий: «Мир сошёл с ума»?

2.

А знаешь, мир сошёл с ума, –
он прав, тот лицедей:
вокруг бушует кутерьма
безумнейших идей.

Тот загребает и копит –
для всех он власть и знать;
а тот планирует, не спит,
как это всё отнять;

а третий продаёт свой дух:
он, светел, чист и тих,
работает на первых двух,
оправдывая их.

Четвёртый тоже хочет жить,
и тоже не на цент:
чтоб предыдущих ублажить,
он им даёт концерт,

стихи им пишет и холсты –
похоже, что ногой, –
творя эрзацы красоты
для тронутых деньгой.

А кто-то вдалеке от всех
пустых, незрячих глаз
стоит и пишет первый снег
в двенадесятый раз.

И для него важнее нет
в часы, в минуты те,
чем воссоздать дрожащий свет
на небольшом холсте.

Сегодня счастлив я, мой друг,
не зря часы идут.
Ты только посмотри: вокруг –
безумие; а тут

пустое поле, и зима,
и белоснежный свет.
Ты знаешь, мир сошёл с ума,
а мы с тобою – нет.

3.

Ложится первый снег легко, без предисловий.
Ещё вчера зима и не брала разбег,
а нынче первый снег – он ежегодно внове;
ложится первый снег, ложится первый снег...

Такое колдовство в его часах начальных,
когда смолкает шум, и в этой тишине

такое колдовство в его словах печальных –
не я их нахожу, а он диктует мне.

А может, всё не так, и белый первопуток –
такой Господень знак, особая печать,
чтоб легче было мне в ночное время суток,
не путаясь во тьме, дорогу различать.

Ложится первый снег, меняя слух и зрение,
прерывисто дышу, и холод по спине,
и в глубине души высокое смирение:
не я ищу слова, а Он диктует мне.

4.

Юродивый – не скажешь по-другому:
в стране, где снег нам видится обманом,
он, повинувшись импульсу нагому,
слагает стих о первопутке санном.

Юродивый, найди слова другие!
Твоё старьё, как масло, всё прогоркло.
Твердит, что, мол, не знает ностальгии,
а в прошлой жизни сам увяз по горло.

Ах, критики, ну что ж вы так спесивы?
Ведь он поэт, он не такой, как все мы.
Его ведут не мысли, а мотивы,
его ведут звучанья, а не темы.

Не много мы поймём, без смысла ссорясь, –
его не прошлой жизни звёзды греют:
любовь и смерть, призвание и совесть –
мотивы, что вовек не устареют.

Но это не предмет для разговора,
а только некий вектор обозначен.
Когда б вы знали, из какого сора... –
и первый снег не хуже всяких всячин.

5.

Шелестят страницы в тишине ночной,
а в стекло стучится ливень проливной.
Два полночных звука – кролик и удав –
вычлись друг из друга, тишину создав.

Объясни кому-то, хоть из первых рук,
как ночная смута порождает звук,
как выходит образ из подспудных нор
и ложится в опус *скерцо си минор*.

Если же с наукой нотной не знаком,
посодействуй звуку русским языком,
чтобы шелест книги и дождя разгул
превратились в тихий равномерный гул,

чтобы старой лютней пел квадрат стекла,
чтобы горечь будней по стеклу стекла,
чтоб звучали снова в проливном хмелю
три коротких слова «я тебя люблю»...

6.

*Северный холм
За озером спину взбужрил.
Зелень деревьев.
Киноварь ярких перил.*

Ван Вэй (перевод Аркадия Штейнберга)

Киноварь ярких перил и сиена ворот,
охра на крышах, тропинок затейливых умбра...
Всё это, думал, из памяти быстро уйдёт –
но почему-то сегодня приснилось под утро.

Яркие пагоды видел я в ярком саду,
в ракурсе странном – как будто над ним пролетая,
и понимал, постепенно набрав высоту,
что возвели это всё мастера из Китая.

Плыл подо мною пейзаж, европейский вполне, –
шпили соборов, и замки, и башен бойницы.
Что же китайские пагоды видятся мне?
Что же мне садик с перилами яркими снится?

Видел я это и вроде бы даже летал,
яркие краски вбирая привольно и шало,
лишь оттого, что Ван Вэй недавно читал
и что любимая рядом спокойно дышала,

лишь оттого, что потоки стучали в стекло,
я просыпался, их громкую музыку слыша,
и создавались созвучия будням назло,
миру назло, у которого съехала крыша...

7.

Единственная жизнь – другой не будет,
за что готов ручаться головой,
но не готов – и пусть меня осудят –
её сложить на третьей мировой.
Когда идёт обычной жизни драма,
хватает в ней всего и без войны,
и потому воззрения ислама
мне вовсе не важны и не нужны.

С меня довольно равенства и братства,
прямым путём приведших в лагерь;
я этого словесного богатства
уже наелся, честно говоря.
Единственная жизнь, когда бы щедро
ты мне дала ещё с десятков лет,
хотел бы этот срок прожить нетщётно,
призвание исполняя, как завет.

Пусть буду жить я в невысоком круге
от денег и от славы вдалеке,
пусть будут неизбежные недуги,
лишь карандаш держался бы в руке.
А если ты решишь промчаться мимо
в какие-то отчаянные дни,
не для меня, а для моей любимой,
единственная жизнь, повремени!..

февраль 2005

* * *

Дом начинает рушиться не с крыши:
непрочность крыши – это курам на смех.
Сначала обрываются афиши,
в простенках поразвешенные наспех.

Потом внезапно выпадают стёкла
на первом этаже, в витрине лавки.
Зайдёшь в подвал – и видишь: всё намокло,
большие трубы требуют поправки.

И смутное соображение давит,
что это не жильцы недоглядели:
ещё надёжным кажется фундамент,
но всё не так окажется на деле.

Жильцы ещё в неведение томятся
и знающего держат за придурка,
но по рустовке трещины змеятся
и ночью опадает штукатурка.

А пятна тлена тянутся всё выше
и у жильцов не просят разрешенья...
Дом начинает рушиться не с крыши –
она лишь довершает разрушение.

июль 2005

* * *

Бывает, день начнётся невпопад,
и к вечеру ты сам уже не рад
тому, что распланировал заранее:
и ногу стёр, и поезд упустил,
и дело сделать не хватило сил, –
того гляди, вода исчезнет в кране.

Есть в этом тайна следствий и причин;
она имеет множество личин,
но раз от разу выглядит иначе.
И если уж начало не с руки,
она, твоим усильям вопреки,
плюсует неудачу к неудаче.

Тогда опомнись, и не нужно драм.
Остановись. Взгляни по сторонам.
Жизнь хороша и в этом эпизоде,
поскольку от низин и до высот
любая веха – только эпизод
в том, что подвластно Богу и природе.

С момента появления на свет
мы проживаем семь десятков лет
плюс-минус двадцать – как кому случится.
А потому до времени упрячь
свой перечень удач и неудач,
покуда *вестник* в дом не постучится.

ДЕРЕВУШКА В ГОРАХ

Жизнь у всех на виду: от жилища наследного фельдшера, принимавшего роды, лечившего всех от простуды, и до кирхи, в которой все жители были обвенчаны, расстояние всего быстрым шагом не больше минуты.

И от кирхи до кладбища тоже минута, не более. Все знакомы друг с другом, к стабильной морали и пользе. Кто из жизни ушёл – не своей, разумеется, волею, – те, скорее всего, продолжают общаться и после.

Так живёт деревушка, почти не меняясь в столетиях, о которых не спеть, что как пули они пролетают. Что отцы не успеют, спокойно доделают дети их, а не дети, так внуки – работы в деревне хватает.

В том, что в доме сегодня, и в том, что отложено на зиму, всё в порядке у них с пропитанием, одеждой, дровами... И поэтому каждый себя почитает обязанным и не так уж всегда озабочен своими правами.

август 2005

* * *

В.

Как живётся в бревенчатом домике там, на вершине – на вершине довольно высокой, хотя и не снежной? Там тропинки покаты, а небо просторно и сине, и трава, если снизу рассматривать, кажется нежной.

Там, наверное, тихо. Ничто тишину не нарушит, даже если порою бывает и ливень, и ветер, ибо местность сама формирует спокойную душу, для которой естественно жить одиноко на свете.

Можно жить на вершине, низинные страсти итожа, что сегодня прошло, то завтра под вечер не помнить, и стихи сочинять, и, наверное, музыку тоже, и записывать их, не тревожась о том, что не понят.

Ну, а как там живётся, не знаю простого ответа. Снизу видится чистое небо и яркое солнце, но не жил никогда я в бревенчатом домике этом – до сих пор не случилось и вряд ли когда-то придётся.

август 2005

Цихокас Мерас

ПОД ЛИПАМИ

Unter den Linden

У этого дерева точно такие же листья, как у липы. Может, и цветы такие же, только их давно уже нет, отцвели они, превратились в зернышки с продолговатыми крылышками.

Но это не липа.

Липа и после цветения липовым цветом пахнет.

Это дерево – нет.

Мимо прошел босой безумец, или пьяница, или бездомный, а может, и то и другое, всё вместе.

Шел он, как всегда, кривой, руки уронив вдоль тела, как солдат, голову свесив набок.

Влево перекошенный, ногу волоча.

Странно серым был он весь – и телом, и одеждой, и цветом лица. Лысая голова, и подбородок, и щеки, и обнаженные руки, поросшие седыми волосками, а глаза блеклые, словно тоже поседевшие.

Он отшатнулся от того человека, испугавшись, словно это был он сам.

Скрюченный, как тот.

Волоча ногу, как он.

Он продвигался по той аллее медленно, медленно.

Много лет шел и шел, не останавливаясь, по той аллее.

Перебежала дорогу из кустов в кусты и обратно очень красивая рыжая кошка. Рыжая, рыжая, полосатая, – как те дни – полоска светлее, полоска темнее, полоска светлая, полоска темная, одна почти белая, другая черная, черная, черная, как беда.

Перебежала эта красивая-красивая, рыжая-рыжая кошка...

А в корчме той несуразной, ой!

Родился младенец красный, ой-ой-ой-ой!

*Бумчик, бумчик, бумчик дра-ля, бумчик дра-ля, бумчик дра-ля,
Бумчик, бумчик, бумчик дра-ля, бумчик дра-ля, бум! ...*

На другой день эта кошка лежала за железной оградой на боку, и пятеро котят тыкались мордочками в ее живот, чмокая сладкое теплое молочко.

Только один был рыжий, в мать, остальные – черные с белыми пятнами и рыжим крапом.

Какой-то чужой кот, другой породы, видно, постарался.

Тут в конце аллеи на ослепительно светлом фоне неба показалась женщина.

Он смотрел на нее, как она приближалась, не отводя глаз, никак не в силах оторвать взгляд, сам не зная, не понимая, почему, а ее черный силуэт понемногу становился четче, яснее, пока не обрисовался, подплывая, как черная птица какая-то, с короткими черными волосами, прямыми и зачесанными наверх, коротким носиком, удивленными глазами и строгими бровями вразлет, как крылья ласточки.

Он видел ее впервые, но так, будто видел всегда.

Всегда и видел, только не мог понять, почему у нее такие короткие волосы, если должны быть длинными, лежать на плечах и колыхаться из стороны в сторону, когда идет, шаг – вправо, шаг – влево, шаг – снова вправо.

Она появилась и исчезла.

Совсем неожиданно на зеленевших по другую сторону кустов, на которых никогда ни единого цветочка никто не видел, вдруг появились ярко-желтые цветы – с шестью лепестками, с семью, как будто некие игривые глазки, личики лютика в один миг усеяли кусты.

И еще –

Уже раньше он заметил, но не поверил, а теперь знал, что так и есть – из высоких кустов, из самых высоких поднялся стебелек, такой знакомый, такой настоящий, такой величавый, с ярко-зелеными с рыжиной листьями – стебель розы.

Везде такой же.

Везде.

И здесь.

И он очень обрадовался и стал ждать, когда бутон появится.

На окрашенной в черный цвет деревянной скамье после ночного дождя сияла на солнце, светилась желтая пыльца и скручивались засохшие сережки.

Как ольховые.

Но нет.

Он поднял глаза, отыскивая, и увидел за кустами, за оградой высокое дерево с длинными иголками – как у сосны, но не сосну – увешанное тонкими сережками, рассыпающими желтую пыльцу и потом падающими вниз – на скамейку, на дорожку, на кусты – с дерева, которое не было сосной, – как с ольхи, а может, с ивы, или ракиты, или с чего?

На скамейке под желтым деревом сидела на задних лапках собачка с лохматой серой шерсткой, с тремя завитками на головке – один надо лбом и два над ушками, вся серая, серая, серая с остренькой мордочкой, она все поглядывала на старую женщину в серой одежде, сидевшую рядом, смежив глаза, на-

верное, спящую, с седой головой, такой же серой, как собачка, потому что та была такого же цвета, как женщина.

В тот день посреди аллеи, поперек, лежал мертвый кот.

Подойдя поближе, он увидел оскал и белые неживые глаза застывшего зверька.

Был уже какой-то другой день.

Очень солнечный.

В одном месте, в одном единственном месте между двумя деревьями на четырехугольной песчаной площадке, в углу ее, торчали, топорщили вверх и во все стороны ведьмин волос изысканные зеленые купы цветов.

И цветочки на них были тоненькие, узенькие, ярко-красные.

Месяц тому, а может, и два, они исчезли, как не бывало, а теперь снова, будто весной, вдруг появились, зазеленели, расцвели красным.

Такие были тоненькие чашечки у этих цветочков, что казалось, никакой жучок, ни пчелка не смогут их сока испить или пыльцы отведать.

Мелкими гроздьями, гроздьями пылали цветочки.

Казалось, только-только отошел ноябрь, а вот уже и канун Рождества.

Нелипы никак не могли сбросить листья.

Листья оставались зелеными, только края их сморщились и порыжели, и казалось, что дерево болеет, а не листья сбрасывает.

И семена дерева, как светло-коричневые высохшие крылышки кузнечика, тоненькие, почти прозрачные стручочки с одной горошиной в самой середине, а иногда, только, видно, нечасто – с двумя семечками-горошинками, висели гроздьями на каждой веточке нелипы.

И казалось дерево измученным, усталым, совсем не таким, как должно быть осенью – ранней или поздней, – когда светится, расцветает цветами, и листья еще держатся, или летают в воздухе, или уже опали на землю, и дерево словно бы тянется вверх, все свои жилки и плоть напрягая в ожидании зимы, снега, чтобы потом вновь раскрыться почками, листьями, цветами, а потом снова покрыться семенами и предстать во всей красе.

В стороне, совсем в стороне стояли несколько низкорослых деревцев с круглыми-круглыми кронами и темно-зелеными блестящими, словно воском натертыми скользкими листочками.

Никто и вовсе их не заметил бы, но дважды в году они расцветали белыми цветами о пяти лепестках, широко раскрытыми, словно маленькие белые бабочки густо уселись на этот зеленый круглый клубок, и острые иголки не давали притронуться к ним, но если сорвать цветок и приложить к щеке, все лицо заливал пьянящий аромат черемухи, белый, резкий черемуховый запах, хотя кусты эти совсем не были черемухой.

Не черемуха вовсе, а разливала запах черемухи, неизвестно, почему она пахла черемухой, эта нечеремуха, да еще и не весной.

Тут в конце аллеи на светлом фоне неба показалась женщина.

Он смотрел на нее, как она приближалась, не отрывая глаз, никак не в силах отвести от нее взгляд, сам не зная, не понимая, почему, а ее черный и потом серо-белесый силуэт понемногу светлел, становился яснее, пока не выплыла, словно белая птица какая, с короткими прямыми, зачесанными вверх волосами, коротким носиком, удивленными глазами и строгими бровями вразлет, как крылья ласточки.

Он видел ее такую впервые, но словно видел всегда.

Всегда и видел, только не мог понять, почему волосы у нее не как лен, почему такие короткие, если должны быть длинные, лежать по плечам до пояса и колыхаться из стороны в сторону, когда она так идет, шаг – вправо, шаг – влево, шаг – снова вправо.

Не мог понять, почему волосы у нее если уж не как лен, то почему не как спелый каштан, почему такие прямые, если должны волнами виться.

Она склонила голову и прошла, словно не узнав его, словно никогда его не видела.

Появилась и исчезла.

В тот день бутон розы появился, уже был хорошо замечен, хотя цвет его еще было не различить, зеленое пока еще, только зеленое, закрытый зеленый шарик.

Светло-зеленые листочки липы-нелипы все же порыжели, а теперь отливали серым, словно серебром посыпаны, словно легкий иней их коснулся.

Хоть зеленело все вокруг и самые разные цветы цвели, даже и те маленькие цветочки, те, красные, покрупнее стали, даже те красные колокольчики, и издалика они играли на солнце, как ягоды красной смородины.

Казалось тогда – ну, протяни руку, сорви гроздь спелых ягод, запрокинь голову, открой рот, закинь всю гроздь, прижми легонько стебелек зубами, потяни его осторожно двумя пальцами – и все алые ягоды во рту истекут сладким с кислинкой соком.

Дорогу перебежала белая кошка, такая белая, как бывают белые мышки, с розоватыми ушками, розовой мордочкой, розоватыми подушечками лапок.

Такой белой кошки он здесь еще не видел.

Белую собаку – видел, даже сегодня, милая такая, подбежала ласкаться, чуть не опрокинула его, бросившись на грудь целоваться, милая собачка.

Но белой кошки – не видел.

Красивая кошка, изящная кошка, гордая кошка, белая-белая-белая.

На скамейке под рыжим деревом сидел на задних лапках щенок с серой лохматой шерсткой, с тремя завитками на головке – один надо лбом, другие два – над ушками, весь серый, серый, серый щенок с остренькой мордочкой, и все озирался на сидевшую рядом старую женщину в серой одежде, со смеженными глазами, спящую, наверное, женщину с седой головой, такой же серой, как щенок.

Мимо прошел босой безумец, или пьяница, или бездомный, а может, и то, и другое, и третье.

Шел он, как всегда, руки уронив вдоль тела и голову свесив набок, волоча ногу.

Странно серым был он весь – и телом, и одеждой, и цветом лица. Лысая голова и подбородок, и щеки, и голые руки седыми волосками поросшие, а глаза блеклые.

Куда-то подевались черные кошки.

Плохо, если черная кошка дорогу перебежит.

Вся аллея полна была черных кошек, и ему становилось не по себе, но куда не убежать и не обойти как-нибудь, и он всякий раз вздрагивал, проходя там, пока однажды ранним утром не присел отдохнуть на длинной деревянной скамейке и начал растирать болевшую правую ногу, и тут из кустов вышла черная кошка и, подняв хвост и помахивая им, как цветком, начала тереться вокруг этой его ноги, крепко к ней прижимаясь и тыча мордочкой и облизывая ее, и удивился он, почувствовав странное тепло, и показалось ему, что боль отступила, и он потом все присаживался на той самой скамейке, когда выходил ранним утром, и кошка, эта черная кошка вылезала из кустов и терлась о его болевшую ногу, и после этого никакие черные кошки его уже не пугали, и ему отрадно было видеть, проходя мимо, как на маленькой скамейке сидели четыре черных-пречерных котенка, и черный щенок с разбегу с лаем бросался на них, а они, как ни в чем не бывало, только скалили зубки, поднимали вверх передние лапки, и щенок в испуге отскакивал назад и снова с разбегу бросался на них, а котята, как ни в чем не бывало, не двигались с места, только снова фыркали и шипели да показывали коготки на передних лапках.

В конце аллеи одинокая акация на глазах расцвела белым цветом, издалека – как цветущая яблоня, вблизи – как опрокинутый каштан с повисшими свечками.

А совсем рядом два дерева нежились, широко рассыпав крупные с розовым отливом цветы – вроде миндаль, а может, и в самом деле миндаль, – раскрывшиеся на каждой ветке, на каждой веточке, и на самых верхних, на вершине, чтобы поближе к небу.

А там – далеко-далеко – фиалки сияют голубым на белом снегу.

Март отошел, наступил апрель.

Через какое-то время, через Бог весть сколько времени, неизвестно, через сколько, он увидел ее на аллее, она шла навстречу ему.

Он смотрел на нее, как она приближалась, не отводя глаз, совсем не в силах оторвать от нее взгляд, сам не зная, не понимая, почему, а ее черный, потом серый силуэт светлел понемногу, становился яснее, пока не выплыла, как серая птица какая-то с короткими пепельными волосами, прямыми, зачесанными вверх, коротким носиком и строгими бровями вразлет, как крылья ласточки.

Он никак не мог поверить сам себе, а потому ускорил шаг, а подойдя совсем вплотную, увидел ее, ту самую, те самые живые, пронзительные глаза и не улыбочивые улыбающиеся губы.

И он робко спросил:

– Это вы здесь гуляли раньше, может, несколько месяцев тому, а может, и много лет, а потом пропали – и по сию пору?

– Я, – ответила она, кивнув головой, удивленная, почему этот человек ее о чем-то спрашивает.

– В самом деле? – спросил он, все еще не в силах поверить.

– О да, да! – ответила она и вдруг просияла той улыбкой, которой сияла только она, – маленькая, тоненькая, с прямыми пепельными волосами и светло-серыми, без зрачков, лукаво-манящими грешными глазами.

Он хотел дотронуться до нее, но не дотронулся, чтобы она не исчезла, не пропала, как было всякий раз – не растаяла бы в тумане, густом, плотном, или светлом, ясном, прозрачном, припорошенном солнечными искрами.

Хотел схватить за руки, за плечи, обхватить, обнять, прижаться всем телом, целовать, исцеловать ее всю, коснуться рукой, пальцами родинки на белом животе возле пупка.

Наконец цветок розы начал распускаться. Цвет уже определился, это был фиолетовый, и он сорвал этот единственный цветок и протянул ей, и она, тоже протянув руку, взяла цветок, как тогда, много лет назад, как всегда, постоянно, как всю жизнь.

Но на этот раз взяла и пропала, не стало ее, а роза осталась лежать на серых плитках аллеи, словно и не коснулась ее совсем, словно только показалось ему, что она взяла цветок.

Может, ей хотелось тюльпан.

Он дарил ей тюльпаны на день рождения, ранней, ранней весной, почти зимой.

Тогда здесь тоже цвели тюльпаны.

Настоящие тюльпаны, как и везде.

Но не время было, не время тюльпанов.

И не время роз, пожалуй.

Нет, не время роз.

Май добрался до середины, потом перевалил на вторую половину, и голубые деревья одно за другим начали сбрасывать цветы, отцвели, оголились, остались обнаженными, как будто они засохли, жалкие какие-то.

Когда расцвели они, одно за другим, и каждое по-иному, вдруг, за одну ночь – как какие-то отроги, как холмы, как горы, что стояли до того оголенными, вдруг словно лазурными фиалками и невиданными голубоватыми ландышами покрылись.

Гроздьями, гроздьями, крупными, тяжелыми, обвисающими пышными букетами.

А как отцвели, как сбросили все цветы, как не осталось на деревьях ни единой чашечки, ни единого колокольчика, как совсем оголились, когда встали торчком во все стороны голые ветки, тогда, только тогда стали проклеиваться листочки – понемногу, один за другим, листок за листком, все больше, все гуще дерево начало укрываться зеленью.

На скамейке под зелеными деревьями сидел щенок с серой лохматой шерсткой, с тремя мохнатыми завитками на головке – один надо лбом, другие над ушками, весь серый, серый, серый щенок с острой мордочкой, и он все поглядывал на сидевшую рядом пожилую женщину в серой одежде, со смеженными глазами, спящую, наверное.

Мимо прошел босой безумец, пьяница, бездомный.

Шел, как всегда, уронив руки вдоль тела.

Скособочившись, волоча ногу.

Плешивая голова и подбородок, и щеки, и голые руки седыми волосками поросли, а глаза поблекшие, словно тоже поседели.

Тут сразу вновь пожелтела вся аллея, от неба до земли.

К середине июня все деревья уже отцвели, только на акациях еще держались тут и там желтые цветочки.

Казалось, лишь зеленые листья раскинулись в поднебесье, и ветви только растили семя, давали ему вызреть в начале лета, то ли в середине его, тянущейся здесь без конца и края.

Но нет.

Совсем нет.

На высоком дереве за живой изгородью выросли за лето плоские округлые, почти с ладонь величиной зеленые, немного

скомканные лепешки, повисли они рядом с прошлогодними, коричневыми и высохшими, а рядом вдруг, ни с того ни с сего расцвела фиолетовая гроздь, как у сирени, одна, следом другая, подальше – еще одна, штук пять или шесть, а может, и того больше, странно, неожиданно, совсем не вовремя, словно весну почуяли, а никакой весны близко не было и быть не могло, потому что только еще сентябрь перевалил за середину, и осень только начиналась, а потом лишь должна была, как водится, прийти зима – какая уж выдастся, снежная или нет, но зима, а уже после зимы, и только после зимы ведь приходит весна, и только весной должно вновь зацвести это дерево.

А было по-другому.

Он хотел сорвать одну такую гроздь, как букет, и ей подать, ничего не говоря, подарить этот цветок – гроздь, но слишком высоко цвели эти цветы, не достать. А жаль.

И то хилое деревце, что самое первое фиолетовыми цветами покрылось, снова на трех ветвях выбросило тяжелые фиолетовые гроздья, словно сирень зацвела.

А на маленьком деревце в самом начале аллеи, взобравшись высоко, свернувшись клубочком, спала рыженькая кошка.

Стояли два дерева, два совсем одинаковых дерева о трех ветвях, могли быть близнецами, но не были, потому что одно было постарше, со стволом втрое толще и выше вдвое – в два раза выше вытянулось, но так одинаково они склонились на стороны, совсем так же раскинули ветви, и оба были покрыты, увешаны зелеными плодами, зелеными бусинками, как неспелыми вишнями – стебелек, а на том стебельке – шарик, стебельки, стебельки, стебельки и шарики, шарики, зеленые, неспелые вишни.

Два дерева, увешанных зелеными вишнями, уже и пора им начать вызревать, желтеть, розоветь, красным бочком на солнце смотреть, но нет.

Потому что не вишни были эти зеленые бусинки, да и деревца – невишни.

Листочки у них – как у ивы, частыми жилками изрезаны.

Но тех зеленых вишен так много было.

И такие милые они были, эти зеленые вишни.

На другой день все эти вишни уже пожелтели.

Еще через день они уже стали рыжими.

А днем позже эти маленькие шарики были почти черными, цвета горелой хлебной корки.

Наверное, вдруг пришла осень.

Когда заканчивается, замыкается круг.

Когда замыкается круг.

Пахли, сильно пахли акации.

Должно быть, акации.

А может, не акации.

Был апрель.

Деревья те, весь год сохранявшие на ветвях и веточках, порой с листьями, порой без, гроздьях сухих рыжих пузырьков, покрылись вдруг, еще не открыв листья, мелкими скромными пепельно-оранжевыми цветочками с крошечными лепестками и черными, плотными торчащими стрелками внутри цветков, с раскрытыми ротиками в золотистой пыльце.

А рядом совсем начали цвести и нелипы. Цвели они очень маленькими, малюсенькими, почти незаметными белесо-желтоватыми цветиками. О пяти лепестках и с желтым сердечком.

А там, далеко, фиалки скоро зацветут.

А там, далеко, фиалки на зеленовато-белом покрывале сияют.

Был апрель, новая весна благоухала терпким ароматом акации или неакации.

А за окном –

За окном росло высокое дерево.

И загорелось, залучилось оно светло-красными цветами.

Кто знает, сколько времени стояло оно, задумавшись, почти не шевеля ни сучочком, ни веточкой, сухим-сухое, серым-серое, без листочка, без бутончика, пока не раскрылось – за одну ночь, с вечера до утра – укрылось гроздьями красных цветов на раскинувшихся ветках, словно бы иссохших, как и его корни, что тянулись понизу, голые, как бы стремясь выбраться наверх на землю, но не сухие, нет, не сухие, если такими цветами вся крона расцвела.

Издалека смотреть – это дерево гроздьями рябины увешано, усыпано, как бывает осенью, когда рябина уже сбросила листья, сухая вся, только ягоды краснеют.

На другой день к тому дереву слетелись три желто-зеленых попугайчика, два побольше, один маленький – может, отец, мать и дитя – и начали клевать цветки, сосать нектар и сбрасывать лепестки на землю.

Вскоре вся земля вокруг дерева расцвела красным ковром, а само дерево снова стояло оголенным, без листьев и без цветов, словно вновь ушло в зимнюю спячку.

Ободранное, разодранное.

Тот самый босой безумец, пьяница, бездомный, проходя мимо, вдруг остановился и вскрикнул, вскинув кверху руки, страшным, захватывающим сердце криком, словно последним своим криком, нечеловеческим голосом.

Утихло все вокруг, странная тишина пала на землю.

Только рыжие сухие листья, подхваченные ветром, мело по сухому тротуару, и они шуршали, как живые, а может, неживые шаги.

Посреди аллеи раскинулся газон, трава не весть какая зеленая, хоть и дождало крепко и долго, – всего лишь травка, но когда ее кто-то скошил и разбросал, и подсохла она, то сеном запахло – настоящим сеном, настоящий запах сена забирался в нос, в рот, в глаза, даже в ушах щекотал этот запах сена, настоящий, совсем настоящий, самый настоящий.

Было красивое утро.

Очень красивое было утро.

Спокойное.

Тихое.

Ни малейшего ветерка, ни лист, ни цветок, ни кустик, ни травинка не шелохнутся.

Усталым он чувствовал себя, страшно усталым, такая громадная усталость – спокойная какая-то усталость – охватила его, что хотелось, очень хотелось домой.

Вернуться.

И прилечь отдохнуть, хотя еще не время дневного отдыха, еще только раннее утро.

Растянуться всем телом.

Закрыть глаза.

Прижаться к земле, слиться с землей.

И исчезнуть, и пропасть.

– Милая, – крикнул он, – милая моя, где ты? Где ты теперь?

Ее не было нигде, но он протянул к ней руки.

– Иди сюда... Приди... Вернись...

Но она – нет.

Она даже не показалась.

Тогда он вернулся.

Так он и вернулся.

Так он и прилег отдохнуть, совсем не ко времени, и глаза закрыл, и землю всем телом ощутил.

Тогда вернулся.

Вернулся назад. Домой вернулся.

А вернувшись, почувствовал аромат цветущей липы.

Вернулся он домой, почему-то сделав крюк через Берлин, коротенько осмотревшись на чужой аллее, носившей имя Unter den Linden, где тоже летом должно пахнуть липой.

Хотя пахло там и кровью, и липами, и юностью.

Возвратившись, только возвратившись, он снова почувствовал настоящий запах липы.

Так и уснул.

А засыпая, почувствовал, как это хорошо, когда ничего не болит, потому что пропала, исчезла вся боль, так долго мучившая.

Не стучала больше голова мыслями, мыслями.
Не болели руки в тоске по ласке.
Не ныли ноги, так давно не ступавшие на луговые росы.
Не резало глаза воспоминаниями, воспоминаниями.
Белые лапы не сжимали сердце.
Устам вернулось дыхание, а может, утратилось.
Так и уснул.

Так и уснул.
А может, не уснул совсем.
А может, совсем уснул.

Если бы она появилась на аллее перед ним, может, он бы не пошел отдыхать и не уснул бы.

А в конце аллеи в самом деле чей-то силуэт появился и запел.

А в корчме той несуразной, ой!
Ах, младенец этот красный,
Где ж младенец этот красный , ой-ой-ой-ой...

В тот день кто-то видел, как в небе от птичьей стаи оторвалась одна единственная птица и бросилась вниз, как тяжелый черный ком, как черный камень.

И в конце аллеи на серых плитках широкое темное пятно расплзлось, похожее на большой силуэт птицы.

Снова, пожалуй, всюду была весна, и снова, верно, запахло липовым цветом, настоящим или ненастоящим, пожалуй, настоящим.

Листья липы – как сердечки.

Фиалки синевой сияют на белом снегу.
Фиалки на зелено-белом покрывале синеют.
Фиалки все еще цветут, все равно цветут.

А рядом – красное дерево.
То единственное красное дерево, какое красное это дерево – какая нарядная шапка-крона.

Каждый цветок – сам по себе, пять тонких длинных лепестков, поверх их пять широких бархатистых раскрылись, красных, как кровь, а на одном из них – только на одном из них – белое бесформенное пятнышко, белое, белое, белое.

Перевела с литовского София Шегель

Марк Вейцман

СВИДЕТЕЛЬ

ШМА, ИСРАЭЛЬ!

С соседями – контактов никаких.
С Австралией – пожалуйста! С Европой.
С покинутой супругом Пенелопой
и с ним самим, адептом волн морских.

К зулусам – да! Но к этим – ни ногой.
Ни спички одолжить, ни соли пачку.
Дитя же приласкать или собачку –
слетать за этим проще в Уренгой.

Сообразить, ну, скажем, на троих –
идея, обреченная заране,
как будто пред тобою марсиане
в обличье соплеменников твоих.

Меж дюн шафранных рыщет скарабей,
вопит осел, пустыня зноем пышет.
– Шма, Исразль! – А Исразль не слышит.
Не видит и не слышит, хоть убей!

АВАНГАРДИСТ

Ветерок волосами седыми играл
(мать лежала в открытом гробу).
Капельмейстер усатый натужно внедрял
в предзакатное небо трубу.

И видения эти плюс запахи роз,
валерьяны и влажной земли
две недели его доводили до слез,
но, естественно, в текст не вошли.

«Дождевая вода залила суходол, –
он писал, – и, сама не своя,
приникала сирень, задирая подол,
к мускулистому телу ручья.

И жужжала пчела, словно бензопила,
Айболит облачался в талит,
и от в пыль истолчённого в ступе стекла
обострялся колит у Лилит».

...Постепенно жена отбивалась от рук,
у нее появились д е л а.
А когда все как будто наладилось, вдруг
незамужняя дочь родила.

Тут он слег. И лекарственным духом пропах
затемнённый его кабинет.

— Эти беды нашли отраженье в стихах?

— Ах, ну что вы! Конечно же, нет!

«Три девицы — из тех, что прядут под окном, —
он писал, — не дождавшись царя,
заманили в притон, опоивши вином,
марсианских лугов косаря.

А под утро, когда О б р а щ а ю щ и й в п р а х
для молитв отверзал небеса,
прялки были на месте, в отличие от прях.
А поодаль валялась коса».

ГОЛОС

Выцвела небесная финифть,
бешеные грозы отгремели.
Голос твой, однако, изменить
время и пространство не посмели.

Как о долгой жизни рассказать
в кратком телефонном разговоре,
чтоб, не впад в риторику, связать
прошлое с грядущим априори?

Ни о сокровенном не спрошу,
ни поволноваться не заставлю.
Даже и письма не напишу,
ну а напишу, так не отправлю.

Только бы сберечь, пока живой,
в списке обольщений неопасных
низкий этот голос горловой
с лёгким придыханием на гласных.

* * *

Духовной жаждою томим,
не утолённой книжным шкафом,
я рвался в ОСОВИАХИМ,
ещё не ставший ДОСААФом,

но был отвергнут. Не беда!
Тем более что не всегда
впопад гранаты там взрывались,
а парашюты раскрывались...

А через много лет и зим,
тотальным раненный паскудством,
я прибыл в Иерусалим,
ещё не прозванный Эль-Кудсом.

Парашютизм не по летам,
от строп строптивых не завишу.
А что до взрывов – здесь и там –
особой разницы не вижу.

Но не смиряется душа
и от бездействия томится.
Не то, что жизнь нехороша,
но больше некуда стремиться.

* * *

За партою, скрипучей, как телега,
расписанной похабщиной и порно,
досель моя Прекрасная Елена
за Лермонтовым следует упорно.

Без малого полвека миновало,
от горестей никто не откупился.
Но ветка Палестины не увяла,
и парус белизной не поступился.

Куда сложнее со «странною любовью
к отчизне», безо всяких оснований
сдающейся на милость малокровью,
страдающей от пошлых приставаний.

Куда проблематичнее с вопросом
о Демоне, взлетевшем из провала,
о темени крошечной над утесом,
где тучка золотая ночевала.

ДУРДОМ

1.

Скорбной обители узник,
не прогоняйте сестрицу –
ту, что меняет подгузник
или приносит водицу.

Стоит ли целить подушкой
в скромную эту особу,
кроме неё, потому что
не на ком выместить злобу?

Проще считать, что обоим
не повезло вам с раскладом
(люди с тяжёлой судьбою
часто находятся рядом),

или, – что ангел матёрый
в роли бесхитростной бабы
прибыл, чтоб стать вам опорой,
символом веры хотя бы.

2.

Я передёргивал затвор,
не выходя из строя.
А ныне с некоторых пор
не понимаю, кто я.

Я зимовал на Колыме,
от холода балдея.
Теперь же, повредясь в уме,
не представляю, где я.

От мира вашего, что был
таким несовершенным,
меня Всевышний оградил
неведеньем блаженным

да страшным словом «никогда»,
да каменной стеною,
чтоб никому прийти сюда
не вздумалось за мною.

* * *

Маленькая девочка, скажи, где ты была?

Из английского фольклора

– Старенькая тётенька,
скажи, где ты была?

– Летала в самолётике
в тот город, где росла.

– Там лепят бабу снежную
и пьют с вареньем чай?

– Там даже молвить некому
ни «здравствуй», ни «прощай».

* * *

*Вскоре сделался он игроком настоящим. А это
многократно усиленный образ поэта...*

А. П. Межиров

Александр Петрович Межиров
не датировал стихи,
тасовал-перетасовывал
имена и времена.
Сколько в жизни понамешано,
понимают игроки,
то есть те, чья суть кромешная –
их беда, а не вина.

Александр Петрович Межиров
(с этой темы не свернём)
постигал игры изменчивость
на коне и под конём,
получал пинки и премии,
не сгибался под огнём.
Говорить в прошедшем времени
мне мучительно о нём.

Коль к судьбе твоей по-доброму
отнеслись и книжный том
стал души твоей подобием,
так спасибо и на том.
А любовь и боль треклятую,
не сравнимую ни с чем,
календарной метить датою
не с руки.

Да и зачем?

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА МЕХАНИКИ

*Основная задача механики заключается
в определении местоположения тела
в пространстве в любой момент времени.*

Учебник физики

Я себе говорил: «Успокойся, без паники!
Мы решим основную задачу механики.
Нам нельзя поддаваться сомнению тлетворному,
стоит лишь поднапрячься – и выдадим формулу,

и узнаем, где наша любовь обретается,
чтоб должок получить, что с неё причитается,
или справку о сдвиге в страну полуночную,
где ей выпало матерью стать одиночкою».

Я себя убеждал: «Не теряй хладнокровия!
Ведь начальные всё же известны условия:
устремленья, сомненья и мелкие горести,
ускоренья значенья и модуля скорости»...

И – о, счастье! – с проблемами славив проклятыми,
я владею заветными координатами!
Но, примчавшись немедленно в точку искомую,
вижу старую клячу, едва ли знакомую.

Нам не странствовать с нею ни морем, ни посуху,
не жевать на веранде медовые пряники.
Верно, вновь я прибегнул к нелучшему способу,
чтоб решить основную задачу механики.

* * *

«Он приехал один –
ни детей, ни жены.
Здесь его ордена
никому не нужны
и заслуги не в счёт:
отторгает среда
даже скромный значок
ветерана труда.
Он сочтён непригодным
к трудам и боям,

отнесён
к населения слабым слоям,
то есть, если конкретнее, –
гол как сокол,
что особо прошу
занести в протокол.
Значит, в том,
что украл он бутылку вина,
есть не только его,
но и наша вина».

Пол при этих словах
заходил ходуном,
и архангел
 воздвигся
 в проёме
 дверном.

Как он в зданье проник,
остаётся гадать,
Но – проник,
 но – возник,
 Но вскричал:
 «Оправдать!»

И прибавил,
к судье повернувшись спиной:
«Обвиняемый, прочь!
А свидетель – за мной!»

* * *

Рано понял автор этих строк,
даже и не будучи солдатом:
лёгкое нажатие на курок
несоизмеримо с результатом.

Позже убедился на своём
опыте обычного мужчины:
при прогулках в рощицу вдвоём
следствие – масштабнее причины.

К старости, вздыхая, подключил
к перечню сиих несоответствий
автономизацию причин
в силу изоляции от следствий.

* * *

Море в свете луны –
словно рыцарь, уснувший в доспехах,
снятся коему сны
об амурных и ратных успехах.

Но, явившись из недр
на просторы пустынного пляжа,
крысы сводят на нет
романтический пафос пейзажа.

Блеск заоблачных сфер
в сочетании с шуршаньем и писком –
колоритный пример
двуединства высокого с низким.

Грызуны голодны –
вот и шастают в поисках корма.
Но зачем пацаны
в них камения швыряют упорно,
Аполлону служить
не дававшие явно присягу?

Кто им в души вложил
к совершенству зловещую тягу?

* * *

Перечёл я писем пачку,
сохранённую женой.
Их писал весёлый парень –
тот, кто был когда-то мной.

Тон хвастливо-молодецкий,
простодушный эгоизм,
образ мыслей полудетский
и советский оптимизм.

Мудрость – дело наживное,
но не хочется, заметить,
с тем, кто был когда-то мною,
что-то общее иметь.

Пусть, что было, в бездну канет.
Пробил час заняться тем,
чтоб тому, кто мною станет,
не создать больших проблем.

Аркадий Кампанов
АНТЕЛ ЭММАНУЭЛЬ

Чтобы увидеть ангела, надо, наверно, все-таки, бросить хотя бы пить, как-то привести себя в порядок, может быть, курить, что ли, немного поменьше. Конечно, не сразу: при этом наваливается такая тоска, что жить не хочется. И вот если ты это переживешь, то однажды, как обычно, проснешься поутру, окаянный, продрогший, выйдешь из квартиры на лестницу, воняющую щами, справишься с дверью, потрусишь по улице, подгоняемый мартовским ветром, все будет, как обычно, и вдруг словно бы впервые увидишь серое небо с низкими облаками, серую грязь пополам со снегом под ногами, отсыревшие старые афиши на мокром сером заборе, и почувствуешь, что что-то случилось в мире. Ты словно бы получил награду, хоть не понял, что именно и за что получил. Проглянет солнечный луч, и тебя захолонет от счастья – Боже мой, Боже ты мой, как тихо, как светло, как чисто на душе, как будто ангел босыми ножками по ней протопал.

Но ангела ты еще не увидишь. Для этого ты слишком много читал, думал, сопоставлял и сомневался. И в самом деле, как бы ты его узнал, если бы он вдруг явился? Как он выглядел бы? С крылышками и детскими кудряшками? А почему не в виде лягушки или паука? Вот уже и начинаются вопросы, а любопытным, как известно, лишь черти являются.

Если очень повезет, ты увидишь ангела, но только во сне. Это удивительно, потому что во время сна исчезает именно та твоя часть, которая стремится увидеть ангела. Он явится, а ее не будет. Зачем же он явится?

Да кто явится?! Плод фантазии!!.. Господа, вот плод и явится, это ведь тоже реальность. Она обозначена словом, значит, существует в определенном качестве языкового продукта. Речь идет о субстанции не материальной, но и не мистической, речь идет о языке, вот так. Должен же язык как-то обозначить Нечто.

Есть такое животное – человек, дрожащая тварь. И есть Нечто. Вы можете подразумевать все, что вам угодно, – существо, наделенное волей, или некое «единое поле» физиков, в любом случае вы придете – да вы и не уходили никогда от этого, господа! – вы придете к тому же, к чему пришли кабалисты: между Невыразимым и человеком должен быть промежуточный мир. Так что если есть слово «невыразимое», должно быть слово ангел.

Кстати, если ангел – это связь невыразимого именно с человеком, то никак он не может явиться в образе паука или лягушки, он должен иметь что-то человеческое, вот ведь в чем дело.

И если окажется, что Б-г – это «единое поле», а ангел – это образ, выработанный культурой, то спрячьте, пожалуйста, мау-

зер, товарищ комиссар, товарищ Троцкий вас бы не одобрил. Ведь тот же товарищ, сын состоятельных родителей, презрел все материалистические побуждения и принес их в жертву идеальному миру – будущему счастью всего человечества. Промежуточному миру, вы меня поняли? Именно это мы и имели в виду, если хотите, но мы уже заговорили вашим языком, а это значит, мы лжем, и не увидать нам даже во сне ангела Эммануэля.

Откуда же взялся Эммануэль? Какая-то собачья чушь. Кипы рукописей, гранок, версток, полный портфель стихов, не ангелы снятся ночами, а связки нераспроданного журнальчика «Стрелец», бумажные груды по углам, и все стихи, стихи, жизнь давно превратилась в рифмованные пошлости, и где-то там, в этом бездарном словесном киселе, утонули строчки, не более бездарные, чем тысячи других:

...в роще густая тень, двух соловьев дуэль, где ж ты провел этот день, ангел Эммануэль? Пух от перин в саду, дверь сорвана с петель, я тебя не найду, ангел Эммануэль. Убегая от нас, ты не поранил ноги на осколках стекла возле стен синагоги? Мама лежит в бреду, в красных пятнах постель. Ты накликал беду, ангел Эммануэль...

* * *

Он сразу почувствовал в стихах что-то нерусское, и именно эта нерусскость сообщала им неподдельность, потому что нерусской была тема. Откуда нерусскость? Может быть, «дуэль», применимая к соловьям, – нерусский образ, книжный, это чувство книжного мальчика, который, может быть, и соловья-то не слышал, ночное птичье пение путал с дневным, но знал из русской поэзии, что в стихах должны стоять рядом роща и соловей, – и тем самым, как настоящий поэт, выразил самое свое нутро, выразил свою нерусскую тоску по русскости, незащитность, одиночество чужака, какую-то разбитую иллюзорную надежду на связанного Эммануэля, сумел передать свою ангельскую любовь старому русскому пьянице, которого уже ничем не прошибешь, и который минуту спустя уронил селедочную голову на эти стихи, навсегда исчезнувшие под жирным пятном.

Да что стихи, кому они нужны, дерьмовые рифмы, но чудо завязалось. Чудо передачи чувства от человека человеку. Завязь, связь, привязь. Это и значит – пролетел ангел. Связь человека с человеком идет только через Б-га, ангелы не только с Б-гом нас связывают, а и друг с другом, и потому ты уже был на привязи. Тебя повязали, тебя уполномочили носить в себе эти посредственные стихи, ты теперь их хранитель, в твоей бедной, раскалывающейся от боли голове они уже связаны с гениальными стихами, с Кантом и Платоном, ты избран для связи, ты с похмелья явился в синагогу, хотел спросить, что такое «Эммануэль» на языке Библии, но там было пусто, и ты шел по битому стеклу.

Нет, не еврейский погром. На церковных полах тоже крошились под ногами осколки цветных витражей, когда-то описанных тобой в XXIV томе «Русских древностей», посвященном зодчеству русского юга. Не осталось ни стихов, ни синагог, ни церквей, но вот, оказывается, не оборвалась еще та связь, ангелы-то бессмертны.

Это очень трезвая мысль. Если ангелы – связь человека с Б-гом, то, следовательно, они появились позже человека. Следовательно, жизнь ангела имеет начало. Но она не имеет конца. Будем, господа, геометрами. В геометрии это называется лучом. Можно расстрелять человека, но луч останется, не расходуйте зря патроны, товарищ член ревкома.

Детские стихи не могут быть плохими. Если они написаны в десять лет, они гениальны. И гениален мальчик, написавший о погроме, никогда его не видя, – в нашем городе не было погромов. Мальчик услышал о нем от чужого человека – и ощутил связь. Это была не кровная связь, о которой твердят столетия, но которая, тем не менее, так до сих пор и не доказана. Существует кровная связь или нет, но эта-то была другая, через слово, через Б-га, – это был ангел Эммануэль, опалил крылом детскую душу и полетел дальше.

* * *

Полет ангела был во времени, по направлению к нам. Место же осталось неизменным: знойное небо над степью, пыль на дороге, которая переходит в улицу с курами, гусями и козами, пустую и тихую, как во сне, с неожиданно оборвавшимся колокольным перезвоном в центре городка.

Улица притаилась, ожидая погрома, но ничего не происходило, и мало-помалу мальчишки, назлектризованные нетерпением и странным весельем, собрались босоногой ватагой и понеслись вверх по склону к центру города, где ржали лошади, горланили пьяные мужики и перед церковью над толпой колыхались хоругви. Кто-то их шуганул оттуда, они помчались к скобяной лавке Гисмана, где, вроде бы, уже началось, но и там ничего интересного не увидели, лавка была закрыта на замок, сосед Патрикеев, водовоз, погнал и оттуда, – ховайтесь по домам, жидовское отродье, не приведи господь, порубят окаянные, прости нас, Господи. Внезапно раздался выстрел. Где-то завопили бабы. Решили, что это на Каменной, помчались туда, хоть вопли стихли и больше нигде не стреляли. Бегать попусту уже надоело, веселье поутихло, побрели домой, слегка разочарованные, на Станичной, в квартале от пожарной каланчи, увидели небольшую группку пеших казаков в синих мундирах, при шашках, один, хромой, держал свою шашку наголо и с бравой деловитостью увлекал остальных вниз по склону. Это и был погром.

Они уже случались в городе, но это было давно, и большинство мальчишек слышали о погромах только по рассказам стар-

ших. Четырнадцатилетний Гришка, старший среди всех, который и собрал ватагу, а теперь первый заторопился домой, – Гришка Гохберг слышал от бабки, что во время погромов улица начинала кричать. Едва погромщики появлялись, крик перекидывался от двора к двору. Истошно вопили все – женщины, дети, старики и старухи, и этот крик, бивший по нервам, останавливал погромщиков – те теряли всякий азарт и торопились уйти, чтобы не слышать. Гришка изумлялся чудодейственной силе человеческого крика, и хотелось бы разок в ней убедиться.

К дому он вернулся не с улицы, а, сокращая путь, через дворы. Перемахнул через тын, напоролся босой ступней на ржавый гвоздь в отскочившей трухлявой доске – гвоздь был кривым, когда выдернул – хлынула кровь. Доковылял до крыльца, по пути вляпавшись в свежую коровью лепешку. Сел, пучками картофельной ботвы вытирая с ноги коровье дерьмо и кровь. Кто-то из сестер увидел его через оконце, завопил:

– Мамеле, кровь, мамеле, Гирша ранили!..

Поднялся крик, сестры выскочили на крыльцо, и в это время, сорвав калитку с проржавевшей петли, во двор вошли погромщики. Их было человек десять. Тот, хромой, с оголенной шашкой, – впереди. Секунду длилось оцепенение – четверо девушек в кофточках и широких юбках замерли на крыльце, пьяные казаки глядели на них, сбившись в проеме калитки, а хромой с шашкой остолбенел при виде девушек. Гришка не успел осознать – некая сила подняла его и поставила в двух шагах от казака. Гришка видел только вспыхнувшие безумной надеждой глаза и кокарду на фуражке. Звуков он не слышал. Может быть, их и не было. Казак пытался отстранить его свободной рукой, Гришка локтем оттолкнул ее. Хромой пошатнулся. Гришка видел, что глаза казака потемнели, а рот искривился. Кажется, в это время и родился сзади крик сестер. Казак поднял шашку, и Гришка схватил обнаженное лезвие рукой. Боли он не чувствовал. Оторопевший казак выдернул шашку. Он повернулся и махнул рукой остальным – уходим.

* * *

Всю дальнейшую жизнь Гришка не любил вспоминать этот случай, потому что знал, что гордиться ему нечем, он схватил рукой острую сталь, обезумев от страха, а обезумевший от страха человек не может отвечать за себя, им движет уже что-то совсем другое, он может перепрыгнуть через высокий забор, бежать быстрее лошади, поднять шестипудовую наковальню, – и даже сын Гришки узнал об этой истории случайно от чужой женщины. Это было после смерти Гришки, и сын размышлял о природе той силы, которая движет человеком прежде разума. Сын жил в конце двадцатого века и знал то, чего отец так и не понял никогда, то есть, он знал, не только разум определяет поступки, и не рефлекс, как учили мать в далеком городе Дер-

пте, – рефлекс действует противоположно, нет, не он, – а какая-то совсем другая сила, творящая ангелов.

Слушая чужую женщину, сын Гришки представил свежих девушек в светлых кофточках и длинных широких юбках, застывших в испуге на крыльце, – трое из них были сестрами Гришки, а одна, соседка Батья, оказалась среди них случайно, или, наоборот, не случайно, тут замешаны молодая воля и древний инстинкт, заставлявший девушку попадаться Гришке на глаза.

Четыре босых девушки, в разных позах еще склоненные над сидящем на крыльце Гришкой, повернувшие головы на звук падающей калитки, увидевшие казака с оголенной шашкой и застывшие, не успевшие еще испугаться и даже распрямиться, хоть Гришки уже около них не было, и, стало быть, в это мгновение они склонялись над пустотой, – это ведь реальность, не правда ли? У этой мгновенной картины не было зрителя – Гришка уже стоял перед хромым, а взгляды казаков переместились на Гришку. Тем не менее, сотню лет спустя картина возродилась в воображении его сына. Понятно, что она возникла не по его прихоти и воле, а потому, что когда-то существовала на самом деле и сохранилась в памяти сестер Гришки и Батьи. В деталях воображение сына могло не совпадать с его источником. Может быть, вместо длинных широких юбок и светлых кофточек на девушках были сарафаны или холщовые рубахи. Но ведь и самая объективная фотография меняет детали в зависимости от положения фотографа, освещения и множества других случайных вещей. Дело, стало быть, не в деталях, а в некоей, скажем так, сути. Некая реальность родилась в мгновение падения калитки, она начала свое существование из этой точки, как геометрический луч, и столетие спустя сохраняла первоначальную энергию, достаточную для того, чтобы совершить работу: сын стал переводить воображаемую картину в текст.

Воспитанный на том, что истина осязаема, он искал фотографии. Батья сфотографировалась первый раз в жизни вскоре после погрома в ателье Ротмана. На ретушированном портрете вышло нечто неземное, некий неотразимый образ взрослой девушки, который потом долгое время производил сильнейшее впечатление на мужчин. Тех, кто никогда Батью не видел, он заставлял мечтать о ней, других заставлял видеть в ней что-то, чего они никогда в ней не видели и чего, скорее всего, на самом деле и не было, – портрет зажил собственной жизнью и, естественно, вскоре повлиял на жизнь самой Батьи, и без того непростую, – мать ее Ривка, не выдержав потрясений, умерла на третий день после погрома, троих или четверых сирот разобрала родня. Батья, как самая старшая, оказалась в соседнем городке у дяди Давида, владельца фотоателье, где в студии была стена, задрапированная бордовым театральным занавесом с золотистыми кистями, где стояли тумба и кусок балюстрады с гипсовыми балюстрадами, на которые опирались локтями отцы семейств и молодые щеголи в сюртуках, стоячих воротниках с «бабочками»,

в котелках, с тросточками, – все это запечатлено в мире, где есть реальные фамилии и адреса, где происходит фотохимическая реакция действия света на бромистое серебро и хранятся конторские книги, и все это мертво, кроме портрета Батьи.

Волосы на портрете Ротман попросту нарисовал поверх слабого фотоотпечатка специальным карандашом для ретуши. Он сделал пышную прическу с тяжелым узлом на затылке и непокорной прядкой на лбу, тоже не свободный в своей творческой фантазии. Что-то стояло перед мысленным взором местечкового мастера. Ротман рисовал одну и ту же прическу всем женщинам, и даже на портрете десятилетней дочери Ханы нарисовал такую же, отчего пухленькая Хана стала похожа на тряпичную куклу. Так что не в творце дело и не в модели. Тут не обошлось без третьего.

Портрет повесили в студии на самом видном месте, над конторкой красного дерева. Он провисел пять лет до самого июня 1910 года, когда молодой Ротман, сменивший за конторкой умершего отца и мнивший себя передовым человеком (в отличие от отца он знал, что такое бромистое серебро, и даже мог написать его формулу знаками латинского алфавита), этот прогрессист Ротман решил придать заведению европейский вид и затеял ремонт.

Пришел обойщик Рогов с сыном Наумом, они снимали портреты со стен и выносили наружу, где уже стояла конторка. Чтобы снять Батью под стеклом в тяжелой раме, Наум влез на стремянку. Прижимая портрет к груди двумя руками, боясь оступиться и уронить, парень спускался задом, вслепую отыскивал ногой перекладыны лестницы, вспотел от усердия, перевел дух, оказавшись внизу, повернулся и столкнулся с хозяйской дочерью Ханой. До этого они не раз видели друг друга – Хана училась в том же гимназическом классе, что и сестра Наума, – но еще ни разу не обращались, и теперь Наум растерялся. Хана, видимо, решила, что он не знает, куда поставить портрет, и молча, как немая, показала, чтобы парень шел за ней. Выйдя в дверь, она пальчиком показала место у конторки. По мощенной булыжником тополиной улице летел пух.

* * *

Чтобы увидеть ангела, не надо задирать голову, он не там. Физиология вообще против такой позиции, господа, потому что предки наши ходили на четырех, глядя вперед, и, кто знает, может, скоро и потомки сподобятся такой благодати. Все к тому идет.

А задравши голову, вы видите небо во всяких там алмазах. Гениальный автор посмеялся над этим провинциализмом, упокой его душу, Господи, и как не захандрить провинциалу с тонкой душой, голова при этом такая тяжелая становится, что не только задрать – ее и прямо-то не удержать, все упасть norovит, а что увидишь внизу...

Господи, Боже мой, какие-то портреты стоят прямо на булыжнике, еврейчики, котелки, тросточки, усы, монокли, как у панов, а позы-то – локоть на балюстраде, фу-ты, ну-ты, а вот и дамы-с, вот и наши дамы, прическа – прямо из МХАТа, небо в алмазах, впрочем, мордашка милая... погоди, погоди... господи... вот мы и свиделись, Эммануэль, ты-то что здесь делаешь в этом безобразии.

После шкалика «Смирновской» это уже слишком. Как выразился Антоша Чехонте, их штербе.

Сладко пахло киселем – это молодой обойщик наносил крахмальный клейстер на полосы обоев, разложенные на полу за открытым окном. Тополиный пух влетал в окно, садился на клейстер. Подошел дядька, что-то сердито сказал парню по-еврейски, с силой захлопнул окно. Парень не шевельнулся, сосредоточенный, белобрысый, нос картошкой, вылитый белорус, но зовут Наум, говорит по-еврейски, неисповедимы пути господни, как-то занесло славянское семя, как тополиный пух.

Намазав полосу, парень очень ловко сложил ее так, чтобы клейстер не попал на лицевую сторону, чтобы удобно было подать дядьке, взгромоздившемуся на стремянку, и при этом вовремя подхватить нижний конец полосы, приблизить его к стене, примерить, прижать и бегом – назад, намазывать следующую полосу, пока старший на стремянке ласковыми движениями руки с тряпкой разравнивает прихваченную к стене. На обоих цветочки. Как это глупо, однако. Цветочки задуманы Б-гом, чтобы привлекать насекомых, разве же мы насекомые, Наум? Но ведь среди чистой-то белизны человек не может жить, тоже верно, это слишком обязывает, ты не находишь? Тут вчера стоял портрет, я хотел бы купить его.

* * *

Господин... э-ээ... Рутман, я хотел бы купить у вас фотографию. Вы меня не поняли, мне не нужны голые дамочки, я бы не обратился с подобным предложением к такому почтенному лицу, как вы. Вы полагаете, что фотографии существуют либо для семейной памяти, либо для блуда. Вы ошибаетесь, господин... Ройзман, никто не знает, для чего существуют фотографии. Я бы хотел повесить у себя в редакции нечто пристойное, не все же цветочки и небо в алмазах, не правда ли? Например, тут вчера стоял портрет. Ах, это ваша родственница? Но вот господин Рембрандт рисовал очень близких родственников и, однако, не гнушался продавать их портреты. Нет, он не из Одессы, но тоже из Европы. Мое почтение, господин Ротшильд.

То, чего не должно случиться, не случается. Тебе ничем не дано владеть, никто не продаст тебе ангела, каждому свое. Тот, кто жаждет чуда, вступает в опасную игру. Он начинает видеть чудеса в безобразном житейском соре. Он плохо кончит, жаждущий, он сопьется, его расстреляют в ЧК. Чудес не бывает, кроме

чудесных случайностей. Вот Наум. Ну Наум и Наум, иди себе дальше, что тебе Наум? Нет, ты остановишься, и Наум расскажет тебе об этом портрете, который старый Давид, отец нынешнего хозяина, сделал в 1905 году. Старый Давид – господа, начинается готика – умер. Чистейший Гофман! Портрет убил старого еврея, его создавшего!... Конечно, так не бывает. Это литература. А пять лет назад этой девочке было тринадцать. Ее мать умерла от потрясений погрома. Это как раз бывает. Я очень сожалею. Погром – это нехорошо. В некотором смысле. В христианском смысле. А в иудейском тем более. Наум занятен. Он цепенеет при виде пухленькой Ханы. Осиротевшую девочку звали Баття. А как это будет по-русски? По-русски никак. Бетти, наверно. Кузина Бетти, княжна Бетти... По-русски, надо думать, Бетя. Ее спас сосед. Он схватил рукой шашку казака. Это уже, господа, не готика, это нашенское, у Наума глаза загораются. Славный парнюга. Он не ангела ищет, а героя. Он никогда не видел некоего Гришу, но уже поместил его на алтарь своей души. Гм-м... Хотите совет старого пьяницы? Не сотворите себе кумира, господин иудей.

Но где же Бетти? Сколько ей теперь? Восемнадцать? Волшебный возраст! Покойный Ротман был хорошим еврейским братом, все евреи – хорошие еврейские братья, это общеизвестно. Он определил дочь своей сестры в гимназию, он послал ее учиться на врача в Дерпт, где нет процентной нормы. Евреи уважают образование, это тоже общеизвестно, они не читали Руссо и графа Толстого, они знают, что неученье – тьма, и потому полагают, что ученье – свет.

Ниточка потянулась... Она приводит, наконец, к некоторому, позволим себе сказать, все-таки, чуду: однажды в редакции появляется робеющий Наум. Он принес русские стихи. Листки, нарезанные из обоев. Печатные буквы малограмотного. Ну почему евреев так тянет в русскую поэзию? Что за напасть такая?! Так ведь и читают русские стихи только еврейские девушки! Есть в этом что-то гибельное, уже пахнет серой, страна Пушкина и Тютчева погружается в таинственную пучину, исчезает на глазах. Только-только начали возникать из тумана какие-то очертания, возделенная определенность истинной русскости, и тут же пошли переводы из Генриха Гейне и Людвиг Берне. Гремучая смесь немецкой сентиментальности и еврейской иронии, как смесь соляной и азотной кислот, растворяет и золото и серебро. Все определенное начинает размываться, сияющее – тускло мерцать. Горькое становится кисло-сладким, как еврейская курица в черносливе.

Что такое еврейская ирония? А почему ты спрашиваешь? Это я так сказал? Гм-м... Как тебе объяснить, Наум... Ты этого не поймешь. Впрочем, я сам не понимаю. В сущности, если вспомнить Библию, там нет иронии. И в кабале нет. Ее много было у римских язычников, которых называли сатириками в честь сатиров... наверно, все-таки, я не прав, евреи в ней не повинны, каюсь, трудно быть антисемитом, Наум.

И вот первый листок с аккуратно переписанными стихами оказался про ангела Эммануэля! Почему-то там было только одно четверостишие, про рощу и соловья. И вы продолжаете утверждать, что миром правит случай? Вы меня разочаровываете, господа.

Наум, славный малый, никогда не писал стихов и, надеюсь, никогда не напишет. Он принес стихи брата. Мальчик умер от чахотки в одиннадцать лет. Звали его Авель. Он, сын бедного обойщика, отца пятерых детей, не ходил в гимназию. Но он знал немецкий, польский, еврейский и русский. Почему же писал по-русски? Может быть, не евреи в этом виноваты, не идише маме и идише тате, а Пушкин, Толстой и Чехов? Проклятое славянское обаяние, перед которым нельзя устоять, оно как женская привлекательность, чреватая бедой для самой красавицы.

Но оно губит и тех, кто устремляется на его зов. Умереть от чахотки в одиннадцать лет – это ведь русское дело, господа, тут вам не Баден-Баден.

Чахотка делает человека чувствительным. Жизни должно чуть-чуть не хватать, чтобы ее чувствовать. Так же, как воздух мы замечаем лишь тогда, когда его недостает. Не потому ли еврейская туча надвигается на русскую культуру, что евреи остро чувствуют нехватку культуры?..

Почему вот этот белобрысый еврейский простаки притащил в редакцию стихи умершего брата? Читал ли он их, хотя бы? Он сам переписывал, потя от натуги. Сам нарезал бумагу для этого. Он плохо знает грамоту. Сестры другое дело, все в гимназии. И брат Авель учился русской грамоте. Но чтобы дать всем образование, кто-то должен работать, помогать отцу. Наум работает с девяти лет. Отец без него не мог бы. Но он не хочет быть обойщиком. Он будет столяром. Старый Эпштейн говорит, что из него может получиться хороший столяр. Когда у отца нет работы, Наум помогает Эпштейну. Это лучше, чем клеить обои. Отец говорит, что он возьмет помощником чужого мальчика, чтобы Наум работал у Эпштейна. Это больше денег. А за стихи платят много денег?

Ах, вот в чем дело. Мы, оказывается, предприимчивые. Похвально, но кто тебе сказал, Наум, что за стихи платят? Разве твой брат писал для денег? Вы, кстати, не близнецы? Как это, ты чуть-чуть старше? Насколько я в курсе, нельзя быть чуть-чуть старше родного брата. Не таращся так, это ирония, есть такой русский способ жизни. Не обращай внимания, сын избранного народа. Я понимаю, десять месяцев разница, это не очень весело для здоровья женщины, но старому пьянице понятно. Ты мне лучше скажи, что это за имя – Эммануэль. Почему Эммануэль? Был такой немец, Иммануил Кант, но у нас в городе я не встречал людей с таким именем. Как папа с мамой называют маленького сына, нареченного Эммануэлем? Эммка? Эмеле? Но ведь не Авель, правда?

Где тебе знать, что Авель писал не для денег. Такие мальчишки, как он, все пишут стихи. Потому что им немножко не хватает жизни. А хедер он, конечно, не любил. В хедере нет жизни. Там, согласен допустить, мудрость, а мудрость – это антижизнь, это похмелье, можете мне поверить на слово. Молодой красавчик, господин Ротман, наверно, преуспевал в хедере. Он, надо полагать, везде преуспевал. У него кислосладкий брезгливый взгляд. Он глуп, как все, кто знает истину. У него избыток жизни, поэтому он преуспевал в хедере и не писал стихи.

Их и не надо писать. Поэт должен молчать. Он должен хранить поэзию в себе. Но что было делать больному мальчику?

Вот ты, Наум, знаешь, что делать. Ты хочешь дать образование сестрам, ты помогаешь девочкам стать на ноги, помогаешь матери и отцу, плечи у тебя, как у пахаря, да и руки растут, откуда надо. На твоих плечах всегда кто-нибудь будет сидеть и потому ты всегда будешь знать, зачем живешь. А брат твой не знал, почему страдает, и писал стихи. Приехала девочка, рассказала о погроме. Ну что ему за дело? Ведь не видел, не чувствовал. Зачем ему писать о погроме. У него своя беда, скоропечная. Почему ж опалил душу? Потому что он нахлебник, бесполезный человек, для чего-то призван. Не так уж много заслуг у рода человеческого, но инстинкт беречь нахлебников мы сохранили.

Они странные люди, Наум. Они существуют в другом мире, у них какой-то другой орган связи. Ты болеешь за ближних своих, они – за дальних. И влюбляются они не так, как ты в аппетитную Ханочку, а в портрет, в ретушированную реальность, это их мир, Наум, – промежуточный мир...

* * *

Жаль, что стихи на обоях пропали, как те, первые, уж все переверолошил в столе, в углах – как в воду канули, и не знал, как сказать Науму, а тот приходил и не решался спросить, старался как-то оправдать свое появление, подметал, в лавку бегал, даже кресло починил, пришел с инструментами – можно? ну конечно, можно, Наум, располагайся, – про него забыв, несли с чудачком Авдеем Парамоновым всякую околесицу за штофом «Смирновской». Авдей, хоть и толстовец, не гнушался, с бородой и плешью своего кумира, с котомкой, которую ставил у ног, во всякое время года босых. Выпив, Авдей начинал любить ближних больше, чем сам граф Лев Николаич:

– Наумка, айда со мной в Иерусалим, вдвоем веселее!

– Зачем в Иерусалим? – Наум немного насторожился.

– Поклонимся, помолимся, Господь даст – сподобимся, землю святую пахать будем, хлебушко растить. Лев Николаич вот не собрался, а мы соберемся.

– Я не могу, – серьезно отвечал Наум. – Надо сестер поднять.

– Это ты молодец. Это первое дело. А у меня сестер нет, я, пожалуй, если Б-г даст до весны дожить, с весенним солнышком выйду – до зимы добреду, а там и зимой тепло.

Денег за кресло Наум не взял, даже немного расстроился, что ему их предложили, а шкалик хлобыстнул, не посмел отказать, и видимо, впервые сподобился, не то, чтобы захмелел, но расхрабрился и попросил книжку Толстого – у Авдея полная котомка брошюр была, всем раздавал, уже и в остроге за них сиживал, правдолюбец паскудный. Как, ты знаешь о Толстом, Наум? Откуда? Ну конечно, братец Авель читал Толстого. Интересно, что же ты знаешь о Толстом? Граф Толстой брал уроки у раввина, чтобы читать Закон по-еврейски. В Торе сказано: «Возлюби пришельца, как самого себя, ибо все мы были пришельцами в земле Египетской». Вот как? Не ближнего возлюби, а пришельца? Наума не собьешь: «Возлюби ближнего, как самого себя», – это другой стих, он тоже есть в Торе. Молодец, парень. Так что же Толстой? Толстой говорил, что люди забыли слово Божье, и поэтому разучились любить друг друга. Они должны стать другими, не бездельничать, а работать. Толстой сам пахал, хоть граф, чтобы жить по Закону. А евреи разучились пахать и сеять, они должны вернуться к земле...

Постой, постой, кто это тебе сказал, ангел мой? У Толстого нет про евреев. Это твой брат от себя добавил. Мучился этим. Не хотел твой брат фотографироваться у Ротмана в котелке и усах. Видимо, не любил твой брат своего брата еврея, локотки на балюстраде и усы, как у панов из Кишинева. Рабби Толстой не во всем прав, Наум. Чтобы жить по совести, для начала надо крепко неполюбить брата и отца, захотеть стать категорически не таким, как они. Не ближнего полюбить, который субботний сюртук на себя с гордостью напяливает, а дальнего, нездешнего, которого не видно, которого нет и будет ли – одному Б-гу известно. Но граф Лев Николаевич и через это прошел, он прямо завещал нам, что любовь к дальнему ничего не стоит, что Моисей прав, любить надо ближнего, это трудно – знал Толстой, что говорил, лучше других знал, как это трудно. Но необходимо, потому что без этого вообще никакой любви и нет. Как же так получается, и любить и одновременно не любить, а ненавидеть? А вот этого никто не знает. Но вот как-то надо. Потому что задыхается русский человек. Не может русский человек жить мелким материализмом. Если уж десятилетний еврейский мальчик ужаснулся такой жизни и стал читать «Казаков», то что ж говорить о русском интеллигенте, проклятом и окаянном? Он, еврейский мальчик, на русскость мог надеяться, она для него была спасительно далека, как мираж, как рыцари сэра Вальтера Скотта, он мог на нее надеяться, а нам на что? На евреев из книжки «Евангелия», как надеялся твой Толстой?

Хорошо тебе, ты любишь нежную, как сдобная булочка, Ханочку. Ты правильно делаешь, Наум. Это лучше, чем читать книжки, но если уж очень хочешь «Казаков» – изволь, это мой подарок.

* * *

Буквы расплывались, вместо них он видел серые глаза Ханы. Когда же видел эти глаза въяве, он исчезал. Иначе это чувство не определишь — он переставал существовать. Как будто растворялся. Ноги легко несли по улице к столярке Эпштейна, ноздри вдыхали пыль с запахом коровьего навоза, кожа ощущала солнечное тепло, глаза впитывали зелень палисадников и пепельный цвет некрашенных домишек окраины, видели воробьев в луже, белобородого старика на завалинке за кустом бузины. На улице появились две девушки, она из них была Хана. Девушки приближались, он слышал их веселые голоса. Пьяный от радости, решительный, в упор смотрел на Хану, потому что после того, как она показала ему, куда ставить портреты, он уже был как бы знакомым и имел право, даже обязан был поздороваться, он чувствовал, что это получится. В этот момент Хана подняла голову, глаза встретились — и он исчез.

Поздоровались ли они?

Сознание вернулось лишь через несколько шагов, он снова стал ощущать себя, глаза стали видеть, кожа — чувствовать, нахлынуло счастье.

С тех пор, когда они оказывались близко друг от друга, он ловил ее испытующий взгляд. Он почему-то избегал встречаться глазами, но они сами устремлялись к ней, и однажды она его поймала. Это было на кладбище. Хоронили старого кантора, собралось много людей, он, заслоненный другими, встал так, чтобы видеть ее близко и сбоку, она стояла рядом со своим братом, тот что-то говорил, она слушала и внезапно взглянула. В быстром, точно нацеленном ее взгляде промелькнула радость — она знала, что он будет пялиться, и вот убедилась. А он, который так боялся разоблачения, ощутил счастье, как будто их на мгновение соединил ток, подобный электрическому, и вольты ее радости передались ему. Однако... как она узнала, где он стоит? Уж не следила ли за ним, когда он перемещался в толпе вокруг распахнутой могилы?.. Нет, в это невозможно было поверить...

На сороковинах кантора он убедился, что это, однако, так. Он пришел раньше и видел, как она появилась с братом. Они прошли через толпу к вдове, сказали, что требуется, и отошли в сторону, присели недалеко от двери на свободные места, и он, стоя у занавески, закрывающей проход на кухню, прислонясь к русской печи, невидимый, смотрел на нее во все глаза. Он увидел, что она исподтишка, осторожно, не поворачивая шеи, скашивает взгляд в одну сторону, потом некоторое время смотрит перед собой и начинает так же осторожно косить в другую... Кого она искала? Когда все вышли во двор, она снова осторожно огляделась. Он вышел, Хана увидела его, резко отвернулась, но скрыть свою радость не успела. Неужели?..

Теперь, случайно встречая ее на улице или в каком-нибудь доме, он гадал: случайность это или она оказалась здесь наме-

ренно, рассчитывая его увидеть, так же как он рассчитывал, что увидит ее? Она сдружилась с его сестрой-одноклассницей – не для того ли, чтобы с ним видаться? Ему казалось, что при нем она говорит громче, чем обычно. Она рассказывала сестре о Батье – папеле давал деньги, чтобы та училась на врача, от своих детей отрывал, но теперь они не могут платить такие деньги, она приехала за ними, как будто они обязаны, у нее целый чемодан платьев, Хаим сказал, если у человека нет денег, он не может покупать столько платьев, Хаим сам собирается жениться, он не может платить за эти платья, его жена не будет носить такие...

Слова Ханы как-то не проникали в сознание, вся сила души уходила на то, чтобы смотреть, видеть, ловить перемены на строения на лице, важна была жизнь лица и не имело значения, что говорится, но потом и это оставалось – он все ближе соприкасался с подробностями ее жизни, они давали пищу фантазии. Он уже ревновал ее к тому, чего не знал. Где она проводит время? Она богата, у них в доме вечеринки, праздники, развлечения, там полно молодых людей...

То, что было на сороковинах, больше не повторилось. Она совсем не замечала его. Он с отцом оклеивал обоями дом ее тетки Доры – она должна была знать это, и все же ни разу там не показалась. Он надеялся до последней минуты, уже выйдя на улицу, ожидая отца, который ушел за подводой. Погрузили на подводу стремянку, рулоны обоев, ведро с клейстером и кисти, поехали, и на Торговой он увидел, как она выпорхнула из кондитерской Дюбуа. Она была в маленькой шляпке, веселая и красивая, приказчик в черном сюртуке держал раскрытой дверь, следом вышла молодая полногрудая дама в шляпке с вуалью, и накатиł страх: они сейчас увидят его на подводе, болтающего босыми ногами... Они, к счастью, не смотрели в его сторону. Дама взяла Хану под руку. Да это ж Батья, сообразил он.

* * *

...да это ж моя Бетя. Все при ней – грудь, приподнятая бюстгальтером, роскошные медные волосы, уложенные на макушке, разлет бровей, пикантно сросшихся на переносице, и тонкий стан, и угадываемая под платьем линия ножек, – что ж вы сделали с ангелом Эммануэлем, душа моя, вы его убили.

Не ищи ангела в женщинах, это слово не имеет женского рода. Она пришла с приятелем. Некто Изя Прейгерзон, пишущий под псевдонимом Авдей Горячий стихи под Надсона. Вернее, писавший – он это дело, к счастью, оставил, теперь он социалист-революционер, подпольщик и бомбометатель, ну да ладно, лишь бы не стихи. Изя Горячий привел красавицу, чтобы покрасоваться перед ней обширным кругом своих интересов, изобразить своего человека в редакции. Снисходительно интересовался, как дела, обещал принести стишки – так и сказал, паскуда, – стишки, причем получилось, что его просят, а он ве-

ликодушно обещает. Бетя сидела, потупив глазки, давала себя рассматривать. Когда Изя слишком уж обнаглел, снисходительно пожурив за что-то Александра Сергеевича Пушкина, она быстро взглянула. Стеснялась своего кавалера. Он ее компрометировал. Но, мадмуазель, ничего лучшего наш городишко предложить Вам не может.

Правда, тем же июльским вечером он может предложить Вам сквер с духовым оркестром, мазурку с офицерами пехотного полка, на которую Вас, увы, никто не пригласит, поскольку не с кем Вам появляться в публичных местах. Бомбометатели там не требуются, а кузина Хана еще малолетка. Вы можете лишь как бы случайно, как бы торопясь по делу, пройти в сумерках за оградой. Если мне позволено так выразиться, это было как мимолетное видение. Молодые офицеры встрепенулись. Среди них есть поэты, головы им кружит вино, а там, где поэты и вино, там и Ваш покорный слуга, который, как видите, — про друга Аркадия читали? — умеет сказать красиво. Он неисправим, этот человек, в сумерках и парах портвейна он улетает вместе с мелодией фагота, взволнованный музыкой до слез, и в общем, что греха таить, когда Изя Горячий изрекал свою пошлятину там, в редакции, мы обменялись понимающими взглядами, это совсем немало, примите мою искреннюю благодарность, мадмуазель Бетти. Если есть, с кем обменяться понимающим взглядом, ты еще не погиб.

Ты еще не погиб, впереди еще десять лет жизни, господин член ревкома, не так ли, и ты можешь предложить руку восемнадцатилетней девушке, и вы пойдете вдвоем по улице, тебе это можно, седого лохматого чудака никто не принимает за ловеласа, ни у кого не возникнет фривольных фантазий, а кузину Бетти злые языки вообще, вроде бы, не смущают, она сама с милым простодушием подхватила под руку.

Ей хотелось курить, приятный сюрприз, мадмуазель современная девушка, но прошу отнестись к моим словам снисходительно, я не порекомендовал бы Вам возбуждать всеобщее недоумение, наше захолустье, к сожалению, отстает еще от просвещенного Дерпта, приходится считаться, как говорят военные, с местными условиями, девицы у нас не курят. Мы лучше присядем в виду почтенных дам, раскланяемся с ними, тут нет афронта, они привыкли видеть Вашего покорного слугу с поэтессами-гимназистками. Представляться в общественном месте Вам не обязательно, это успеется. Я вижу, Вас что-то гнетет, я слушаю вас, мадмуазель.

Она взволнована. Ее дядя Давид Ротман был очень хороший человек. Хаим, его сын, не похож на отца. Он не собирается платить за ее учебу в Дерпте. Куда ей деваться? Жить в доме Хаима она теперь не может, она должна немедленно уехать, а у нее нет денег даже на дорогу...

Уж эти уездные барышни, подумал он, у них все трагедия, безумные страдания по любому амурному поводу, маленькая семейная размолвка — и уже немедленно уехать.

Почему так срочно, мадмуазель? Разве курс не в сентябре начинается?

Ох, сказала она, подождите, я растерялась, как же мне вам объяснить, это совсем не то, что вы думаете... может быть, я зря... почему-то я почувствовала к вам доверие... Я никого не знаю в городе... Хаим выглядит таким приличным человеком... Он таким внимательным был, таким чутким, тонким...

Какой, однако, язык – перевод с французского, драма господина Дюма-сына! Б-г ты мой, эта евреечка почитывает романы. Не всякая уездная барышня способна так выражаться. Она не сомневалась, что он, как его отец, возьмет на себя расходы по ее образованию... она как-то не задумывалась... он говорил, что все готов для нее сделать, но он такой несчастный, потерял сон, ничего не кушает, от нее зависит его жизнь... Это звучит ужасно, в сущности, он как бы предлагал продаться за деньги, но она думала, что нельзя упрекать человека за то, что тот не умеет говорить, как образованные люди... Она думала, он увлекся, потерял голову... Она жалела его... Она старалась его избегать... Он сказал, что должен раскрыть ей свою тайну... Она думала, он разорился, что-то такое... Он говорил об искусстве... Он, Хаим, может то, чего не могли Рембрандт и Рубенс... Теперь, когда появилась фотография, старое искусство надо выбросить на помойку...

Кто-то щелкнул каблуками, позвольте пригласить вашу даму. Где ты научилась мазурке, Суламифь из Бердичева, неужели в Дерпте? Вы говорили про какую-то тайну. Но что все наши тайны рядом с волшебством духового оркестра в южную ночь за четыре года до мировой войны? Где Вы теперь, кто Вам целует пальцы, пара гнедых, запряженных зарею, волшебство, волшебство... Тайна раскрылась, когда Вас уже не было с нами, труп застреленного Хаима Ротмана лежал головой на конторке из красного дерева. Пристав проводил понятых через маленькую дверь – за первой студией оказалась еще одна – камера, лампы, кровать – надо понимать, аксессуар искусства господина Ротмана. Занесен в опись ящичек с ячейками вроде наборного, только вместо набора там в образцовом порядке произведения свободного художника, игральные карты с голыми мужчинами и женщинами в разных позициях. В другом ящичке, обитом сукном, стояли стеклянные пластинки – негативы. Господа понятые должны осмотреть все и подписать протокол. Однако госпожа Фуксман не может смотреть на эту гадость, ее необъятное тело под коричневым платьем колыхается от возмущения. На простреленную голову соседа госпожа Фуксман может смотреть, а на эти фотографии не может, падает в обморок. А ведь там он, сосед, в самом наилучшем виде, в каком только может предстать перед дамами голый мужчина. На камере немецкое приспособление. Господин Ротман обожал все немецкое, покойник был поклонником великой немецкой культуры, правда не той, которую пора выбросить на помойку истории, культуры Гете и

Шиллера, а новейшей, химико-металлической, хоть не очень уместно вспоминать об этом сейчас, когда грохочут немецкие пушки. Так вот, хитроумное немецкое приспособление с пружиной. Господин Ротман наводил оптические стекла на даму в кровати, взводил пружину и успевал соединиться с дамой за те шесть секунд, пока пружина, раскручиваясь, включала камеру и запечатлялся самый интересный момент. Это уже не игральные карты, слишком мелкие для детализации, это крупные фотографии, где представлены нашему взору не только интимные части тела, но и часть, вызывавшая особый интерес отправленной на помойку культуры, всяких там Рембрандтов и Леонардо да Винчей, – лицо женщины. И вот ведь чудо – именно эта часть притягивает ваш жадный взгляд. Вы ищете что-то. Что вы ищете? Что вы потеряли и никак не найдете? Вы ищете тайну женщины, которую не разоблачат никакие откровенности. Есть пустые лица проституток – взгляд скользит мимо...

Лицо Бети не выделялось среди них. Бетя улыбалась на этих снимках прямо в объектив, сытая улыбка не содержала тайны. Там, на скамейке в сквере, был намек на трагедию, а на снимках было вещественное доказательство, улыбка не очень стеснительной свободной женщины, занесите это в протокол, господин пристав, это не трагедия. Бетя в неглиже, роскошная женщина, как говаривали персонажи Чехова, под сорочкой лишь немножко прячешь ты свой талисман. Где вы теперь, кто вам целует пальцы?

Почему ж ты, несуразный человек, чувствуешь себя виноватым? В чем тебе каяться? Что не спас невинность? Но невинность и не просила тебя ее спасать. Мадмуазель что-то хотела рассказать, не решилась, раздумала, тут нет твоей вины. Ты не знаешь, чего она хотела. Денег, чтобы уехать? Не тот ты человек, у которого просят денег. Да и она не героиня Достоевского. Ни слезинки не проронила, какую-то цель расчетливо преследовала... Мстить обидчику замышляла? Чтобы кто-то в полицию заявил о совратительстве и растлении? Сама-то не могла, это понятно, а так, чтобы остаться в стороне... Ну а если бы попросила об этом? Ты не стал бы доносить. Ты не сторож брату своему, и в конце концов, вовсе не уверен, что за какие-то фотографии надо заковывать в кандалы. Разве Б-г не создал нас голыми и не он снабдил мужчин тем, что Пушкин и Толстой называли в личных письмах непечатным словом х...? Не он ли заставил мужчин и женщин делать то, что запечатлевает величайшее изобретение девятнадцатого века?

Он не случайно создал нас такими. За день до этого события Он уже создал цветы, которые, чтобы размножаться и плодиться, должны привлекать ярким цветом или сильным запахом. Увидев, что это хорошо, Он создал и нас. Для размножения от женщины не требуется ничего, кроме покорности, а от мужчины требуется возбуждение. Без возбуждения мужчина не сможет выполнить заповедь. И женщина обязана это возбуждение вы-

звать. Она делает это, как цветок своими яркими лепестками, без участия воли. Ей дано задание привлекать мужчину, и очень часто она делает это себе на погибель, знает это и не может не делать, потому что возбуждать мужское естество ей велел Б-г. Она не цветок, ей не даны яркая раскраска и сильный запах, она привлекает иначе, но это уже другой разговор, господа, он может нас завести слишком далеко. Может быть, открытки Хаима надо раздавать христианам в храмах Божьих.

Я не знаю, господа. Я видел фото в неглиже и видел портрет, ретушированный старым Давидом. И там и там – Бетя. Но на одном фото есть ангел, а на другом его нет.

По трезвому-то рассуждению, кандалов заслуживает не фотограф, а ангел. Он, а не гадкие открытки, губит нас. И если губитель иногда нас оставляет, то делает это по собственному умыслу, как Господь Б-г, который тоже нас оставляет именно тогда, когда мы нуждаемся в нем.

Может быть, разделив Божий дар на животную похоть и небесную любовь, мы согрешили? Может быть, не надо, как великий поэт, в письме другу хвастать «я сегодня ее уе...л», а в стихах – «гений чистой красоты»? И когда семилетний русский мальчик из поповской семьи подсматривал за голыми девками в бане, не грех это был, а тот самый ангел проморгал? Нам ли понять ангела? Наш интерес он не принимает в расчет. Наш интерес – получить удовольствие, это разумно. Но ангел лишает нас разума, заставляет томиться, мечтать и страдать виной. Пчела летит к цветку не потому, что цветок нуждается в этом, а потому, что она создана, чтобы лететь на его сигнал. И мы созданы, чтобы сотворять себе кумиров, идолов, идеалы, будь иначе – ни ангел, ни дьявол, ни женщина, ни мировая гармония не имели бы никакой власти над нами...

Убийцу не нашли. Поговаривали, что Ротман был связан то ли с эсерами, то ли, наоборот, с охранкой, а может, и с теми и с другими, да перемудрил себе на горе. Бралась в рассвет и возможность ограбления – кассу-то обчистили, и тут тоже разные имена называли, даже Авдея-толстовца, который как раз в тот день исчез из города, пошел с посохом в Иерусалим.

После ухода Авдея затосковал Наум. Разбередил его душу старец своими разговорами о земле обетованной с вольными хлебопашцами. И то сказать – уныла жизнь вокруг, не до обоев с цветочками людям, отец без дела по двору слоняется, власть ругает и сыну спуску не дает. С началом военных действий хлынули в город инородцы из прифронтовых губерний, переселенцы, их погнали, не дав собраться, – не оставлять же их там, известное дело, у них и язык почти немецкий, кайзер Вильгельм несет им равенство всех подданных, свободу торговли, отмену стеснительной процентной нормы, вожделенные барыши... Мы не азиаты, государь-император – отец всем своим подданным независимо от их вероисповедания, но не переселить евреев подальше от фронта – они нож в спину воткнут.

Ну а здесь-то кому они нужны, голодные, горластые, что-то продают, ходят по дворам, клянчат, просят работу, сбивают цену рабочих рук, а всякая еда подорожала, на всех не напасешься, растет нужда, растет остервенение, грязь, вши, болезни.

Ханочка ходит с запавшими глазами, с черными подглазьями, смотрит волчком, после смерти брата ей несладко, мало того, что кормильца лишилась, так еще и позор, бабы головами качают – не могла она не знать, что у брата делалось, в одном доме жили. Тетка, жена бакалейщика, взяла к себе. Деньги, которые за отцовский дом выручили, – у нее. Ханочка в темной лавке сахар отвешивает, смотрит большими глазами на Наума, и в них вопрос и укор. Наум быстро уходит, дело не в том, что про нее говорят, дело в том, что сестры голодны, он один кормилец теперь, все на нем, такая и литература пошла в журнале «Стрелец», серая проза, бытописание, что поделаешь, ангел оставил нас, господа.

* * *

Наум с Изей Прейгерзоном поехали в Херсонскую область, как говаривал Авдей, за хлебушком. Там колонисты, неудачная попытка русского правительства приучить евреев к земле. Им и семена давали, и инвентарь, но проклятый Б-гом народ лишь к торговле приспособлен, сдали все в аренду Ивану-дураку. Тот пашет и сеет, они посредничают и подторговывают, не читали графа Толстого. Наум тоскует: дана им благодатная малороссийская земля, озаряет их, как солнышко, монаршая доброта – поотвыкли вы от земли, первый шаг труден, но в чем нуждаетесь – все получите, пашите, сейте, молитесь по-вашему об урожае, – будьте гордыми и сильными сынами земли, как предки ваши Маккавеи. И вроде бы, не ленивы они, но спесивы до изумления: Господь возвысил их над народами, дал разум, чтобы другие работали, а они управляли, усы по-румынски и попольски закручивали, манишки крахмалили и в городе Одессе фотографировались в сюртуках, локтями облокотясь о балюстрады с балясинами из папье-маше. Наживаются на голоде, наживаются на войне и еще ругают царя.

Изя Прейгерзон не любит такое слушать. Хохлы еще хуже, русский помещик псами ребенка затравил, про то и Достоевский и Иван Бунин писали, ты еврейский националист, говорит Изя Прейгерзон. Не в нации дело, а в частной собственности. Не Толстого надо читать, а Карла Маркса. Человек должен измениться, и мир станет лучше? – с чего ж человеку меняться, если ему хорошо? Ты посмотри, как они довольны собой. Такие не меняются. Земля крестьянам! Фабрики рабочим! Нужно изменить мир, отменить собственность, кто не работает, тот не должен есть, отменить деньги, главное зло, и тогда все изменится, не будет собственности – не будет эксплуатации, не будет злобы между людьми, родится новый человек, и да будет он в полной гармонии с собой и миром.

* * *

Вот он и родился. С днем рождения, обновленный гражданским крещением Изя Горячий, Изяслав Горячий, как написано в мандате, выданном для строительства Светлого Будущего. Мировую гармонию придумали не большевики и не Карл Маркс, господин комиссар. И чудовищное невежество – полагать, что она в будущем. Она есть всегда и плещется в каждой человеческой душе, даже когда человека ведут на расстрел во имя светлого будущего.

Даже когда наступил хаос и городок захлебнулся в людских потоках. Кочуют банды, Петроград в руках матросов, крестьяне жгут помещиков, бессмысленный и беспощадный русский бунт. Хлеба горят, зерно исчезает из зернохранилищ, чтобы сгнить под дождями. Посевы топчет конница, красные полки, белые полки, дороги запружены, голодные идут за хлебом и в пути умирают с голода, трупы валяются по обочинам, еще год-два, и революционные газеты сообщают о случаях людоедства. Мать убила дочь и сварила ее, чтобы накормить остальных детей. Я добрался до Крыма, товарищ комиссар. Да, я хотел бежать из России, я был ей не нужен, я никогда не был ей нужен, всю свою жизнь вплоть до этого часа. Не попал ни на один пароход, пошел назад по дорогам, на обочинах которых лежали трупы. Тут есть городок, где еврейский мальчик когда-то давно схватил рукой обнаженный клинок. Потом этого мальчика приговорили к смерти дважды – сначала царский суд за убийство провокатора, потом ревтрибунал за контрреволюцию. Дело в том, что он привез в город вагон хлеба, чтобы раздать голодающим. Хлеб сторожили десять солдат с двумя винтовками и пятью патронами на всех. Обезумевшие от голода мужики убили двоих. Хлеб исчез в течение двух часов. Вдобавок в городке начался тиф... это не должно быть забыто... доктор Сергей Платонович Катасонов... фельдшер Наталья Петровна Грибова... я не медик, но и не монах Пимен, не нашлось мне кельи летописца, я был санитаром... Григорий Гохберг нашел украденный хлеб и вернул его. Он собрал людей и стал расстреливать мародеров без суда и следствия. Также расстрелял комиссара с солдатами, которые хотели реквизировать хлеб для Питера: «Измена революции!» Он был чужаком и слепцом, товарищ член ревкома, но русский бунт хуже, чем чужак и слепец. Гохберг усмирил бунт, установил порядок, и когда на страшном суде положат на одну чашу весов гришин маузер, на другую нужно положить не кадило и лампадку, а горящую паклю поджигателей и крестьянские вилы в помещичьих кишках. Почему он назначил своим уполномоченным меня? Я не знаю. Возможно, потому, что ему очень хотелось, чтобы в городской власти были не одни лишь евреи. Вы должны понимать это лучше меня, товарищ Бродский. Я не враг революции, я помогал Гохбергу скрыться от вас, но точно так же я помогал бы вам скрывать-

ся от него. Я не знаю, где он. Он говорил, что ему нет теперь места в России. Почему я не бежал? Мне некуда бежать, товарищ Бродский. Бегство ничего не изменит для меня. Когда в мире воцаряется хаос, он воцаряется и в душах, и первейшая обязанность человека – восстановить мировую гармонию в своей собственной душе, начинать надо с нее, я знаю, вы с этим не согласны, но так уж меня учили, надо очистить ее, и тогда родится ангел, протопадет по ней босыми ножками и улетит по своим делам, оставив нас с вами здесь, в степи под Херсоном.

* * *

Пришел из Иерусалима блаженный странник, сказал, муж ждет тебя там. Как звать мужа, не помнит. Ее ли, Бетю, или кого-то другого тот муж ждет – не уверен. Что возьмешь с блаженного. Говорит, что толстовец, то есть вроде образованный человек, но все в его голове так сдвинулось от долгого голодания и страданий, что верить ему ни в чем нельзя. Он уже нездешний какой-то и живет нездешним. Может, речь вообще о небесном муже идет, и зовут ее на небо.

Она пока не торопится.

Может, ты знаешь, Авдей, как Б-г выбирает время, когда кому родиться? Не по жребию же выпускает Он нас один за одним в свой мир. Все Он так хорошо устроил и со сперматозоидом, и с яйцеклеткой, и с эмбрионом, во всем у него изумительный порядок и расчет, стоит взглянуть на банки доктора Ригера с эмбрионами в разных стадиях – рехнуться можно от такого порядка и продуманности. Доктор Ригер и рехнулся. Все он знает, все превзошел. Признал ее бесплодной, как иудина смоковница. Надо сказать, она проверила это сотни раз, экспериментируя по всем правилам дерптской научной школы, исключая все другие возможности. Сотни экспериментов – бесплодна. И вот на тебе, от одной ночи понесла. Что твой Б-г думает по этому поводу, Авдей? Почему ему понадобился мой сын не тогда, когда люди завтракали чашечкой кофе и булочками с маслом, а теперь, когда ни у коров, ни у баб нет молока?

Доктор Ригер мужчина в соку. Он гордится своими сильными красивыми руками, которые на глазах обомлевших студенток извлекают недоношенный плод из чрева женщины, как фокусник зайца из шляпы, и опускают его в банку с формалином. Это нужно для науки. Доктор Ригер благоговеет перед наукой и перед изумляющим душу порядком в природе. Он жрец в Храме науки. Вымыв руки, свежий, довольный, уравновешенный, проходит в аудиторию. Студентки не успели привести в порядок растрепанные чувства. Он читает лекцию, не заглядывая в конспект, все цифры там в идеальном порядке – время, вес, длина, процент вероятности. Ждет, пока девушки запишут в свои тетрадки, отпускает шуточки, позволительные профессору медицины, но даже он, самый сведущий из людей, не знает самого главного.

Он и это понимает. Он любит говорить о непостижимом. С хитрой улыбкой фокусника – следите не за руками, нет, теперь следите за цифрами, – статистика говорит нам о том, что после войн, как бы компенсируя военные потери, мальчиков рождается больше, чем девочек.

Фокус. Для Ригера и это – источник маленькой радости. Он не русский чудак, который, однажды поверив в науку, продаст ей душу, а когда, упустив жизнь, поймет, что в итоге ничего так и не узнал, впадет в отчаяние или в полную подлость, станет расстригой от науки, водкой заглушая неверие. Герр Ригер – немец. Хороший немец всегда мистик. Научная детерминированность сама по себе, мистика – сама по себе. Никто не знает, почему рождаются мальчики. Это мистика.

Будь ты у меня поумней, Эммануэль, ты бы родился в Дерпте. Там дети пьют молоко из детских бутылочек. А кормящие мамы в это время пьют кофе со сливками и съедают булочки, а булочки-то с корицей, и от этого запаха кружится голова. Мамы везут детей в тень раскидистых лип подышать свежим воздухом. На колесах колясок – резиновые ободки. Мужчины, встречаясь с молодыми мамами, снимают шляпы и желают доброго дня. Они мистики, Эммануэль, они немного позируют перед Б-гом.

Выучила по конспекту все симптомы беременности. У меня, кажется, будет ребенок, доктор Ригер, и у меня нет денег заплатить вам за визит. У него красивые руки и чувствительные пальцы. Пальцы немного шалят, ее в этих делах не проведешь. Упаси Б-г подумать плохое – герр Ригер порядочный человек, он не злоупотребляет обожанием студенток, он хороший муж, у него чудесная жена, все у него в порядке. Что ж, фройлен, могу вам сказать, что если у вас в самом деле начало беременности, а ваши жалобы на самочувствие дают основание предполагать это с большой вероятностью, могу вам сказать, фройлен Берта, что у вашего ребенка все должно быть хорошо, ему повезло с мамой. У вас несколько узкая вагина, но едва ли отец вашего ребенка считает это большим недостатком.

Все должно быть хорошо? Она без слез не может думать о судьбе малыша. Она уверена, он будет мальчик. Она назовет его в честь великого немецкого философа Канта. Но она проклята родителями. Они ортодоксальные евреи, герр Ригер, они не простили ей брака с гоем. А отец мальчика, ее возлюбленный Ганс, как все его предки, ходит в кирху. Он бедный студент. Его мать продала фамильное серебро, чтобы дать ему образование. У них нет денег. Она со вчерашнего дня не ела, приносит она первое за весь разговор слово правды. Не знает ли профессор кого-нибудь, кто нуждается в кассирше, служанке, горничной, посудомойке, полотерке, она согласна на любую работу, даже без жалованья, за стол и жилье.

Почему ты не захотел родиться в Дерпте, Эммануэль? Она поцеловала пальцы, определившие узость ее вагины. Он устроил ее у родного брата-булочника. Утром булочка с кофе, днем –

обед. Работа – вечерами, чтобы она продолжала медицинский курс. Ее все любили. Чистые немцы, порядочные люди. По заду похлопать – это максимум, что они позволяют себе, прежде чем доброжелательно поинтересоваться, как поживает Ганс.

Она воровала булочки.

Это была единственная еда твоего отца, Эммануэль. Работать ему было некогда – гидромеханика, электроэнергетика, амперы и вольты, Кропоткин и Каутский, рефераты и доклады о текущем моменте, где ж тут работать. Что она принесет, тем и живет. Личное для него не существовало, с ним надо подождать до Всемирной Революции, тогда все сразу станут счастливыми, ну да ладно, она уж и согласна была терпеть, но тут – бах! – товарищ Алеф – провокатор, член ЦК работал на охранку, смерть провокатору, приговор привел в исполнение верный член партии Григорий Пospelов, он же Гохберг, бах-бабах, наш пострел всюду поспел, будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю.

Вместо революции случилась война. Почему бы не остаться там? Но Гриша не мыслил свою жизнь вне России. Он отдал себя на служение ей. Надо бы, наверно, спросить Россию, хочет ли она этого, товарищ Григорий Пospelов. Дерпт стал заграницей, образование она довершила на курсах. Была сестрой милосердия в военном госпитале, хирург Забозлаев отрезал гангренозные ноги плотницкой пилой. Не раздевалась и не мылась два месяца, какие-то боли в боку начались, Катя Кочерыжкина научила разбираться в травах, она спасалась ромашкой. Кочерыжкина вышла замуж за большевика Серегина. Большевик сначала присматривался по старинке: семь раз примерь, один отрежь. Хотел жениться то на Кате, то на ней. Катя шуганет – он, обиженный, к Бете за утешением. Катя предупредила: отобьешь мужика – возьму грех на душу, изувечу. Она и не собиралась отбивать. Под рукой костыль держала – кто-то помер, остался костыль, она утащила на сеновал, чуть что – вот сейчас оглоушу, сгинь, нечистая сила.

Катя поехала с ним в Москву, звали и ее. Большевик Серегин ознакомился с трудами большевика Александры Коллонтай. Таким стал образованным, что захотел зажечь втроем дружной революционной семьей. Катя свою необразованность скрывала, теорию одобряла, но с проверкой практикой не слишком спешила. Вдруг ей стало мешать, что от подружки воняет. Будто она, Катя, сама благоухала незабудками. Ну да ладно, и сама не хотела такого мусульманского большевизма. Подалась к своим, на юг, а своих-то – Ханочка в бакалее тетки Розы и дядьки Абрама.

Царские десятки за дом Ротманов давно стали пустыми бумажками, власть принадлежит народу, все остальное – революционное искусство Хаима – экспроприировано Изяславом Горячим по мандату ревкома, мандат от слова манда. Товарищ Горячий как-то показал снимочек. Спасибо, что сохранили, товарищ, а то ведь и не верится, что такая была, кожа до кости остались, я

понимаю, вас и это устроит, но я еще триппер не совсем вылечила, это вас, наверно, устроит меньше.

Зажили вдвоем с Ханочкой. Молчун Наум им кровать сколотил, тюфяки приволок. Она с доктором Катасоновым и фельдшером Натальей со вшами сражается, роды принимает, Ханочка в ревкоме на ундервуде стрекочет. Ночами Ханочка стонет, плачет во сне, а она лежит без сна, на дверь смотрит. Там дырки от сучков иногда блестят от лунного света, как чьи-то глаза. Ханочка, прежде чем заснуть, десять раз щеколду проверит, тут уж Наум особо постарался, чтоб его сокровище не похитили, — дубовая щеколда, железные петли, такие на амбар вешать, они висят, к воздуху прикрученные. Да уж ты, Наум, для верности и сам бы здесь лег, между нами, — смутился так, что потом неделю на глаза не показывался, Ханочка обижалась — ну что у тебя, Бетя, за язык поганый такой!

Тебе-то хорошо говорить, сама-то спишь. А ведь щеколда-то вдруг двигаться начала. Хибара на честном слове держится, за крыльцом начинается большак, волки воют, и кто-то в дверь скребется и по имени зовет. Тихо, чтоб не разбудить Ханочку, откинула щеколду, — давно не виделись, Гриша, что нового, приговор смертельный — это ли для нас новость.

Ханочка с утра до ночи в ревкоме, стучит и стучит пальчиками. Товарищи Горячий и Гладкий повадились вечерами диктовать депеши и указы, где революция, там резолюция, Севастопольский морячок Гладкий диктует до глубокой ночи, потом до дому провожает, а там тифозный бредит, пить просит, и Ханочке надо как-то спровадить, не дать приблизиться, узнают, кто укрывается, всех шлепнут. Врать она не слишком горазда, однажды Гладкий услышал стоны, насторожился: это еще кто, она и лягнула: это Наум храпит, подмастерье у столяра Эпштейна. Ясное дело, что еще она придумать может, когда у нее только одно на уме. Науму открылись. Да без него бы и не выходили. Впрочем, кому на роду написано, что своей смертью не умрет, тому тиф не страшен. Оклемался.

Другой бред начался: революцию предали, в Европе тоже делать нечего, но он прочел книгу Герцля, она его голову правильно поставила: есть место на земле, где он нужен.

Всегда у него начинается с книжки. Гриша едет в Палестину. Кого ж ты там будешь стрелять, Гриша? Он едет не стрелять. Он едет строить. Гидроэлектростанция. Электрификация. Передовое учение Карла Маркса и Теодора Герцля. Она ничего про все это и не знала. Это Ханочка рассказала. А Ханочке рассказал Наум. Они с Гришей до утра обсуждали. Бедный малый, мало ему толстовца Авдея, так еще пламенный сионист Пospelов. Какая голова это выдержит? Уж не Наума Рогова. Гриша звал с собой. Тот бы и рад землю пахать, как граф, но ведь сестры, отец, мать, куда ему...

Она бы поехала. Только бы он взял. Бросила бы Катасонова, Наталью, не простила бы себе, что бросает, когда тиф со

всех сторон, а они уже из последних сил, живые мощи, но бросила бы. Он не захотел. Это ведь через степи, через Бесарабию и Турцию, вот устроится на месте, тогда... Опять надо ждать светлого будущего. Не по Марксу, так по Герцлю. Мужчинам это привычно, а женщина иначе устроена, дело в том... это уж так природа распорядилась... дело в том, Гришенька... это, понятно, мелочи в сравнении с великими свершениями... дело в том, что у меня ребенок будет, вот в чем дело. Когда старец Авдей привет из Палестины принес, четвертый месяц беременности пошел. Авдею верить нельзя, но Туманян, который теперь большевик и Туманов, а когда-то вместе с Поспеловым в эсерах Алефа к смерти приговаривал, комиссар Туманов письмо-то, прибывшее из Швейцарии, не затерял, принес, обманул партию, взял грех на душу, товарищ Берта, вы понимаете, узнает кто-нибудь об этом письме, меня к стенке поставят. Она бы, наверно, и без этого письма поехала.

Твоя мама, Эммануэль, не профессор. Это немецкие профессора бывают мистиками, а еврейка с узкой вагиной, которую кто только не пытался обрюхатить, — она не годится для возвышенного миропонимания. Но все же, все же, почему ты выбрал такое неподходящее время? Добряк Ригер убежден, что в этом должен быть какой-то мистический смысл. Где он? Ночи мама не спит, а днем живет, как во сне, как будто кто-то взял и поменял местами день и ночь, явь и сон. Это жизнь такая стала, и если случается час, чтобы присесть, забыть про больных и обнаружить вокруг жизнь, мама никак не может придумать хоть какой-нибудь смысл. Матросик грозит маузером старому доктору, прыщавый мальчишка выкидывает из подводы умирающих, и пока мама с Катасоновым и Натальей мотались по хуторам, из всех щелей в городе полезла новая жизнь, жадная, цепкая, уже празднует победу, пухленькие местечковые красавицы щеголяют в шелковых платьях, жидконогие молодые люди покрикивают на нерасторопную деревенщину... Мама решилась.

Ханочка молодец, ни секунды не сомневалась — идут вместе. Да ведь и не идти же в самом деле одной — до Херсона не доберешься. Все-таки пробовала отговорить, но вот чего нельзя с Ханочкой делать — это обсуждать. Слов у девушки нет, одни слезы. Один ответ на любое возражение — истерика, а переубедить невозможно. А как же, Ханочка, твой Наум? И спросить нельзя, сразу слезы. Какой уж Наум, тут страшные дела намечаются, сам товарищ Гладкий, бывший матрос и сифилитик, на Ханочку глаз положил, пока по-хорошему разговаривает, но надолго его не хватит, повадки товарища известны, разговор у него короткий: только пикни, контра, будешь комиссарские сапоги лизать... Собирается Ханочка в дальнюю дорогу. Как говорит толстовец Авдей, мужику собраться — подпоясаться. Так что планы у нас немудреные, Наум. Утречком с солнышком потопаем. Спасибо тебе за все.

Она впервые узнала, какого цвета у него глаза. Уставился, не мигая. Они серые, непонимающие. Нос картошкой, волосы со-

ломенным горшком, старый Рогов заимел сына-гоя. Про женский грех при Ханочке нельзя говорить, известное дело, у Батьи поганный язык, девушка-то наша мало в грехах смыслит, перезрелка двадцати четырех лет.

Наум хозяйским движением развязал котомку, посмотрел, что у них с собой. Мужик спокойный, лишнего не говорит. Лучше бы до рассвета, по подмерзшей за ночь земле, днем развезет – идти будет трудно, знают ли дорогу, есть ли знакомые. Дороги-то она с Катасоновым своими ногами перемерила, а знакомые, так свет не без добрых людей.

Ночью пришел будить. У крыльца подвода Эпштейна. Он с ними до Херсона. А как же отец, сестры? Хоть сказал им? Им скажешь – поперек большака лягут...

Ханочка даром что клуша клушей, революционную печать с собой взяла, и не раз та печать выручала. Лошадь у них украли в Херсоне вместе с подводой. Наум бегал по городу, всматривался во всех пегих кобыл, лошадь не нашел, но привел Володю-сиониста с котомкой за плечами и фибровым чемоданчиком в руке. В котомке были брошюры и номера сионистской газеты «Адавар». Володя чуть ли не первым делом три золотых рубля показал, зашитых в рубище, – мол, до Яффо хватит, а там свои. Простак, показывающий при первой встрече незнакомым людям свое золото, – как видно, самые светлые головы собрались в Палестину, один другого лучше, что Володя, что Ханочка, что Наум, да и она, брюхатая коряга, компании не портила. В Херсоне их приютил горбатый раввин, они для него уже как святые были, пусть отсохнет у меня правая рука, если я забуду тебя, Иерушалаим. Они явились в канун субботы, старик водил их в микву смыть с себя вшей, вымылись сначала мужчины, потом женщины. Им постелили на настоящей кровати.

И тут Ханочка, после миквы розовая, как херувим, проявила характер. Наума, который собрался уже лечь во дворе, удержала рукой. Володе-сионисту пришлось коротать мартовскую ночь во дворе у поленицы. Составив ему компанию, слушала в темноте про разницу между плоховатой идеологически «А-Позль а-цаир» и замечательной «Позль цион». Утро выдалось тихое, ясное, они брели из синагоги через пыльную площадь, там какая-то жалкая торговлишка шла, Наум приблизился, выискивая пегих лошадок, на одной подводе стоял товарищ в кожанке и пенсне, кричал в толпу, какая замечательная жизнь для трудового народа начинается, Наум послушал, и этот товарищ вместе с раввином сняли с простой его души камень, при такой-то замечательной жизни не пропадут без него сестры, отец с матерью и старик Эпштейн, и если потом он в смертной тоске и слушал про подвиги Петлюры в еврейской черте оседлости, то возвращаться уж было поздно.

Куда-то все задвинулось, однажды холодной апрельской ночью сидела в темноте на черном камне, невидимое море шипело у ног и рокотало впереди за утесом, не первую ночь они прихо-

дили к этому утесу, как велел контрабандист-турок, имени которого ни выговорить, ни запомнить нельзя, то ли он каждый день врал, то ли они не понимали, каждый день он клялся, что вчера они не там ждали, он, мол, был в назначенном месте. Боялись, что просто заманивает, чтобы убить, уверенный, что едут при деньгах. Счет времени давно потерялся, она была обузой для всех. Володя-сионист исчез, может, сбежал от них, может, убили турки доверчивого дурачка с золотыми рублями, а Ханочка и Наум что-то решали, то торопили, то, наоборот, заставляли спокойно ждать и не волноваться, и вот, задремав на мгновение, встряхнулась оттого, что в темноте ударило по лицу мокрое и холодное, оглушил вопль: «Не надо!» Такой силы был этот крик, что у нее началась истерика. Как же он так? Она ради него живет из последних сил, она бы уже свалилась, но ему нужна ее кровь, ее соки, он растет, ему уже много требуется, и если его не будет, то какой же во всем этом смысл? Как же он может так: «Не надо»?!.. Подошла лодка с полуголыми гребцами, Наум перенес на руках, потом только волны, ее рвало, и она поняла – он хочет жить.

* * *

...Море спит, на него, как на солнце, невозможно смотреть. Слепящий свет и есть солнце, отраженное поверхностью, а море – это тьма, и мы его не видим за отражением. Когда-то здесь в кафе на берегу сидел писатель Артур Кестлер, смотрел на море, оно было таким же, и каменные древние стены, к которым примыкает арабское кафе, были теми же, тот же возвышался минарет. Кестлер написал знаменитый роман «Слепящая тьма». Не здесь ли родилось это название? Мимо течет толпа туристов, толчется у арабских и еврейских лавочек. В нескольких шагах качаются яхты, щегольские, богатые, сверкает красное дерево, темный лак, начищенная бронза, стекла иллюминаторов, на бортах висят красно-белые спасательные круги и таблички «На продажу» с номерами телефонов. На одной яхте, совсем рядом, стоит загорелый супермен в пропотевшей темной майке, с белой бородой под Эрнеста Хемингуэя, морской волк. Он может попросить кофе – арабский парень подаст чашку прямо с берега. Русские голоногие туристки поглядывают на него. А ты, сидя за столиком перед чашкой, ты сам – отражение Кестлера, Хемингуэя и других писателей, ты много читал, ты вспоминаешь Платона, писавшего за два с половиной тысячелетия до нас: мы все подобны сидящим у входа в пещеру, свет за нашими спинами, мы отбрасываем тени перед собой в глубину пещеры и принимаем их за мир, но дано нам видеть только тени. Но ты не Платон. Ты и теней не видишь. Тебя ослепляют отражения.

Если не сам Платон, то кое-кто из знакомых ему афинян приплывал в эту гавань, приставал к берегу – Яффо был тогда оживленным портом. Потом на два тысячелетия оживление схлынуло, и когда в девятнадцатом веке сюда снова потянулись

евреи, корабли становились на якорь у жалкого городишки среди безжизненных дюн, и жители старого Яффо, арабы, тотчас спускали лодчонки, мчались наперегонки, привлекая криком, а в шторм бросались в воду в одежде, принимали каждого прибывшего на плечи и переносили на берег. Лодки перевозили сундуки и кофры с одеждой и посудой, ящики с мебелью, немецкими швейными машинками и даже с немецкими плугами, так здесь и не понадобившимися – европейский плуг переворачивает землю, и она теряет последние остатки влаги. Спущенные с плеч на эту сухую землю, евреи в кипах плакали от счастья, а арабы прыгали вокруг них, требовали бакшиш.

Что же эти евреи ожидали здесь увидеть? Мессию. Он явится именно сюда, в древний Экрон, где когда-то чудом был возвращен украденный филистимлянами Ковчег Завета. Мессия явится на ослике, и они окажутся первыми, кого он увидит, первыми, кто увидит его. Как крестоносцы до них, они пытались найти город Экрон. Как и крестоносцы, ошибались, принимая за Экрон другие древние курганы. Умирили от жары, лихорадки и голода. Барон Ротшильд, узнав о них, стал помогать деньгами. Их Экрон, когда обнаружилась ошибка, он назвал «Мазкерет-Батья», память о Батье, чтобы святые безумцы за его деньги помолились о его матери Батье Ротшильд.

Тени мы или отражения, оптика та же, великий Платон прав: источник света всегда позади нас, если не в пространстве, то во времени, хоть и кажется нам, что он впереди. Движет нами то, что Лев Толстой назвал энергией заблуждения. Мессия подвел безумцев, не явился им. Следующие группы переселенцев не думали о нем вообще. Они ехали, чтобы своими руками возделывать землю. Общины Европы собирали гроши, чтобы купить здесь клочки плохонькой земли, безводные холмики и заболоченные низинки. Король Фейсал, влиятельнейший из арабов, писал, что евреи помогут арабам возродить этот погибающий в забвении край, вдохнут в него жизнь, и два народа будут трудиться рука об руку. Все-таки, это были дети девятнадцатого века, верящие в прогресс, как в Мессию.

Лишь один из пяти оставался здесь, четверо возвращались в Европу с тьмой в душе. Оставшиеся погибали, как их предшественники. На окаменевших холмах ничего не росло, кроме могил. Посеянное в речных низинах смывало зимними дождевыми потоками. Болота губили малярией. Многодетные семьи вымирали полностью.

Опять заблуждение? После мировой войны, когда Палестина перешла к англичанам, поехали новые люди, идейные сионисты. Они писали книги, статьи, письма, протесты, протоколы, апелляции, партийные резолюции, решения комитетов, комиссий и конгрессов, спорили друг с другом, опровергали друг друга, эти бумаги составили библиотеки. Известно, что после какого-то конгресса Макс Нордау сообщил Герцлю: «А вы знаете? Там, оказывается, живут арабы».

Все заблуждались. Но самые разные, ничем не связанные друг с другом заблуждения приводили к одному и тому же – люди становились невменяемыми и ехали сюда. Что-то двигало ими, чего они не могли понять, объясняя каждый в меру своего разумения и всегда неправильно. Что же это было? Как будто кто-то играл какую-то неведомую азартную игру. Швырял карты на стол одну за другой, их били, а он вытаскивал из колоды новую и снова швырял. Не выигрыш интересовал его, а какой-то свой интерес. Людские ошибки и беды его не останавливали.

Хочется отгородиться от всего этого. Это так далеко от слепящих бликов в гавани Яффо, от стайки легконогих славянок, догоняющих парня с наколками на блестящем от пота теле, черном и гибком, как у Вельзевула, в переводе с древнего языка – Повелителя Мух. Над частоколом мачт плывет в голубом небе оранжевый дельтаплан, и жить надо, не задумываясь, ловя момент, благодарно и лениво, как столетиями жили арабы, и тот, кто принес кофе, делает это так же, как те, кто требовал бакшиш с Володи-сиониста, охрипшего в политических спорах уже в трюме «Виктории».

* * *

Арабы-трудящиеся мне ближе, чем английские капиталисты, говорил Володя-сионист, я такой же, как они, вот мозоли. И он показывал слушателям руки, натертые бечевкой, заменившей ручку фибрового чемоданчика. Слушателей его мало интересовали арабы, а спорили они потому, что иначе не умели разговаривать. Если бы Володя-сионист говорил, что ему ближе английские капиталисты, они бы так же спорили – без азарта, но упрямо. Они знали, что ближе всех Володе-сионисту они, голодные горемыки в грязном трюме ржавой лохани, и с этой близостью ему уже никогда ничего не поделаться. Слушали и Ханочка с Наумом. Бетя, сильно ослабев, все время была в забытьи. С тех пор, как из палубной толпы к ним бросился Володя, они снова ехали вместе.

Ханочка не сводила с Володи глаз и не вникала в слова. Они не всегда были и понятны, но она с младенчества привыкла жить среди непонятных идишских, русских, ивритских, украинских слов, не тратясь на их осмысление, – осмысление мало добавляло к музыке, которую слышала, может быть, одна лишь Ханочка. Музыка сводила вместе переливы голоса и переливы слов. Голос Володи был уверенный, доброжелательный к слушателям, и он успокаивал Ханочку. Собственно говоря, внимательно слушал один лишь Наум Рогов. Он зачарованно обнаруживал, что слова проникают в душу, не задерживаясь в сознании, – принимая все, что говорил Володя, Наум не мог запомнить ни одной его мысли. Откуда ему было знать, что дело тут не в Володе, а в Ханочке, что уже установилась какая-то новая ее власть над ним, – откуда ему было знать, если она и сама не

подозревала об этом. Возможно, Наум обладал особым свойством, возможно, он не отличался от всех других людей, – сидя рядом с Ханочкой, положившей голову ему на плечо, он начинал жить ее чувствами, слова Володи доходили до него через Ханочку, преобразованные ее настроением, и ее доверие передавалось Науму. При этом Наум не потерял собственного отношения, его раздваивала несообразность сильного голоса Володи с хлипкостью фигуры, а Володины рассуждения вызывали чувство неужюта, поскольку напоминали рассуждения Изи Прейгерзона и были ненавистны Гохбергу, который – это даже не подвергалось Наумом сомнению – ошибаться не мог. И вот как-то это все совмещалось в голове, не мешало друг другу – Наум единственный слушал с интересом.

У нас с арабскими феллахами общие классовые интересы... английские тред-юнионы поддержат... большевики будут помогать... Русско-Палестинская компания... государственная собственность... Вейцман и Чертов недооценивают... судьба Палестины зависит не от решений английского кабинета министров, а от того, как будет возделывать участок собственной земли еврейский крестьянин!

Из трех его золотых царских рублей, когда он выбрался на берег Яффо, остался один в английских фунтах. Пока Володя расплачивался с лодочником, чемоданами завладел хозяин какой-то гостиницы. Он долго вел по кривым улочкам среди лачуг, иногда останавливался, словно бы сомневаясь, правильно ли идет, и Наум заподозрил неладное – не случайно они плутают по этому безлюдному лабиринту, сейчас провожатый сбежит с чемоданом или прирежет, и чем дальше удалялись они от берега, чем беднее становились лачуги вокруг, тем больше утверждался он в подозрении, на всякий случай держась поближе к Ханочке, готовый защитить, пока они не пришли, наконец, в какое-то несуразное строение с запахом помоев, лужами на каменном полу и комнатенками на разных уровнях.

В сумерках Володя и Наум сидели за столом на плоской крыше своей гостиницы. Кроме них там сидели четверо или пятеро оборванных постояльцев. Хозяин, изображая расторопность, поднялся на крышу с кофейником, поставил две чашки и налил кофе только Володе и Науму. Обойденные старались не смотреть на кофейник. Вскоре выяснилось, что все ждали «Викторию» и теперь возвращаются в Европу. Володя как-то пропустил эту подробность мимо ушей, торопясь объяснить всем, почему он здесь. Слушатели изображали изумление: ах, пан приехал работать?.. где же пан намеревается работать, в банке или в мандатной комиссии?.. ах, евреи должны работать своими руками в поле, вот как... какое же поле имеет в виду пан, может быть Елисейские поля?.. ах, цитрусовые, но разве цитрусовые растут в поле, может быть, может быть, я-то полагал, что на плантациях, но пану лучше знать, а что же, прошу пане, будут делать арабы, когда пан уволит их и будет работать на цитрусовом поле

сам?.. Что он такое говорит? Он говорит, что феллахи – братья по классу. Вот как? А они об этом знают?.. Извините, что я вмешиваюсь в ученый разговор, мне не совсем понятно, любезный, вы сказали, что физический труд обогащает человека, вы имели в виду Ротшильда? Тогда я не в курсе, кто ж обогатился. Ах, вы имели в виду духовные ценности, ну разумеется, отчего же не понять, то-то, я смотрю, арабы такие духовные, они и крадут от высокой духовности, и посева травят из-за нее же, оставь его в покое, пан приехал из России...

Слушатели Володи мало-помалу разошлись. В темноте крыша как бы чуть-чуть кренилась, как палуба корабля во мраке моря. Остался кто-то один, видимо, такой же говорун, как Володя, или просто человек устал от молчания. Никто здесь не задерживается, сказал он, все уезжают. Кто занимал участок и получил помощь Ротшильда или Гирша, нанимает арабов. Еврей не выживет на те деньги, которые получает араб. Одно дело, если ты приходишь на приработок из собственного дома, где есть козы, овцы, куры, где маслина растет и свой виноградник, где тебе не надо платить за жилье, и другое дело, если ты из этих денег должен платить за стол и ночлег – их на это не хватит. А тот, кто тебя нанимает, не может платить тебе больше. Семью на эти деньги не заведешь. Так ведь еще и поди найди хоть какую работу! Понаехали из местечек, пооткрывали лавочки, мастерские, а теперь все разорились, работы даже для арабов нет.

На Володю эти разговоры не действовали. Он заранее не относил к себе слова этих людей. У него было письмо к земляку из Бобруйска, известному писателю, он не собирался терять ни дня, и утром едва ли не вприпрыжку сбегал по узким арабским улочкам – куда ни свернешь, все вниз и все к морю, ему в северный Яффо, где строится первый еврейский квартал, – под горячим апрельским солнцем стало даже жарко, он начинал отогреваться от страшной последней зимы, дышалось легко, как никогда в жизни, он опьянел от восторга.

Известный писатель жил в еврейском пригороде. Пока он, нахмуясь, читал письмо, Володя начал рассказывать, потом заметил, что его не слушают, спохватился – вечно он торопится, не дает людям опомниться! – и замолчал. Писатель не заметил, что Володя замолчал. Пошел в сени за кружкой – он жил в доме друзей, маленьком, новеньком, хозяйка старалась создать уют, как в родительском доме в Бобруйске, занавески повесила, под окном герань посадила, поливала ее из окна, писатель нашел кружку на подоконнике, зачерпнул воду из ведра, искал глазами вторую кружку, не нашел, понес гостю воду. Гость нуждался в помощи, пришел за ней, а чем он мог помочь? Почему-то он чувствовал свою вину. Он привык к этому чувству вины перед всеми, как к изжоге. Он ждал – Володя уйдет, он сядет делать номер завтрашней газеты, и чувство на время отпустит, отвлечет работа.

Так – работой – обычно справлялся со своим чувством вины и человек, который сидел за столиком кафе в Яффо и наблюдал

за продавцом прогулочных яхт, воображающим себя Эрнестом Хемингуэем. Хемингуэй, кстати, учил, что писателю нужно уметь не думать вечерами о своей работе. Думать о мрачном, сидя за столиком у моря в благостный майский вечер, было глупо. Человек засомневался: есть ли у него право описывать чувства известного писателя, именем которого названы улицы чуть ли не в каждом израильском городе? Есть ли у него право описать то давнее отчаяние? Что он может о нем знать? Он имеет право писать только о себе... Да я и пишу о себе, догадался он. Все пишут о себе. Тут одно из двух: есть между всеми нами связь или ее нет. Если она есть, то мы все имеем право писать друг о друге. Если нет, то и о себе писать бессмысленно.

* * *

Так мы все приезжали, начитавшись книжек. Разбив сердца отцов и матерей. Хозяин гостиницы немедленно обобрал меня до последней турецкой лиры. Но я был счастлив, я пел, шагая по твердой, как камень, дороге из Яффо в начинающую свою жизнь еврейскую Петах-Тикву. Солнце стояло над самой головой, тень была меньше, чем шаг. На обочинах ничего не росло, бедуин ехал на одnogорбом верблюде, я махал ему рукой. Все люди были мне братьями. Впервые в жизни я чувствовал право на их уважение: я решился, разорвал путы, чтобы жить достойно, кормиться плодами трудов своих рук. Показались зеленые кроны деревьев – обетованная жизнь среди бескрайней каменной пустыни, подвиг тех, кто приехал раньше меня.

Маленькая улица, одинаковые домики. Не видно ни людей, ни кур, ни собак. Что-то в этом есть суровое, как в солдатских казармах. Постучал в первый дом, попросил воды. Еврей в ермолке, помедлив, вынес кружку, но в дом не пустил. Он смотрел недружелюбно, отвечал как человек, который устал от глупых вопросов. А вопросы были обычные: нет ли работы, где она может быть, где можно устроиться с ночлегом... Получив назад кружку, человек захлопнул передо мной дверь. Я не мог понять его враждебности. Я и сегодня думаю о ней и не могу ее понять. Может быть, дело в том, что дом его стоял на краю поселения, и все, кто приходил из Яффо, стучались к нему. Я без сил сидел в тени чахлой оливы. Вечером на улице появились мужчины в сюртуках и женщины в нелепых шелковых платьях. Они шли в синагогу. Вышел и тот, кто дал мне воды. Прошел мимо: я уже превратился для него в невидимку... нет, хуже, я источал какую-то опасность для него.

Через две-три недели таких блужданий теряешь ощущение себя. Сначала привыкаешь к чувству голода. Оно привычно точит, не исчезает и во сне, и о нем не думаешь. Перестает мешать приклеивающаяся к телу потная рубашка и сухая корочка на губах. Перестают чувствовать раскаленную почву босые ноги. Солнце смертоносно, мир окрашен в цвета пепла, ты внутри пе-

чи, и ты сам превращаешься в сгоревший прах. Перестают тревожить сожаления, надежды и страхи, мысли съеживаются, остаются самые простейшие. Иногда ты оказываешься рядом с такими же людьми, как сам, спишь вместе с ними на каком-то земляном полу, пьешь воду, что-то жуешь. Молчишь, когда молчат они, улыбаешься, когда они смеются, все это происходит как будто не с тобой, тебя, вроде бы, уже нет.

Ранним утром мы стоим на бирже труда. Это обычный местечковый базар. Арабы приходят с инструментом, у них мотыги, садовые ножи, торбы из козьего меха, иногда – прутья саженцев. Они не тяготятся своим положением, у них есть здоровый интерес ко всему, что происходит вокруг. Спесивые евреи, как-то позабывшие, что живут на подачки Ротшильда или Гирша, мнят себя хозяевами. Они набирают работников на день. Останавливаются около какого-нибудь араба с мотыгой на веревке за плечом. Тот, не торопясь, поднимается, и начинается базарный торг. Арабы говорят громче евреев, больше жестикулируют, сверкают доброжелательными глазами. Их разбирают всех, они уезжают на подводах, а мы, неимущие евреи, остаемся.

Я дошел до Иерусалима. Кривые улицы разбегаются, как трещины в каменной плите, как ущелья в серой скале, однажды расколотой ударом карающей десницы. Образовавшиеся пропасти обтесаны по форме человеческих домов, приспособлены для выживания, на серых фасадах слепо отсвечивают вековой пылью оконца и деревянные ставни. Люди тут как ящерицы, прижившиеся в расщелинах, маленькие и юркие. Черные сюртуки – как удлинненные тени серых волосатых голов. Черные тени собираются на самом дне бездонного ущелья и ритмично подрагивают, торопясь негромкой скороговоркой прочесть свои молитвы, пока их не прогнали. Они торопятся так много веков подряд, изо дня в день. Безрадостные молитвы похожи на поминальные по той здоровой жизни, которую никто здесь давно не помнит. Жизнь замерла много веков назад, все неизменно, как восход и заход солнца. Наверно, и тут есть страсти, и тут бьется мысль, но в это невозможно поверить. Я бегу. Я еще, оказывается, живой.

Бреду назад в Яффо, оттуда вдоль моря – в Зихрон-Яков, где есть винный завод Ротшильда. Работы на заводе нет. Кто-то говорит, что на берегу Кинерета поселились социалисты из России, собираются выращивать овощи. Продолжаю путь на север. Дорога идет среди виноградников, я уже не умру с голода.

Я добрал до самого берега, вошел в прохладную пресную воду. Солнце пекло сильнее, чем в Яффо. Ни одного живого существа не было в этот час ни в воде, ни в небе, ни на берегу. Слепящая водная гладь, по ее кромке змеится желтая кайма высохших камышей на обмелевшем берегу, за ней каменистые холмы и заросли кактусов в ложбинке между ними, там, где весной сбегал в озеро ручей. В некоторых камнях угадываются остатки древних развалин. Из них сложено какое-то строение без крыши, судя по всему, безжизненное, как все вокруг.

Там оказались ящики с рассадой, стол и табуретки, тюфяки, набитые сухими камышовыми метелками. Труха из них покрывала земляной пол. Я сел на штабель тюфяков, тут же повалился набок и заснул. Разбудил невысокий крепкий человек, назвался – Гирш Гохберг. Я отвык, что люди при знакомстве называют свое имя.

Гирш вместе с управляющим набирали *квуцу*, сельскохозяйственную артель. В Зихрон-Яков предупреждали, что к ним просились многие, и они многим отказали. Я, в общем, не родился для физической работы – маленький, тщедушный, всю жизнь болел. Но Гирш меня взял. Не знаю, чем он руководствовался при отборе. В тот же день он взял парня, который никогда в жизни не видел помидора.

Нас было двенадцать – пятеро девушек и семеро парней. Мы все жили в этом заброшенном арабском доме, сложенном из остатков древних римских бань. Парни на одной половине, девушки – на другой. Работали с рассвета до десяти вечера. Сажали кольраби и баклажаны, таскали воду, поливали... Все посадки сгорали на жутком солнце. Мы надеялись на осень. А когда жара спала и начались дожди, обнаружилось самое страшное: рядом было малярийное болото. Нас, полуголодных, обессиленных тяжелой работой, малярия трепала с особой силой. Больные лежали на тюфяках вперемешку со здоровыми, которые за ними ухаживали. Одни выздоравливали – заболевали другие. Я заболел одним из первых, потом снова заболел в марте, когда оживились после дождливой зимы комары. Ждал смерти и заранее смирился с ней. В голову будто кто-то всадил раскаленное железное копье, каждое движение причиняло острую боль под черепом...

И все же, убивала не малярия. Приступы проходили, боль успокаивалась, а слабость все росла и росла. Плохая еда и непосильный труд делали свое дело. Рано или поздно каждого из нас постигало истощение.

Начинаясь с мышц, оно доходило до нервов и мозга, иссушало их, и начиналась тоска, которая бывает лишь у тех, кто теряет слишком много крови или переступил предел усталости. Это чувство надо испытать самому, его не поймет тот, кто никогда не доходил до этой степени истощения. Кажется, тебе надо сесть, ты садишься и в ту же секунду понимаешь, что сидеть не можешь, тебя что-то толкает изменить положение. Встать? Нет... Лечь?.. Невозможно... Невозможно лежать, сидеть, ходить – жить. Ничего в тебе не осталось, кроме способности безрадостно и бессмысленно работать и томиться тоской.

Мы жили вместе, и каждый страдал от жуткого одиночества. Каждый приехал, чтобы стать сильным и гордым, мы запретили себе быть слабыми и жаловаться. Это было страшной ошибкой. Мы скрывали друг от друга и усталость, и боль, и тоску, и разочарование в себе. Но если не жаловаться, не искать поддержки, то зачем тебе другие? Они лишь раздражают. Мы сходили с ума от ненависти друг к другу. Мы не давали ей ходу все из той

же гордости, чтобы не уподобиться местечковым еврейчикам, не затеять местечковую склоку, не обнаружить в себе еврейскую нетерпимость. Во всех человеческих проявлениях своих соседей я видел только ненавистное мне еврейское местечко. От него было не убежать. Но так видел каждый – и значит, видел это и во мне. Раздражительность, мелочность, себялюбие, нечистоплотность, жадность, завистливость, злобность... И все же мы не набрасывались друг на друга. Что-то нас берегло: Платой за это была ненависть к себе.

Мы не прощали себе приступы ненависти к другим и, как скорпионы, жалили самих себя. Испытание самоубийства становилось маниакальной идеей. Девушкам было тяжелее. Их больше унижали нечистота и невозможность укрыться от чужих глаз. Они поставили себе задачу ни в чем не уступать мужчинам, не желали никакой скидки на свое женское естество, но одновременно с этим страдали оттого, что теряли женственность, что плохо пахнут, что кожа их шелушится, изрыта прыщами и гнойными язвами, а распухшие ноги напоминают колоды. Мы и не относились к ним, как к женщинам, и сами они старались быть грубыми и циничными, как мы. Нежная Сара была в России фельдшером, она уехала от несчастной любви, мы не могли бы и вообразить любви, мы слишком ожесточились для этого.

Мы слишком много на себя взяли, и в результате теряли желание жить. Кинерет затягивал. И Сара не выдержала. Ее тело нашли в озере на том самом месте, где она бросилась в воду. Оно отпугивало диких уток. Не прошло и месяца – Лиза. Шимон из Гомеля повесился. Наверно, потому, что где-то раздобыл веревку. Из двенадцати – четыре самоубийства. Взяли четверых новеньких. Гирш Гохберг сказал: он себя убивать не будет, он знает, кого он убьет. Все понимали: он говорит о Дрейфусе, нашем управляющим. Тот жил в отдельном домике, считалось, что он агроном. Может быть, он и был агрономом в Европе, здесь от этого не было никакой пользы. Но решения принимал он. Мы пытались устраивать обсуждения, он это пресекал. Конечно, принимая ответственность на себя, он был в чем-то прав. Он отвечал перед «СКО», оно давало деньги, хозяйство же наше приносило одни убытки. Нас кормили подаяния, которые собирались в нищих синагогах тех местечек, откуда мы уехали, чтобы стать гордыми и независимыми. Мы винули Дрейфуса. Конечно, он мог бы быть человечнее, но ведь и он жил так же, как мы, откуда было взяться человечности? Или самоубийства и были единственно возможной человечностью?..

Земля нам мстит. Мы как растение, которое когда-то с корнями выдернули из земли. Растение засохло, и бесполезно пытаться посадить его на новом месте. Земля не принимает, отказывается родить для нас. Наши семена не дают всходов. Мы можем только разрушать, как Гирш. Или убивать себя, как Сара, Шимон и Лиза. Это тоже разрушение старого мира. Нельзя изменить ни человека, ни народ, ни историю. Еврей – это то, чего

не может быть. У нас никогда не родятся Белинский и Добролюбов. Для этого нужен народ с некнижным прошлым. Мы ненавидели свое книжное прошлое, затхлую премудрость синагог, страх наших отцов и матерей перед жизнью, и что же? Мы стали ненавидеть сами себя. Мы сумели оттолкнуться от берега, но никуда не приплыли.

Арабы держатся за свое прошлое. Они не хотят меняться ни на йоту, пусть весь мир полетит в тартарары, они будут чтить отцов и хранить традиции, ненавидеть чужаков, топтать конями их посевы, терпеливо и осторожно выживать из своей страны, как они делали это на Кинерете. Арабы останутся, а нас не будет. И чем скорее мы исчезнем, тем лучше. Мы не имеем права на жизнь. Но нельзя сказать это молодому человеку, который вчера сошел с «Виктории». Он ждет, что я помогу. Он не поймет. Ну и хорошо, что не поймет. Надо его познакомить с молодыми. Он грамотный. Пусть отнесет гранки в типографию...

* * *

За кварталами пригорода Неве Цедек до самого моря тянулись песчаные дюны. У мечети Хасан-Бек Володя оглянулся. С холма ему открылась пустынная даль, над ней небо, не голубое, как в Бобруйске, не легкое, улетающее, а синее, ультрамариновое, жесткое. Волнистая линия желтых дюн тоже жесткая, без дымки, словно прорезана по небу резцом или прочерчена пером. Внизу – беленькие домики, чахлые молодые саженцы, никакой живности. Раскрашенная картинка из книги. Схема, которую поверх рисунка оживляет акварелью архитектор.

Архитектор строит «Город солнца», «Холм весны» – «Тель-Авив». А за Хасан-Бекком начинался Яффо, грязный, несуразный, нищий, весь из ломаных линий и острых углов, полусонный, ленивый. Володя направлялся к порту. Улочки становились оживленнее, все чаще попадались вывески с арабской вязью, летящей и разбивающейся на брызги, как морские волны под ветром на мелководе. Потом среди них стали появляться вывески с буквами из язычков черного замерзшего пламени. Тусклые, выцветшие и тяжелые, они придавливали покосившиеся еврейские лавчонки под ними. Володя отыскивал типографию. Несколько человек что-то обсуждали на идиш, жестикулировали, кто-то взял у Володи гранки и, продолжая спорить, сердито швырнул на стол, отчего они перемешались с другой стопкой. Володя пытался объяснить, что это такое, на него не обращали внимания, потом с удивлением эти гранки обнаружили на металлическом столе, оказалось, их давно ждут, набросились на Володю, мы, понимаешь, ждем, а ты молчишь... Что-то они затевали. Володя уже знал, что «Ахдут ха авода» – это рабочая партия, против нее были какие-то «мопсы», речь шла о демонстрации. Володя сообразил и ахнул: да завтра ж первое мая, праздник трудового народа, первомайская демонстрация, они

пойдут по улицам с флагами и «Интернационалом», будет даже две демонстрации, но какая глупость – еврейская, евреи должны идти с арабами, как они этого не понимают!..

Час спустя Володя уже чувствовал себя своим человеком, рассказывал о России, толстяк в круглых «добролюбовских» очках просил сесть за стол и написать очерк о «Виктории». Володя писать не умел, и толстяк, отмахнувшись от спорящих, увлек в угол, сел писать сам, продолжая задавать вопросы, перед ним поставили тарелку с лепешкой и бурой кашицей, хумусом, он разломил лепешку пополам, не глядя, сунул половинку Володе, показал, как надо макать в хумус. Рядом постукивал линотип, и Володя уже не мог уйти. День кончился, он остался вдвоем с очкариком – не толстяком (тот ушел), а другим, жилистым, морщинистым и черным, в белой фуражке. Очкарик связал газеты в четыре пачки. Запер типографию, и вдвоем потащили пачки в партийный клуб. Миновали французский госпиталь, очкарик показал двухэтажный дом с двориком за железными воротами: ты не здесь остановился? в гостинице? денег много? это «Дом олим», для таких, как ты, узнай, может быть, есть места, найди Тову Черкасскую, скажешь, от Меерсона ...

Возвращаясь в сумерках, около французского госпиталя Володя налетел на двух молодых дам, которых принял за француженок. Это были Бетя и Хана. В самых своих нарядных платьях ходили в госпиталь искать работу. Оказавшись около раскрытых ворот двухэтажного «Дома олим», Володя вспомнил, что Меерсон послал его к Черкасской. Ее нашли на втором этаже. Там в духоте и тесноте ругались люди. Какая-то старушка то ли плакала, то ли скандалила, ее успокаивали. Черкасская показала: подождите внизу, я скоро. Спустилась вниз, сказала, что женщин куда-нибудь пристроит, а мужчинам места нет, – усталая, расстроенная, она все же заметила колечко, которое Бетя утром выпорола из подкладки и надела на руку, рассмотрела и деловито сказала:

– Когда будете продавать, приходите ко мне, помогу, а то обманут.

* * *

Про таких говорят – простая, но эта Това совсем не проста. Это Володечка прост. А она глазастая. Углядела колечко. И в самом деле поможет. Перебраться, что ли, к ней? Зачем она Ханочке и Науму, им и без нее трудно. Что им делать в Яффо? Надо освободить их от себя. Продать колечко...

Ты как считаешь, не пропадем? Конечно, ты прав, нужно думать не о них, а о тебе. Если не мать, кто о тебе подумает. Ты молодец. Ты ведешь себя замечательно. Тебя даже не видно. Соображаешь, умница, что матери рано еще живот нагуливать, сначала нужно работу найти, с животом-то никто не возьмет. Вот найдем папу, тогда, может быть, немножко отпустим пояс, все-таки, это тебе вредно. А пока потерпи, будь конспиратором, есть

в кого. Учись у папы, он у нас большой конспиратор, его кто только не искал, здесь, может быть, тоже уже ищут. И мы по-ищем. Может, узнает про тебя, нормальным человеком станет. Он, в сущности, не самый плохой, бывают хуже. Значит, мы решили, возьмем вещички и – к тете Тове, Б-г не выдаст, свинья не съест. И госпиталь рядом, в случае чего. Не пропадем. Володя вот, похоже, уже устроился.

Он уже праздновал, этот шлемазеле, – завтра первое мая, демонстрация, между прочим, мог бы девушек кофе угостить в честь своего праздника, ух, какой запах. Тебе, наверно, кофе вредно, но что ж поделаешь, маме нужны силы. Ну вот видишь – никто нас и не угощает, все к лучшему. Наум где-то ходил весь день, нашел столярку, работа есть, правда, пока не платят, ну да как вы хотели, чтобы еще и платили, ишь ты, может, вам еще и кровать без клопов нужна, и воду для умывания вам подать, и чтоб комары не кусали?

Хозяин принес кофе и лепешки, он тоже колечко разглядел, оценил кредитоспособность: вы только пожелайте – он рыбу достанет, а клопов у него никогда не было, это босяки с собой принесли, завтра, Б-г даст, отчалит «Виктория» – посвободнее будет, почище, от комаров есть сетки на окна, но вы ж тут задохнетесь с сетками.

Ханочка отправила мужчин на крышу – пейте кофе, обсуждайте демонстрацию, спите, где хотите, а Бете нужен воздух и покой, она устала. Даже страшно стало: как начать с ней разговор про «Дом олим»? Ну конечно, с первых же слов у нее слезы потекли. Но это такая физиология, а вообще Ханочка разумненькая, поплакала и поняла, что так лучше.

Поплакать перед сном полезно, от слез лучше спится. Проснулись обе в поту. Наверно, к этой духоте нужно привыкнуть. Ты уже привыкаешь, наверно. Я вовремя тебя привезла, есть время привыкнуть до лета. Утром тут, говорят, свежий ветерок дует, сегодня просто день тяжелый, хамсин, ни клопов, ни комаров, ни муравьев в земле у крыльца, все притаилось. Володя умчался в Тель-Авив. Это еврейский пригород, там евреи собираются на демонстрацию. Такой народ. Не можем без демонстраций. Без воды можем, не мыться и не бриться – это пожалуйста, а без демонстраций никак. Может, и папочка там, хорошо бы пойти посмотреть. Папочка очень хорошо умеет говорить. А тут такой подходящий случай. Пусть поговорит. Говоруны – люди заметные. Найдем.

У нее раскалывалась голова. Едва доплелись до «Дома олим». Това сказала: это хамсин. День, два, больше хамсин не продержится. Вчерашняя старушка продолжала выть и вскрикивать, словно не переставала. Из окошка несло жаром, она все равно хотела у окошка и приготовила тряпку, если начнется рвота. Во дворе орали мужчины. Ханочка заправила койку и сидела рядом.

Она на время забылась, очнулась – они все орали. Все из-за демонстрации. «Мопсы» – это здешние большевики – организо-

вали свою, незаконную. Две демонстрации столкнулись, началась драка, вмешалась полиция, утихомирили. Большевики не успокоились. За ними гонялись, они прятались в Неве-Шалом, где евреи разбавлены арабами и потому не такие буйные. Это Това сказала. Това против большевиков, за объединенную рабочую партию. Ее голос был слышен во дворе. Мужские голоса внезапно стихли, зато пронзительно завизжали женщины. Что-то случилось? Ханочка выглянула в окно: какие-то люди... размахивают палками... кричат... Большевики?... Ханочка, какие большевики, ты не слышишь – они кричат по-арабски... Кто-то приказал: отойдите от окна. Да что случилось? Ищут большевиков?

Поднялась, оттеснив Ханочку, осторожно выглянула. Това и несколько мужчин запирали железные ворота. На улице бесновалась толпа арабов. В комнату вбежали два парня, чем попало лупили в перегородку, выломали из нее железную арматуру и умчались. Старуха вопила так, что внутри все обрывалось. Из окна не виден был двор. Там что-то происходило. Они с Ханочкой хотели спуститься по лестнице, но на ступенях плотно стояли женщины, вытесненные Тойвой с первого этажа, нечего было и думать протолкнуться через них. Кинулись к окну во двор. Внизу выстраивались в ряд мужчины с железными прутьями. Това была среди них. Арабы бесновались за воротами в нескольких шагах. Они пытались открыть ворота, их отгоняли, размахивая прутьями. Где же полиция? Кто-то закричал: полиция идет! Ну слава Б-гу, наконец-то!.. Кинулись в свою комнату, к окну на улицу. Увидели полицейских. Они шли неторопливо. Остановились. Арабы у ворот что-то объясняли им... Кто-то выстрелил... Кто?! Зачем, господи!.. Ханочка сказала: «Не понимаю, в кого полицейские стреляют?». В кого?! Не может быть!! Один полицейский поднял глаза на их окно, она похолодела: это был араб. Не может быть, это сон... За стеной раздался страшный взрыв, посыпались стекла и штукатурка, она, оглохнув и онемев, почему-то решила, что уже убита и, мертвая, видит, как полицейский медленно бросает вторую гранату. И тут же поняла, что жива, в сознание ворвались крики раненных, крики убиваемых, крики женщин... толпа, хлынув с лестницы в комнаты, прижала к стене... Това... мужчины с прутьями... опрокинув шкаф, загородили дверь... Во дворе и на лестнице продолжали кричать, в дверь били чем-то тяжелым...

* * *

Яффский погром 1921 года застал врасплох всех. Евреям казалось, что времена погромов навсегда миновали. Яффо был воротами Палестины, его торговым центром и средоточием светской культуры. В нем проживало 25 тысяч арабов и 17 тысяч евреев. Несмотря на хамсин, на первомайскую демонстрацию вышли тысячи. Организованная «Объединенной рабочей партией», разрешенная английскими властями, она никак не могла

восприниматься арабами, как враждебная. Она и не воспринималась так, арабы взирали на шествие совершенно спокойно. Едва ли они понимали, что эти люди демонстрируют, возможно, считали, что против них, но враждебности к себе не чувствовали и беспокоиться причин не было. 60 еврейских большевиков, собравшись у моря, решили провести свою демонстрацию и направились в Тель-Авив с транспарантами, написанными на идиш. Не арабы, а они затеяли драку с основной демонстрацией, так что полиции пришлось разнимать дерущихся. Потом не знающие идиш англичане пытались все свалить на этих смутьянов, как будто лозунги интернационалистов вызвали арабское нападение. На самом же деле, спасаясь от полиции, интернационалисты-драчуны прятались в квартале Неве-Шалом как в еврейских домах, так и в арабских. Их не выдавали. Многие арабы прятали их и от погромщиков.

Погром начался одновременно в двух местах – в Неве-Шалом и в районе «Дома олим». В «Доме» в это время находилось около ста человек, оружия не было, никто и предположить не мог опасности, да, почти наверняка, все и окончилось бы дракой, если б не полицейские-арабы, бросившие две гранаты в защитников дома и начавшие стрельбу. Они сразу убили одиннадцать человек, и хулиганы осмелели. Раненные и умирающие остались лежать во дворе без помощи – погромщики ворвались в ворота, ломами и прутьями забивали всех мужчин, не успевших забаррикадироваться на втором этаже. Ярость их возрастала, баррикаду почти разнесли, и едва ли кто-нибудь уцелел бы и на втором этаже, но спас командующий английским портом, он прибежал с группой солдат спустя полчаса после гранатных взрывов. Одного ружейного выстрела оказалось достаточно, чтобы погромщики разбежались.

Лиха беда начало. На улицах шел грабёж. Громили лавки, тасили добро. В это включились все, женщины и дети, молодые и старики. Про призывы резать евреев, как бешенных собак, забыли думать, не до этого было, торопились успеть нахватать побольше и раньше других. Английские воинские части прибыли через два-три часа и очистили улицы.

К утру следующего дня Яффо со всеми пригородами притих в ожидании дальнейших событий. Арабские мужчины стали потихоньку собираться в Неве-Шалом. Утром они забили камнями и кольями шестерых. Среди жертв был и известный еврейский писатель, живший у своих друзей. Слух о его смерти мгновенно разнесся по Тель-Авиву. Из домов выскакивали вооруженные ломами и палками мужчины, толпа направилась в Неве-Шалом, к ней присоединялись со всех сторон, бежали, выдергивая колья из заборов. Теперь погром встретил сопротивление, сражались по всему району. Огнестрельного оружия никто не применял. Арабские полицейские куда-то исчезли или же, участвуя в погроме, поснимали мундиры и не стреляли, а как все, орудовали ломами и палками.

Еврейский «Комитет обороны» осознал необходимость действия лишь тогда, когда во двор гимназии «Герцлия» стали свозить раненых и трупы убитых. Приняли решение открыть тайные оружейные склады и раздать ружья, патроны и гранаты. За хранение оружия англичане наказывали жестоко, и потому прятали его основательно. Гранаты, например, зарыли в дюны на берегу моря. При этом не подумали, что зыбучие пески перемещаются и дюны меняют форму. Спрятанные гранаты так и не нашли. Пропало и все другое оружие. Слишком мало верили в то, что оно когда-нибудь понадобится, слишком поздно хватились.

В казармах Сарафенда подняли солдат Еврейского легиона. Этот легион, воевавший против турков в мировую войну в составе британской армии, уже расформировывали, в нем оставались последние тридцать человек. Они бросились в город без всякого приказа, не поставив в известность своего командира полковника Марголина. Сделали это намеренно, чтобы не подвести его под трибунал. Уже в темноте легионеры прибыли в город и, разбившись на три отряда, начали патрулирование на улицах, прилегающих к Яффо, там, где утром были убиты шестеро.

Именно туда двинулись погромщики от мечети Хасан-Бека на рассвете следующего, третьего дня погрома. Солдаты, преградив путь, сделали ружейный залп в воздух, и погромщики отступили без кровопролития. Но, отступив к мечети, они не расходились, и солдаты не могли вернуться в казармы. Появился Марголин. Ждали, что он решит. Полковник оглядел своих солдат и... похвалил за инициативу. Тут же через «Комитет обороны» он обратился к бывшим своим солдатам, призывая всех демобилизованных вернуться в строй. Пока оповещали население, пока демобилизованные собирались на призывном пункте, Марголин поспешил в комендатуру добывать оружие. Собравшиеся получили приказ следовать в порт. Командующий портом, тот самый англичанин, который в первый день погрома спас людей в «Доме олим», раздал все, бывшее на складе, – 18 турецких ружей. Уже строем, с примкнутыми штыками, демобилизованные прошли от порта по главным улицам Яффо, демонстрируя силу перед двадцатью пятью тысячами арабов города.

Это подействовало. Погромщики отступили из центра, лишь отдельные группы еще бесчинствовали в отдаленных кварталах, выискивая евреев. Помочь тем уже было нельзя. Некоторых спасли арабы-соседи.

Воинственно настроенная толпа арабских мужчин продолжала сосредоточиваться у мечети Хасан-Бек, угрожая кварталам Тель-Авива. Напротив них заняли оборону 300 человек, вооруженных 40 ружьями. Они прикрывали Неве-Цедек и Неве-Шалом. Днем они с палками и железными ломami воинственно прошли по всем улицам Тель-Авива, поднимая дух напуганных жителей.

Феллахи прекратили продажу молока и овощей. Надо было добывать и подвозить продовольствие. Надо было переселять

ущевших из Яффо. Англичане этим не занимались, зато спешно расформировали Еврейский батальон. В город срочно прибыл и взял на себя командование его обороной Гирш Гохберг.

Никого не судили, поскольку Марголин заявил, что все приказы исходили от него. Его самого должен был судить военный трибунал. Немногим более года назад за организацию подобной самообороны при Иерусалимском погроме Зезва Жаботинского приговорили к пятнадцати годам заключения, Марголину же грозило наказание посерьезнее.

Полтора года спустя члены подпольной группы «Кибуц» приговорили к смертной казни командира арабских полицейских Яффо за стрельбу в «Доме олим». Они привели приговор в исполнение, застрелив его на пороге собственного дома. Под трибунал Марголина не отдали, просто отстранили от службы в армии и он вернулся домой, в Австралию.

Тут изменена лишь одна фамилия. Пересказывать историю легко – участники событий, евреи и английские чиновники, ответственные за порядок в Яффо, написали воспоминания, истории восстановили происшедшее иногда с точностью до получаса, иногда указывая и минуты. Все это сохранилось, несмотря на гораздо более страшные события, случившиеся вскоре в Палестине и Европе. Объяснения случившегося на протяжении десятилетий не отличались большим разнообразием. Писали о науськивании муфтиев, английском попустительстве, листовках на мечетях, ожесточивших простодушных арабов.

Но при всех объяснениях как-то странно, все-таки: с одной стороны, в маленьком городке убито 43 человека; десятки и сотни ранены, с другой стороны – нападавшие разбежались от единственного выстрела и спокойно возвращались к мирной жизни... это похоже на ожесточение? Ну, положим, убивали несколько арабских разбойников, почувствовали безнаказанность, остальные были ни при чем, но, с другой стороны, дети бросаются вслед за громилами хватать имущество избитых или убитых соседей, которые никогда не были их врагами, которых еще вчера чистосердечно приветствовали при встрече и так же будут приветствовать завтра...

Какое-то затмение нашло на этих людей? Бес попутал?

Еще три года назад они с редкой покорностью сносили турецкий произвол. У них отбирали зерно, оставленное для посева, с ними обращались, как с покоренным племенем дикарей, – они принимали это, как должное. Нет ни одного источника, свидетельствующего об их недовольстве турками, – ни мусульманского, ни христианского, ни официального, ни частного. Разбойничьи шайки бедуинов совершали набеги и установили систему вроде сегодняшнего рэкета, не встречая и тени сопротивления. Им даже не приходилось применять оружие и проливать кровь – население безропотно выполняло все их повеления. Англичане прогнали турков и установили гуманную систему мандатного правления, укротили разбойников – ничто не изменилось в арабской Палестине.

Крестьяне, торговцы, богатые землевладельцы еще не имели понятия национальности, известное Европе. Не было тогда сирийцев, иракцев, ливанцев, саудовцев, марокканцев, тем более палестинцев – были только арабы-мусульмане, люди одной культуры.

Не имели они и понятия государственности. Если бы кто-нибудь стал призывать их к независимости, они восприняли бы это лишь как смену хозяев.

Те, кто науськивал арабов на евреев, не могли обращаться к идеям нации и независимости. Людей возбуждали не подобные абстракции, а слухи о конкретных осквернениях их святынь. Но евреи поколениями жили подле мусульманских святынь, к их присутствию привыкли, они никогда ничего не оскверняли. Неужели провокаторы смогли в одно мгновение превратить миролюбивых людей в убийц с помощью всего лишь неправдоподобной клеветы?

Лишь десятилетия спустя все оформилось в головах в виде национальной идеи. В дни погрома ее не было. Но это мало что значит. Ведь национальной идеи не было и у евреев-социалистов. И тем не менее возникла некая иррациональная сила, которая привела на эту землю одних и вызвала сопротивление других, спутала все расчеты культурных и разумных людей. Они долго не хотели с ней считаться, обвиняли во всем муфтиев-провокаторов и лицемерных англичан, надеялись на просветительскую работу среди арабов, которых легко убедить в полезности мирного соседства, умно доказывали, что национальной идеи не существует, это предрассудок, который под напором цивилизации исчезнет со дня на день. Просвещенные, рационально мыслящие арабы тоже воспринимали национализм, как безумие и дурман. То, что подстрекателям к погромам пришлось выдумывать несуществующие осквернения их святынь, само по себе говорит о том, что у них еще не было националистической идеологии.

А кровь уже лилась.

Никакие усилия разума не могли уже ее остановить. Никакие компромиссы, никакие обращения к здравому смыслу. Кое-кто уже поговаривал об иррациональной еврейской вине. Вскоре, выступая на сионистском конгрессе в Карлсбаде, Гирш Гохберг бросил ответ, который потом повторяли: «Наша вина в том, что мы слабы!»

Он делал историю, а сын его, яффский писатель, обдумывал книгу об ангеле Эммануэле, впервые явившемся нам (или, наоборот, оставившем нас) в схожих обстоятельствах погрома. Он усомнился в правоте отца.

* * *

Первыми прошли раввины, приколачивая к уцелевшим дверным рамам новые, вместо сорванных, мезузы и творя молитву. Прошли с фанерными ящичками плотники, приводя в порядок за-

боры, калитки, двери, ставни и оконные рамы. Без замаха, жидковато стучали в тишине топоры и молотки. Обрывисто вжикали пилы и рубанки. Плотник Мендель, сутулый, худой, шел от дома к дому. Наум, отставая на шаг, нес на плече связку брусьев. Мендель был очень усталый человек, он с утра просыпался с усталостью, а потом она все росла и росла неизвестно от чего. Работал старый плотник медленно, часто отдыхал. Наум бы все сделал за него, и Мендель, наверно, знал это, но он как бы не принимал Наума в расчет, прислушиваясь лишь к своей усталости, – отдохнет, поднимется, берет инструмент из рук Наума, словно бы снимает с гвоздя, и продолжает начатое Наумом, а тот ищет в это время, чем заняться, а не найдет, усядется – Менделю все равно, он никуда не спешит. Да и куда ему было спешить? Если у людей были деньги, они, прощаясь, совали их Менделю по собственному разумению, не спрашивая цену. Если не было, Мендель лишь головой кивал. Будут – человек рассчитается. Наум попросил два фунта, чтобы Ханочка могла отдать в гостинице, – Мендель несколько дней размышлял, потом перед субботой дал один.

Прежний его подручный ходил со сломанной рукой, подвешенной к шее. Парень был дурноватый, глаза вытаращены, рот полуоткрыт. Руку ему сломали в «Доме олим»: налетел громила с ломом, он загородился рукой, тот саданул наотмашь. Хорошо, что там была Бетя. Она занялась ранеными еще до приезда доктора Бульвика, она и привязала тряпками к руке обломок доски. Получилось хорошо, пальцы шевелились, и Наум знал – когда срастется, Мендель возьмет дурня назад, и придется снова искать работу.

В июне Гриша с Бетей уехали в Иерусалим. Там у Гриши акционерное общество, он собирается строить электростанцию и добивается концессии. В Палестине, говорит он, шестьсот пятьдесят тысяч арабов и семьдесят тысяч евреев, земли вдоволь, нет людей, чтобы распахать хоть пятую часть, воды даже слишком много, она превратила пахотные земли в малярийные болота, а рядом земля каменеет от сухости, ничего не родит и дети страдают от жажды. Нужны насосы, чтобы качать воду. Он даст электричество, тут будут расти пшеница и хлопок, апельсины и бананы, страна превратится в рай. Эрец-Исраэль прокормит весь Ближний Восток, у каждого еврея и араба будет дворец с фонтанами, собрать миллион фунтов – он бы начал. А у самого не было и сотни, да и то, что было, оставил Комитету обороны.

* * *

Бетя, прощаясь, сунула свое колечко, пусть будет на черный день, Науму не говори. Но как не сказать Науму? Он только с виду спокойный, а сам спать не может, с рассвета до темна ищет заработок.

Она не выходила на улицу с того дня, как ее привели из «Дома олим». Она не Бетя. Начинает дрожать, когда лают собаки.

Говорят, это нервы, шок. Наум успокаивает: куда тебе ходить, сиди дома. Но и оставаться одна не может. А Наум не может сидеть с ней, то ему в синагогу с Менделем, то с Володей на какие-то собрания, сидя в гостинице работу не найдешь, но сейчас куда ни ходи, нигде ее нет, ни в «Позль цион», ни в синагоге. С тех пор, как ушла «Виктория», гостиница опустела. Хозяин жалуется на тяжелые времена, кормит хлебом, в котором солома, и попрекает, что делает это себе в убыток, из жалости к ним.

Он куда-то ушел. Она села у окна в горнице, которую он по-английски называет *холл*. За окном виднелась бедуинская лачуга, собранная из старых досок, листов ржавой жести и обломков рубероида, за ней – соломенный навес для скота, и за ним уже пустырь. Когда они приехали, он пышно цвел желтыми цветами и красным маком. Все быстро пожухло, бедуинские коровы съели сухую траву под корень. Голая земля стала каменной, потрескалась и подернулась пепельным налетом. Коровы ушли дальше. По пустырю теперь бродили овцы. Они еще могли что-то для себя найти. Нюхали землю, передними копытами и мордами откапывали оципанное коровами, то, что не смогли ухватить толстые губы коров, но зацепляли овечьи зубы.

Хана засмотрелась на овцу, которую приняла за серый камень, пока та не заскребла передним копытцем, пытаясь выкопать что-то съедобное. Поработав, овца пробовала ухватить обнажившиеся корешки губами. Не смогла, опять загребла копытцем, но, видимо, лишь засыпала то, что откопала. Задумчиво постояла. Потрусила вперед. В нескольких шажках искательно водила мордой по земле черная овца, и серая попыталась залезть туда же, но черная не подпускала, поворачивалась боком, и после нескольких попыток серая опять задумалась, глядя перед собой. Неожиданно что-то увидела или унюхала, озадачилась, сделала неуверенный шаг и снова стала разгребать копытом. Хана так увлеклась зрелищем, что забыла о собственном голоде, – сочувствие оказалось сильнее, потому что овца могла действовать, а Хане только и оставалось, что сидеть и ждать Наума. У двери закричал осел, это вернулся хозяин, а Хана, слыша стук двери и громкие голоса, должна была досмотреть, добыла серенькая свой корешок или нет.

Хозяин со здоровенным арабом, ругаясь друг с другом, втащили в *холл* деревянный ящик, окантованный мельхиором. Следом вошел араб-мальчишка, внес ящик поменьше, поставил рядом. Ругань взрослых он как бы не слышал, между тем, старший араб, освободив руки от груза, размахивал ими и кричал так, что сердце обрывалось: сейчас прольется кровь, сейчас он выхватит нож... но он уже улыбается... нет, улыбка исчезает... он озадачен, он не верит своим ушам и поворачивается к еврейской женщине, призывая ее в свидетели чудовищной несправедливости... Голос его теперь урчит ласково, как у сытого кота, на которого он похож. И снова взрывается яростью. И снова ласково урчит. Договорились, *хабиби*, но еще бакшиш, и надо дать мальчику...

Хозяин высокомерен. Он сейчас покупатель, он расстается с деньгами, в такую минуту человек скорбен и высок. Он вызывает к Б-гу, который терпит такую несправедливость, он воздевает руки.

За высокомерием хозяина таится страх перед арабом, и араб это знает, наверно, в глубине души араб полагает, что страх стоит денег, что хозяин должен набросить за то, что он, араб, не федаюн, это ведь зависит только от него... Я вот господину офицеру покажу этот ящик, пусть он спросит, где ты его взял, закричал, видимо, забывшись, хозяин, и тут же понял, что увлекся, и араб это понял. Голоса торгующихся стали тихими и нежными. Ты же знаешь, Джияд, ты мне как брат родной. Ты меня очень огорчил, *хабиби*. Мы с тобой двадцать лет соседи, *хабиби*, как ты можешь мне говорить такое. Только в память о моей маме, *зихрона ли-враха*, она любила тебя, как сына.

Проводив араба, хозяин повеселел, он совершил хорошую сделку, ему не терпелось откинуть блестящие замки. Она знала, что увидит, она хорошо помнила эти ящики. Благородно поблескивая полировкой и промасленной бумагой, на черном бархате лежали ножки штатива, винты, камера и линзы. Хозяин любовался богатством. Она присела. Прочла гравированную табличку: «Самуэль Гордон, Яффо». Кто этот Гордон? А-а, дорогая, кто Гордон, спроси этих бандитов, что им сделали старый Гордон и старая Сарра, *зихронам ли-враха*, им сейчас лучше, чем нам, им не надо бояться и думать, как прожить день.

Он открыл второй ящик. Там в суконных пазах стояли завернутые в черную бумагу фотопластинки. Он вытащил одну, стал разворачивать. Но это нельзя! Он недоуменно уставился: что за глупости, он заплатил деньги и ему нельзя посмотреть? Нельзя, пластинки засветятся, их разворачивают только в темной комнате при красном свете, вставляют в кассету... Смотрел недоверчиво. Ты в этом понимаешь?! Мой отец Давид Ротман имел свою фотографию, господин Хаймович, да, я в этом понимаю. Ваш друг, который вам как брат, не видел случайно там, где он взял эти ящики, еще кое-что? Там были, наверно, лампионы и *панасим*, *папир-фото*, которую тоже нельзя вытаскивать на свет из черных конвертов, там были химические реактивы, будь это все проклято, это стоило моему брату жизни, той самой, которую он хотел показать *натурально*, а не в виде ангелов, как умел делать бедный папочка, но это очень плохое занятие – показывать жизнь натурально, это то же самое, что вытащить пластинки из черного конверта, – она засвечивается, женщины заболевают французской болезнью, мужчины становятся игроками, пьяницами и насильниками, они теряют способность к воздержанию, их преследуют гадкие фантазии. Они сходят с ума и перестают любить своих жен, наступает, как писал великий сионист Макс Нордау, «вырождение», этого нельзя допустить. Не все можно обнажать и выволакивать на свет. Убивают фотографов не только в Яффо, господин Хаймович, Хана Рогова не могла бы сказать вам все это, не ее это мысли, не ее язык, но что-то пронес-

лось перед ней, и она, не осознавая, смутно почувствовала все это и еще многое другое, чего и не высказать, она лишь кивнула, да, она в этом понимает.

Да, она могла бы делать фотографии, но ей нужна темная комната со всеми вещами, с реактивами и бумагой, и все это стоит денег, лучше и не начинать, эти сокровища не сделают вас Ротшильдом или господином Самуэлем Гордоном, зихроно ли враха, перепродать с выгодой – вот все, что вы умеете делать, и снимите табличку, она доведет вас до беды. В следующий раз, когда она увидела этот ящик, таблички не было.

В этот раз посреди комнаты сидела необъятной ширины страдалница в пестрой турецкой шали, темном платье и шароварах, в парике цвета сушеного финика. Подбородки с колючими черными волосиками утопали один в другом. Как она сюда попала? Господь Б-г создал это сооружение из жира для того, чтобы оно сидело неподвижно на рынке в Яффо среди кальянов, свистулек, ковров, керамических ваз, бронзовых кофейников, растерзанных древних еврейских книг и Коранов в сафьяне, немецкого фаянса и турецких украшений, оно, это сооружение, не создано для передвижения, тем более что эта старая еврейка курит трубку, верхней губой пытается сбросить на пол что-то, прилипшее к нижней губе, и, астматически задыхаясь, отводит, божье создание, душу.

* * *

Он помнит, зачуханный этот Меир, какой она была, и Яффо тогда был Яффо, а не помойка для нынешних босяков, каждый знал свое место, господа офицеры считали за честь, Исмаил-бек кланялся ей на променаже, мусульманин может иметь четыре жены, но хоть четырежды четыре, он не найдет такую, как ее девочки, знаменитые девочки мамыши Гидали, где они теперь, танцующие танец живота лучше турчанок. Турчанки – самые красивые женщины в мире. Это цимес, рахат-лукум. У нее было семеро турчанок, одна другой лучше, они обожали свою мамашу, им жилось так, как не всякий эфенди может позволить своей первой жене, но и Исмаил-бек, и красавец Останди, и барон Гиршман предпочитали ее козочек, ее змеек-евреек, одна из них сейчас держит свое заведение в Берлине. Яффо это Яффо, а Берлин это все-таки Берлин, культурный народ, она обожает немцев, она в душе немка, ей надоел этот грязный Яффо, она не любит Париж, терпеть не может лягушатников, англичане все ненормальные, один заставлял Розочку привязывать его к кровати и мочиться ему в рот, не любит она эту нацию. Она навестит свою любимую Розочку в Берлине. Она, Б-г даст, еще протянет десять-двадцать лет, купит себе домик в Баварии или Вестфалии и кончит свои дни в маленьком и чистеньком немецком городке, где даже дети соблюдают тишину и не кричат громко и зимою выходит сладкий дым из высоких труб, она это заслужила.

Она предлагает хорошую цену, себе в убыток, вещь невозможно перепродать, арабам она не нужна, а еврей еще спросит, откуда она, не из ателье ли господина Гордона, *зихроно ли враха*, языки ведь длинные, народ сейчас с ума посходил, еще неприятностей не оберешься, вот и таблички нет, отвинчена табличка, тоже неприятно, и кто купит, кому это нужно сейчас, сыновья господина Гордона, *зихроно ли враха*, французские офицеры, им дело отца ни к чему, она, пожалуй, раздумала, цена не по карману, откуда у нее деньги, хотела подарок внуку сделать, не для коммерции, но может, и польза какая выйдет, сегодня нужно иметь не лавочку с *альте захен*, а современное ремесло, время меняется, уж казалось, веселые девочки всегда будут нужны, а вот как все вышло, в такое время мы живем, если Меир сбросит пять фунтов, она, может быть, возьмет, она людей никогда не обманывала, шампанское у нее всегда было настоящее французское, а кошерное субботнее вино обязательно из Биньямины, в этом она понимала, а европейские *шкунцы* не для ее старой головы, пусть кто-нибудь посмотрит, кто в этом понимает, мамаша Гидали правильно говорит, госпожа Рогов?

Ваш отец, *зихроно ли враха*, был, видимо, умный еврей, госпожа Рогов, но я вам больше скажу, счастье не в этом, счастье в том, что господь дал ему красивую дочь, вы мне очень напоминаете Розочку, и такая красивая девочка такое непростое ремесло знает, это не то, что чепчики шить и цимес мужу приготовить. У Якова хорошая голова, еврейская голова, но он художник. Он говорит, что на этом можно заработать, дай ему Б-г, у нас тоже висели на стенах дорогие картины, не хуже, чем в Берлине, Яков сказал, старое искусство не нужно, продай, а кто купит гойские картины в Яффо, в еврейском доме их не повесишь и в монастыре тоже, подарила Розочке, в Берлине все нужно, и девочки и картины, а что здесь нужно, скажите мне. Яков говорит, нужно новое, всякие фотографические *шкунцы*, на них сейчас большой спрос у моряков, где старой мамаше Гидали это понять, я из простой еврейской семьи, мой папочка, *зихроно ли враха*, не имел фотоателье. Если вы знаете такое ремесло, госпожа Рогов, помогите, Яков быстро схватывает, ваш супруг счастливый человек, имея такую жену. Работу сегодня найти очень трудно и еще никто не говорил, что мамаша Гидали скупа. Спросите любого в Яффо. Ты понял, Меир, если сбросишь пять фунтов, можно подумать. Но надо знать, что покупаешь, это ты можешь себе позволить купить ящик неизвестно с чем, ты уже продавал мне осла, который через неделю сдох. Мы еще увидимся, госпожа Рогов.

* * *

На ужин хозяин неожиданно расщедрился, подал овсяную кашу. Ни с того ни с сего рассказал про какую-то мадмуазель Жаннет Розенблюм, которая зарабатывала уроками французского. Они так и не поняли, к чему он. Наконец, ушел. Хане каза-

лось, что у нее много новостей, но, начав рассказывать Науму, она невольно начала смотреть на все его глазами, и рассказ не получился. Ничего интересного, два жалких старика разволновались оттого, что появился шанс купить дорогую вещь, украденную арабом на еврейском погроме, но и такая удача ничего им не даст, они для этого слишком темны и бестолковы, перепродадут на грош дороже, чем купили, и будут считать себя большими дельцами, это и есть Яффо. Если бы были деньги, она бы сама купила эту камеру, подумала Хана, и тут же ужаснулась, вспомнив, откуда камера взялась. Нет, надо уезжать отсюда. Куда угодно!

Через несколько дней Наум повел ее на лекцию знаменитого Александра Зингера в «Поалей Цион». Она надела черное «гимназическое» платье с белым воротничком, в котором ходила в госпиталь. Уговорила Наума надеть белую рубашку. Штаны уже разлохматились внизу, правый башмак подвязан – столько он, бедный, бегаёт по городу, никакие башмаки не выдержат. Сразу за крыльцом гостиницы в липкой душной темноте уцепилась за его руку, и показалось, что рядом с ним ничего не боится. А через несколько шагов залаяла у самых ног бродячая собака – и захотелось вернуться в гостиницу. На лай откликнулись собаки во всех дворах вокруг. Наум прижал ее локоть к себе. Она всматривалась в каждую тень. Домишки лепились друг к другу. В это время евреи сидели за закрытыми ставнями, прислушиваясь к лаю и гадая, кто взволновал собак. Если она закричит – никто из них не придет на помощь. Наконец, добрались до элеватора. К нему примыкал узкий и высокий, как башня, трехэтажный дом с закрытыми ставнями. Железная лестница, опоясывая дом снаружи, вела на второй этаж. Внизу горел фонарь и стояли на дежурстве два паренька, один из них был Володя.

В комнате на два окна набилось человек тридцать. На последней лавке потеснились, освобождая место. Керосиновая лампа освещала Зингера, до изумления картинного: густые седые волосы опускались шлемом на сильные плечи и сливались с седой бородой. Говорил он на идиш. Она все это читала в его статьях, но слушала, как впервые: «Керен а-есод» купил тысячи дунамов в Изреельской долине, они пустуют, арабы потихоньку их распахивают, выжить их будет уже невозможно, фермеры на эту землю не пойдут – осушить болота фермеру не под силу, это может сделать только артель, *кеуца*... Она услышала новое слово: «кибуц». Рядом спрашивали, где эта Изреельская долина. Не дальше, чем Хайфа. Как же туда добраться?.. Зингер рассказывал, как *халуцим* осваивали Кфар-Нехаму в девятьсот девятом году. Он был среди них, один из пятерых. Тогда им не хватило сил. Но он поклялся вернуться... Ему аплодировали. Потом выступал кто-то лысый, в очках, говорил о погроме: мы уже не те, какими были... мы не ждали помощи, не понадеялись на англичан, мы сами себя защитили... Опять аплодировали, и Хана хлопала вместе со всеми. Хмурым дядька около стола стал записывать в кибуц Кфар-Нехама.

Зингер поставил перед ним лампу, надел круглые очки и сел рядом. Кто-то спросил: мне сорок три года, меня возьмут? Зингер ответил: вопрос о членстве решает не он, а общее собрание. Но для этого надо приехать в Кфар-Нехаму? А как еще? Не кибуцу же ехать в Яффо.

Она и Наум были последними. Он волновался, волосы взмокли, пот каплями выступал на лбу. У него вопрос к товарищу Зингеру... он столяр и плотник... это его жена Хана... Почему он хочет именно в кибуц, спросил Зингер, там очень трудно. Наум растерялся, Хана поторопилась ему на помощь:

– У нас никого в Яффо нет.

Записывающий досадливо хмыкнул, и она поняла, что сказала глупость. Однако, он записал: Наум Рогов... Хана Рогов... Брат и сестра? Нет, они муж и жена, у них нет документов, но... Записывающий устало посмотрел на Зингера: разве они берут семейные пары? Тот спросил: сколько записалось? Тридцать. И двадцать вчера. А нужно четверо.

– Ну пожалуйста, – сказала Хана.

– При чем здесь «пожалуйста»? А где вы спать будете? Семейные пары мы вообще не берем.

– Почему?

– Потому что если бы вы приехали, вы бы поняли: дети там жить еще не скоро смогут.

– У нас с Ханой пока не будет детей, – тут же сказал Наум. – Мы обещаем.

– Я их записал, – сказал хмурый.

– Как хотят, – ответил Зингер. – Решать будет собрание.

Выходили все вместе. Пока наверху кто-то вешал щеколду и запирали амбарный замок, внизу продолжали обсуждать, как добраться до этой Кфар-Нехамы. Володя с напарником ждали, чтобы проводить Зингера в Неве-Цедек. Хмурый сказал кому-то: завтра туда идет наша подвода. Во сколько? Может, в девять, может, в десять, а может и в семь. Надо дотемна добраться до Нехамы. А места на подводе будут? Не знаю. А где ее искать утром? Не могу сказать. А фамилию свою можешь сказать, товарищ? Фамилия моя Гальперин.

* * *

Они поднялись затемно, боясь, что подвода уйдет рано или на ней не будет свободного места. Чудом нашли ее за еще пустыми торговыми рядами у коновязи и колодца. Жилистый Гальперин в поддевке, картузе и сапогах запрягал пегую лошадь в подводу, груженную мешками и клеткой с курами. Усадив Хану среди мешков, Наум стал помогать. Гальперин принял это, как само собой разумеющееся, кивнул, мол, продолжай, а сам ушел с ведром к колодцу, поглядывая, как Наум запрягает. Не проверяет, а учится, догадался Наум. Уж он-то знал местечковых умельцев, которые берутся за все, а потом уже учатся.

Гальперин помалкивал, такой же хмурый, как вчера. На всякий случай Наум не задавал вопросов. Кроме них, никто не пришел. Дав лошади отпить с треть ведра, Гальперин забрал его, отлил часть в кормушку курам, спрятал ведро на подводе, снял и спрятал сапоги, и поехали. По представлению Наума, было часов семь. Миновали город, и стало припекать. Хана вытащила из узла шляпку, нашла Науму какую-то косынку на голову, он повязал ремешком, как арабскую куфию. Через час потянул свежий ветер с моря, и хоть солнце припекало все сильнее, стало легче. Дорога была пустой и унылой, дюны сменились голыми холмами с засохшей травой и каменными террасами. Раза два попадались серые таможенные форты с выцветшим английским флагом, обращенные фасадами к дороге и морю, без признаков жизни. В какой-то ложине увидели нескольких овец, да однажды проехал навстречу вооруженный карабином араб на одногорбом верблюде. Наум начал задремывать. В мешке под боком было что-то твердое, металлически позвякивало и било по ребрам. Наум ощупал, заглянул в прореху – это были солдатские кружки. В полдень сделали остановку на берегу ручья, текущего среди болот, пышно заросших теми желтыми цветами, которые давно отцвели, высохли и были съедены коровами и козами вокруг Яффо. Распрягли лошадь, но не решились вести к воде по топкому берегу. Оставив в тени старого дуба, Гальперин таскал ей воду ведрами. С лошадью он был так же суров, как с людьми, и Наум понял, что Гальперин на него не сердится, просто хмурый человек. Пообедали лепешками, поспали, тронулись дальше, и снова исчезла растительность, потянулись блеклые пустоши. В сумерках куры в клетке оживились, завохтали, молодые петушки затеяли возню. Гальперин оборачивался, поглядывал на них, на его лице впервые появилось что-то вроде улыбки.

Приехали в темноте. Кибуцники уже спали. Тесно стояли пять домишек, один побольше, четыре поменьше, впечатление было, что нежилые, какие-то окна заколочены, на других вместо стекол висели тряпки. Гальперин отвел одну из тряпок, сунул голову внутрь, поговорил с кем-то и стал распрягать. Вышла босая женщина в длинном балахоне с голыми до плеч руками, хрипло и сонно поздоровалась на идиш, – они понимают идиш, это хорошо, сейчас надо спать, завтра будем знакомиться, увидела клетку на телеге, зацокала языком, постучала по прутьям, петушок прокукарекал, она похвалила его: «Ку-ку, ку-ку, нехмад», в конце поселения ответно прокричал невидимый петух. Наум помог Гальперину. Увели лошадь под навес за домами, привязали около спящих ослов. Наум искал овес или сено, нашел копну, хотел взять охапку и испугался, наткнувшись рукой на чью-то ногу. Спящий заворочался, ворча во сне. Женщина в балахоне увела Хану в женский домик, где спали на тюфяках на полу и плохо пахло, а Наум пошел за Гальпериным – там на таких же тюфяках спали мужчины.

Заснуть оба не могли, чесались от жестоких комариных укусов, метались, слушая вой шакалов и покрываясь в духоте по-

том. В ушах еще стучала деревянная ось телеги. Наум осторожно пробрался среди спящих к двери и сел на крыльцо, надеясь, что Хана тоже не спит и придет. Не предполагая, что он ждет ее, она и сама хотела выйти, однако, боясь разбудить спящих, так и не решилась. Неожиданно в полной темноте кто-то заколотил железом по железу и зычно закричал: «Куму, хаверим!»

Подъем у них был в четыре утра, до рассвета. Все набились в столовую, человек сорок. При керосиновой лампе пили чай из кружек и, отгоняя тучи мух, брали отмеренные ломти хлеба из большой миски. Голодные могли взять из общей кучи вилку и положить себе на тарелку оставшуюся с ужина гороховую кашу. После завтрака собрались снаружи, разделились на группы и пошли работать. Девушки были в балахонах из мешковины, парни в рубахах и холщовых штанах. Хана и Наум вслушивались в обрывки разговоров, помня, что через неделю эти люди на общем собрании будут их оценивать. Появился Гальперин, отыскал глазами Наума и позвал с собой – уже составил насчет него какие-то планы.

На Хану не обращали внимания. Она ждала, не зная, кому о себе напомнить, и обрадовалась, увидев ночную тетку. Та секунду смотрела, не узнавая, вспомнила и решила: «Ты с нами». Они влезли на подводу. Возницей была высокая и сутулая девушка в очках и мужской фуражке с околышем. Хана подумала, что зря не взяла шляпку, но бежать за ней, заставив других ждать, не решилась. Тетку звали Рахель. Пока ехали, она спала сидя, ритмично наваливаясь на плечо Ханы всклоченной головой. За спинами на подводе высокой горой лежали саженцы неизвестных деревьев – тоненькие голые стволы и ветки на верхушках. Когда колесо телеги наезжало на камень, саженцы острыми сучьями кололи спину.

Остановились, когда начало светать. Свет без теней возникал как будто бы снизу, из самой земли, из сухой и твердой ее корки. Не успели снять с подводы мотыги, как рассвело настолько, что Хана увидела желто-зеленую долину, из которой уже торчали сотни саженцев. Листья на них были жесткими и желтоватыми, осенними, от этого и еще оттого, что саженцы торчали геометрически выверенными рядами, в растениях не чувствовалась жизнь и все выглядело как-то безнадежно.

Выгрузили саженцы, и девушка уехала. Там, где кончалась посадка, ряды продолжались вбитыми в землю вешками. Рахель показала, как мотыжить ямки по этим вешкам и всаживать деревца. Назывались деревца эвкалиптами.

Земля, твердая и сухая сверху, была мягкой и рассыпчатой в глубине. Не позволяя себе отстать от Рахели, Хана уже через час выбилась из сил. Мотыга перестала углубляться при ударе и скользила по поверхности. Хана уже хотела бросить – все равно машет без толку, и тут Рахель велела вставлять и присыпать землей саженцы. Потом таскали зеленую воду, скопившуюся на дне глубокой канавы. Хана видела перед собой кровавые крас-

ные круги, а работа все продолжалась, потом Рахель закричала, но не было сил понимать слова, – Рахель звала, стоял ослик с тележкой, на которой сидел Гальперин, – поехали на обед. Поковыряв гороховую кашу, Хана пошла спать, догадавшись, что ночью они работали потому, что днем не позволяло безумное солнце. Проснулась, к своему удивлению, почти отдохнувшей. Вышла во двор, искала Наума, не нашла, набрела на ряд железных умывальников с прыгающими бронзовыми сосками, подставила голову – вода была обжигающе горячей. Рахель уже садилась на тележку с впряженным ослом, сутулая девушка в очках держала вожжи в руке. На этот раз девушка осталась работать с ними, звали ее Мирьям, она была из Венгрии, на идиш говорила плохо, зато знала иврит и обрадовалась, что Хана понимает французский, – в кибуце его никто не знал.

Работали дотемна, и было легче, чем утром, усталость навалилась лишь в столовой – Хана вилку не могла поднять. Болело все тело. Руки были стерты в кровь. Закончив еду, никто не уходил. Дежурные убрали тарелки и кружки, началось собрание. Вел его Гальперин: два человека завтра нужны на забор вокруг курятника, чтоб не забралась лиса, на кухне будут Мирьям и новенькая... Мирьям вскочила: она на кухню не пойдет!

Она пыталась говорить на идиш, и понять ее было трудно.

– Женщина и мужчина права одинаковый. Иметь дежурства кухня должны мужчина и женщина одинаковый. У меня третий неделя кухня. Это эгалите?

– При чем тут эгалите? – недовольно сказал Гальперин. – Потвоему, мужчины будут кашу варить, а женщины пахать?

– А что такое эгалите? Я сюда ехала хлеб сажать.

– Да ты ж не приподнимешь плуг.

– А это я сам думать! – крикнула Мирьям. – Ты думать относительно ты, я думать относительно я! Мы здесь одинаково независимо от пола!

Гальперин поморщился, как от боли.

– Говори по-французски, Мирьям, я пойму.

– Собрание должен понимать! Каждый!

Долго обсуждали. Спорили из-за формулировки для голосования, голосовали. Хана и Наум так и не поняли, из-за чего был спор и что решило собрание. Но Мирьям не успокоилась.

– И еще. Мы имеем два кандидат. Хана Рогов и Наум Рогов. Он муж и жена. Им нужно свой дом.

Уставшие люди на лавках за столами недовольно заворчали. Никто не хотел обсуждать еще и это.

– У меня нет для них дома, – сказал Гальперин.

– Пусть едут в Дганию, – предложил кто-то, махнув рукой, и встал.

Хана встрепенулась. Из-за этой сумасшедшей их с Наумом в кибуц не возьмут! Она хотела сказать, что они ни на что не претендуют, но не до нее было:

– Надо обсудить половой вопрос! – пошла в атаку Мирьям.

– Половой вопрос мы обсуждать не будем, – хмуро и твердо сказал Гальперин.

– Это диктаторство!

– Это с твоей стороны диктаторство, Мирьям. Почему сорок человек должны не спать, а обсуждать то, что, кроме тебя, никого не интересует?

– Становись на голосование!

– Становлюсь. Кто за то, чтобы закрыть собрание? Собрание закрыто.

Хана и Наум не поняли, что же решили про них. Хане казалось, что Мирьям настроила против весь кибуц и теперь их не примут. Она так устала, что ей немного хотелось, чтобы это случилось. Люди гасили лампы и выходили из столовой. Рахель взяла последнюю лампу: идемте. Они пришли к домику у коровника. Двери в нем не было, не было и пола, прямо на земле лежали штабеля досок и мотки колючей проволоки.

– Навозом пахнет, – сказала Хана.

– Почему ж ему не пахнуть? – возразила Рахель. – За стеной коровник. Остаетесь? Можете взять тюфяки. Завтра ты работаешь с курами.

Хана не любила кур, зато день среди них пролетел незаметно – таскать воду и просо, поить, кормить, собрать яйца, разгонять драчунов, – боль в мускулах стала резче, зато усталость уменьшилась. Хана настроила себя на то, что все вокруг ей очень нравится. Она даже гороховую кашу в обед съела с удовольствием. В столовой запах изменился, напоминал теперь что-то родное. Рядом в подвальчике была пекарня, и лишь проходя мимо двери, Хана узнала запах – пахло гвоздикой! Это был запах печенья, которое пекла по праздникам мама! Сообразила: да ведь сегодня пятница.

После дневного отдыха никто не работал. Таскали воду, стирали одежду, мылись. Наум занялся их домиком, скотил дверь и закрыл толью окно, выходящее в коровник. На другие окна повесили тряпки, пропускающие ветерок и защищающие от солнца и мух. Очистили от мусора пол и пошли в столовую.

Девушки были в юбках и белых блузках, парни – в белых рубашках. Каша была овсяной, а в кружках разлито молоко. По пятницам и субботам молоко в Хайфу не отправляли, вот оно и оставалось кибуцникам. Девушки принесли горячее печенье, пахнущее гвоздикой. Они несли поддон за поддоном, сваливая в таз, выросла благоухающая гора, парни хватали, Мирьям кричала, чтобы оставили охранникам кибуца.

Хана поняла: венгерка так устроена, что думать может только о других, просят ее о том или не просят. Что-то болезненное мешало этой девушке думать о себе. Может быть, любая мысль о себе по какой-то причине причиняла ей боль и забота о других отвлекала, позволяла избежать этой боли. Поэтому она научилась не просто думать, она и фантазию свою развила в этом направлении, и какую-то чуткость – вот поняла же, что

им с Наумом нужен свой угол. Что, интересно, она делала до кибуца? Венгерскую революцию? К ней в кибуце привыкли, перестали обращать внимание.

Принесли граммофон, поставили пластинки. Их, пластинок, было пять или шесть, негритянские песни, вальс и полька. Поставили польку, начали скакать и услышали тарахтение автомобильного мотора – приехал белобородый Зингер. Никто не удивился – если Зингер в Палестине, субботу он всегда проводил в родном кибуце, считал своей обязанностью перед земляками. Девушки усадили его за стол, угощали печеньем и молоком, потом до глубокой ночи пели.

Проспали завтрак. Разбудил голос Гальперина за окном: Наум может выйти? Хана еще полежала и пошла в столовую. Дежурная ругалась на кухне с парнями, заставляя заново перемыть кружки. Принесла и поставила перед Ханой кружку с молоком и тарелку с печеньем. Присела поговорить. Она была красивая, в пестрой косыночке на голове, а когда сняла косыночку, чтобы стряхнуть мучную пыль, Хана увидела стриженную, как у тифозных, голову. Дежурная, однако, не стеснялась безволосой головы, не торопилась снова прикрыть косынкой, и продолжала покрикивать на парней, а потом убежала что-то им показать. Хана не успела ее спросить, пахнет ли она навозом. Запах преследовал ее, и казалось, что это она пахнет и людям рядом с ней противно.

Во дворе обсуждали ночное происшествие, которое они с Наумом проспали. Оказалось, арабы из соседней деревни топтали конем кибуцные посевы, и дежурный охранник выстрелил из ружья. Теперь вокруг него собрались все, и он показывал, где стоял, как стрелял, и клялся, что слышал крик, – наверно, ранил или убил. Подошли Гальперин и Зингер. Они ходили на поле, смотрели потраву и искали следы крови. Оба были озабочены: если в самом деле ранил, арабы ночью вернутся с карабинами. Надо было идти в село и улаживать конфликт, на всякий случай надо было готовиться и к обороне. Мирьям тем временем ухитрилась завладеть ружьем и не отдавала его: она должна научиться, она тоже будет дежурить, женщины должны дежурить в охране, как мужчины... Рахели не было видно. Хана заглянула в ее окно, и еще ничего не видя ослепшими от солнца глазами, услышала голос: «Пить...»

Рахель лежала под грудой тряпок. Ее трясло, зубы стучали. Кружка стояла рядом, а Рахель смотрела на Хану и просила пить. Но она была в сознании: это малярия, тут все болеют малярией, хорошо, что затрясло в субботу, рабочий день не пропал.

– Не надо тебе со мной сидеть, успеешь заразиться.

Зингер и Гальперин вернулись из деревни довольные. Арабы их хорошо приняли. Никто не ранен, арабы не сознаются, что топтали конями поле, шейх угощал кофе и подарил кусок льда – богатый, в погребе глыба льда. Прикрытый тряпкой, лед лежал на дне туюска, как драгоценный камень, блестел сколами.

– Это нашим женщинам, – картинно оповестил Зингер.

Надо Рахели отдать, подумала Хана, но не решилась сказать, чтобы не выглядеть лучше других. Пошла к курятнику побыть возле Наума, а заодно и на кур посмотреть. Наум натягивал проволоку понизу, чтоб не подкопались лисы. Хана заглянула в поилки – воды не было. Она испугалась: может быть, в субботу дежурить должен тот, кто работал в пятницу! Рахель свалилась, не сказала... Помчалась за водой. Потом пустым ведром отгоняла большого красивого петуха, который пил и никого не подпускал к поилке. Надо было собрать яйца, насыпать зерно... Пришел Зингер. Волосы всклокоченные – где-то поработал и был очень доволен собой и прожитым днем. Спросил, зачем проволока внизу, она объяснила, он сказал, что нужно бы сверху тоже. А сверху зачем? А чтоб петухи не улетели. Куда ж они улетят? Но он уже тащил колючую проволоку. Маленького роста, он не доставал до верха, нашел какой-то ящик, влезал на него и прикручивал проволоку, при этом распевал от хорошего настроения. Стемнело, Хана ушла, а он все работал и распевал, пока не закончил.

Утром заколотили в железную балку. Рахель не могла поднять головы. Гальперин сказал: пойдешь вместо нее на лесопосадки. А куры? Кур оставь, найдем человека. Сердце было неспокойно, она, все же, заглянула и, похолодев, увидела перья и кровь на заборе. Она закричала...

Ночью в курятник проникла лиса. Она забралась на ящик, оставленный Зингером, с ящика прыгнула внутрь. Передушила четырех кур – тушки трех валялись на земле. Кто-то вопил: «Какой идиот поставил тут ящик?! Специально для лисы?» Появился Зингер, уже одетый для дороги в кожаную куртку. Только глянул, услышал про ящик, и тут же исчез. Затарахтел автомобиль... Хана удивилась: обвинят Наума, он же забор укреплял, как же Зингер мог не признаться!..

* * *

Мирьям работала слишком быстро и нервно. Хана никак не попадала в ритм, устала сразу. Мотыга скользила по глине. Хана без толку махала ей и плакала. Ноги подломились, она упала на колени, не выпуская мотыгу из рук. Мирьям выронила свою, и тогда все завертелось и исчезло в темноте. Я не виновата, подумала Хана, это солнечный удар...

Нет, это малярия, догадалась она, проснувшись в холодном поту. Накрой меня, говорила она Науму, но он не понимал, совал в рот кружку. Ноги погружались в ледяную воду, она быстро скользила в холодную глубину, рядом с ней, обгоняя, плыло, как щука, тело Мирьям в белой блузке с красной гвоздикой на груди...

Глаза Мирьям были закрыты, руки прижаты к бедрам, а гвоздика на груди росла, распускалась, стала как красный подсолнух, эмансипе, эгалите, лицо Мирьям торжественно и спокойно проплыло мимо, к ногам, туда, откуда надвигался из тьмы цеп-

кий холод. Его льдинки покалывали сердце, весь мир состоял из черных иголок льда, чернота сделалась красной, как бархатная занавесь, и в глубине возникло розово-желтое завихрение, принимающее форму бородатого человека.

Хана видела величественную голову Зингера, покрытую, как боевым шлемом, розовыми локонами, сливающимися с розовой бородой, и она хотела содрать с него этот парик и показать всем стриженную, как у тифозных, голову. Мирьям верила ему, и Наум верил, но все было обманом.

Эвкалипты поднялись до неба, под ними стояли белые домики с красными крышами. В домиках жили семейные пары. Дети жили отдельно, их воспитывал Зингер по субботам, когда приезжал в кибуц. Замирая от волнения, дети слушали великого человека. Он рассказывал им, как своими руками сажал эвкалипты и обносил колючей проволокой курятник. А потом садился в машину и уезжал, оставляя за собой розовый дым.

Но это из-за него лиса передушила кур, закричали, поблескивая пенсне, люди с профессорскими бородками. Они сидели на конгрессе в Карлсбаде и вели полемику. Декларация Бальфура! Эмансипе! Эгалите! Теодор Герцль!

Хана увидела Гальперина. Загорелый дочерна, жилистый, небритый Гальперин тоже приехал на конгресс. Этот конгресс происходил несколько лет спустя в Базеле, и Гальперин не хотел ехать, потому что в этот день провели электричество в курятник, где были автоматические поилки и зерно подавалось конвейерной лентой, а яйца собирались хитрой машиной. Машина била яйца все подряд, жидкая желтая масса с перемолотой скорлупой растекалась по земле и приближалась к домикам, как лава вулкана. Те, кто построил курятник, доказывали, что они не виноваты, а виноват кибуц, который испортил их машину. Гальперин должен был объяснить им, что машину надо переделать, а вместо этого поехал с Зингером в Базель. Он сидел в зале, и Зингер рассказывал про кибуц, говорил, что это лучший кибуц в стране, что из других кибуцев приезжают учиться в Кфар-Нехаму, это личная заслуга Гальперина. Бородатые люди аплодировали, повернувшись к Гальперину. Зингер предложил выбрать Гальперина в Правление, и все зааплодировали еще громче. Потом Гальперин поднялся, и стало тихо. Все ждали, что он скажет. Он долго молчал. Хана знала, что он ни о чем не догадывается. Она знала, что в Конгрессе идет борьба, все эти люди не любят друг друга, каждый из них хочет власти, но при этом каждый говорит не о себе, а о своем принципе, как будто дело не во власти, а в принципе, у Зингера принцип – кибуцное движение, а позиции его пошатнулись, вот он и вводит Гальперина, чтобы был в правлении свой человек, которым он сможет управлять по собственному усмотрению. Это понимали все на Конгрессе, кроме Гальперина. Он не мог догадаться обо всем этом. Стоя среди этих людей, он не видел их. Он был далеко и видел совсем других людей: хитрого и лживого инженера из

«Солел Боне», видел Наума, которой своими руками перебрал каждый винтик новой машины, но Наум не умел спорить с инженерами, и присутствие Гальперина было необходимо.

Он видел и сутулую, похожую на вопросительный знак фигуру Мирьям с карабином, одинокую в ночи на краю кибуцного поля. Из дома шейха вышло трое с кинжалами и карабинами. Снизу, с земли, они наблюдали за нелепой сутулой фигуркой. Вдруг один из них вскочил и замахнулся. Мирьям уронила карабин, закричала без звука, как кричат во сне, и на ее рубашке начал расти красный подсолнух. И Гальперин, хоть не услышал ее крика, который так и не прозвучал, – Гальперин не мог ее бросить. Он никого не мог бросить, ведь кибуц вложил в курятник огромные деньги, из-за них отказались от собственного грузовика и задержали строительство школы. Гальперин должен был немедленно вернуться и довести начатое до конца. Каждому свое, сказал он господам в Базеле, он даже не секретарь кибуца, господин Зингер ошибся, он, Гальперин, лишь временно исполняет обязанности, он простой «хавер», он так решил еще в Пинске, когда взял у отца двадцать рублей, весь капитал старого сапожника, чтобы уехать в Палестину и своими руками обрабатывать землю. Если он станет начальником, это будет значить, что он зря приехал в Эрец-Исраэль. Поэтому он никогда не станет начальником. Он благодарит за высокую честь, но он вернется домой. Он еще не вернул отцу свой долг.

Зная, что переубедить старого друга нельзя, Зингер только и мог, что раскинуть руки и, сжав в объятиях, расцеловать Гальперина на виду своих врагов, заставив их снова аплодировать. Ему стало грустно. Друзей вокруг становилось все меньше и меньше. Кто убит, кто умер, кто занялся другими делами. Вот и Гальперин. Недаром говорят, что работа руками отупляет человека, делает его прямолинейным и примитивным. Ведь в сущности, хороший человек, железо, камень... Отчего ж грустно? Грустно быть одному. Легче всего устранишься, с чистой душой ковыряться в земле, сажать деревца. Но кто-то должен взять на себя ответственность за всех этих людей...

Гальперин чувствовал вину. Картинный жест друга не покорил его. Он знал Зингера с юности, знал его театральность, выпренность и физиологическую неспособность к искренности. Когда-то все это его раздражало, но, дожив до пятидесяти, он понял, что эти качества не возникают, как короста на немытой коже, как бельмо на глазу – с ними уже рождаются, они даны с самого начала, только не проявлены, они как ретушь, которую фотограф наносит на невыразительный портрет, и благодаря этой ретуши скучное, ничего не выражающее лицо начинает принадлежать другому миру. Что это за мир? Он и реальный, проявленный отпечаток световых лучей, и одновременно нереальный, идеальный, театральный, демонстративный, как рисунок. Идеал где-то далеко, его не видно, но кто-то должен представлять его в нашем реальном мире, значит, пусть будет кар-

тинный Зингер, а почему картинный, потому что только ретушь мы и видим, а почему Зингер – потому что он весь какой-то промежуточный между живым и неживым.

Не ошибся ли ангел Эммануэль, приоткрыв свои тайны бредящей Хане? Тайны открывают умирающим, и не Эммануэль отмеряет жизненные сроки, он сам удивляется, обнаруживая время от времени смертность атомов в потоке своей энергии. Если Хане суждено было выжить, многим ангел не рисковал – она была не из тех, кто находит слова для внутреннего знания, и значит, она не могла передать его другим. Она видела Гальперина стариком, одиноко сидящем в огромном стеклянном кубе кибуцной столовой с кондиционерами, никелированной кухней, холодильниками, морозильными камерами и газовыми плитами. Мечту свою он не осуществил, простым «хавером» не остался, кто-то должен был принимать важные решения, кибуц выживал в тяжелой экономической борьбе с другими кибуцами, мошавами, импортерами и экспортерами, жизнь пролетела очень быстро, и вся она была без остатка заполнена не радостями хлебопашца, вкушающего выращенный хлеб, а удачными и неудачными покупками и продажами, расчетами в бессонные ночи, соображением выгоды, заботой о пользе. Лирь, фунты, шекели, доллары вытеснили из души радость существования и единения с природой, в сущности, это была скучная жизнь, она ничем не отличалась от жизни его отца, так же, как он, озабоченного лишь деньгами в узкой лавчонке сапожника на грязной улочке Пинска, и скоро он вернет долг отцу – вот все, для чего он жил.

Так что же его ум и воля? В чем они? Победил он или потерпел поражение? Он всегда знал, что должен делать, другие же не знали, и в этом была его сила, его власть над ними, его проклятие и ноша. Кибуц не хотел принять в свои члены Наума – он, Гальперин, заставил, потому что он один знал, что этот человек нужен. Не только потому нужен, что столяр, что руки золотые, – незаменимых нет, не поэтому, кибуц создан не руками Наума и волей его, Гальперина, а чем-то совсем другим, для чего нет слов. Очень редко бывало, когда эта таинственная сила, движущая ими, обнаруживалась органами чувств и делалась очевидной. Кому ж это знать, как не дурочке Хане, сила всегда обнаруживала себя неожиданно для нее, казалась просто упрямством Наума, а на самом деле была невменяемостью, когда человек не отвечает за свои поступки, потому что он бессилен перед той силой, которая завладевает им и ведет. Он, готовый подчиняться любому ее капризу, вдруг делался слепым и глухим для нее, как было в день, когда увидел в ее шкатулке колечко, подаренное Бетей, и сказал, что колечко принадлежит кибуцу. Но это было не их колечко, оно принадлежало Бете, и Бетя не была членом кибуца! Кто же потребовал от него это колечко? Почему это было для него так важно? Что кибуц мог купить на него? Топор или пилу? И этот топор был Науму важнее, чем любовь Ханы, даже не любовь, важнее, чем ее доверие, которое, как скор-

лупа яйца, становится обреченным в мгновение, когда зарождается трещина. Она сказала себе единственное, что можно было сказать: тут ничего не сделаешь, он такой, ее Наум, и это ее счастье, которое у каждого человека свое, и у нее, значит, такое, – вот это и знал Гальперин: Наум такой, и дело не в золотых руках, а в том, что он такой, и будь он другим, не было бы кибуцев.

И в этого Наума он направил револьвер, взвел курок, и у него хватило бы воли выстрелить, потому что иначе остановить Наума было нельзя, красный подсолнух стал черным от слетевшихся мух, Наум поднял с земли карабин Мирьям и побежал вверх по склону, за ним уже бежали парни, выдергивая на ходу колья, это был конец всего, конец женщинам и детишкам, как случилось в Кфар-Амалия, но араб с вершины холма выстрелил раньше и ранил Наума в ногу.

У Гальперина хватило разума и воли остановить всех. Даже женщины были против него. Он предложил: ночью эвакуируем детей и женщин, на рассвете займем оборону, сыновья шейха сами придут к нам в руки. И женщины сели в грузовик. Они понимали, Мирьям, что твои эгалите и феминизме – это не женское достоинство, а забавы защищенных и сытых.

Зингер написал о той ночи замечательную статью: евреи должны жить здесь не потому, что эта земля дает им безопасность. Как раз наоборот, это, может быть, самое опасное место на земле. Но это единственное место, где евреи сами могут защищать жизнь своих жен и детей с оружием в руках, не передоверяя это другим народам. Наум вырезал все статьи Зингера, вырезал и эту, а Гальперину так и не простил ту ночь, хоть и был не прав.

Но кто знает, в чем правда? Может быть, она была в том, что они должны были все лечь рядом с Мирьям с красными подсолнухами на рубашках, и Зингер написал бы еще лучшую статью, и кто знает... Впрочем, зачем продолжать, если никто.

Значит, так, подбивал свой баланс привычный к бухгалтерским расчетам Гальперин, значит, так: сила его была в том, что он всегда знал, что делать, и природа наделила его волей и разумом, он своего всегда добивался. И упрямо остался простым кибуцником, «хавером», как решил в детстве, взяв узелок с деньгами, припрятанный в комод отца. Сколько раз его выдвигали «вверх», в Правление, в Собрание, в Комитет, заседать в Базеле, Женеве и Тель-Авиве – он оставался здесь. Вместе с бабами и мужиками возмущался политиками, дельцами, позерами и болтунами, и вдруг оказалось, что ничего он здесь не может, все зависит от того, соберет ли Гохберг деньги в Америке, сможет ли Зингер закупить оружие у контрабандистов Средиземноморья. Зингер ночевал в кибуце. Рассказывал всю ночь. Старина Зингер, такой незнакомый без бороды и волос, такой маленький, такой близорукий... Руки его давно не держали в руках ничего, тяжелее авторучки, ослеп он над чтением всяких резолюций и постановлений, и у него было, что сказать, он знал, что делать, а

Гальперин не знал. Оттуда, где он прожил жизнь, уже ничего не было видно кроме вершин эвкалиптов, над которыми тархтел одномоторный самолетик Хаганы. Жизнь была прожита. Все его имущество помещалось в котомке, он мог бы взвалить ее на плечи и уйти, ничего бы не изменилось в кибуце. Его воля и разум стали не нужны.

Да были ли они вообще? Без горечи и разочарования обнаружил усталый Гальперин, что сверхчеловеческое усилие его жизни не привело ни к поражению, ни к победе. От него зависело не больше, чем от зародыша, возникшего в утробе матери. В зародыше уже заложено все будущее развитие девяти месяцев, отмеренных не им, возникновение органов и жизненных систем, мозга и скелета, и возможно, уже заложены дальнейшие усилия разума и воли. Но толчком этого развития были не разум и воля. Чужая и, может быть, враждебная сила создала мечту жить на земле и кормиться плодами своих рук. Мальчик не мог решать, хороша мечта или плоха. Она принадлежала не ему, передалась от других людей и книг, возникла тогда, когда его еще не было на свете. Теперь ее нет. Молодежь мечтает совсем о другом – вырваться из кибуца в Тель-Авив, в Америку, в Париж, она ненавидит эти домики, курятник, коровник, страшно сказать, она ненавидит само слово «кибуц», она снова, как покойная Мирьям, мечтает об эмансипе и эгалите, а на самом деле трепещет перед новыми Зингерами, зависит не от старых книг, а от новых лаковых журнальчиков и американских шлягеров, он никому не нужен, ничего не понимает, и бессмысленно думать о неудавшейся жизни или ошибке, кто-то вел его всю жизнь, используя в своих интересах его разум и волю, а кто – не дано ему знать.

* * *

Видела ли Хана в своем бреду маленького бесенка с дурным характером, злобного и порочного, но обожающего ее так, как только может обожать одинокий мальчик добрую и красивую тетку? Открылось ли ей и его будущее? Отец его уехал в Америку собирать деньги для обороны ишува, мать работала в больнице «Хадасса» и решила, что кибуц – лучшее место для воспитания сабры, еврея, рожденного в Эрец-Исраэль. Именно в кибуце он должен был приобщиться к земле, к физическому труду, он должен был впитать в себя здоровую мораль хлебопашцев. Старший его брат Эммануэль умер в возрасте трех месяцев от непонятной болезни, и мать винила себя за то, что вынашивала его плохо, слишком нервничала и слишком много хотела для себя, и много курила на девятом месяце, и ссорилась с мужем, и устраивала истерики ревности, и прятала в пеленках пистолет с патронами, все это было вредно для Эммануэля, у нее были основания обвинять себя в том, что не сделала для сына все, что могла, и когда родился второй, она

помешалась на его физическом здоровье и здоровом образе жизни, – слово «здоровье» стало ключевым для нее, она даже любовника завела «для здоровья». Сын же надежд не оправдывал. В отличие от старшего брата, родившегося спокойным и веселым, как ангел, он уродился болезненным, много плакал, а в девять лет, когда его привезли в кибуц, искал под эвкалиптами, лимонами, сливами и апельсинами ангела Эммануэля.

Ло таасе леха пэсель! Не сотвори себе кумира! Это первая из десяти заповедей, которые на горе Синай дал Безымянный Моисею. Не исполнишь ее, нет смысла выполнять остальные, можно убивать, ненавидеть и презирать отца и мать, прелюбодействовать, – все можно человеку, сотворяющему кумира, потому что ничто его не спасет. Он был обречен, потому что он не мог жить без кумира. Когда они приезжали в Тель-Авив и ходили за дюны к морю, отец учил его плавать. Жестоко учил: брал за вихры, погружал голову в воду и считал, сколько он пробудет без воздуха: пять секунд, десять секунд, двадцать восемь секунд... Он мог прожить без воздуха сорок пять секунд, но он не мог прожить, не сотворяя себе кумира, нисколько. Кумиром был отец. Засыпая в своей кровати, он иногда обомлевал от счастливого изумления: как могло случиться, что именно он, такой же мальчик, как все другие, родился сыном самого замечательного героя, Гирша Гохберга! Ведь он мог бы родиться сыном кривобокого Сруля, сыном жирного Менахема, даже сыном какого-нибудь араба... Он засыпал, чтобы во сне скорее избыть пустое время до встречи с отцом. Впрочем, кумира не обязательно нужно было видеть, слышать, трогать руками, важно было сознавать, что он всегда где-то есть, ждать встречи с ним... Отец жил в Европе, занятый важными делами, приезжал редко, отсыпался, уходил из дому на целый день, очень редко по субботам уделял внимание сыну, но если честно сказать, рядом с отцом сыну было скучновато, он не очень любил отцовские разговоры с ним (другое дело, когда при нем разговаривали взрослые), и охотно убегал из дому, если звали приятели, или читал книгу, или просто бродил по улицам. В качестве кумира отец существовал как-то отдельно от своих жизненных проявлений, отдельно от невысокого полнеющего человека с внимательным умным взглядом из-под очков, важно было сознание, что он есть, а сам он был как бы и не нужен.

Два его существования – в заочном обожании и в общении – иногда совмещались. Горела керосиновая лампа, подвешенная серебристыми цепями к желтому абажуру над овальным столом, накрытым белой скатертью с кружевами, заставленным тарелками с едой и немецкими чашками с чаем. Свет лампы сверху освещал блестящие лысые головы, очки, серебристые венчики вокруг лысин, медные волны маминых волос, прекрасные, мягкие, пахнущие лавандой, то падающие на глаза – и тогда мама сдувала их, выпячивая нижнюю губу, то залезающие в рот, и мама могла рукой закинуть всю тяжелую волну

волос назад, за ухо. Про мальчика забывали, а он ловил каждое слово в разговоре взрослых, которым не хватало идиша и иврита, которые то и дело переходили то на немецкий, то на английский, – интеллектуалы, общественные деятели, которые как небожители спускались в эту комнату, где смачно ели, причмокивали, ковырялись в зубах и вытирали жирные губы салфетками, жадно пили и потели, как и положено существам, обитающим в комнатах, но в то же время принадлежали миру, из которого пришли и в который вернутся, проговаривались о нем словами немецкого и английского, приоткрывали краешек вуали, обнаруживая свой настоящий, неведомый, тайный мир, и мальчик жадно ловил каждое слово, чтобы проникнуть в тайну.

Иногда за столом оказывались мамыны приятели, люди молодые и веселые, врачи, актеры, поэты, все очень разные, собравшиеся вместе явно случайно, по маминой прихоти, и объединенные между собой чем-то, несовместимым с тяжеловесной серьезностью отцовских гостей, – чем-то очень похожим на детскую игру.

Это и была игра. Особая игра для взрослых. Пока она не начиналась, пока собирались по одному, входили, целовались, говорили *комплименты*, рассаживались, обменивались новостями, – им было скучно. Скука сгущалась с каждой минутой, мама, угощая гостей, начинала нервничать – вечер не получался, попытки всех расшевелить не удавались, паузы между словами угнетали, и вот кто-то произносил фразу, приглашающую к игре. Она как будто не отличалась от других фраз, но говоривший выделял ее почти незаметной игровой интонацией. В то же время всем своим видом он показывал, что никакой такой интонации нет, он, вроде бы, серьезен. Например, он спрашивал:

«А товарища Зингера сегодня не будет?»

Не «Зингера», а «товарища Зингера», как говорят на собраниях в «Позлей Цион». Это был как бы первый звук настройки. По молодым лицам пробегал какой-то ток. Все оживлялись. Настройка продолжалась. «Ей-Б-гу, Иегуда скучает без Зингера». – «Мне рассказали один секрет, – курчавый, узколицый, жизнерадостный красавец Иегуда Бен-Цви намеренно тянул, заставляя всех ожидать продолжения, делал большие паузы, и слушатели уже заранее настраивались хохотать, мама влюбленно смотрела на молодого человека, благодарная за то, что вечер будет спасен и на следующий день в городе будут пересказывать сегодняшние шуточки, а сидящие за столом будут говорить: «Вечер удался, Бетси, Иегуда был неподражаем», – Иегуда делал паузу после слова «секрет», подхватывал вилкой самый большой кусок селедки с кружочками лука, все ждали, он как бы раздумывал, продолжать или нет. – Я дал слово никому не говорить... Но тут все свои... Если вы обещаете, что никому не скажете...» – «Клянемся!» – «Зингер каждое утро красит свои волосы». Пронесился легкий стон. «Чем?» – «Чем Зингер может красить? Типографской краской». – «Но она чер-

ная!» – «Ну и что?» – «Как ну и что? Волосы у него белые!» – «В самом деле, – задумывался Иегуда. – Как же это может быть? Неужели мне солгали? Но, господа, мы договорились: никому не слова. Может пострадать кибуцное движение. Что тогда будет с Эрец-Исраэль?» Невозможно было понять, отчего мама смеется, откинув голову, отбрасывая за ухо непокорную медную волну, но по каким-то признакам он научился отделять смешное от несмешного, и всегда знал, когда начнут смеяться, и сам смеялся вместе со всеми. Чаще всего смеялись над отсутствующим Зингером. Говорили, что борода у него накладная, что он взял ее из театрального реквизита, что он вообще не мужчина, а женщина, нацепившая бороду, – и все это казалось очень смешным.

Иегуда приходил все чаще и чаще, он оказывался в компании отца, среди серьезных немолодых людей, и там тоже от него ждали смешного. Он мог подшучивать даже над хозяином. Мама сначала пугалась, но у него получалось так мило, что она успокоилась, хоть и была не очень довольна. «Гирш, – говорил Иегуда, – электрификацию надо начинать с арабских деревень. Надо, чтобы в каждой бедуинской хижине висела электрическая лампочка. В темноте они слишком быстро размножаются. Пока они раньше нас ложатся спать, мы всегда будем в меньшинстве в Эрец-Исраэль», «Гирш, вы хотите превратить Палестину в Европу, так не проще ли евреям оставаться в Европе, а тут пусть живут арабы?» Он вроде бы и посмеивался над отцом, но при этом незаметно и льстил ему, получалось, что самые важные вещи в мире зависят от воли отца, это не подлежит обсуждению, и он, Иегуда, отдает отцу должное, а шуточки отпускает, чтобы повеселить отца и его друзей, скромно принимая свою роль шута, который не посягает на равенство с этими серьезными людьми. Если в его словах и чувствовалось нападение, то оно было задано игрой, как роль актера в театре задана драматургом, написавшим пьесу, и играя роль, Иегуда не отвечал за нее, как отвечает за свою роль отец, который не играет в чужой пьесе, а говорит свои собственные слова.

И все же в этой веселой игре было что-то, что ею не исчерпывалось. «Ты хоть к чему-нибудь относишься серьезно?» – спросила мать. Они сидели в дилижансе, зажатые узлами и чемоданами, мать перебиралась жить в Тель-Авив, где жили поэты и актеры, выходили литературные журналы на иврите, создавался театр, кипела жизнь в литературных кафе, и мать получила место в больничной кассе Гистадрута, отец в это время был в Америке, Иегуда, родившийся в Яффо и живущий в Тель-Авиве, помогал матери собрать вещи, достал лошадей, дорога все время спускалась к морю, лошади бежали быстро, и Иегуда ответил: «Я отношусь очень серьезно к твоим прекрасным волосам, к твоей чудесной коже, я боготворю твою улыбку». – «Иегуда, успокойся, ты невозможен». – «Это от меня не зависит». – «Алекс!» – окликнула мать, проверяя, спит ли он.

* * *

Сколько он себя помнит, он всегда чем-нибудь гордился. От этого всегда бывали неприятности, он давал себе зарок, что никогда больше не будет хвастать, но его распирало. В кибуце он гордился, что успел пожить в Иерусалиме и Тель-Авиве, что папа у него – знаменитый Гирш Гохберг, что родители решили воспитать его в кибуце, чтобы он был самостоятельным. Это делало его выше других детей: он приехал как бы с некоторой задачей, мог и не приехать, у него был выбор, а те, кто родились в кибуце, ничего другого не видели, и выбора у них не было. Он уедет, а они останутся.

Кибуцные дети не видели родителей. Те целыми днями в поле, на выпасе, в теплице, в курятнике, коровнике, на кибуцной кухне или в кибуцной швейной мастерской, где – все это знали – есть тайный люк под паровой гладильной машиной, и лестница ведет в подпольный цех Хаганы. Вечерами кибуцники подолгу засиживались в общей столовой и расходились по маленьким домикам в тридцать квадратных метров, где не было ни кухонь, ни посуды. Дети спали отдельно в детском общежитии. Тогда много обсуждали педагогический вопрос, и победили те, кто считал, что детей надо воспитывать коллективно, что заниматься воспитанием должны профессионалы, а от родителей один только вред. Родители были тут же, прибегали поцеловать перед сном, пошептаться, подурачиться, они, дорожа каждой минутой ласки, проводили с детьми праздники и выходные. Больных детей отдавали на время болезни матерям, освобождая тех от работы. Женщины не позволяли себе продержат ребенка у себя лишний день – как только спадал жар, как только чад поднималось с кровати, его за руку отводили в общежитие и бежали по разнарядке на работу. Детей постарше автобусы с охранниками возили в школу в Неот-Ганим, потом привозили обратно.

Так росла дочка тети Ханы и дяди Наума. Кроме кибуца Михаль ничего не видела, а было ей девять, как ему. Рассказы о больших городах не производили на нее впечатления. Что бы он ни рассказывал, она заранее знала, что кибуц – лучшее место на свете.

По утрам педагог Наталья будила всех и объявляла разнарядку. Коровник чистить, какой-то желоб чистить, яйца в коробки укладывать. Днем все спали. Он не привык спать днем, время тянулось бесконечно. После сна шли в столовую, выпивали по кружке молока с хлебом, и все мгновенно исчезали. Михаль нарочно старалась улизнуть незаметно, чтобы он не увязался с ней. Оставаясь один, он бродил по кибуцу, и так однажды набрел на всю компанию.

Они собрались за кухней, где были подсобки. Михаль залезла на рубероидную крышу кухни, с нее – на крышу столовой. Остальные смотрели. Сразу за столовой строилась водокачка. Там на строительных лесах, наверху, торчал один из парней, Игаль.

Михаль подошла к самому краю столовской крыши и ухватилась за конец доски, которую подал с водокачки Игаль. Утвердили доску между крышами. Игаль явно собирался пройти по ней, но замешкался, видимо, испугался. Пока он собирался с духом, Михаль быстро перебежала к нему. Снизу это казалось очень простым делом. Тогда и Игаль двинулся. Он перемещался мелкими шажками, и доска под ним заметно пружинила. Дядя Наум шел внизу с мешком цемента на плече. Увидев Игаль над головой, он замер. Осторожно, словно сам стоял на доске наверху, он присел, бесшумно опустил мешок на землю и приготовился ловить Игаль. Тот добрался до крыши столовой, ступил на нее двумя ногами, и тогда дядя Наум разогнал всех. Отлегло от души: значит, не придется лезть наверх и ходить по доске.

Но хвастовство всегда его подводило. Он ничего не мог с собой поделывать. Стал объяснять, что Игаль шел неправильно, что надо широко расставить руки, и тогда легко, – законы механики, центр тяжести... Михаль тихо сказала: вот и покажи.

Стоя двумя ногами на крыше, он не смотрел вниз, зная, что боится высоты и одного взгляда достаточно, чтобы оцепенеть и не двинуться с места. До доски оставался шаг, он еще не ступил на нее, еще стоял двумя ногами на плоской, залитой смолой крыше столовой, а ему уже казалось, что падает. Кружилась голова. Главное, не смотреть вниз, сказал он себе, нашел точку – вершину эвкалипта за кибуцным полем, но перестал понимать, где доска, куда ставить ногу, нащупал ее ногой, сделал шаг... и потом оказалось, что он висит, болтает в воздухе ногами, вцепившись руками в доску, сейчас они разожмутся, кто-то с крыши тянул руку, он не мог отцепиться, чтобы ухватиться за эту руку, он ничего уже не мог, пока кто-то из взрослых не схватил запястье... как-то его втащили.

Вот тогда, навек опозоренный, он и придумал про маму. Это было в столовой после дневного сна. Он сидел вместе с девочками на длинной лавке за столом. Все пили молоко из кружек, не торопились, болтали. Мальчишки подбегали, хватали кружки, оглоушивали, а хлеб жевали уже на бегу – не было времени спокойно поесть, что-то мастерили за коровником из железок, таинственное, его с собой не звали.

Он не помнит, почему зашла речь о петлюровцах. Не то, чтобы придумал... Что-то слышал от взрослых, остальное подправило и разукрасило воображение: отец схватил шашку рукой, другой рукой выхватил маузер и выстрелом разнес, как арбуз, голову петлюровца, мама прятала отца среди бочек с капустой, однажды петлюровцы внезапно нагрянули, отец успел вскочить в бочку, окунулся в рассол и не дышал десять минут.

Какая-то малышка за столом ничего не поняла, решила, что он про себя, развеселилась:

– Алекс выскочил из бочки! Алекс выскочил из бочки!

Ее урезонили:

– Не Алекс, а папа Алекса.

Михаль молча встала, понесла на мойку пустые кружки. Он подождал ее под козырьком у входа в столовую:

– Куда идешь?

Подняла глаза:

– Почему ты всегда врешь?

Ждала ответа, не отводя серьезных глаз.

– Спроси у мамы! – заорал он возмущенно.

Возмущался искренне. Для этого были основания. Прежде всего, она не может знать, врет он или не врет, и значит, нет у нее права не верить. Он почти не врет, только кое-что преувеличил, а это не называется – врать. Кроме того, у него было чувство, будто все его слова – правда. Да, иногда он врал, знал это и сам жалел об этом потом. Но иногда его словно бы несло, он говорил с вдохновением и потом верил в то, что говорил.

Описывая это в повести «Весна в Кфар-Нехаме», тридцати с небольшим лет, он «делал автобиографическую психологическую прозу» немного под Льва Толстого, и назвал то «вранье» детской фантазией и игрой воображения, без которой не бывает взросления. Это уже был следующий этап самопостижения. А в сорок пять лет он остыл к психологической прозе – в то время он жил с умной молодой женщиной-психологом, закончившей американский университет, и рядом с ее работой психологическая проза выглядела банально и занудливо. Может быть, у него не хватало таланта и умения, а может быть, психология перестала быть открытием и догадкой писателей и стала делом ученых. Художественная проза уходила от нее. Сама фантазия, прихотливые картинки ее работы и их странная принудительность стали интереснее, чем вопрос, почему ребенок фантазирует. В это время снимался фильм по «Весне в Кфар-Нехаме», и когда снимали эпизод, написанный им по воспоминаниям, получалось так фальшиво, что режиссер хватался за голову и просил этот эпизод переписать: «Уходи от воспоминаний, Алекс! Фантазируй!» Он сочинял, придумывал, фантазировал. Если у него не получалось, режиссер кричал: «Это неправда!» Если же получалось, оба мгновенно чувствовали: «Да, это правда». Как будто фантазия не создавала то, чего не было, а открывала то, что уже существовало в скрытом виде в мире кино.

Мир кино зависел от времени. То, что казалось правдой в начале пятидесятых, выглядело фальшиво в конце шестидесятых. То есть, правда и ложь были понятиями относительными. У каждого времени был свой киномир и свое отношение к правде. Но что означало само слово «время»? Это не было время физиков, астрономов или биологов, это был возраст общества, в котором они жили. Как детство – возраст человека.

Тогда он и догадался, что фантазия ребенка не отличается от фантазии киносценариста. Он не врал девочкам. Он существовал в одной реальности, а они – в другой. Он искренне хотел это преодолеть, чтобы быть правдивым в главном – передать им то, что чувствовал сам. Они должны были изумиться, оценить не-

обычность, почти невозможность того, что сделал его отец. Ведь бочка с рассолом и маузер – это были всего лишь его слова, такие же, как другие. В сущности, это были знаки. Они понадобились, чтобы вызвать чувство. Это не было ложью, это была работа самовыражения. Он делал ее, как умел. Ради правды самовыражения было необходимо, чтобы девочки изумились. Их изумление говорило ему о том, что он именно тот человек, каким себя ощущает. Если он и не был таким на самом деле, он должен был им стать. Это было не капризом, а жизненной необходимостью в той реальности, которую он для себя признавал. Фантазируя, он соответствовал этой реальности. Не ребенок создавал свои фантазии, а они создавали его – по тем же законам, по которым создавался фильм, тоже продукт воображения на основе подлинных событий, где подлинность и воображение должны были дополнять друг друга, чтобы стать правдой.

Михаль была устроена, наверно, иначе. Для нее было просто: он врет, чтобы казаться интереснее, чем он есть, но это нечестно, нехорошо. Понимает ли он это?

Он понимал, и, соврав, стал бояться, что вранье обнаружится, когда придет мама.

Мальчики были заняты своим, девочки своим, и он, отверженный, оставался один. К этому уже привыкли. Он стал ходить к тете Хане на птичник. И тут же стал видеть в этом не отверженность, а какое-то преимущество перед другими: они играют, как маленькие, а он занят взрослым делом. Он внушил себе, что любит работать с курами, потому что у него доброе сердце, а птицы нуждаются в любви. Это был не самообман, а очередная фантазия сродни игре. Ведь и в игре он представлял себя лучше, чем есть на самом деле, – следопытом Фенимора Купера или революционером Феличе Реваресом из романа «Овод». Воображая себя ими, он испытывал их чувства. Также на птичнике он воображал себя замечательным мальчиком, жертвующим удовольствиями ради долга и любви к птицам – и в самом деле чувствовал эту любовь. При этом удавалось забыть неприятную правду, что дети не принимают его в свою компанию.

Птичник помещался в длинном бараке длиною в шестьдесят четыре его шага – он как-то промерил от скуки. В начале барака сразу за дверью была конторка с письменным столом, скамейкой и вешалкой для одежды. За ней начинался длинный и узкий курятник. Там всегда было сумрачно. Из конца в конец шел ряд хитроумных поилок – умные куры научились сами клювами нажимать клапаны, подающие воду, а когда напивались и отходили, вода переставала поступать в поилку. Работа заключалась в том, чтобы наполнять водой резервуары, засыпать просо в бункеры-дозаторы, открывать и закрывать окна под крышей (это делалась строго по расписанию), чистить пол и механизмы, собирать яйца. Работала там тетя Хана.

Вообще-то это было зловонное и безрадостное место. Цыплята и куры, рождаясь здесь, никогда не видели солнца. Они были

вялыми и тихими. Петухи не кричали, как в деревне, где на птичь-ем дворе всегда веселая суматоха, драки и шум. Наверно, потому птицы и стали умными и организованными, что были лишены возможности проявлять себя в сумасбродствах вольной жизни.

Тетя Хана жалела их за ум и умение пользоваться поилками. Она могла остановиться посреди сонного птичьего царства и горестно вздыхать. Как-то взяла одного цыпленка в ладонь и вынесла на солнце, опустила на траву, чтобы порадовался. Он съежился и замер. Она быстренько отнесла его назад.

Так же и племянника своего старалась выгнать на солнце, убежденная, что зловоние и сумерки вредны для здоровья. Он клялся, что ему нравится (намекая на удовольствие от исполненного долга), она вздыхала. О притворстве не догадывалась, но неблагополучие чувствовала. Он же думал, что она им восхищается, и старался еще больше. Когда куры заболели, она повезла клетку с больными на обследование в Хайфу, и ее не было два дня. Он заменял. Вернувшись, она первым делом помчалась в птичник. Убедилась, что он справился с работой. Изумлялась, восхищалась. Кинулась в конторку, пошарила в карманах сумки, появилась с лукавой улыбкой, держа руки за спиной.

– Любишь курочек? На, получай! – вручила два леденца, красных петушков на палочках.

Один он высосал, второй подарил Михаль. Рассматривая подарок, она спросила:

– Где взял?

Значит, дочь свою тетя Хана не угостила! Он сообразил, что не следует ее выдавать. Гордости за то, что его предпочли родной дочери, не испытал. Догадался: тетка просто пожалела его, как цыпленка. Однажды поняв, потом всегда чувствовал ее жалость.

Стало неприятно приходить на птичник. Хана видела, что он замкнулся, но, простодушная, истолковала по-своему:

– Скучаешь по маме?

– Немного, – печально сказал он, не уверенный, что говорит правду.

Страх быть разоблаченным прошел: про вранье никто не вспоминал и вообще никому не было до него дела.

– Жди в пятницу! – торжествующе объявила тетя.

Мама не приехала ни в пятницу, ни в субботу, и тогда он стал ее ждать, как прежде, нетерпеливо и страстно. Она снилась ночами. Вместе с ней в сновидения вернулась прежняя жизнь, беззаботная, прекрасная. Дни тянулись тоскливо и медленно. Он ждал следующей пятницы, а мама неожиданно приехала в четверг. Перед столовой остановился грузовик с дощатым кузовом и фанерной кабиной, мама вышла в разлетающейся пестрой юбке, медноволосая, звонкая, нежная, господи, как ты изменился. Потом они увиделись в столовой за ужином. К их столу все время подходили люди. Михаль, получив подарки – поясок, ленточки, конфеты, все потом пришлось делить среди подруг, воз-

никли обиды, – ластилась к ней, как котенок, он загордился и сам не заметил, как снова начал хвастать – курами, коровами, водопроводом, насосной станцией. Он оставался хвастуном, но уже был не иерусалимским умненьким мальчиком, а кибуцником. Мама смеялась: настоящий кибуцник!

* * *

Ты прекрасно выглядишь, сказала она Хане, но честно сказать, ей было не по себе: этот запах курятника... Как можно так не следить за собой? Она что, не спит с Наумом? Поговорить не давали. Люди в столовой не расходились, ждали доклада этого типа, который подвез ее на своем грузовике. Звали его великолепно – Лео Гур. Едва заглушив двигатель, он сразу исчез с Гальпериным в цехе патронов. Наконец, они появились и этот тип произнес долгожданную речь. Лысый и плотный живчик, всю дорогу хвастал связями, изображал пройдоху, у которого все англичане вместе с губернатором в кармане, а речь произнес патетическую и суровую: Хагана показала, что евреи могут постоять за себя, погром 29-го уже не похож на погром 21-го, патроны важнее апельсинов. Ставил задачу, как генерал перед новобранцами. Но генералов она предпочитает с погонами, а говорить Иегуда умеет лучше. Кибуцники в самом деле решили, что перед ними важная птица, занудили про забор из колючей проволоки, про патрулирование, как будто от этого живчика что-то зависело. Особенно нудила носатая дылда, которую Хана – она это почувствовала сразу – ненавидела и боялась, и, наверно, было за что, дылда кончила речь требованием, чтобы представитель кибуца, такого важного для обороны, вошел в правление Хаганы. Этим занимались добрый час – составить петицию, выдвинуть кандидатуру Гальперина, проголосовать. Гальперин разозлился – не будет он заниматься всякими глупостями, ему своих дел хватит, – в итоге выбрали дылду, и хоть та для виду сопротивлялась, видно было, что довольна. Рядом с ней сидел муж, смазливенький и хрупкий, с прилизанным пробором, – он тоже гордился супругой. И Наум разгорячился, что-то в поддержку вякал, а Хана страдала. Бедная Ханочка. Дылда употребляла выражения вроде: «Так делается история!». Вот мы какие. Вы думали, мы коров доим и апельсины собираем, а мы историю делаем. Иегуда много потерял, оставшись дома. Он такое обожает. Это не так смешно, Иегуда, как тебе кажется. История делается так: кибуцница выдвигает себя в правление, которое о ее существовании не подозревает и которому она нужна не больше, чем дверца одному интересующему тебя женскому месту. Потом эта кибуцница не даст никому забыть о своем назначении, заставит выправить нужную бумагу-мандат, поедет на конференцию, будет выступать, выберет себя еще выше, станет незаменимой... Учись, сукин сын, пока она еще здесь коров паст и до тебя с твоими друзьями из «Габимы» не добралась.

Дылду в кибуце звали за глаза американкой. Муж ее был для всех Джо, нормально, а она – американка. Народ чуял дистанцию. Потом мы решили познакомиться с женой Гохберга. Выразить восхищение супругом. Пригласить в свой домик. У нас музыка. Джо увлекается искусством. Так что готовься, Иегуда, – мы, оказывается, и в искусстве разбираемся. То есть увлекаемся. Мы, сказала она, стараемся жить интересно. Мы лекции устраиваем. О текущем моменте в современном рабочем движении. Откуда же вам о нем известно? А из газеты «Вперед!». Очень интересно, есть такая газета?.. А чем еще таким эдаким вы занимаетесь? Музыкальные вечера устраиваем. О, к вам приезжают музыканты? Это будет, а пока мы слушаем пластинки. Джо привез сюда любимые пластинки... Заметьте, господа, не мы привезли, а Джо привез, мы дистанцировались. Или мы скромничаем? Поди разберись у этих сумасшедших, где у них скромность, а где мания величия. Наум, святая душа, смотрел ей в рот. Хана выла, стонала, кусалась и царапалась – мысленно. Лучше бы вместо этого она волосы получше мыла, чтоб не пахнуть, и грязь из-под ногтей вычистила.

Заставили слушать пластинки. Болеро Равеля, скерцо Шуберта. Так они сказали. На самом деле – один лишь раздражающий душу скрип старой патефонной иголки. Божественно. Этот Джо растрогал до слез. Ну такая тонкая душа: в кибуце люди грубые, все всегда вместе, а человеку иногда нужно побыть одному или вдвоем с близким человеком, но это невозможно... Как? А откуда тогда столько детишек бегают?!.. Он не в этом смысле. Он даже покраснел. Он имеет в виду... тебе это не понять, Иегуда, ты скотина, он имеет в виду побыть наедине с природой, у них сортира нет, они там все наедине с природой, но этого мало тонкой душе, она еще хочет просто смотреть на луну, наслаждаться дивными видами, мы и в живописи разбираемся, у нас целая папка репродукций, вырезанных из проспектов, Рубенс, Рембрандт. Кибуцники – они ведь, Иегуда, люди необразованные, для них это только голые бабы, а это искусство, возвышает душу. У необразованных при виде голой бабы что-то встает, а у образованных возвышается, чувствуешь разницу? Хорошо провели вечер. Ну что ж ты, Хана? И спать ты укладываешь гостью рядом с собой, а муж идет на ночное дежурство, английскую винтовочку с собой берет, чтоб арабы не шалили.

Ты мне прямо скажи, вы что, уже не спите вместе? Почему? Доктор не велел? Да что такое! Скажи мне немедленно, я же медик! Сильно болит?.. бедная Ханочка... будьте вы прокляты, кибуцы, будь проклята эта жизнь. Поднимала вместе с Наумом колесо телеги, теперь она не женщина. Разве можно так?!

Я испугалась. Я ничем не могла ей помочь. Забрать в город? Наум не сможет там жить. Все равно, исправить уже ничего нельзя. Но я могла забрать тебя. Я не могла оставаться в этой комнате, где воздух стоял, как в закрытой печи с оставленным на субботу чолнтом. Мы вышли на кибуцные улицы – так они назы-

вали дорожки между своими бетонными кубиками, дошли до детской, вы спали, двадцать детей, мальчики и девочки в одной комнате, в трусиках, без одеял, ничем не прикрытые, я подошла – ты разметался на тюфячке, худенький, слабенький, тюфяк жесткий, как доска, я вдруг поняла, как тебе трудно среди этих детей, среди этой убогости, ни одного близкого человека, ни защиты, ни поддержки, ни книг, ни одиночества, надо было забрать тебя, и не решилась. Тебе не очень повезло с мамкой. Отказаться от собственной жизни ради тебя – во что бы я превратилась? Я бы умерла. Я не могла. Я сказала себе, ладно, приеду через неделю...

Мне ночами мерещился этот курятник, где птицы никогда не увидят солнца. Понимаешь, зато у них яйценоскость. И нас ценят за полезность, как кур. У кур яйценоскость, у коров удойность, у нас – трудовые успехи, производительность труда. Этот сукин сын Иегуда прав, он не хочет быть полезным. Он настолько ненавидит само слово «польза», что готов трахать мужчин, даже его писка не должна быть органом производителя. Тебе лучше было держаться от этого извращения подальше, но и в кибуце я не могла тебя оставить. И я не знала, что придумать. Как всегда, жизнь все решила за меня: папа вызвал меня в Лондон.

Я не могла взять тебя в Лондон. Великие сионисты жили там в достатке и благополучии, но не твой папа. Его побаивались члены палаты лордов, но он не мог содержать в Лондоне маленького сына. Он идейный. Ты лучше меня знаешь, что такое идея. Она от слова «идол». *Ло таасе леха пзсель*. Это первая заповедь, а третья или четвертая там – не убий. Обе заповеди связаны друг с другом, как яйцо и куриная гузка. Твой папочка убивал – значит, до конца дней будет служить идолам, иначе он убийца.

Другие – они другие. Я видела, как они живут. Они хорошо живут. Меня приглашали на ленчи, ужины и приемы. И дело не в том, что они мажут на хлеб масло, которого ты в глаза не видел. Дело в том, что они считают, будто заслужили это масло неусыпными заботами о деле народном, то есть о нас с тобой. Они никого не убивали, как твой отец, они могли позволить себе спать спокойно и считать, что делают все, как надо. Ты бы посмотрел на эти ничтожества, они надуты, изображают английских аристократов – можно повеситься от одного вида местечкового *шлемазла*, который воображает себя английским аристократом. Он снисходительно улыбается, спрашивает, как жизнь, отпускает комплименты, достойные бердичевской парикмахерской, улыбка его сквозь усы а-ля-Бальфур почти стопроцентно английская, но почему-то хочется плюнуть в эту рожу. Жена его протягивает руку, улыбается, она умиляется сама себе: это она, аристократка, разговаривает с грязной палестинкой, как с равной! У нее в доме великие пианисты играют Шопена, она могла бы сейчас беседовать с лордами, а она тратит свое драгоценное время, спрашивая тебя, спокойно ли в Тель-Авиве. Она делает вид, что не догадывается о твоей провинциальности: вы не

слышали второй концерт Рахманинова? Нет, хризантемочка моя, не слышала, как-то не вышло. Она бросает тебя и бежит к двери, потому что входит еще один человек с усами а-ля-Бальфур, уж не сам ли лорд пожаловал, нет, это великий сионист и великий физик, и жидок около него, считающий себя англичанином до мозга костей, уже пишет о великом физике воспоминания с учеными комментариями, эти воспоминания его дети будут показывать внукам, там будет портрет автора, ты плюнь в его рожу, он восхищался твоим отцом, как гимназист, и был при этом трогателен, но папа их всех не любил.

Мы с твоим папой пара, как два сапога. Мы сшиты по одной колодке. Мы злы, как псы. Мы никогда не будем там своими, лучше комнатуха у портного в районе русских эмигрантов, лучше ржавая исландская селедка на ужин, понимаешь, мы любим друг друга, хоть иногда забываем об этом, в нас накопилось столько ненависти, что мы просто уже не можем без глоточка любви, потому я и не смогла к тебе приехать, прости.

Папа пытался вбить им в головы, что англичане нас даже не предали, потому что предать можно партнера, друга, а мы просто никто и ничто. Англичане действовали в своих интересах, и большего от них не может требовать даже сам господь Б-г. Было время – им выгодно было провозгласить декларацию о нашем очаге, теперь им выгодно успокоить арабов, а арабы – тоже люди, у них своя выгода, господа сионисты, она, к сожалению, не совпадает с нашей, и англичане ведут себя по-английски, то есть, может быть, и плохо, но лучше других и нас в том числе. Поэтому, сэр, либо вы англичанин, либо еврей. Вы хотите быть и тем и другим сразу – это, наверно, тоже возможно и прилично, но тогда надо признаться в этом самому себе и не жить на средства Конгресса. Должен вам сообщить, сэр, что пахнет порохом, наши с англичанами интересы начинают сталкиваться, вопрос стоит, кто кого, они нас или мы их, вы считаете, что семьдесят тысяч с шестью сотнями устаревших винтовок не могут победить Британскую империю, что ж, ваша позиция мне понятна, но у меня по этому вопросу есть своя.

В Германии ходит по рукам книжка бесноватого ефрейтора, какие-то люди в пивных Мюнхена кричат, что пора очистить Европу от евреев, – твой отец смотрит на это с надеждой, у нас с этими штурмовиками общие интересы, может быть, имеет смысл обсудить с ними этот вопрос. Говорить с англоманами бесполезно, они глупы и слепы, кроме того, страх потерять единственное место, которое их кормит, многовековая местечковая подлость прет у них из всех пор и дыр – разгромив тебя в очередной своей речи перед избранной публикой, эти люди могут взять под локоток в своей гостиной, увлечь в уголок на диван и понимающим шепотком намекнуть, что в твоей позиции кое-что их заинтересовало, но сейчас не время, и лорд такой-то им конфиденциально дал понять, что если евреи будут вести себя тихо, то в скором времени... уже работают над соответствующим

документом в министерстве ее величества... Хайль Гитлер, господа, попробуем договориться с ним.

Твой отец ничего не боялся. Если есть шанс, надо его попробовать. Но это как в игре, когда не идет карта. Ему не с кем было разговаривать ни в Палестине, ни в Европе. Он поехал в Америку. Ему уже не до электрификации. Надо немедленно собирать деньги на винтовки и патроны, на строительство порта рядом с Яффо.

Я провожала его в Ливерпуле. В ноябре там холодно, не то что у нас. Дождь со снегом, туманы, нужно теплое белье, которого у отца нет. Он немолод и уже устал. В отношении тебя он целиком положился на меня. Что я могу сказать? Я постараюсь.

Мне показалось, что я ему немножко нужна, цыпленок. Но он живет своей жизнью, с этим уже ничего нельзя сделать.

* * *

Она приехала в кибуц в конце ноября, как и в первый раз, на грузовике Хаганы. Вел его молодой агроном из Зихрон-Яков, ученик Аронсона, они там скрестили здешнюю дикую пшеницу с каким-то культурным сортом. Зерно в мешках лежало в кузове трехтонки, всю дорогу агроном рассказывал о нем – арабы очень ценят сорт, охотно его покупают, это неправда, что они от всего отказываются, от хорошего они не отказываются. Оружием ничего не добьешься, нельзя уничтожить целый народ, пшеница важнее винтовок, она превратит страну в цветущий рай. Что-то такое она уже слышала. Она сказала: «селекция плюс электрификация». Он не понял, внимательно посмотрел. Она сказала: «Это глупости, не обращайтесь внимания. Мне нравится то, что вы говорите».

Гальперин очень обрадовался, увидев эти мешки, женщины тут же потащили их в амбар, а Гальперин, поглядывая на низкие тучи, покрикивал, подгонял, и сам тоже таскал, хоть агроном ждал его с каким-то срочным делом. Гальперин мог заставлять женщин работать, только если сам работал с ними. Но им-то от этого легче не становилось.

– У тебя бабы рожать не будут, – сказала она.

Он огрызнулся:

– Ну так ты рожай за них.

Ее цыпленок возмужал за четыре месяца, что-то в нем появилось самостоятельное и чужое, она видела – все у него в порядке. Михаль, которая симпатичной мордочкой пошла в маму, влюблена в него, даже немного сердится на него за это. Господи, вот он и кибуцник, сбылась мечта папочки. Она так ждала встречи с сыном, а он умчался смотреть какие-то железки, сукин сын был прав, все, что во имя отца и сына, – все не про нас с тобой, Иегуда.

Гальперин не зря торопил женщин – начал сеяться дождь. Сразу стало холодно и сыро. В столовой все зябли в мокрых

одеждах, пахло затхлостью. Дождь бил по стеклам все громче и громче, слился в сплошной грохот. Люди не выходили, сидели в тусклом свете над пустыми кружками и тарелками, ожидая, когда гроза утихнет. Им не было смысла торопиться: в домиках без детей было так же холодно и сыро, так же пахло затхлостью, но там было еще и жутковато неизвестно почему.

Михаль просилась посидеть со взрослыми в столовой, а Хана отправила детей спать. Возражать ей было невозможно – она сделалась раздражительной и упрямой. Пришлось рано лечь. Хана мгновенно уснула. Так действовал на нее дождь. Наверно, как на зверей, птиц, и все здешние поколения предков. Он диктовал: зима – это то же, что ночь, живое существо должно замереть, не двигаться и сохранять тепло для весны. Наверно, и арабы в соседнем селе спали, как Хана. Они знали, что Аллах насылает на землю дождь из милости, и человек должен принимать эту милость смиренно. Им чужда была душа, самонадеянно решившая, что можно преодолевать свою природу, климат может быть плох или хорош, что время можно ускорить, что будущее должно быть лучше прошлого. Евреи строили планы, дождь мешал этим планам, он не только не позволял продолжать работу, но и разжижал кровь, понижал тонус, уничтожал саму способность к чему-то стремиться, и потому евреям в дождь было жутковато в своих холодных и сырых домах, словно бы они совершили ошибку, которую уже нельзя исправить, и ждали неминуемого наказания.

Утром разбудил стуком в окно агроном. Он связался по телефону с Рош-Пиной, куда должен был заехать, и там сказали, что горные ручьи наполняются водой, дорога сегодня еще проходима, а завтра поплывет. Агроном и Гальперин решили немедленно ехать – у Гальперина было какое-то свое дело, обратно он собирался вернуться на подводе, а агроному нужно возвращаться через Нацерет, так что если она не хочет застрять здесь, ей придется поехать с ним сейчас. Она-то надеялась побыть хотя бы до исхода субботы...

Так и не поговорила толком ни с Ханой, ни с сыном. Вечером он таким уж занятым был, а когда она садилась в кабину грузовика и он осознал, что не скоро ее увидит, такой укор в глазах промелькнул, что ей стало не по себе. Наверно, вчера она должна была что-то у него выяснить. Может быть, он что-то хотел ей сказать и ждал, чтобы она спросила. Но было уже поздно спрашивать. Мужики принесли жесткий, как фанера, брезент, закинули в кузов, развернули тентом, по нему барабанили редкие капли. Гальперин залез под брезент, спрятал под ним какие-то мешки. Откуда-то она знала, что в одном из мешков – патроны. Что-то еще, завернутое в масляные тряпки, засунули в ящик под сидением в кабине.

Ехали под слабым дождиком, почти не видя дороги. Она шла не по низине, уже превратившейся в топь, а чуть выше, по подошвам гор, петляя среди холмов правильной формы. Агроном

сказал: курганы, под каждым – город, которому три-четыре тысячи лет, их строили у воды, но никогда в самом низу, где болота и может смыть паводок. Курганов было много, четыре тысячелетия назад тут кипела жизнь, это был караванный путь из Египта в Месопотамию. Дорога пошла по ущелью, поднимаясь вверх, мотор стал тарахтеть с натугой, преодолевая каменные бугры, и вот сверху сквозь дождь увидели Кинерет. Собственно, видели они не воду, сливающуюся с горами и облачным небом в единую серебристо-жемчужную даль, а прибрежные заросли, зелено-рыжей бородкой окаймляющие озеро. Дорога побежала вниз, колеса скользили по глине, грузовик заносило на поворотах, стало опасно, но, к счастью, дождь кончился и проглянуло солнце. Это было чудо – заиграла вода, заблестели камни, засинело небо, вспухли на нем облака, под ними нервно носились стаи уток.

К полудню добрались до кибуца Дгания. Агроном с Гальпериным выгрузили часть винтовок и патронов. Немного согрелись в столовой, где накормили жареной рыбой и горячей пшенной кашей, поехали дальше, и задул сильный ветер. Гальперин забарабанил по крыше кабины: срывается брезент. Агроном остановил машину, полез закреплять. Ближе к дороге в протоке среди камышей тяжело хлюпала и вздыхала зеленая пузырчатая ряска. Мальчики, помощь не нужна? – да нет, спасибо, Бетя, – она пошла к воде.

Небо и озеро изменились, с севера надвинулась черная туча. Было пусто вокруг и жутко. Ближе к воде увидела несколько заброшенных каменных строений без дверей и окон. Внутри этих строений стояла чуть не в рост человека засохшая на корню трава. Наверно, в щелях развалин обитали змеи. Ветер усиливался, эхо доносило его свист с Голанских гор на противоположном берегу. В тине у берега копошились изумрудные и серые дикие утки. Дальше начинались зеленые заросли камыша. Он стоял, не поддаваясь ветру, лишь мягкие его метелки колыхались, время от времени по ним как бы пробегала с севера на юг волна. Над водяной рябью испуганно кружились серебристые цапли и по-прежнему носились стаи уток. Гальперин и агроном подошли сзади, агроном сказал:

– Из камышовых метелок хорошие матрацы получаются. Как пуховые.

– Надо будет приехать, – автоматически отозвался Гальперин и показал на брошенные строения: – Это, по-моему, место квуцы «Кинерет».

Он сказал это для нее, считая, что ей интересно знать место, где двадцать лет назад сделал попытку жить на земле трудами своих рук Гриша.

– Говорят, все они вернулись в Европу, – заметил агроном.

– Не все.

– Это все, что осталось.

Гальперин не ответил. Человек хозяйственный и запасливый, он приберег для будущего собрания или выступления перед мо-

подежью: «Не осталось фермы, но остался дух... Мы навсегда сохраним...» Что-нибудь такое. То, что он чувствовал на самом деле, было очень похоже по смыслу, но было печально, и это уже выразил тысячелетия назад один из живших здесь мудрецов: «Возвращаются ветры на круги своя... И нет пользы человеку от трудов его»... Однако он, Гальперин, трудился не потому, что ждал для себя пользы, а потому, что выбора не было, ему не приходилось думать о смысле, как не думали летящие перед ним утки о смысле своего полета и тревожного крика. Наверняка какой-то земной, энергетический смысл был и в их крике, и в полете, и в хлопанье крыльев. Что-то аккумулировалось... тепло, энергия... или, наоборот, что-то избывалось... или они собирались таким образом в стаи... Разумом и нутром Гальперин понимал необходимость всего, что происходит в природе, но это понимание лишь увеличивало печаль.

– Поехали.

Дорога шла у воды, огибая юго-западный берег. Миновали курящиеся паром горячие серные источники и остатки древнеримских бань, миновали Тверию, у Мигдаля их остановили. У обочины стоял джип с брезентовой крышей, в нем сидели солдаты. Один стоял на дороге, рукой приказывая остановиться. Агроном сказал сквозь зубы:

– Патруль.

Он соскочил в грязь и пошел к джипу. Гальперин выпрыгнул из кузова.

– Бетя... Ты говоришь по-английски?

– Немного по-французски. Могу по-немецки.

– Еще скажи, по-русски.

Он нервничал. Остановивший машину солдат заглядывал в щель между досками кузова. Что-то спросил по-английски.

Из джипа вышел офицер. Коренастый, немолодой, не очень brave, несмотря на пригнанную форму. Направился к грузовику. Агроном, насупившись, шел следом. Увидев женщину в кабине, офицер удержал движение руки, рефлекторно дернувшейся для военного приветствия, поклонился и представился:

– Капитан Джонатан Шоу, шалом.

Потом он протянул руку Гальперину и к их изумлению заговорил на иврите с сильным английским акцентом. Он не рекомендовал бы господам ехать в Рош-Пину. На дороге могут быть засады. У арабов новые ружья с точным боем. К сожалению, он не может их сопровождать, у него другое задание. Господам в самом деле необходимо быть сегодня в Рош-Пине? У них груз, который портится?..

Солдат ждал, ухватившись рукой за борт, спрашивал взглядом: залезать?

– Я сам.

Капитан спортивно перемахнул через борт, ногой потрогал мешки под брезентом, что-то сказал солдату, и тот полез в джип. Спрыгнув на землю, капитан сказал Гальперину:

– Передайте привет ребятам. Ицику Рохлину, Моше Зиву. Вы не боитесь, что патроны в кузове намокнут? Лучше бы леди поехала в кузове, а они – в кабине.

– Вы еврей? – спросил Гальперин.

– Я ирландец и католик.

Джип следовал за ними некоторое время, потом свернул к Горе Блаженств, где строился костел – затея итальянского фашиста Муссолини. Через полтора часа, добравшись до Рош-Пины, Гальперин и агроном слушали рассказы об удивительном англичанине Шоу. Он родился и вырос в Индии, где служил его отец. Лишенный общества сверстников, читал Библию и заболел мечтой увидеть Святую землю. В детстве его любимыми героями были царь Давид, Дебора, Иисус Навин и Маккавеи. Не видя ни одного еврея в жизни, Шоу стал большим сионистом, чем евреи. Станный этот человек сочетал книжный идеализм с привычками кадрового военного, учил кибуцных парней рукопашному бою, занимался с ними физическими упражнениями.

– Понимаете, англичанин есть англичанин, они помешаны на спорте, в здоровом теле здоровый дух, Джо считает, что евреи потеряли боевой дух Маккавеев, мозги есть, а смелости не хватает.

– А при чем здесь спорт?

– У него спроси.

– Сдается мне, что этот парень антисемит.

– Для чего ж он парней тренирует?

– А ты как думаешь?

– Откуда мне знать, ты ж с ним толковал о евреях.

– Он считает, что Великий Израиль должен возродиться.

– Что еще за Великий Израиль?

– Был такой.

– Мало ли что в книгах написано.

– Но он католик, он верит всему, что написано.

– Оригинально. Значит, это наша страна, потому что когда-то здесь жили Маккавеи? Но их нет, а при чем здесь мы? Это, мне кажется, совсем не еврейская постановка вопроса.

– А какая постановка еврейская?

Ответил агроном. Голос у него был тихий, богатырские ручки лежали на столе спокойно.

– Мы не творим молитвы о дожде или урожае, так что нам все равно, раввин или мула. Земля принадлежит тому, кто ее пашет, и неважно, еврей он или араб.

– Понятно. Большевик, что ли?

– Агроном.

– Понятно. То-то ты зерно намочить боишься, а патроны не боишься.

– Чтобы еврей когда-нибудь сказал спасибо...

– Я тебе, говнюк, патроны привез, нас патруль останавливал! А если бы это был не Джонатан Шоу? А если бы это были арабы?

– Ты ж говоришь, нет разницы, еврей или араб.

– Конечно, нет: они так же не любят получать пулю в башку, как мы.

– Они так же, как ты, считают, что земля принадлежит тому, кто ее пашет? Зачем же они топчут конями наши посевы? Маркс, конечно, умный человек, но Жаботинский умнее сказал: «Земля принадлежит тому, у кого ее нет». Неплохо, да?

– Говорить мы умеем.

– А ты что скажешь, Гальперин?

– Мне, – сказал Гальперин, – плевать, где жили Маккавеи. Я не археолог, я не знаю, где они жили. И тем более, не католик. Я могу жить и в арабском государстве. Но они этого не хотят. Мы покупаем за деньги их земли, но мы не можем купить за деньги их веру. По этой вере мы – псы правоверных. Значит, мира не будет. Право на землю будет у того, кто сильнее.

– Право силы.

– Да, право силы.

– Значит, ты фашист.

– Мне все равно, как это называется. Если это фашизм, значит, я фашист.

– Но все фашисты католики, они тут у Капернаума храм строят.

– Что еще за Капернаум такой?

– Кфар Нахум.

– Так и говори, Кфар Нахум.

– Важно не что я тебе говорю, а что они скажут. Боюсь, таких католиков, как Джо, ты больше не найдешь.

– Я не очень понимаю в христианских тонкостях, англичане – они что, не католики?

– Нет.

– Но тоже христиане?

– Да.

– Черт возьми, как они сами во всем этом разбираются.

– Вот и мы им все на одно лицо, марксисты и фашисты, толстовцы и бейтаровцы.

Возвращаясь на следующий день, Гальперин видел из кузова горные хребты, спускающиеся к озеру. Оно было спокойно и тихо. На вершинах темнели мокрые древние развалины, иногда попадались одинокие церкви с крестами над куполом. О христианстве Гальперин знал очень мало. Выросший в местечке, он привык считать, что люди в золоченных красивых одеждах суеверны и нетерпимы, что верят они во всякие нелепые вещи, их Христос ходил по водам Кинерета, как по твердой земле, воскрешал умерших прикосновением руки, был распят римлянами, но воскрес и улетел на небо, – поверить во все это, казалось бы, образованный человек не может, но самые образованные христиане верили в чудеса, и это не укладывалось в голове. Гальперин еще мог понять верующих евреев – у них не было чудес, а то, что напоминало чудеса, вроде голоса, который слышал Моисей на горе Синай, не имея при этом свидетелей, – это можно было принять, как психические явления, которые образованный человек может

объяснить и без веры в Б-га. Гальперин твердо знал, что Б-га нет и быть не может, знание было печальным, для некоторых и страшным, Гальперин понимал, что слабые люди это его знание принять не могут. И вот Джонатан Шоу, сильный и умный, верил в Б-га и во все христианские чудеса. Эта вера, которая много веков восстанавливала христиан против евреев, заставила капитана встать на сторону евреев. И этого тоже нельзя было постичь. У Гальперина выбора не было, у английского капитана он был. Выбирая между христианами и евреями, капитан выбрал евреев, но не стал евреем, а остался католиком со своей христианской совестью. Эта совесть заставляла его действовать во вред себе, подвергать себя опасности, сломать свою военную карьеру, – это не могло не вызывать уважения, но это было непонятно, непонятность тревожила, тревога переживалась Гальпериным как подозрительность. Хотелось отмахнуться – да мало ли чудачков есть на свете. Однако Ривкин и Зив в Рош Пина говорили о капитане, как о человеке, на чудачка не похожем. Что-то еще смущало... Не сразу он смог ухватить: вот в чем дело – он уважал Джонатана Шоу именно потому, что тот действовал вопреки своим интересам, во вред себе. Если бы на его месте был еврей – евреи-капитаны в английской армии тоже встречались, и даже губернатором Палестины был Герберт Сэмюэль, еврей и сионист в прошлом, – такой человек тоже мог действовать во вред себе (хоть таких случаев Гальперин не знал, а губернатор даже явно потворствовал арабам против евреев, чтобы его еврейство не помешало его английской беспристрастности), но тогда можно было объяснить его поступок национальным чувством, можно было просто-напросто его «Я» заменить на его «Мы» – и тогда уважение к нему было бы... ну, спокойнее, что ли, было бы уважением, которое заслуживает любой порядочный человек, не более того. Получалось, что чем больше человек действует во вред себе ради других, тем он лучше. А если действует против своих ради дальних, то еще лучше. Гальперин чувствовал, что это именно так.

Однако годы жизни в кибуце приучили его к тому, что общие интересы и личные должны совпадать, иначе толку не будет. Он убеждался в этом, много лет руководя людьми. Это было разумно. Почему же чувство входило в противоречие с разумом? Должен ли он был признать свое чувство предрассудком? Получалось, что да, должен. Но тогда надо было пойти еще дальше, и признать, что он, Гальперин, живет неправильно, поскольку все время поступает личным интересом ради кибуца. Ведь если бы на месте Шоу был другой английский офицер, или если бы не капитан, а солдат залез в кузов и пнул ногой мешок с патронами, Гальперин бы провел в тюрьме лет пять. Зачем он это делал? Глупость?.. Он не знал ответа. Удивительно, что у капитана, верящего в воскрешение мертвого и прочие нелепицы, был ответ, а у него, Гальперина, мыслящего разумно и честно, ответа не было.

Прячась за кабиной от холодного ветра, ерзая на неудобных мешках, он смотрел на Кинерет. Над водой колыхались клочья

тумана. Голаны все резче и резче проступали на утреннем небе. Гальперин старался вообразить Иисуса, идущего по этой воде. Как это представляет себе капитан? И какой в этом смысл? Возвращаются ветры на круги своя... Думать обо всем этом надоело: какая разница, думай, не думай, ничего не изменится, он будет продолжать чувствовать так, как чувствует, и делать то, что велит разум. У горы Тавор он постучал по кабине; спрыгнул на дорогу, простился с агрономом и Бетей и направился в деревню, где его ждала подвода с саженцами лимонов.

Бетя смотрела, как он идет, какой-то усталый, неухоженный. Нет времени жену себе найти? Она могла бы помочь, в госпитале полно незамужних, крепеньких. Привез бы молодуху из Тель-Авива, это и для кибуца лучше – одной ломовой лошастью стало бы больше. Что-то ни у кого жизнь никак не наладится.

* * *

Когда-то давно в Иерусалиме он с ватагой приятелей оказался на базаре, кто-то из мальчишек стянул с подводы дыню, их заметили, ватага бросилась наутек, хозяин помчался за ними, и он, самый младший, мчался из последних сил, охваченный ужасом, с единственным желанием – не оказаться последним. Хозяин поймает последнего, остальные убегут. И в жизни он, не мечтая о месте первого, боялся этого страшного места – последнего. словно бы хозяин продолжал гнаться за ним, ни в чем не повинным, но повязанным с остальными в ватаге. Почему-то с последним все бывали жестокими. В этой жестокости не существовало запретов и правил взаимного уважения, которые действовали среди остальных. С последним не считались. Он олицетворял собой то, чего не должно быть на свете, что не имеет права на жизнь.

И вот он стал последним. Он, чужак, оказался среди мальчишек и девчонок, от рождения росших вместе, более близких друг другу, чем братья и сестры. Они жили как единое существо, как части одного организма. Чужак уже сам по себе нарушал целостность организма. Тысячью своих привычек и представлений о том, что можно и чего нельзя, он невольно лишал организм здоровой автоматичности существования. Будь он сильнее, они бы с этим смирились, не он к ним, а они бы к нему подстраивались, но он был слаб, глуп, делал ошибку за ошибкой и запутывался все больше и больше.

Сильное желание стать таким, как они, заставляло его принимать их мир слепо. Они могли быть чем-нибудь недовольны – у него не было такого права. Они могли позволять себе быть нарушителями, оппортунистами, – он не мог. Умненький, вдумчивый, он делал то, чего не приходилось делать им, – иррациональные законы их мира превращал в рациональные, увязывая с миром прочитанных книжек. Не потому ли, став писателем, он начал писать «Маргиналы»?

Маргинал – это человек, принадлежащий двум мирам сразу. Ища себе оправдания – или извинения? – он обнаружил, что все в мире создано маргиналами. Моисей и Иосиф принадлежали и египетской культуре и собственным патриархальным семьям. Маргиналами были иудеи, создавшие Пятикнижие и Второзаконие: живущие в вавилонском плену, они насытили Библию вавилонскими легендами о происхождении мира и всемирном потопе, о человеке из глины, знакомы им были и законы Хаммурапи, но их палочками с тушью водило стремление сохранить устные иудейские предания. Маргиналами были первые христиане, жители Галилеи, где рядом с евреями жили греки, где в Бейт-Шеане когда-то возник культ Диониса, а в Баниасе – культ Пана. Прослеживая историю дальше, восполняя напряженным чтением недостаток кибуцного образования, он обнаруживал маргиналов в начале всех зарождающихся миров. Может быть, человек, принадлежащий полностью одному миру, не может выйти за его пределы, да и не должен этого делать в силу своего естества. Но тот, кто оказался в этом мире чужим, пришедшим из мира иного, обречен либо погибнуть, либо в своем существовании совместить два мира. Он не ставит своей целью изменить мир, – нет, он всеми силами души старается к нему приспособиться. И тем самым невольно способствует его уничтожению. Маргиналами были евреи рассеяния. Собираясь вместе в своем государстве, евреи становились такими же, как все, лишаясь каиновой печати преобразователей.

Книгу свою он не написал. Рукопись росла сама от года к году, разбухала вставками и добавлениями, становясь богаче, но бесформенней, что-то обещала в будущем, но еще не приносила плода в виде мысли, пригодной для передачи другим. Он слишком был кибуцником, в нем уже ничего не осталось от маргинала, кроме детских обид.

Самым страшным были не обиды, а то, что он, сосредоточенный на них, стараясь стать безупречным, чтобы предупредить эти обиды, привык что-то загонять в себя. Между тем он рос, естество требовало свое, и поскольку он не давал ему проявиться, накапливалось подспудно и принимало извращенный вид.

Ему по-прежнему снилась мама, но теперь волны медных волос как-то соединялись с не улыбчивым лицом Михаль. Мама целовала его, и это почему-то переполняло сладким ужасом. Когда в кибуцной бане старшие девочки в одних трусах мыли голеньких младших, он завидовал младшим, которых мыла Михаль. Что-то она стала замечать, иногда он встречался с ее вопрошающим взглядом. В нем родилась еще одна странность, невыносимо постыдная: ему казалось, что Михаль всегда видит его, даже если в это время она находится совсем в другом месте. Он жил так, словно бы всегда был под ее взглядом. Даже если он находился в полной темноте, она видела его сквозь тьму, как при ярком свете.

Разумеется, он понимал, что этого не может быть, что Михаль не может видеть в темноте или через стены. Однако это понимание как-то сосуществовало с неистребимым ощущением ее всевидящих глаз. Они спали в одной комнате, четырнадцать мальчиков и девочек не старше десяти лет. В жаре, духоте и полной темноте они сбрасывали во сне простынки, спали в одних трусиках, и он с замиранием сердца иногда приспускал трусики и лежал некоторое время на спине, почти уверенный, что Михаль видит его стыд, но не подозревает, что он открывается ей нарочно. Все другие в спальне не могли его видеть из-за темноты, а она видела. То есть, опять же, понимал, что этого не может быть, но одновременно верил, что это так все есть. Он знал, что поступал плохо, что виноват, а на следующую ночь все повторялось.

И вот однажды в банный день девочки перемыли малышей, потом вымылись сами и уступили баню мальчикам. Мальчишки обливались водой, орали от наслаждения, дурачились, он визжал вместе со всеми до самозабвения, девочки сидели в тени старой шелковицы за дверью и смеялись, слыша их крики. Стали перекрикиваться. И тут... Он не понял, как это случилось. Он уже ничего не соображал. Ему хотелось выкинуть что-то из ряда вон. Как будто кто-то вытолкнул его... Он голый выскочил за дверь и остановился на крыльце под взглядами девочек.

Он уже не орал и не смеялся, а девочки хохотали и показывали пальчиками. Голый, чувствующий покалывающий холодок в сокровенном месте, которое девочки рассматривали с интересом, скрывая это за истерическим смехом и ненатуральным визгом, он стоял перед ними, беспомощный, с жалкой улыбкой, лишенный воли, как будто, истомленный полуденным жаром, по самую промежность зашел в воду, и прохладная волна начинает приподнимать чувствительную часть тела.

Даже ночью, вспоминая свой позор, он испытывал странное и мучительное наслаждение. Ему хотелось, чтобы это повторилось снова, чтобы он снова ощутил холодок в промежности, чтобы хохочущие девочки снова указывали пальчиками на его стыд, а Михаль корчила брезгливую гримасу. Она должна была теперь презирать его. Весь следующий день он старался попадаться ей на глаза, чтобы увидеть ее презрение. Однако вместо него видел какой-то взрослый вопрос. Что-то она пыталась понять. Но он сам ничего не понимал.

Была пятница. В пятничные вечера, когда верующие молитвой встречают субботу, кибуцники проводили собрания и анализировали прошедшую неделю. Дети подражали взрослым, и воспитательница гордилась детскими собраниями – в них ковался характер будущих кибуцников. Каждый вставал и говорил, что он сделал за шесть дней, потом это обсуждали и ставили оценку. Он был третьим или четвертым по порядку. Бойко рассказал, что ухаживал за птицами, что помогал тянуть электропровод на птицеферму, – работал он больше других и ждал похвалы. Воспита-

тельница благосклонно кивала. Спросила, кто хочет высказаться о нем. И тут вскочила одна из девочек. Суетливая, всегда чем-нибудь взбудораженная, она обожала собрания и обязательно выступала. Воспитательница не поощряла ее, пытаясь вызвать активность у других, предпочитающих отмалчиваться, и не торопилась давать ей слово: так, Дина, я вижу тебя, вижу, подожди, может быть, ты, Игаль, хочешь выступить, нет, может быть Авив скажет нам что-нибудь, мальчики, будьте активнее, пожалуйста.

Никто из мальчиков не поднялся, и воспитательница сдалась:

– Ну что ж, Дина, говори.

– Он танцевал перед нами без трусов! – закричала Дина. – Без всего! Чтобы мы смотрели!

Он хотел закричать, что это неправда, но от ужаса и неожиданности лишился голоса. Воспитательница ничего не поняла. С трудом разобралась, что произошло, растерялась, но не показала вида:

– Но он же не нарочно...

– Нарочно! Он смеялся!

– Гохберг, скажи нам, пожалуйста, ты выскочил из бани голый не нарочно? Встань, пожалуйста, у нас принято вставать, когда куча обсуждает.

Он перестал соображать, в ушах стоял гул, до него не доходил смысл слов. Сосед толкнул, он поднялся.

– Что же ты молчишь?

Он оцепенел.

– Надо его отцу письмо написать! – предложила Дина.

– Ну? Гохберг! Долго ты будешь молчать? Говори же! Мы ждем!

Он молчал.

– Так что же, мне придется написать твоей маме?

И тут он заревел.

– Садись, – озадаченно сказала воспитательница.

Он сел. Собрание продолжалось, но успокоиться не мог, и его всхлипывания раздражали воспитательницу.

– Иди, пожалуйста. Ты нам мешаешь вести собрание. Иди в дортуар и ляг на свою койку, – она заметила, что он дрожит. – Ты не болен?

Это был бы выход: заболеть, умереть... В сумерках приходила тетя Хана. Он притворился спящим. Она потрогала лоб и ушла. Он лежал и предавался сладостным мечтам о смерти, которая, конечно же, не была ею – что он мог знать о смерти, – а была исчезновением из этого мира с его невозможными ловушками, причем исчезновение было оформлено в некий возвышенный ритуал похорон и всеобщих рыданий, в котором он выступал одновременно и жертвой и победителем, принимающим запоздалые почести. Сам ли он такое выдумал? Или прочел в одной из книжек? Уж очень это было хитро: с одной стороны, он наказан, в общем-то казнен, так что если и виноват в чем-то, то вину искупил, а с другой стороны, любовь и уважение к нему вы-

росли безгранично. Картинка собственных похорон и прочувствованных речей уже содержала в себе – подразумевала – и понятие жертвенности как высшей духовной ценности, и понятие искупления, – значит, все это уже в нем существовало. Но откуда? – задался он однажды вопросом.

Это было в сорок девятом, зимой. Он писал свою первую повесть «Весна в Кфар-Нехаме». Тогда сексуальная откровенность была еще внове в их кружке тель-авивской богемы, они не слышали ни о Селине, ни о Генри Миллере, ни даже о Марселе Прусте, и он надеялся потрясти мир. Под влиянием Иегуды он поставил себе целью описать тончайшие переливы чувств на языке Библии. То ли в языке древних скотоводов не хватало слов для психологических тонкостей, то ли само вещество интимного знания проходило сквозь ячейки любого словесного невода, – на бумаге исчезало что-то главное. Он не знал, что главное, он чувствовал лишь его отсутствие.

Он решил, что бездарен. Это была катастрофа, потому что к тому времени он точно знал, что никаких других способностей у него нет. Мама повторяла чьи-то слова, что каждый человек имеет от рождения какой-нибудь талант, какую-нибудь способность, которую надо развить. Он оказался редчайшим исключением.

Даже Михаль имела способность – она видела в темноте. Это было не то, что он воображал в девять лет, а какое-то зрение вроде кошачьего, совершенно обыденное, но редкое. Когда после злосчастного собрания он лежал один в пустом дортуаре в темноте, плакал, мечтал о смерти и слышал, как ввалились дети, разбрелись по местам, улеглись, постепенно угомонились, Михаль была среди них. Тихонечко легла на койку. Койка ее была напротив через проход. Он притворялся спящим, но мокрые его глаза были открыты, слезы продолжали литься, он смахивал их указательным пальцем. Вслушиваясь в обрывки болтовни вокруг, он ничего о себе не слышал и успокоился. Уже в полудреме слышал винтовочные выстрелы, вспомнил какие-то дневные разговоры взрослых – на дороге столкнулись грузовик с арабской повозкой, подрались, арабы набросились с ножами, один из парней выстрелил, – и понял, что напали арабы. Это было кстати – теперь уж точно о нем все забудут. Взглянув через проход на подушку Михаль, он увидел блеск ее глаз в луче слабого света – она не спала и, наверно, внимательно следила за ним. Он вспомнил, что она все видит. Неужели видела, что плакал?..

* * *

Михаль поднялась и выскользнула за дверь. Она босиком пересекла освещенную площадку у столовой, остановилась, прислушиваясь, и кто-то, увидев ее, крикнул: «Эй, не стой на свету!» Выстрелов больше не было. Михаль осторожно подошла к сторожевой вышке. На площадке наверху никого не было, а у подножия тихо переговаривались Гальперин и папа. Гальперин

держал в руке маленький французский пистолетик, а папа – длинную английскую винтовку. Михаль знала, что днем вышло какое-то недоразумение и что Гальперин ходил к шейху улаживать его, и выстрелы, должно быть, означали, что либо шейх не понял Гальперина, либо тот – шейха, и значит, арабы считали себя обязанными совершить кровную месть – кого-нибудь убить. За колючей проволокой она видела белесую полосу дороги, а дальше в темноте лежало пшеничное поле, за которым сразу начиналась совсем уже невидимая апельсиновая роща. Через поле гуськом шли арабы. Их было человек шесть или семь. Михаль дернула отца за рукав, показала:

– Идут.

Отец увлек ее на землю, рядом упал Гальперин.

– Ты видишь их? – таращился в темноте отец.

– Выходят на дорогу.

Силуэты возникли возле проволоки. Теперь их видел и Гальперин. Он дал знак отцу. Оба выстрелили. Раздался крик. Кучка людей темным пятном перетекла через дорогу и скрылась в пшенице. Гальперин вскочил, вытаскивая из кармана ключ от запертых южных ворот. От волнения он никак не мог отделить этот ключ от других в связке. Наум удержал:

– Куда ты? Не можем же мы гоняться ночью. Они не вернутся. Вызовем полицию. Кого-то ж мы ранили, вот пусть и ищут.

Гальперин подчинился с неудовольствием. У него дрожали руки. Его немного раздражали правота и превосходство Наума, которые возникали в друге неизвестно откуда в такие вот ситуации – ночь, опасность, необходимость прятаться и стрелять... Именно в те мгновения, когда Гальперин начинал внутренне суетиться, Наум проявлял спокойствие и рассудительность. Хоть выстрелили они одновременно, Гальперин уверен был, что его пуля пролетела мимо, а Наум попал. Соревноваться с ним в меткости, ловкости и силе Гальперин не мог. Он и не соревновался, а просто немного падал духом, обнаружив свою неполноценность, которая так мучила его в детстве, когда сверстники ценят физические качества. Всю молодость он преодолевал в себе эту неполноценность, воспитывал себя, научился быть хладнокровным и неспешным, уже начинал быть довольным собой, а потом обнаруживал, что неполноценность никуда не делась, так в нем и сидит. В такие минуты он не мог думать о том, что именно самопреодоление и сделало его ведущим, командиром простых людей, таких, как Наум, и они заменить его не могут. Скажи ему это кто-нибудь, он бы согласился, – но сам так думать не мог.

– Но ты понял? – удивленно сказал Наум, на ощупь проверяя, не налип ли песок на еще теплый ствол. – Я тебе давно говорил: она видит в темноте.

Спустя несколько лет на эту способность Михаль обратил внимание один из приятелей Гальперина, Рихард Горн, командир отряда Алеф-Бет. Был тридцать девятый, немцы уже заняли Францию, Австрию, Чехию и Польшу.

Рихард с друзьями появились как-то незаметно в середине лета: Гальперин и Наум возвращались на кибуцной трехтонке из Тель-Авива и где-то в районе Кфар-Виткин увидели на берегу моря новые палатки. Там оказалось несколько парней и девочек из Польши. Никто не знал, высадились они прямо здесь с какого-нибудь турецкого суденышка или пришли пешком из Яффо. Говорили только по-польски. Обосновавшись в развалинах древнего рыбацкого поселка, ночами жгли костры. Этими кострами они подавали условный сигнал своим товарищам, которые должны были со дня на день приплыть следом. В сентябре немцы заняли Польшу, а они все продолжали жечь костры. Тем временем обзавелись лодками и сетями, выходили в море, пытались ловить рыбу и этим жить. Парни все как один были высокие, статные, с польским гонором и, как выразилась невзлюбившая их Хана, с дырявыми руками. Наум и Гальперин мало-помалу научили их владеть инструментом, чинить невод, смолить лодки, но рыбацкую премудрость они и сами не знали. Михаль повадилась ходить в этот маленький рыбацкий кибуц и вскоре выучила польский. В восемнадцать лет она была ловкой, бесстрашной, невыносимо самоуверенной и, кроме того, выделялась в любой толпе длинными загорелыми ногами в шортах и пышной гривой, развевающейся на ветру, как конский хвост. Родителей своих в грош не ставила. Хане через Гальперина как-то удавалось под разными предлогами задерживать ее поступление в школу парашютистов, а рыбацкий кибуц поляков под Кфар-Виткин казался местом несимпатичным, но вполне безопасным для дочери.

Между тем, весь север Средиземного моря уже был фашистским, танковая армия Роммеля готовилась к броску на Египет, и беженцы-евреи, которых не принимала ни одна страна мира, устремились к единственно возможному убежищу – берегам Палестины. Обманув или подкупив береговую охрану, из французских, итальянских и румынских портов ночами уходили в море утлые суденышки, всевозможная портовая рухлядь с трюмами, переполненными людьми. Между Нагарией и Тель-Авивом их ловили патрульные катера англичан, не подпуская нелегалов на территорию британского мандата. Суда с полуживым человеческим грузом в трюмах заворачивали назад в Европу.

И вот маленький рыбацкий кибуц поляков занялся спасением беженцев. Рихард Горн сделался командиром специального отряда Хаганы. Он раздобыл рацию и поддерживал связь с теми, кто в море надеялся на помощь с берега. Ночами беженцев перегружали с кораблей в кибуцные катерки и лодки, на берегу их принимал отряд, который переправлял в укромное место поблизости, а следующей ночью доставлял в один из кибуцев в центре страны.

Ту итальянскую шхуну три дня трепал у самого берега декабрьский шторм. По счастью, патрули не выходили в море из-за непогоды. Три ночи подряд катер Хаганы приближался близко к шхуне и не мог спустить шлюпки. На шхуне кончалась сольерка, а

идти в порт значило бы сдать беженцев англичанам. В любую минуту их могли заметить. На четвертую ночь решили рискнуть, дождавшись хотя бы короткого затишья. Всю ночь катер дрейфовал рядом со шхуной, то взмывая над ней, то проваливаясь чуть ли не под ее киль, и все на нем прислушивались к вою ветра. В четвертом часу показалось, что он ослабел, но первая же спущенная шлюпка разбилась о борт шхуны, и четверо бойцов Алеф-Бет, гребущих на ней, оказались в воде. Помогая друг другу, им удалось по фалам вскарабкаться на палубу, и больше попыток не делали. Удалившись от берега, шхуна легла в дрейф. Весь день она была на связи с Рихардом, но горячее кончалось, генератор должен был вот-вот остановиться вместе с двигателем, и связь могла прерваться в любую минуту. Стемнело в восемь вечера. Шторм не утихал. Хозяин шхуны, он же ее капитан, решил посадить судно на мель как можно ближе к берегу. Катера и лодки Рихарда приготовились к спасательным работам. В десять вечера пришло сообщение, что шхуну сносит к югу. Потом связь прервалась. На холмах разожгли сигнальные костры.

Рихард послал Михаль осмотреть берег к югу от кибуца. С ней отправились Алекс Гохберг и еще трое парней, присланных несколько дней назад из кибуца «Кинерет». Все были без оружия: если напорются на английский патруль, оружие не поможет, а за его ношение могут упечь в тюрьму лет на десять.

Ни одной звездочки не было на небе. Видеть в почти полной тьме могла только Михаль. Перелезая через каменные завалы, огибая вымытые в песке коварные ямы, продираясь сквозь водоросли и коряги, захлестываемые волнами, они к середине ночи добрались до устья ручья Александер. Кто-то услышал то ли скрип, то ли утиный крик, и Михаль увидела среди волн некое колыхание плотной массы. Скрип, едва различимый за ревом воды, слышался совсем рядом. Плыть туда было бесполезно – волны сбивали с ног. Тут же разожгли костерок, перетащили его на холм, давая сигнал Рихарду. Четверть часа спустя появился первый катер. Еще час спустя все лодки Рихарда отправились к останкам шхуны. Почти затонувшая, она еще держалась – киль удачно заклинило между двумя рифами. Лодки подошли почти вплотную. Пассажиров шхуны спускали в них на веревках. Люди эти от слабости едва двигались. Они плохо понимали, что происходит. Их складывали на дно лодок едва ли не друг на друга. В кибуце их ждали, стоя по пояс в воде, вцепившись руками в натянутые среди камней леера. Некоторых переносили на руках.

На берегу беженцев пересчитали – сорок семь человек. Были такие, кого нужно было нести на носилках, был и трехлетний ребенок. Одна женщина, очнувшись, куда-то рвалась – она говорила по-немецки, никто из кибуцников ее не понимал, а Рихард, единственный немец, принимал радиogramмы: англичане ищут беженцев, оцепили и обыскивают Зихрон-Яков, из Калькилии вышло несколько полицейских машин, скоро будут здесь. Пятых, не способных передвигаться, отнесли в бараки, переделали

в одежды кибуцников и уложили на койки. Остальных построили, не дав просохнуть и отдохнуть. До рассвета надо было пешком добраться до Хадеры. Несколько человек были с чемоданами. Им попытались объяснить, что чемоданы лучше оставить, они все равно бросят их по дороге. Однако, по прежнему опыту знали, что объяснить это людям невозможно. Уже было, что по брошенным чемоданам англичане проследили путь колонны и настигли ее, когда все уже считали себя в безопасности. Однако, и этот довод не действовал. Рихард махнул рукой – пусть тащат.

Как ни замедляла шаг Михаль впереди, беженцы отставали все больше и больше. Группа растянулась метров на сто. Алекс шел последним, нес на руках уснувшего малыша. Мать малыша тащила чемодан. Алекс злился на нее за это, но пере-силить себя не смог, потащил и чемодан тоже. Картонный, разбухший от воды, он был тяжелым и бил по ногам. Ясно было, что далеко они так не уйдут. Наконец, женщина и сама поняла это. Тогда, бросив чемодан на землю, она попыталась его открыть, не сумела – он был перевязан бечевкой – и стала пинать ногами. Петли, наконец, выскочили из пазов. В чемодане были размокшие бумаги. Женщина просунула руку в эту разбухшую массу... И все же не оставила чемодан просто так валяться на дороге, а отволокла в сторону, замаскировала камнями. Надеялась вернуться?..

Как назло, небо очистилось от туч, и солнце взошло рано. Михаль ушла вперед, заботясь лишь о том, чтобы колонна не потеряла ее из виду. С холма она увидела всю зеленую долину Шарон, узкой полоской вытянутую вдоль моря, и петляющую среди холмов ленту дороги. Солнце било ей прямо в глаза, холмы отбрасывали густые тени. Где-то среди этих теней проходила невидимая железнодорожная колея. Михаль не заметила ни людей, ни овец, только перелетали с места на место птичьи стаи. Далеко, в километре, у дороги стоял грузовик. Из-за дальности она не могла разглядеть, что это за машина. Это мог быть армейский патруль, охраняющий мост от диверсантов и арабских банд.

Если это был патруль и кто-нибудь смотрел в бинокль, он видел Михаль. Простоволосая девушка в выцветшей блузке не должна была привлечь внимания – какая-то еврейская рыбачка идет по своим делам на станцию. Но беженцев, медленно поднимающихся на холм, патруль не должен был обнаружить. Михаль крикнула, чтобы остановились. Грузовик тронулся с места и начал приближаться. Стал виден кузов, закрытый брезентом на обручах. Михаль услышала звуковой сигнал, который прежде сносился ветром. Это была машина кибуца Кфар-Нехама, за рулем сидел папа. Михаль побежала навстречу, забирая в сторону и показывая рукой, чтобы папа обогнул холм и подобрал беженцев.

В Хадере обыск, сказал Наум, согнали всех на площадь, усадили под дулами автоматов, и прочесывают дома. Туда нельзя.

Они поедут прямо в кибуц. А если остановит патруль? Наум сказал: откуда он возьмется, солдаты сейчас все в Хадере и Зихрон-Якове. Вылез из кабины, откинул задний борт и помогал Алексу Гохбергу подсаживать беженцев в кузов. Кто-нибудь говорит на идиш? по-русски?.. Он отогнал нехорошую мысль: хоть бы один молодой был, опять старики и больные. Куда же здоровые и сильные подевались?

С дороги они увидели кибуц поляков. Развешенные сети, лодки на песке, три длинных барака буквой «П»... Там что-то происходило: поселок окружен грузовиками, полно полицейских, мелькают блузы кибуцников... Те пятеро, которые не пошли с Михаль, теперь попались. Их отвезут в лагерь на Кипре или под Бейрутом. Выживут ли там? И что потом с ними будет? Где же, все-таки, здоровые и сильные? Может, в немецкой армии служат? Гитлер приказал – и пошли, стараются доказать лояльность немцам, как здесь они доказывают лояльность англичанам? А где польские евреи? Сидели, ждали чего-то, когда еще было время бежать. Не верили, что будет война. Даже Гриша был убежден, что Гитлер побоится начать мировую войну, ведь не дурак. Ошибся Гриша. Гитлер в Польше, заключил пакт с СССР, итальянцы в Абиссинии, арабы их ждут не дождутся, скоро фашисты будут здесь, и неизвестно, кто дурак. Гриша в последний момент все-таки понял ошибку, кинулся в Польшу, договорился с поляками, евреи сами отказались сниматься с насиженных мест и отправляться неизвестно куда. Понять их можно: старики, больные, дети – как на такое решиться? Кто-то рассказывал, что Гриша, отчаявшись, стал организовывать молодежные отряды самообороны. Против танков и пушек? Гальперин говорит, глупость. А то, что они с Гальпериным делают здесь, – не глупость? Видно, такие времена настали. Что ни делай, все глупость, ничего не делай – тоже глупость, человеку кроме глупостей ничего не остается...

В кабину рядом с ним посадили женщину с ребенком. Смотреть на ее изможденное лицо было неприятно. Говорила только по-немецки. Он спросил: шлехт? Теперь все будет гут, сказала она то ли ему, то ли сыну. Это он понял. Как вы на такую дорогу с ребенком решились? И она его поняла, нажала пальцем на воображаемый курок: убивают. Но не женщин же и детей? Кивнула: да. Наверно, на этот раз он не понял, она имела в виду что-то другое, не могло такого быть. Он замолчал.

Навстречу на ослиной повозке ехал старый араб. Наум притормозил, поздоровался. Араб тоже остановился, приветливо улыбался. Может, хороший человек был, а может, боялся: мало ли кто в машине под брезентом, вдруг выстрелит.

– Молока нет? – спросил Наум, чтобы что-то спросить, получить ответ и сказать:

– Ладно, куплю в Хайфе.

Пусть старик думает, что они едут в Хайфу. На всякий случай. За Зихрон-Яковом свернул направо, на Йокнеам...

Кузов был застелен для мягкости сухим камышом, – не впервой везли беженцев, бывало, кой кого и не довозили. Никто из них не задавал вопросов, куда едут, зачем, почему. Привыкли полагаться на других. Что еще им оставалось?.. Интеллигентная женщина лет сорока держала на коленях голову старика. Время от времени тревожно поглядывала на него. Михаль видела, что старик в порядке. Правда, он дрожал, но все дрожали в мокрой одежде. А ей было чудесно. Солнышко, ветерок, будет прекрасный день, ей сегодня не нужно в поле, устроит новичков в барак и – спать. Хорошо, что прислали машину! Она вспоминала, как сидели ночью у костра с Цыпленком, он говорил, говорил, она знала, что он так может всю ночь, она мало понимала, что он говорил, не старалась и вникать, задремала, он немного обиделся, хоть если ей не интересно, что ему в этом обидного? Гете, Гейне... Немка с головой старика на коленях, пожалуй, была красивой: белокурые локоны, прямой нос. На лице написано, что Гете и Гейне наизусть знает... Михаль тихо запела. Это была кибуцная песня. Мы все вместе построим большой дом, в том доме поставим большой стол, и усядемся за этот стол все вместе. Мы будем пить молоко, и будем есть хлеб, который сами вырастили все вместе. И если ты придешь в наш дом, ты сядешь с нами за нашим столом, и будем петь нашу песню вместе с тобой... Американка, которая приезжала в кибуц организовать барак для беженцев, сказала, что такие песни должны помогать этим людям, это очень полезно для выработки социалистической идеологии и для изучения языка. Цыпленок очнулся от своих мыслей – наверно, переживал из-за того, что усыпил ее у костра своей болтовней, а может быть, еще из-за чего-нибудь, он всегда переживает.

* * *

За окном ночь, ветер и дождь, злоба и ложь, но мы переделаем мир вместе с тобой. Хорошо, что немцы не понимали смысла слов. Они, наверно, думали, что это еврейская колыбельная. Песня глупая. Кибуцники в какой-то зачуханой Палестине хотят переделать мир. Что они знают о мире? В Германии живет, наверно, сто миллионов, производят самолеты и танки, Кеплер рассчитал движение звезд, Дизель изобрел мотор. Здесь считают, что Германия – это Гитлер. А Иегуда сказал: Гитлер меня не интересует. Поэту Гитлер не интересен. Обидно, конечно, что из-за одного дурака нужно спасать столько людей. Тысячи, наверно. Почему мы должны их спасать? Наум говорит, потому что они такие же евреи, как мы. Такие же? Не будь Гитлера, они бы обиделись, если б это услышали. Спасать их, конечно, надо...

Почему надо – он не знал. Не находил ничего общего между собой и грязными, беспомощными, запуганными беженцами. В глубине души подозревал, что в чем-то они там, в Германии, провинились. Это не оправдывало Гитлера, но объясняло происходящее. Пусть не все из них провинились. Та блондинка со ста-

риком, допустим, не провинились. Но кто-нибудь другой наживался за счет немецких рабочих, заключал невыгодный для немцев мир, чтобы положить в свой банк миллионы марок, и невинные знали об этом, но ходили на концерты скрипичной музыки, душились дорогими духами в то время, как простые немцы голодали... Конечно, они просто не задумывались. Но теперь-то они знают? Теперь-то они будут жить иначе? Они устыдятся того, что кибуцники должны делиться с ними куском хлеба, что моряки каждую ночь рискуют жизнью ради них? Михаль поедет в школу парашютистов. Будет рисковать жизнью, чтобы спасти таких, как они, старых и никому не нужных. Чья жизнь ценнее, ее или их?

* * *

Когда-нибудь я получу все твои письма сразу, а ты мои не получишь, я знаю это так же твердо, как то, что мы никогда не увидимся, это так, папа, ты меня уже не обманешь. Нам тут замечательно. Генрих, конечно, немного покричал, когда нахлебался соленой воды на руках чужого дяди, но зато потом спал, как никогда в жизни. Теперь мы с ним отъедаемся. Уверю тебя, нам не приходится работать локтями, чтобы пробиться к своей миске. Ты переживал, что не научил меня этому. Должна сказать, что тут таких локтистых не любят. Они, конечно, есть, как везде. Ты помнишь, как они получали визы? Как всякие ничтожества вопили о своих заслугах перед наукой? Тебе было стыдно за них. Зато они живы. И здесь они ведут себя так же. Их не любят, но своего они всегда добиваются. Дочка профессора из Йены такой крик подняла про папочкины заслуги, что его на специальном грузовике повезли в тель-авивскую больницу, и она, слава Б-гу, уехала с ним. Все были рады от них избавиться. А у самих кибуцников даже градусника нет. Ни врача, ни медсестры. Если болеют, то, как звери, отлеживаются. Что тут детей отбирают у родителей, это неправда. Лет десять назад было, действительно, так, дети спали в общей детской, но это уже пройденный этап, теперь родители воспитывают детей и живут вместе с ними, так что Генриху повезло. Идиш нам выучить очень легко, но теперь тут новое направление, постановили говорить только на иврите, и мы учим иврит. Это правильно, нужен же какой-нибудь язык, чтобы мы все могли общаться друг с другом. Я отправила несколько писем нашим из школы Баухауз. Почти все они здесь, стиль в чести, Морис Шац разбавил его идеями Корбюзье, строит больницу в Тель-Авиве, говорят, главный бульвар в городе весь в стиле Баухауз, его здесь еще называют интернациональным. Иоганн Зуммерград – он теперь Ицхак – получил премию на архитектурном конкурсе. Архитекторы нарасхват, так что в кибуце мы с Генрихом недолго задержимся.

Папочка, больше ты меня никогда не обманешь. Ты считаешь, я должна жить ради Генриха. Что ты в этом понимаешь. Ты меня очень подвел.

Генрих спит. Если он проснется, а меня не будет, он не испугается. Вокруг свои. Он и не заметит, что мамы нет. В бараке тридцать человек, он единственный ребенок, его балуют. Он такой хорошенький, локоны мягкие, светленькие. Я знаю, ты все время думаешь о нем, спасибо ему за это, что бы ни было дальше. Ты знаешь, что умираешь не зря. Сможет ли твоя дочь, когда придет ее время, сказать это про себя? Кибуц обнесен колючей проволокой. Я вышла за ворота, темнеет, мне страшно, папа, я, наверно, еще хочу жить. Тут сумерки короткие, темнеет быстро. Я не привыкла к природе. Ты-то всегда знал, что я дура. Когда я приезжала из Веймара домой, ты не хотел меня расхолаживать, я так была увлечена всем этим – современная архитектура, функциональность, полезность, что не функционально, то не имеет права на существование... А ты любил Рим, Акрополь Паллады, ты и Кельнский собор любил. Нашу школу разогнали раньше, чем физиков, сразу в тридцать третьем, потому что идея голой полезности – еврейская ловушка. Они знали, что народу не полезность нужна, а опьянение, экстаз, факельные шествия и песни хором. Если б нас не отталкивали, мы бы шли вместе со штурмовиками, орали бы их песни – это так заразительно! Один ты усмехался, тихонько говорил, что нации и существуют-то век-другой от силы, и исчезнут после двух-трех войн, евреи – вообще не раса и не нация, это придуманный фюрером трюк, жупел, фантом... Но почему же нас спасают эти кибуцники? Значит, мы – нация? Значит, Гитлер прав? Я знаю, что я не еврейка, что ты не еврей, что Генрих не еврей, что евреев вообще нет, потому что это то, чего не может быть, я никогда не пойму, что такое нация, но если она есть, то Гитлер прав. И если он прав, то те, кто спасает нас во имя все той же национальной идеи, могут когда-нибудь стать такими, как он. Я запуталась, папочка. Я уже не понимаю ничего. Как мне теперь жить? Зачем ты взвалил на меня это? Ты искал истину, а дядя Гельмут думал в это время только о своей выгоде. И когда все поняли, что происходит в нашей Германии, оказалось, что дядю Гельмута приглашают два американских университета, а тебя никто. Потому что ты работал до последнего дня над комментариями к Канту, а дядя Гельмут тем временем рассылал письма во все американские университеты. Сейчас он читает там лекции о Канте, а ты? Почему так, папа? Ты должен был мне это объяснить. Ты мог бы. Я уже не могу думать. Уже совсем темно стало. Воют какие-то звери. Это, наверно, шакалы. Где я? Зачем я сюда пришла? Я хочу быть с тобой. Тебе от этого будет только труднее. Ты хотел бы всю боль взять на себя. Но это невозможно. Мы повязаны. Твоя жертва – это моя ответственность. Они не принадлежат нам. Я сейчас в какой-то роще. Гладкие голые стволы, они изгибаются, как вытянувшиеся вверх гладкие европейские гадюки. Идут люди. Они кричат. Я не знаю этот язык. Может быть, это еврейский, может быть, арабский.

* * *

Мы не сразу в это поверили. Мы говорили: технически невозможно расстрелять десять или пять миллионов человек, технически невозможно похоронить столько трупов, у немцев есть дела поважней. Такое невозможно скрыть, говорили мы, нельзя же уничтожить столько миллионов, чтобы никто этого не заметил.

Ни английские, ни русские, ни американские газеты об этом не писали. Когда мы кричали, англичане пожимали плечами: евреи от страха с ума сошли, распускают слухи, это бред. Они, англичане, готовили планы эвакуации на случай, если танки Роммеля прорвутся в Палестину, а сами патрулировали побережье, чтобы к ним не «прорвались» преследуемые. Отлавливали тех, кто бежал из немецких лагерей, и помещали в свои. Они не верили еврейским слухам? Да разведка уже проложила на их картах ветки железных дорог, кончающихся в пустоте. Можно было разбомбить дороги, спасти сотни тысяч. Мы это предлагали. Почему же они не сделали? Хватило же самолетов и бомб, чтобы разрушить Дрезден!

Это, Бетси, политика. Англичане гордятся, что они изобрели политику. Нация политиков. Мы мешали.

Мы еще не стали политиками. Для того, чтобы стать ими, нужно хотя бы несколько веков иметь свое государство. Когда закончилась война в Европе, они опять перевозили тех, кто уцелел, из гитлеровских барачков в свои. Уцелевших не должно было быть. Никто не ждал их на бывших родинах. Никто не хотел брать к себе. Ни одно государство мира. Мы хотели, но как раз нам было нельзя. Значит, снова часовые на вышках и очереди за едой.

Я видел этих людей. Они уже сами не считали себя полноценными. Они слишком устали и со всем смирились. Ты считаешь, я должен смириться, как они?

Ты, наверно, права, я тоже устал. Наверно, мы делали ошибки. Но мы воевали с немцами, с арабскими бандами и англичанами, а потом стали воевать друг с другом - те, кто еще верил англичанам и служил им верой и правдой, против тех, кто уже не верил. Можно ли было не наделать ошибок? Ошибались все, верящие и не верящие.

Свою защиту нельзя доверять никому. Особенно европейцам. Они вешали евреев на крестах по всем дорогам от Иерусалима до Рима, а потом объявили, что это евреи виновны в распятии. Так же они стали обвинять нас теперь. Тело одного распятого они превратили в хлеб причастия. Помнишь немца в Дерпте? Он причащался. Кормил нас сдобой, чтобы попасть в рай. Англичане тоже хотят в рай, но пусть они подавятся своей сдобой. Они нас предали. Американцы не лучше. Кричат об опасности войны в Палестине и вводят эмбарго на поставку оружия. При этом прекрасно знают, что у арабов оно уже есть, а мы безоружны.

Все поставили на нас крест. Арабы нас и всерьез не принимают. Давид пробовал договориться. И хотел-то пустяк, автономии в их государстве. Взамен обещал приток капиталов, развитие промышленности... Говорил перед самими терпимыми, а тех изумила его наглость. Они не ожидали претензий на равенство. Самый умный из них сказал, что лучше они опоздают с прогрессом на сто лет, но придут к нему своим путем.

Англичане уже поняли, как опасно им завязнуть тут. Мы хорошо помогли им понять. Теперь они торопятся убраться.

Пятнадцатого мая их не будет. Они не отвечают за то, что произойдет после них. Вы сами, скажут они, этого хотели. Но, когда им это было выгодно, они взяли на себя обязательства, и теперь хотят соблюсти приличия, уйти раньше, чем начнется заваруха, они, мол, свою миссию выполнили. И способ у них только один: усилить сильного и ослабить слабого так, чтобы тот не мог сопротивляться. Тогда будет мир. Поэтому нас продолжают разоружать и держать под прицелом, а арабам оставляют свои аэродромы, склады и арсеналы.

Есть несколько сот минометов, немного легких пушек и броневигов, несколько летающих «примусов». Винтовок и патронов тоже негусто. Мы разбросаны среди арабских деревень. За этими деревнями - Египет, Сирия, Трансиордания, Сауды, Ирак. У них регулярные армии, танки и самолеты. Они поставили ультиматум и ждут. Объявить о государстве, значит дать им повод начать войну.

А не объявить? Они найдут повод. И мир этот факт примет. Что нас тогда ждет? Они не успокоятся, пока не искоренят заразу с корнем и навсегда. Мир примет любой «факт», ему не привыкать.

Давид колеблется и тянет время. У него еще есть несколько дней. Он пытается вести переговоры, наряжает верную Голду арабкой и посылает к Абдалле, рассылает письма и секретных посланников, ищет посредников, готов на любые условия, лишь бы не война.

Давид, она уже идет. Она идет с двадцать девятого ноября, с той минуты, как ассамблея приняла решение о разделе. В декабре начались погромы в Цфате. С января сражался в кольце Гуш-Эцион. Ты настаивал на эвакуации, а эти парни, отправив своих женщин и детей, не слушали твоих приказов и продолжали защищаться. Арабский легион окружил Иерусалим. Там нет продовольствия и воды. Мы пытаемся прорвать блокаду. За три месяца погибло тысяча двести человек, большая часть броневигов выведена из строя.

Давиду не позавидуешь. В Ливане муфтий уже создал правительство будущей Палестины. Кибуцы Галилеи простреливаются с гор прямой наводкой. Под прицелом дороги из Тель-Авива на Иерусалим и Хайфу. Остается дать сигнал к атаке. Объявление государства станет таким сигналом. Наши друзья засомневались: если создание государства означает новое истребление

евреев, то какой в нем смысл? Не лучше ли установить международную опеку? Они опять верны себе, опять умывают руки, как Понтий Пилат. Но мы уже жили под их опекой, спасибо.

Положение быстро ухудшается. Египетские танки заняли позиции у Ашкелона. Прибрежная дорога защищена лишь двумя бригадами стрелков.

Давид знает, что должен сделать, и не может решиться на это. Всматривается в каждое лицо, вслушивается в каждое слово, будто надеется, что кто-то решит за него. Это не стратегия, не расчет, просто он знает, что должен послать ребят на смерть, знает и – не может. Всю жизнь шел к этому, все для этого сделал и вот не может.

* * *

Он не вставал из-за стола всю ночь. Лысый, подслеповатый, толстый, в пропотевшей рубашке, в лоснящихся черных брюках, поддерживаемых широкими английскими подтяжками. Он втягивался в работу, холодный, собранный, с некоторым навыком терпеливого чтения бумаг, написанных нудным канцелярским языком, часто – написанных от руки. С тем же навыком составлял мнения о людях, которых впервые видел и должен был использовать. А люди всматривались в его глаза, пытались по ним понять, есть ли надежда.

Телефон приносил новости одна другой хуже. Англичане передали лодский аэропорт арабам. На его взлетных полосах уже заправлялись иорданские «Спитфайеры». Все полеты иностранных компаний объявлены запрещенными.

Это означало воздушную блокаду. Он связался с Нью-Йорком. В Штатах приобретены три бомбардировщика, несколько транспортных «Констелейшен», но самолеты не могут подняться в воздух – запрещает американское эмбарго. Одна хорошая новость: правительство Панамы разрешило полеты еврейских самолетов под панамским флагом. Нужна какая-нибудь частная авиакомпания. Ее ищут по всем Штатам, и вот уже результат: две бездействующие продают права владения. Надо немедленно приобрести – самолеты этих компаний полетят под панамским флагом, и пусть парни из Белого дома утрутся своим эмбарго.

Надо готовить аэродромы для посадки тяжелых транспортных и «Мессершмидтов», которые купили у чехов. В Экроне работают бульдозеры. Это тот самый Экрон, который искали и не нашли первые переселенцы. Но древний курган не вскрыт, археологи подождут. В стороне от него тянется в пустыню первая взлетно-посадочная полоса. Она удлиняется каждый день на несколько метров. На ней уже могут садиться маленькие «примусы».

В восемь утра он был на аэродроме. В ангарах, одиноко возвышавшихся среди каменистой пустыни, стояли четыре фанер-

ных «примуса» – почти вся еврейская авиация. Не вылезая из джипа, он проехал мимо них, покатил по взлетной полосе и через несколько метров оказался в плотном облаке белой пыли, поднятой двумя бульдозерами. В этой пыли едва видны были полуголые парни, лопатами и скребками разравнивающие кучи белого мягкого гравия. Меловая пыль густо облепила потные тела и волосы, превратив их в ожившие гипсовые фигуры. То один, то другой выскакивали из облака к бочке с водой, зачерпывали ковшиком, пили, остаток бережно лили на голову, и тогда среди черных кудряшек обнаруживалась черная кипа – парни все были из Мазкерет-Батья, верующие. А где аэродромное начальство? Кто занимается диспетчерской службой? Что значит, некому? Где те два итальянца, бывшие диспетчеры фашистских аэродромов? Где они, вашу мать, почему я их не вижу?!..

По колдобинам проселка на взлетную полосу выскочил «Студбеккер», подкатил к ангарам, развернулся боком, поднимая пыль. Рабочие, подставив к кузову две доски, выкатили из него огромные бобины с электрокабелем. Какой-то человек, пожав водителю руку, огляделся и пошел к джипу, сообразив, что приехало начальство. Это был один из диспетчеров.

* * *

Гальперин выделил трехтонку и послал пять ящиков гранат. С этими гранатами Наум так и не добрался до штаба Хаганы – по пути его перехватили и направили в долину Аялон, к Латруну, где отряды Пальмаха штурмовали холмы монастыря Молчальников и английского форта. Гранаты расхватали в течение нескольких минут. Наум видел, как некоторые парни, получив «лимонки», рассматривали их с осторожным любопытством – никогда не приходилось держать в руках не учебные, а настоящие. Среди солдат был и племянник, но этого Наум не знал. Его оставили, чтобы возить раненых.

С тех пор прикомандированный к штабу «Студер» бросали то в одно, то в другое место. Выгрузив в Экроне кабель и какого-то аэродромного специалиста, говорившего по-итальянски, Наум получил задание доставить ящики с патронами в кибуц на самом юге побережья. Это были старые знакомые, те поляки, которые в тридцать девятом появились неведь откуда и основали у Кфар-Виткин рыбацкий кибуц. Они тогда ждали друзей из Польши. Лишь после войны поняли, что ждать больше некого. Рыболовство так и не заладилось, и вот перебрались на юг и назвали свой второй кибуц Яд-Мордехай в память о герое Варшавского восстания.

Михаль жила там. По картам ООН кибуц при разделе Палестины должен был перейти к арабскому государству. Хана ездила к дочери, сидела на собрании, когда поляки всерьез обсуждали, как будут жить по кибуцному уставу, когда станут подданными арабов, и вернулась в ужасе:

– У них в столовой портреты Ленина и Сталина висят!

Неприятно к полякам Хана прониклась с первой встречи. Она не любила «безруких мужчин». Когда Гальперин и Наум их хвалили, помалкивала и оставалась при своем мнении. И вот предчувствие подтвердилось: те же речи, что девять лет назад! Нет национальностей, есть пролетарская солидарность, они посеют семена будущей дружбы между народами. Все это выкрикивалось на общем собрании, и Михаль попросила слова: она тут родилась, у нее отец с матерью кибуцники, и становиться иностранкой для своих родителей она не собирается. Она не против соединения пролетариев, но если они останутся в арабском государстве, она уйдет пешком к своим. Тут же какой-то Янкель сказал, что уйдет вместе с Михаль. Конечно, пока не было ни арабского, ни еврейского государства, все оставалось пустой болтовней, но когда государство объявят?..

Наум в Яд-Мордехай ни разу не был. Он выехал из Экрона восьмого мая. В кабину подсел молодой *моэль* из Мазкерет-Батья. *Моэль* – особа священная, он совершает обрезание, брит-милу. Он и ехал в Яд-Мордехай по такому случаю. Наум удивился: социалисты тоже делают своим детям обрезание? Что-то в его голосе не понравилось спутнику. Тот не стал обсуждать с неверующим такие деликатные вопросы. Всю дорогу читал свой замусоленный молитвенник и бормотал тексты.

В Кфар-Нехаме уже, наверно, убрали ячмень, недели через три поспевала пшеница, а тут, между Тель-Авивом и арабской Газой, однообразно тянулись безжизненные дюны, каменистые курганы, да изредка попадались бедуинские палатки из козьих шкур. Такой видел эту землю толстовец Авдей. Старец шел сюда пешком – зачем? Он вернулся просветленным – почему? Что он увидел здесь просветляющее? Эти палатки? В таких же шатрах две или три тысячи лет назад жили пастухи, получившие десять заповедей. Что они знали такое, чего не знает он, Наум? Учитель Авдея был графом, великим писателем, мыслителем, он на старости лет взялся учить язык древних книг, чтобы прочесть их заново и узнать тайну жизни. Авдей же был прост и немудрящ, закорючки старых пергаментов были ему не под силу, а недоверие к любым словам глубоко сидело в крестьянской душе. И все же, как он сказал, сподобился. Отчего? Здешние церкви посетил? Да мало ли церквей в России, и отлучили они его учителя, не в них, значит, дело. Авдею надо было пощупать эту землю, прикоснуться к ней подошвами, принять ее убогие краски в свои старые глаза. И он вернулся подрастерявшим в скитаниях зрение и разум, но светясь. Понял что-нибудь, чего не сумел передать другим? Может быть, есть такое знание, ради которого люди готовы отдать разум и глаза, но вот беда – это знание нельзя выразить словами, и в книгах оно содержится между строк, оно не передается легко и естественно от человека к человеку. Наверно, человек должен каким-то образом заслужить это знание, иначе он всю жизнь тут проживет и будет видеть во-

круг себя только белесые камни, белесые дюны и выгоревший козий мех.

Впереди показались молоденькие апельсиновые деревья и низкие строения Яд-Мордехая. Над ними словно бы стелился легкий розовый дым. Это поднялась в воздух красноватая пыль: кибуц спешно долбил траншеи.

* * *

Восьмого мая наша четырехмоторная «Дакота» все-таки сделала эту глупость, дорогой читатель, она оторвалась от земли в той точке, где Земля прекраснее всего, в лазурно-малахитовой Ницце, чтобы взять курс туда, где адская жара и пыль. За штурвалом самолета южноафриканец Клод Дюваль. Как говорят евреи, она таки уже летит, а мы, корреспонденты крупнейших американских и европейских газет, уже мысленно скрипим перьями. Объявит ли Бен-Гурион о создании еврейского государства? Если да, войну уже не остановят ни президент Трумэн, не генералиссимус Сталин, ни господь Б-г. Чем она кончится? Нам осталось мучиться любопытством недолго: сегодня восьмое. Что это за день, никто не помнит, господа? Эмиль, проснись! Эмиль – еврей. Прежде всего, это означает, что он человек, к выпивке непривычный. Надеюсь, меня не упрекнут в расизме, если я скажу, что евреи – нация промежуточная между мусульманами, которые не пьют ничего, и христианами, которые пьют слишком много. И если из констатации этого факта кто-то сделает вывод, что евреи знают меру, то я, Дик Уилберфорс, ответственность за выводы читателя не несу. Эмиль, старая задница, ты спишь так, словно отбомбился над Дрезденом и возвращаешься на базу BBC Соединенных Штатов Америки. Мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле, бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле... Значит, Эмилю понравилось старое американское виски в Ницце, а ему, как я уже сообщал уважаемым читателям, в силу промежуточного положения его нации много не надо. И он дрыхнет рядом со мной без задних ног.

Между тем, восьмого мая, Эмиль, это тот день, которого мы с тобой когда-то очень ждали. Это день победы над гитлеровской Германией. С праздником, старина. Придется мне употребить и твою долю – за нашу с тобой победу ровно три года назад. В Советском Союзе это даже праздник. Сталин влезает на мавзолей и принимает парады, русские демонстрируют новейшую технику, которую, может быть, уже продали на Ближний Восток и с которой я предпочел бы сегодня не знакомиться ни под арабским полумесяцем, ни под еврейской звездой. Каковы будут флаги – мы узнаем через семь дней. Пока что еврейского государства не существует и потому евреи не имеют права на свою авиацию – нельзя же считать самолетами несколько «примусов», на которых мы учились летать в авиаклубах в счастливую пору нашего

невинного детства. Мы летим, стало быть, на «Дакоте», принадлежащей новенькой с иголки авиакомпании В.О.А.С. – надо думать, к евреям не имеющей никакого отношения, хоть проницательный читатель со мной не согласится и будет прав.

Евреев на борту много. Прежде всего Эмиль. Мы с ним воевали в одном звене Б-17. Он такой же отличный парень, как я. Мы оба как-то забыли, что он еврей, пока неделю назад он не открыл «Трибюн». Он иногда делает это, чтобы узнать, что пишет старина Дик. Он уверен, что мне платят за слово, подсчитывает количество моих слов, и это доставляет ему удовольствие. Но неделю назад, открыв «Трибюн», он не нашел моей корреспонденции. Ее там не было: в это время я аккредитовывал свои удостоверения, чтобы лететь сюда. Уверю Вас, это было не самое легкое дело в моей жизни. И вот Эмиль, не найдя моей статьи, стал подсчитывать слова в какой-то другой и таким образом нечаянно ознакомился с ее содержанием. А там сообщалось, что в Палестине начинается война между сотнями тысяч безоружных евреев и миллионами вооруженных арабов. Это так потрясло слабонервного... жопа, ты проснешься?.. Эмиля, что он закрыл свой магазинчик в Бронксе и отправился воевать. Он понимал, что «летающих крепостей» тут не будет, и надеялся получить хотя бы карабин. Достать билеты на самолет было трудно – летели воевать летчики, радисты, молодые парни, не державшие в руках винтовку, девушки с дипломами медсестер и без оных.

Странное дело, их никто не звал, газеты не призывали их отдать свой долг. Это наводит на размышления: может быть, имеет смысл выпускать газеты с пустыми страницами? А политикам следует говорить поменьше? Патриотизм от этого только выиграет. Да, значит, Эмиль. У него хватило ума позвонить. А мне совсем не помешает переводчик с иврита. И вот теперь он сопит у меня над ухом, в то время как я вынужден в одиночку уничтожать виски, которое прихватил в Ницце.

Вы помните, какой коньяк был в Ницце перед войной? Так вот забудьте, его там нет, там только американские товары, и не из лучших, если, разумеется, не считать газет со статьями Дика Уилберфорса. Когда-нибудь я напишу и статьи, которые пока еще только крутятся и жужжат в моей бедной голове, черт бы их подрал, и, может быть, даже издам книгой и назову ее как-нибудь оригинально, например, «Здравствуй, оружие» или еще лучше: «Шалом, оружие».

Еврейского государства еще нет, но еврейские порядки уже устанавливаются. Рядом с нами сидит, не смежая глаз, господин с двумя чемоданами. Все знают – еврейская конспирация – что в чемоданах у него 30 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги предназначены для оплаты оружия, приобретенного у англичан. Да, англичане крадут с собственных складов и продают оружие, которое может быть направлено против них самих. Риск этого, считают они, не слишком велик. А вот риск нарваться на фальшивые банкноты велик очень – страна наводнена немецкими

фальшивками. Ленивые немцы подделывали только крупные купюры, потому англичане при расчетах требуют самые мелкие, в один фунт, – такие никто не подделывал. Поэтому каждая купюра в чемоданчиках – достоинством в один фунт. А всего бумажек тридцать тысяч. Надо вам сказать, что второй источник приобретения краденого оружия – это арабы. Они продают дешевле, чем англичане. Пуль у арабов много, а денег мало, вот каждый из них и готов продать пулю, которую через несколько дней пошлют в его собственную голову. Пуля еще может пролететь мимо, а английский фунт со снайперской точностью попадет именно в тот карман, в который нужно.

Мы сделали промежуточную посадку в Бриндизи. Это южная Италия. Оказывается, Италии, как Америки, тоже бывают северными и южными. У меня для вас плохая новость, господа: там нет ничего, кроме все того же американского кукурузного виски. При взлете нас слегка потрянуло, Эмиль проснулся, я протянул ему бутылку, и после первого глотка Эмиль, вытаращив глаза, словно расстается с жизнью, спросил: «Так это и есть настоящий французский коньяк?»

Я тебе достану французский коньяк, Эмиль. Самый настоящий, ручаюсь. Самый дорогой. Когда вернемся домой. Твой дом – в Бронксе. Не забудь, старая задница. Мы приземлились черт знает где, чуть ли не на кровати Бен-Гуриона, знаю только, что горючего осталось на пятнадцать минут, а виски – на тричетыре. Клод Дюваль и его радист, тоже южноафриканский христианин, радовались так, словно выиграли миллион в ежегодном розыгрыше «Трибюн». О статистике удачных приземлений говорить не приходится – мы пока единственные. Пассажиры отказались покидать самолет. Что, вы думаете, они хотели? Виски, которые подают на американских линиях и которое нам не дали? Как бы не так. Они хотели, чтобы пришел настоящий еврейский таможенник и поставил на их билеты настоящие еврейские печати. Вот за что они едут отдавать свои жизни. Может быть, когда-нибудь наши билеты с этими печатями станут раритетами – все-таки, первый в истории рейс – и будут продаваться за миллион долларов. Что-то у меня сегодня миллион не выходит из головы, к чему бы, наверно, к выпивке.

Не опоздали – государство еще не объявлено. Поселились с Эмилем вместе и теперь не расстаемся – кругом или арабский или иврит. Уже сделали первую покупку: купили чиновника в Народном правлении, он обещал текст декларации, которую прочтет Бен-Гурион, если тот, конечно, прочтет. Чиновник клялся, что речь еще не написана, ее собирается написать сам Бен-Гурион, если, конечно, напишет. Представляю президента Трумэна, который сам пишет речи. Хотел бы я их почитать. Посмотрим, что напишет еврейский вождь. Думаю, второго «Ветхого Завета» у него не получится.

Утром, пока Эмиль отсыпался, отправился за виски. Нашел его в комплекте с Мэтью Сэлливеном, превосходный шотландский,

ячменный. Виски тут, пожалуй, хватит, чтобы продержаться до Страшного суда. Конечно, если организацию суда не поручат Бен-Гуриону. Страшный вопрос: если все шотландское виски здесь, что же пьют в Шотландии? Теперь понятно, почему англичане не любят евреев – те решили сломить Великобританию жаждой, купив все их виски. Сэлливен уезжает 15-го, в последний день. Он отдал бы месячное жалованье, чтобы уехать хоть на день раньше. Он говорит, что евреи – очень достойные люди, но у них есть маленькая слабость, которая несколько уменьшает удовольствие от общения с ними: они не успокаиваются, пока не получают все, чего хотят, а хотят они все. Он приехал сюда при лорде Бальфуре, чтобы помогать евреям, которых заочно очень любил, а теперь уже через пять минут общения становится однообразным в своих проклятиях. Он говорит, что евреев очень даже можно обождать, но на расстоянии, как это делает господь Б-г. Парень он славный. Ему надо было ехать в Иерусалим, а он в семь утра уже не вязал лыка. Дал мне на целый день ключи от «Виллиса» с английским флажком. Флажок, сказал он, можешь не возвращать. Подошел Эмиль, поклялся: мы обязательно вернем.

– Можете засунуть его себе в задницу, – сказал Мэтью.

Эмиль не остался в долгу:

– А что еще с ним делать?

Мы помчались в Иерусалим – у Мэтью там была назначена встреча с офицерами Арабского легиона. Хорошо, что флажок еще не был в заднице Эмиля, он помог, в нас не стреляли. На въезде в город проверяли документы иорданцы. Офицеры легиона – тоже иорданцы – оказались воспитанными и доброжелательными парнями, прекрасно владеющими английским. Они объяснили, что евреи – двадцать, тридцать тысяч – жили в Иерусалиме всегда и мусульмане их не обижали, относились даже лучше, чем к христианам, но эта страна не может прокормить всех, кто захочет в ней жить. Евреи говорят, что могут распахать пустоши? Да, они скупают у феллахов земли, предложат цену, от которой бедный крестьянин не сможет отказаться, построят кибуцы, все распашут, насадят сады и, может быть, прокормят миллион другой, но в конце концов вытеснят отсюда всех. Кончится тем, что они будут решать, стоять ли мусульманским святыням. Рано или поздно война станет неизбежной, и чем позднее, тем больше крови прольется. Евреи не умеют удовлетворяться малым. Им надо все. Так было во всех странах, в которых они жили. Где-то я это уже слышал. Мэтью? Да, и он тоже. Но я слышал и раньше. А может быть, догадался сам.

Наш подкупленный клерк пропал, но и Бен-Гурион на публике не появлялся. По бульвару Ротшильда слоняются вооруженные и безоружные люди, ждут слова вождя. Два парня укрепили радиотарелку на водонапорной башне над бульваром. Значит, речь, все-таки, будет.

Кафе неподалеку от «Музея Зины Дизенгоф», где, по слухам, соберутся члены Народного правления, заполнили корреспон-

денты. Решил не напиваться: сегодня надо послать первый репортаж. Мэтью принес целую папку с вырезками, справками и подсчетами, неоценимое подспорье для любого журналиста. Ему не с кем было отвезти душу, долг христианина требовал принять его исповедь, разбавляя ее тем, с чего начали день. За соседним столиком что-то обсуждала шумная компания, в которой выделялся морщинистый человек с молодыми глазами шалунишки. Эмиль прислушивался, и ему не нравилось. О чем они? Эмиль отмахнулся: переводить пустой треп не было желания. Одну фразу он, все-таки, перевел:

– Он говорит, что терпеть не может евреев и если выбирать, то поэту лучше жить при арабском халифате, чем при еврейской демократии.

Ах, поэт... Поэт – он и в Тель-Авиве поэт. Плохой признак: Эмиль начал сопеть. Держал нас в курсе дела:

– Он говорит, что хочет иметь четыре жены.

– Эмиль, ну его в задницу.

– Там у него уже наш флаг, – сказал Мэтью.

– Все там будем.

– Кто-то будет, а кто-то уже.

– Все уже.

– Кроме них, – сказал Мэтью.

Намекал на евреев, антисемит чертов. Богемная компания начала прислушиваться. Назревал скандал. Мэтью пожелал быть понятным – похвальное качество для журналиста:

– Задница не может быть в заднице.

Понятно не получилось. Богемная компания озадачилась, не зная, как это воспринимать. Наблюдая за ней, не упускал из виду коллег. Кто-то торопливо поднялся и пошел к выходу – уж не раздобыл ли текст речи? Нет, встретил какую-то вертлявую бабенку, вернулся с ней, усадил за столик. Евреечки – это на любителя. В каждой из них есть что-то от девы Марии, а что-то от Магдалины. Возле богемы остановился маленький толстяк, там засуетились, уступили стул. Толстяк в темном европейском костюме держался уверенно. Близорукий взгляд через сильные очки не уменьшал впечатление собранности. По бокам блестящей лысины шел прилизанный седой зачес. Эмиль устался...

– Эмиль, кто это?

– Гохберг.

– Заговори с ним.

Эмиль встал и заговорил по-английски:

– Прошу прощения, господин Гохберг. Мы только вчера прилетели. Меня зовут Эмиль Польцер. Я военный летчик, летал на Б-17. Я узнал, что арабы собираются начать войну, и прилетел, чтобы сражаться.

Эмиль сделал паузу. За столиком почтительно притихли. Гохберг слегка повернулся, чтобы увидеть говорящего. Тяжелый взгляд остановился где-то на уровне шеи Эмиля и не стал подниматься выше.

– Так что вы от меня хотите?

Эмиль ожидал совсем другого, но не подал вида:

– Я хочу вам представить нашего друга, корреспондента «Трибюн» господина Уилберфорса.

Корреспондент «Трибюн» господин Уилберфорс не заставил ждать:

– Господин Гохберг, мы тут все сочувствуем чаяниям еврейского народа.

– Спасибо за сочувствие, – сказал Гохберг. – Но оно мало помогло шести миллионам. Нужны дела.

– Как вы считаете, господин Гохберг, будет ли объявлено государство?

– Думаю, летчики нам понадобятся.

– Спасибо.

Мэтью поднялся. Расплачивался. Сели в «Виллис», поехали в гостиницу.

– Мэтью, что скажешь?

– Их не будет здесь через год. Ни одного.

– Где же мы будем? – спросил Эмиль.

– В заднице.

– Только что вы говорили прямо противоположное. Где же правда?

– Идите в задницу, – сказал Мэтью.

До встречи в назначенном месте, Мэтью. До завтра, Эмиль. Чтоб тебе так же хотелось жить, дорогой читатель, как мне хочется писать. Главное начать, там распишусь. До истечения мандата остается менее ста часов. Внимание всего мира приковано в двухэтажному зданию в центре Тель-Авива. Журналисты в кафе по соседству и толпа людей перед входом в «Музей Зины Дизенгоф» ждут речи Бен-Гуриона. Сейчас он невнятно именуется председателем Народного правления. Когда объявят о создании государства, он получит право именоваться президентом или премьер-министром. Но когда он закончит речь, заговорят пушки. Соседние арабские государства уже заявили, что этого государства они не потерпят. Сколько же оно просуществует? Может быть, имеет смысл подождать с этим удовольствием?

Давайте попробуем подсчитать шансы. В Палестине проживает около миллиона арабов. В соседних арабских странах, которые уже объявили об участии в военных действиях, проживает 40 миллионов человек. Все эти страны имеют обученные, укомплектованные и вооруженные армии. Недостатка в пополнении боеприпасами у арабов не будет. Уже организована и особая палестинская регулярная армия, финансируемая через Арабскую лигу. Она называется освободительной. Любопытно, что она намерена освобождать, если никто еще никого не завоевал? Она будет освобождать те земли, на которых живут евреи, купив эти земли у офицеров этой самой «освободительной» армии. Видимо, это будущее «освобождение» входило в условие сделки, арабы просто забыли сказать об этом покупателям.

Итак, сорок миллионов уже привели в боевой порядок свои шесть регулярных армий. Этим миллионам будут противостоять 650 тысяч евреев. Вся еврейская самооборона – Хагана – может составить 45 тысяч мужчин, женщин и подростков. Из них тридцать тысяч – охранники, девять с половиной – батальоны молодежи, пригодные лишь к вспомогательной службе.

Точных данных о вооружении у меня нет. Но нужна ли тут точность? У арабов есть все, чем оснащены регулярные армии, – артиллерия, танки, самолеты. У евреев разбросаны по тайным складам десять тысяч винтовок, несколько сотен минометов, ни одной пушки и ни одного танка. Авиация состоит из двух двухмоторных самолетов и семи фанерных «примусов». У арабов – десятки, если не сотни «Мессершмидтов» и «Спитфайеров». Даже без применения авиации артиллерия арабов уже сейчас способна обрушить свою мощь на Хайфу, Иерусалим и Тель-Авив. Все без исключения горные высоты заняты арабами, с них простреливаются все дороги. Сколько эта «война» может продлиться? Час? Два часа?

Нужно быть безумцем, чтобы в этих условиях объявить о создании государства. Но не нужно быть пророком, чтобы предсказать: с часу на час оно будет объявлено. Иначе придется полагаться на милость врагов и защиту международных сил, а это евреи уже пробовали. Они говорят, что если погибнут, то на этот раз с оружием в руках. Безумцы они или нет, они будут воевать. И знаете, какая неожиданная мысль пришла мне только что в голову? Они победят.

Как и почему это случится, я не могу объяснить. Я летел сюда с евреем из Бронкса, который был летчиком на «летающих крепостях» в войне с Гитлером. Он закрыл свой магазин готового платья и купил билет на самолет, чтобы участвовать в боевых действиях. Сюда прилетели пилоты из Соединенных штатов, Франции, Италии, даже из Швеции. Не все из них евреи, но все готовы отдать жизнь за право евреев на собственное государство. На чем они будут летать? Самолетов нет. Правительство наложило эмбарго на поставку вооружения на Ближний Восток. По форме это – акция в поддержку мира, по сути – провокация к войне, развязывание рук арабам, потому что у них нет проблем с приобретением оружия, они уже вооружены до зубов, а у евреев одна винтовка на четыре с половиной солдата. Сегодня я разговаривал с одним из членов Народного правления, легендарным Гиршем Гохбергом. Когда я выразил ему свое сочувствие, он ответил: «Ваше сочувствие мало помогло шести миллионам. Нам нужны ваши дела». У нас сейчас одно дело, и сделать его нужно немедленно, ибо каждый потерянный час будет стоить сотни или тысячи молодых жизней: мы должны снять эмбарго на поставку оружия. И тогда евреи защитят себя сами. С нашим сочувствием или без него. Они победят, потому что у них нет права проиграть эту войну. В отличие от арабов, они не «освобождают» землю, а защищают своих стариков и детей от безжа-

лостного врага. Молодец Дик, старый козел. Тебе остается сделать самое малое, но самое трудное: оторвать задницу от стула. Должна и ты, жопа, немного помочь такой светлой голове. Не первый год вы работаете в паре. Всего-то и делов – оторваться, раз, два, и ноги понесут сами, они без хозяина знают дорогу к телетайпу, кажется, что-то важное забыл вставить в этот перл журналистики, ну да ладно, ноги уже идут, не стоит им мешать запоздалыми сомнениями.

...Все плохо. Куда-то исчез к чертям собачьим Эмиль. Может быть, получил, купил, украл винтовку или самолет и уже сражается в свое удовольствие. А я без переводчика. Проснулся от грохота и жутких криков и решил, что проспал начало войны. Выскочил голый в коридор. Орали горничная и коридорный. У нее зад Марии из Магдалы. Коридорный вообще араб. Грохот был из-за рухнувших умывальных тазов. Они стояли горкой и разлетелись по всему коридору. Это не Ницца. О чем кричали аборигены, я без Эмиля так и не узнал. Но понял, что война еще не началась. Голова раскалывалась, но работала. Я подхватил какой-то таз и прикрылся им, чтобы с достоинством сохранять нейтралитет. Может быть, надо было по примеру Дон-Кихота прикрыть тазом, все-таки, голову, но я прикрыл... гм-м... таз. Что сделано, то сделано. Из своего номера вышел Мэтью, одетый безукоризненно. К сожалению, в этой одежде он спал, это было слишком заметно, и то, что было безукоризненным вчера, не выглядело таковым сегодня.

Нам с Мэтью противопоставлен утренний взаимообмен впечатлениями. Нам нужно писать. Своей первой статьей я, оказывается, сильно потрафил хозяевам «Трибюн». Так что должен Мэтью за его папку как минимум две бутылки виски. Я теперь богат: от меня требуют ежедневных репортажей. Можно и два в день. Лишь бы не подвела жопа. Мэтью мог бы быть переводчиком, но я не слишком ему доверяю. Все ивритские и арабские выражения он переводит одним английским словом. Это, конечно, верно по сути, но читатели любят лингвистическое разнообразие. Они хотят прочесть нормальный текст, а уж потом самостоятельно сделать то, что Мэтью делает с самого начала, – выразить все в одном единственном слове. В создании этой иллюзии самостоятельности и заключается искусство журналиста.

Итак, у меня для вас опять плохая новость: война уже идет. Это никакие не шутки. Еврейские районы тянутся узкой прерывистой ниточкой вдоль моря, а на севере поднимаются на горные хребты. Кто владеет хребтами, владеет всем севером Палестины. Одно из важнейших плоскогорий называется знакомым словом: Нафтали. Это ключ к святому Цфату и кибуцам Галилеи. Само плоскогорье Нафтали тоже было кибуцем. Его основали в сорок пятом демобилизованные и назвали именем капитана Джонатана Шоу. Он не был евреем, он молился за евреев в здешних католических храмах. Он не только молился, но и учил их сражаться. Не меньше он прославился и своими писаниями.

Нет, не как ваш покорный слуга и другие акулы пера, – он писал письма своим начальникам и, в обход их, министрам, протестуя против антиеврейской политики своей страны. Это не часто случается с нашими друзьями-англичанами, особенно с теми, которые служат в армии, и потому евреи сделали его кумиром на свой манер. То есть они не поставили ему памятник – *ло таасе леха пэсель* – а назвали его именем кибуц. Они полагали, что увековечили память, поскольку кибуц – это навечно. Всю весну арабы обстреливают его из тяжелых орудий. Собственно, уже две недели, как от сельскохозяйственной коммуны ничего не осталось, из нее эвакуировали женщин и детей. Мужчины продолжают сопротивление. Два из семи еврейских «примусов» сбрасывают им патроны и продовольствие. Кому-то удалось даже трижды посадить свой «примус» на эти два с половиной камня, и он подобрал раненых.

Первого мая началось массированное арабское наступление. Через несколько дней прервалась радиосвязь с защитниками Нафтали. По всем расчетам, там вот-вот кончатся боеприпасы, однако выстрелы еще звучат. И вот позавчера над плоскогорьем сделал круг один самолет. В нем сидела Линда Шоу, молодая вдова Джонатана. Линда сбросила с борта самолета Библию с вложенной запиской. На записке она написала: «Эта Библия была с Джонатаном во всех его походах и вдохновляла его. Пусть она будет символом договора между нами – в победе или поражении, отныне и во веки веков». Кстати, так и надо озаглавить репортаж – «Отныне и во веки веков». Неплохо, жопа. С такими репортажами еврейское золото потечет в наши карманы рекой. Особенно удачно то, что все это – чистая правда. Ты у меня любишь правду. Она у меня, Хэм, любит правду. Но жопа есть жопа. Есть правда, которую все любят, поскольку мы делаем ее красивой, и есть правда, на которую никто из нас никогда не решится, даже ты, Хэм.

Итак, я без переводчика. Сукин сын, ему лишь бы воевать. А если его шлепнут? Впрочем, шлепнуть теперь могут любого – пока я писал и торчал у телетайпа, ситуация изменилась. В Латруне – это совсем близко, – транспорты с конвоем пытаются пробиться в осажденный Иерусалим. Завтра англичане уйдут из «Старого города», их позиции уже заняли арабы, евреи в кольце. Это те чокнутые, которые во всем мире хотят по улицам, не открывая глаз от своей Торы, не вытирают соплей носовыми платками и спотыкаются на гладком месте. Наверно, сейчас удивляются: столько веков их не трогали и они никому не мешали, молились себе, что же это вдруг все изменилось? Какое такое государство? Какая такая независимость? Нет в Торе этого слова – независимость... Говорят, на столе у Бен-Гуриона стоит портрет Ленина. У Ленина, вроде бы, тоже ничего нет про независимость. Он – Ленин – марксист, а для марксистов нет более ненавистного слова. Произнести его при них – это все равно, что сказать при дамах «жопа». Откуда взялась эта напасть? Я от-

стучал репортаж и пошел искать Мэтью. Во-первых, он может кое-что перевести, во-вторых, я ему должен две бутылки виски.

...Сегодня, тринадцатого мая, в семнадцать часов по Гринвичу, я объявил, что никому ничего не должен. Мэтью уполз спать. Давид Бен-Гурион тоже выступил со своим объявлением: Он делал это очень долго, после чего Народное правление поднялось и стоя исполнило песню «А-Тиква», то есть «Надежда». Евреи обожают петь хором, вся страна пела и плакала слезами счастья. Текст на английском (не песни, а декларации) я получил именно во время пения, с опозданием. Подкупленный клерк не обманул, просто Бен-Гурион в самом деле лично черкал и переписывал текст до последней минуты. Мне пришлось работать в других условиях – диктовать сразу набело, на телетайп. Хотел бы я знать, почему Бен-Гурион так заботился о стиле. Арабам миролюбивые его обращения что в лоб, что по лбу.

Едва я улегся, началась бомбежка. Египетские «Спитфайеры» пронесли над Тель-Авивом, сбросили бомбы на улицы рядом. Есть убитые женщины и дети. Теперь мне будет работенки, только поворачивайся. На юге винтовками и гранатами отбиваются от танковой колонны. Пустыня Негев отрезана от остальной страны. В центре побережья началась паника, но странное дело – бегут не евреи, а арабы. Этого вообще никто не ожидал. Массовое бегство из Хайфы и Яффо. Люди выскакивают из домов, оставляя там самое необходимое. Почему бы им не побросать в узлы домашнюю утварь? Почему они вообще бегут? Услышали о зверствах, которые евреи совершают над мирным населением? Я могу поверить, что евреи распяли Христа, я согласен допустить, что они пьют кровь христианских младенцев, но я никогда не поверю в их зверства над мирным населением. Даже Мэтью не может в это поверить. Он, все-таки, выпускник Кембриджа. Мэтью растерян, тем более что, как он говорит, я увлекся и отдал ему не три, а четыре бутылки, так что теперь он должен мне одну вернуть. Этот антисемит потолкался на рынке и пришел ошарашенный: бегут, потому что получили приказ: «Немедленно освобождайте города, дайте поработать нашей артиллерии». Но артиллерия не слишком работает. Может, этот приказ был просто чья-то личная инициатива? Мэтью кричит:

– Это еврейские штучки! Они сознательно напугали людей, чтоб те бежали!

Утром он купил арабские газеты. Нигде о беженцах ни слова. Ни одна арабская газета не заметила этого бегства. Чудеса. Англичане тоже молчат. Евреи призывают вернуться, но кроме них, никто не понимает иврит. Так или иначе, арабские дома пустуют.

С отвалившейся челюстью прочел последний репортаж Мэтью. Накануне в порту появился корабль под панамским флагом. Прежде чем дать разрешение на швартовку, англичане поднялись на борт. В трюмах обнаружили лук, крахмал и банки с томатным соком. Офицер уже был готов дать разрешение, но что-то его на-

насторожило, и он приказал капитану направить судно в Хайфу - там лебедки и краны, там проверят получше. До конца мандата оставалось 24 часа. Команда готова была сопротивляться: под крахмалом и луком лежали пушки, пулеметы, снаряды, почти 4 миллиона патронов. Связались со штабом, те приказали подчиняться. Судно повернуло в море и в сопровождении патрульных катеров взяло курс на Хайфу. Британский офицер не покидал корабль. В полночь он взглянул на часы и сказал капитану:

– Время британского мандата истекло. Вы можете направлять корабль, куда вам угодно.

Джентльмен, твою мать: слово чести, рыцарство, добрая старая Англия... Сукин ты сын, Мэтью. Зачем ты нас кормишь этим дерьмом? Я тебе скажу, как было на самом деле. Ставлю десять против одного, что в полночь на офицера напали евреи с криками, что мандат кончился. И англичанин сдался, может быть даже запросил по радио командира, и тот сказал: «Да пусть проваливаются к черту, теперь им самим эту кашу расхлебывать». Держу пари, так и было. Мой друг Эмиль не был джентльменом, он обоср... над Дрезденом. Может, от страха, может, от ужаса перед тем, что творит, может, от восторга и упоения, а скорее всего, как это и бывает у людей, от всего вместе. Он не заметил конфуза, летел себе и тихо улыбался, пока кто-то в экипаже не заметил, что чем-то воняет. И опять он ничего не понял. Лишь вернувшись на базу, когда все стали показывать на него пальцами, сообразил, что произошло, выхватил пистолет, и если бы не старина Дик Уилберфорс, разнес кому-нибудь башку единственно от стыда и отчаяния. Ему самому потом месяц казалось, что он воняет, он стал сторониться людей, да и мы все держались от него подальше, нам тоже мерещилась вонь.

А теперь что-то случилось с моим носом. Теперь мне кажется, что запах дерьма – вполне человеческий, а непереносимая вонь идет от английского джентльмена из твоей статьи. Потому что рядом с четырьмя миллионами патронов его поза дурно пахнет. Тут уж одно из двух: либо он понимает, что своим чистоплюйством обрекает на смерть тысячи, либо не понимает. И в том и в другом случае его джентльменство – свинство и глупость. Из Европы это, может быть, не видно, но из Палестины очень даже хорошо заметно, особенно в ночь египетской бомбежки. По крайней мере, ты-то тут, Мэтью, достаточно побыл, чтобы понимать разницу между чиновником, который делает людей безоружными перед убийцами, и респектабельным джентльменом из детских книжек.

Несколько дней назад государства Израиль еще не существовало, и три четырехмоторных транспортника «Констелейшн», купленные в США, вылетели из Панамы под панамским флагом. Один из-за плохой погоды врезался в холм и разбился. Два других через Бразилию, Касабланку и Сицилию прибыли в Экрон 16 мая. Наутро они уже на законных правах вылетели за оружием в Чехословакию. У одного отказал мотор, и он сел на Родосе. На

другой в Чехословакии погрузили разобранные «Мессершмиты». В Экроне их уже ждали. Заправившись, транспортник полетел за второй партией, а «Мессершмиты» начали немедленно собирать тут же на аэродроме. Летчики помогали при сборке. Один из них был племянником сионистского вождя Хаима Вейцмана, другой – американцем из Бронкса, прилетевшим несколько дней назад, чтобы участвовать в боевых действиях. Американец нервничал: он привык к летающим крепостям, летать на немецких штурмовиках ему не приходилось.

Фронт тем временем приближался к Экрону. 19 мая египтяне были отброшены защитниками кибуца Яд-Мордехай. Ночью из кибуца вывезли женщин и детей. 20 мая были отражены четыре атаки. Но уже не осталось укрепленных огневых точек, ни одного укрытия, куда можно было прятать от огня раненых, артиллерийский огонь разрушил все траншеи. Ждали помощи, однако наступление египтян развивалось, никакая помощь пробиться уже не могла. И все же, неизвестно как, кибуц продолжал отстреливаться 21-го и 22-го. Лишь 23-го египетские танки прорвали оборону и ринулись в обход на Тель-Авив. В ту же ночь к защитникам Яд-Мордехая пробился на десяти бронетранспортерах отряд командос из Негева. Они помогли продержаться еще день, после чего оставшиеся в живых отступили на новую линию обороны, подготовленную за это время. Но и ее пришлось оставить. Бои шли в 20 милях от Тель-Авива, когда собрали первые четыре «Мессершмита». Прямо с места сборки они поднялись в воздух и устремились в бой, расстреливая из пулеметов позиции египтян. Не столь уж значителен был урон от этого огня, но сработала неожиданность. Египтяне выскакивали из траншей и неслись в дюны. У евреев же не было сил преследовать бегущих. Три «Мессершмита» благополучно вернулись на аэродром, четвертый, с пилотом-американцем, рухнул на землю и сгорел. То ли его сбили, то ли летчик совершил ошибку, то ли его подвела техническая неисправность.

Такие дела, старина Эмиль.

«Мессершмиты» и «Спитфайеры» продолжали прибывать, после нескольких воздушных боев евреи утвердили превосходство в воздухе. Мало-помалу положение на фронтах начало меняться. Иерусалим еще был в осаде. Снайперы Арабского легиона расстреливали транспорты с продовольствием со стен Монастыря Молчальников и из форта бывшей английской полиции. Тогда стали строить дорогу в обход. Землю таскали носилками, работал один старенький бульдозер, потом появился второй. Первые мешки с хлебом добровольцы тащили по горам на спинах. Следом пошли грузовики с бойцами. Осаду пробили, «Старый город» освободили. Надо было сразу, как приехали, держать пари с Мэтью. Тогда можно было запросто поставить на евреев один против десяти. А теперь хоть десять против одного ставь – не найдешь желающих держать пари за арабов. Еще хуже, что не найдешь и желающих выпить.

У меня для тебя хорошая новость, Эмиль, израильские самолеты бомбят военные объекты в Аммане, столице Иордании. Правда, в это самое время твой радист Дик Уилберфорс, трезвый, как стеклышко, услышал звук приближающихся «Спитфайеров» совсем в другом месте, на бульваре Ротшильда. Система ПВО почему-то не сработала. Египтяне отбомбились, и только после этого раздался сигнал воздушной тревоги. Много убитых женщин и детей.

А ведь твоему государству уже месяц, Эмиль, уже есть, с кого спросить. Оно уже позволяет себе маленькие междоусобицы. Понятное дело, боевой дух растет. Бей своих, чтобы чужие боялись. Бен-Гурион отдал приказ береговой артиллерии потопить судно с оружием для Эцеля. Клянусь, это правда, я трезв, как... это сравнение у меня всегда буксует... ну, для разнообразия, как стеклышки в очках Бегина, который, все же, показал себя молодцом, приказал морякам не открывать ответного огня по тем, кто их топил, иначе могла начаться гражданская. Погибло тринадцать человек, сорок восемь – ранены.

Я беседовал с одним из них, Эмиль. Он умирал в сознании. Он приехал сюда в начале двадцатых на корабле «Виктория». Русский социалист, и имя, как у Ленина. Когда Бен-Гурион стрелял по кораблю, он вылез на палубу и стал под снаряды с портретом Теодора Герцля в руках. Портрет не пострадал, а из Владимира Фридляндера извлекли семь осколков.

Мне уже не обо всем хочется писать, Эмиль. Если честно, мне уже вообще не хочется писать. Мэтью пьет далеко отсюда, дома. Потягивает у камина горячий грог, смотрит на газон и внушает себе, что сидит в заднице. Без него скучно. Евреи и арабы потихоньку сходят с полос «Трибюн», они уже немножко поднадоели читателю своими проблемами. Ну а я, видимо, все-таки, хоть и не вышло из меня писателя, все-таки журналист я от Б-га, у меня чутье: мне все начало надоедать раньше, чем моему читателю.

Что с нами со всеми здесь было? Я видел парня, который семь раз был ранен, и шесть раз убежал из госпиталя в свой батальон. Он даже не умел стрелять, но классно водил «Студеры». Я видел его на носилках, ему отрезали ногу. Эти парни проббили блокаду, он счастлив, что ногу ему отрезали в свободном Иерусалиме, который снова, как две тысячи лет назад, стал еврейским, но он верующий, и его беспокоило, похоронена ли эта часть его тела, как того требует религия. Ты знал о такой еврейской заповеди? Хоронить ногу! Это немного забавно, тебе никогда так не казалось? Мы с тобой не успели поговорить на религиозные темы. И я не написал об этом. Я, понимаешь, простой американский парень, я не умею об этом писать, потому что надо бы снять шляпу, а у меня нет подобающей случаю постной рожки, Эмиль. После бомбежки 10 июля я забрел в Яффо. Не нарочно – ведь границы между Тель-Авивом и Яффо нет. Разрушенные дома чередуются с пустыми, оставленными. Я шел и поймал себя на том, что забыл, с чего и зачем все началось.

А к чему все придет, нам сказал Мэтью. Это тот редкий случай, когда он прав. Из-под завалов выносили еще живых. А из других завалов – вещи. В одном пустом, безжизненном дворике среди чадящих головешек я увидел сундучок с серебряной окантовкой. Он был закопчен и слегка обуглен. Я открыл и обомлел: там лежала фотокамера, сработанная в прошлом веке. Она была как новенькая, все стеклышки были целы. Даже проявленные пластинки. И эта противоестественная нетронутость среди руин, пожарищ, проклятий и женских воплей, как вечность среди тлена, как-то даже испугала. На одной из пластинок было что-то... то ли женщина... то ли ребенок... Я поглядел на свет, и пластинка стала темнеть. Или глаза на свету ослепли... Я хотел забрать сундучок в гостиницу, но тут меня позвали с улицы, некому было тащить носилки с раненым. Я потом вернулся, искал это место и не нашел. Что это было, Эмиль? Что-то было и исчезло.

* * *

Иногда он пытался понять, почему, так явно не способный к сочинительству, он не бросает его? Может быть, сыграло роль одно обстоятельство: в июле 49-го, в госпитале, в разгар войны он услышал, как трое раненых парней из бригады «Харэль» пели песню, сочиненную им много лет назад в юности, когда они с Михаль были проводниками нелегальных беженцев из Европы.

Ему уже скоро должно было стукнуть тридцать, даже командир бригады был моложе, и те парни все казались мальчишками, лихие командос Игаля Шумахера. В госпитале их баловали девочки. Мама, проходя из перевязочной в больничные палаты, задерживалась около них, чтобы перекинуться шуточками. И вот вечером, в меланхолии, – привезли друга с черепным ранением, хирурги ничего не смогли сделать, он умер, – парни сидели под старым лавром перед входом с улицы Герцля, тихо пели себе под нос, и услышав, он не сразу в это поверил: его песня? До этой минуты не подозревал, что кто-то ее слышал за пределами Кфар-Нехамы. Мелодия была чуть-чуть другая. Капитан посадил корабль на мель, прощай, «Глория», мы готовы ко всему, что будет. Мы с тобой многих похоронили, но я чувствую твою руку, и мы готовы ко всему, что будет. Мы никогда ничего не забудем, мы никого не забудем, и все они сегодня с нами, и пусть будет, что будет. И месяц нам светит, и дорога знакома, и пусть будет, что будет...

Не видимый парнями, замерший у решетчатых госпитальных ворот, глядя куда-то в сторону, чтобы не видно было, что подслушивает, он не узнавал свои слова. То есть, он помнил их и знал, что сочинил песню он, даже помнил, как это происходило, как родилась случайно первая строчка – это был рефрен, – как он искал рифму, но и чувствовал он теперь иначе, и обстоятельства минуты были другими, не позволяющими испытать чувство песни. Парни же пели так, будто слова в эти мгновения только

рождались в них, свежие, новенькие, и принадлежали им. Конечно, происходило то, что происходит с любой песней. Он, однако, не был поэтом, песен не писал, а писал роман, в котором тщательно подыскивал слова, точно выражающее его чувство, в котором важна была именно неповторимость рассказываемого, – в противном случае не было смысла писать роман. Простенькие слова песни были совсем другие. Они не должны были быть точными, как слова романа. Они выражали не неповторимость, а наоборот, то, что не содержит в себе неповторимости. Если бы это были не слова, а фотоснимок, то роман был фотоснимком резким, а песня – размытым, чтобы каждый мог узнавать в изображении свое. Но это означало, что слова оказывались знаками не понятий, не речи, а чего-то совсем другого. Чего? В каком-то приблизительном смысле – знаками чувства. Но чувства солдат, поющих под лавром в госпитальном дворике, и чувство его, через несколько дней после спасения беженцев с «Глории» ожидающего машину, чтобы ехать из Кфар-Нехамы в рыбацкий кибуц, – он ждал часа два на жаре, машина где-то задержалась, и неизвестно было, приедет ли она вообще, – чувства были совсем разными. Чтобы как-то определить общее между чувством этих парней и его чувством, нужно было не слово «чувство», а какое-то другое слово. Он не мог его найти. Он должен был подумать об этом: существовал другой мир, и он, и солдаты находились в этом другом мире, который соприкасался с миром реальных чувств, но не совпадал с ним. Люди жили одновременно в двух мирах. Песня была проявлением не реального мира, а второго, который в чем-то был реальнее реального, потому что этот второй мир диктовал людям поступки, и когда солдаты в бою бежали в атаку, не думая о собственной жизни, – это действовал он. Во время атаки он действовал даже во вред отдельному человеку, приводя его к гибели. Этот мир не вырос из реального, скорее наоборот, реальный в чем-то зависел от него, он был общим для всех, как был общим воздух.

Слова песни существовали собственной жизнью. Они были как следы на морском берегу, и человек, который шел по берегу, точно попадал в этот чужой след, как в собственный. Могли пройти сотни, тысячи людей, и все они попадали в этот след. Должен был возникнуть новый прилив, буря, ливень, должно было пройти время, чтобы след исчез, как чернильные записи на куске обоев, который сохранил дядя Наум на дне своего чемодана. Чемодан лежал под кроватью до конца сорок второго года, когда в шторм села на мель «Глория» с беженцами из Германии. Женщина с трехлетним ребенком тащила не этот, а другой чемодан, не хотела бросить, но пришлось, и она так убивалась, что он потом вернулся на место, где они его оставили, отыскал этот чемодан и привез в кибуц. Там были бумаги с размокшими чернильными строчками. Чернила расплылись, и бумаги превратились в зловонную массу. Их почти все выбросили вместе с чемоданом. И тогда дядя Наум решил, что и ему пора выбросить

свое никому не нужное истлевшее барахло. На дне его чемодана, не немецкого, а русского, совсем уже древнего, лежал кусок старых обоев. А это зачем? – Мой отец был обойщиком. – Ну и что? – На этом куске я записал стихи моего брата. – Но их тут нет. – Но они были. – И ты помнишь их? – Нет, уже не помню. – Русские? – Кажется, русские. – А про что? – Про ангела Эммануэля. – Что это за ангел такой? – Не знаю, сказал дядя Наум. Не потому ли этим именем назвали его старшего брата?

При всем при том, сочинил песню он, она получилась, и он гордился собой. Вечером искал Иегуду, чтобы похвастать. Нашел поэта в кафе за столиком. Тот сидел над тарелкой с хумсом. С ножичком, вилочкой, промакивая рот грязной салфеткой. И все равно бурая каша торчала и на красном носу, и на щеках с апоплексическими прожилками. Что-то помешало сразу, с ходу начать хвастать. Подсел, заказал кофе... Иегуда с полным ртом небрежно сказал:

– Закажи и мне чашечку. По-арабски, с сахаром.

В Тель-Авиве уже исчезали такие продукты, как натуральный кофе и сахар, чашечка стоила, как ужин. Что мешало Иегуде самому заказать? Старый эгоист привык вот так эксплуатировать приятелей, выработал небрежный тон, мол, какие могут быть счета между друзьями. Сам же никогда ни за кого не платил. В глубине души Иегуда был уверен, что такие, как молодой Гохберг, должны платить за счастье общения с ним. Когда-то в самом деле было так, но после того, как он услышал свою песню в госпитале, так не казалось. Он дал это понять:

– А ты что, Иегуда, уже не работаешь?

Мама еще в апреле 48-го пристроила бывшего своего любовника санитаром в госпиталь. Он всю войну там прокантовался. В войну помалкивал, не слишком выпендривался, а теперь, когда уходили из армии тысячами, возвращаясь к работе в кибуцах и мошавах, теперь он стал объяснять любознательным друзьям, что не участвовал в боях по убеждениям – пацифист. Ему совесть не позволяет убивать обманутых своими муфтиями арабов.

– Не могу. Нервы. Не могу видеть кровь, – сказал Иегуда про госпиталь.

– Но раньше, вроде бы, мог?

– Что значит, мог... Надо было...

– А сейчас не надо?

– Пусть другие поработают, – с достоинством ответил Иегуда.

Его надо было принимать таким, каков он есть. То, что не сходило другим, в нем вызывало почти уважение и даже зависть. Иегуда *не боялся быть плохим*. Это заметила еще мама: другие боятся быть плохими, а он не боится. Потому что он *не боится хотеть*. Потому что презирает мнение других. Наверно, она не должна была говорить это девятилетнему мальчику. Тот на всю жизнь запомнил. В глубине души он сознавал родственность с Иегудой, понимал о себе, что *плохой*, но он-то из всех сил старался стать лучше, что-то в себе подавлял каждую мину-

ту жизни, и немного завидовал поэту, который *не боится быть трусом и эгоистом* и не зависит от чужого мнения. Иегуде было наплевать, что думает о нем сын старой любовницы, а тому очень хотелось увидеть восхищение и зависть в глазах профессионального поэта. Он готовился к этому, обдумал, как начнет говорить:

– Представляешь, Иегуда, был сегодня в госпитале. Сидят там во дворе солдатики, поют, я проходил, что-то, думаю, знакомое, и вдруг вспомнил: да это ж мое! Сто лет назад, в кибуце мальчишкой сочинил! Так, барахло, никому даже, по-моему, не показывал, и вдруг слышу. Странное чувство. Птица упорхнула из клетки, ты про нее забыл и вдруг узнал ее голос. Что скажешь?

– А что мне сказать? Ну поют и поют. На это авторское право не распространяется, да и нет его у нас.

– Ну представь, что ты слышишь, как кто-то положил на музыку твои стихи и поет их. Ты идешь по улице, и вдруг слышишь.

– Этого не может быть. С моими стихами этого не может случиться.

– Почему же с твоими не может, а с моими может?

– Потому что у меня стихи, а у тебя не стихи.

– А что же у меня?

– Текст песни. Как у Рахель.

– Знаешь, меня бы устроило, если бы у меня получились стихи, как у нее.

– Это не стихи. Это текст песни.

– А в чем разница?

– Вы пишете не своими словами. Вы пишете то, что слышите в кибуцной столовой. Что ж странного, что кибуцники распевают твою песню – в ней не твои слова, а их. А я ищу свои.

– Но ты ж не слышал моей песни. А если в ней мои слова?

– У кибуцника нет своих слов.

Иегуда посмеивался, поглядывая, как петух на цыпленка, потягивая черный сладкий кофе из чашечки. Подошел лысоватый молодой человек с повязкой на глазу, присмотрелся:

– Хаим Шандалов?

Иегуда смерил его взглядом, обдумывая, как наказать наглеца, который имел глупость принять его за кого-то другого. Он еще ничего не придумал, одноглазый подсказал:

– «Эциони»?.. «Харэль»?.. Где ты воевал, браток?

– Я, браток, не воевал, – высокомерно сказал Иегуда, потеряв бдительность.

Одноглазый почувствовал вызов. Он явно был из командиров, из тех, кого не испугаешь вызовом.

– Ты что хочешь этим сказать?

– А то, что мне надоели вояки.

– Я не понял.

– А я не обязан тебе объяснять. Я не воевал и не собираюсь. Вы мне все надоели, «Эциони», «Харэли», «Гилади»...

Одноглазый несколько секунд смотрел на него. Иегуда начал понимать, что, кажется, зарвался, однако, было уже поздно исправлять ошибку: коротким движением одноглазый влепил пощечину. Иегуда успел откинуться на стуле и рухнул вместе с ним. Это спасло лицо – сила удара ушла на опрокидывание. Лежа на полу на спине, Иегуда не шевелился и не издавал ни звука. Глаза были открыты и наблюдали за одноглазым.

– Это тебе за «Эциони», – сказал тот и вышел из кафе.

Иегуда продолжал лежать. Поза была немного смешной: стул между раскинутых ног. Они торчали стоптанными башмаками кверху и в стороны. Никто, даже смуглый хозяин со сталинскими прокуреными усами, не помогал поднять его, а сам он был, как мешок. Увидев, что он в порядке, в кафе вернулись к прерванному разговорам.

Утвердившись на ногах, Иегуда сказал:

– Фашисты.

Шатаясь, пошел к выходу.

Хозяин из-за стойки крикнул через весь зал:

– Эй, а кто платить будет?

– Заплати ему, – бросил Иегуда.

Это было последнее кафе, куда его пускали. Он исчез.

Да и не до Иегуды было. Работа в газете отнимала по десять часов в сутки. Если выдавался свободный час, он писал роман «Весна в Кфар-Нехаме». Пока Михаль была в госпитале, каждый день забегал к ней.

Выписавшись, Михаль не захотела возвращаться в кибуц к родителям, сняла комнату рядом со страховым агентством, где вела какую-то бухгалтерию, после работы добиралась до дому и лежала. Простреленное легкое заживало медленно. Он продолжал забегать каждый день, приносил продукты и готовил.

У него была другая женщина, у Михаль – влюбленный в нее Стив, тридцатипятилетний врач из Чикаго, квакер. Она не пропала бы, уж Стив-то готов был взять на себя все заботы о ней. Можно было не приходить.

Но он приходил. И почему-то никогда не говорил с ней о женщине, с которой как раз в это время был бурный, мучительный роман со взаимной ревностью, ссорами и примирениями. Михаль этот его роман интересовал, но она не задавала вопросов. И она и он знали, что у каждого своя жизнь. То, что было в детстве, когда их матери, все понимая, переглядывались, перешептывались, – не случайно мама посчитала нужным однажды сказать: он не брат Михаль, мама с Ханой даже не двоюродные, так, дальнее родство, так что он и Михаль вообще друг другу никто, – едва ли это могло что-нибудь значить. С тех пор было ее увлечение Рихардом, потом что-то с Янкелем, погибшем в Яд-Мордехай в первый день боев. Они воевали рядом с двадцатилетними парнями, которые считали себя зрелыми мужиками. Такие, как они, тридцатилетние, считались пожилыми.

Иногда он, да и она, наверно, тоже, воображали, что у них мог быть роман. Он видел, что Михаль старается ему понравиться. Она всегда помнила про свою позу, прическу, одежду – даже в домашнем затрапезном халатике что-то следовало подчеркнуть, открыть, а что-то скрыть, и отложной воротничок она всегда поднимала стоечкой, потому что ему это нравилось. Однажды она прямо сказала, что врачи запретили ей секс. Это было за ужином, они разговаривали о каких-то пустяках, исчерпали тему и замолчали, молчание их не тяготило, ни о любви, ни, тем более, о сексе между ними речь никогда не шла. Так что ее слова прозвучали, как ответ на ее собственные мысли, как признание, что она думает о сексе, и одновременно, как извинение, как будто отказывает ему в том, на что у него есть право. Она знала, что он любит другую женщину и что другая женщина не может мешать ему желать ее, Михаль. Наверно, ее признание было трогательно. Он перегнулся через стол и поцеловал ее, чтобы она не почувствовала неловкости. Но его немного покорибила эта неженственная откровенность. Да он и не смог бы быть мужчиной с ней. Когда она кашляла, все в нем сжималось, соперничество убило бы возбуждение.

Ему приходили в голову странные мысли. Есть любовь – и он, и Михаль знали, что это такое, – но есть и что-то другое. Любовь, чем бы она ни была, что бы ни понималось под этим словом, – не единственная связь между людьми, и даже, наверно, не главная. Кроме существования в реальности, они существуют еще в другом мире. Тот, другой мир, вовсе не мистика. В нем существуют все мечты, картины всех фантазий, все, что когда-либо воображалось, все мысли и все вероятности, которые не осуществились. Другой мир – это и есть он сам. И в нем есть Михаль. Если она исчезнет из его «другого мира», он уже будет не он. То же и с ней. Где бы они ни находились, с кем бы ни строили свои жизни, они всегда будут связаны, он всегда будет бояться потерять Михаль.

У окна стояла керосинка. Он зажигал ее, ставил закопченную алюминиевую кастрюльку, варил курицу. Это занимало часа два. Была зима, маленькая комнатка не отапливалась и не проветривалась, вскоре чад от керосинки начинал есть глаза. Михаль кашляла.

– Знаешь что? – сказал он. – Я, наверно, буду готовить бульон дома. Тебе нельзя дышать этим чадом.

Она молча смотрела на него. Улыбнулась, тут же закашлялась, справилась с кашлем.

– Спасибо, Алекс. Как тебе удобно.

В этом была разница между ними. Конечно, она насторожилась: в самом деле его предложение вызвано заботой о ее легких, или же это только повод, чтобы не проводить у нее целые вечера. Но, насторожившись, она не утруждала себя поиском ответа, удовлетворилась тем, что этого ответа не знает. Так же и он не знал, почему она так легко согласилась. То есть, выбора у нее не было, не стала же бы она спорить и доказывать ему, что

он обязан торчать возле нее, – согласилась легко лишь в том смысле, что не огорчилась, и он не знал, в самом деле она думает о его удобствах или же рада отказаться от этих вечеров вдвоем, ей нужен не он, а бульон с курицей.

Он упрекнул себя: о чем он думает! Какое это имеет значение! Бульон с курицей для нее – жизнь, и дышать чадом керосинки ей нельзя, все остальное не имеет значения.

С тех пор он готовил дома. Доставать продукты становилось все труднее и труднее. Когда в страну привезли сто семьдесят тысяч голодающих йеменцев, стало совсем тяжело. Свои продовольственные карточки он уже давно истратил. В ноябре правительство объявило, что молоком будут обеспечиваться только дети. На бутылку молока для Михаль требовалось чуть ли не личное разрешение Бен-Гуриона. Куры, которые и с карточками-то летом стоили целую зарплату, осенью совсем исчезли. Их можно было достать только у спекулянтов, а когда в октябре началась компания против «черного рынка» и спекулянты ушли в подполье, никто не продавал кур ни за какие деньги. Все же, используя все свои знакомства, он получил адрес человека, который мог помочь.

Тот жил на южной окраине города в одном из репатриантских барачков с жестяной крышей. Летом такая крыша превращала жилище в печку, зимой – в сырой погреб. В бараке стояли два дощатых топчана, прикрытые вонючими тряпками. Один был пустой, заваленный поверх тряпок газетами на идиш, – похоже было, что ими укрывались, – на втором лежал под лоскутным одеялом исхудавший чернобородый Иегуда. Оказалось, курами торговал он.

Поэт не вытащил руки из-под одеяла. Болеет? Нет, пригрелся, холодно руки вытаскивать. Куры? Куры есть, но надо вставать, тащиться в Рамат-Ган. Сколько нужно? Тысяча миль – это двести пятьдесят грамм, полкило покупают только миллионеры. Деньги с собой?

Иегуда не смущался своим занятием, за которое с октября могли посадить в тюрьму. Не смущался вонью в комнате и нищетой. Выбрался из-под одеяла, набросил на плечи ватную стеганку, сунул ноги в резиновые боты. На крыльце, запирая замок, поворчал на отсутствующего соседа – замок один на двоих, Иегуда потерял однажды свой ключ – сосед не дал свой, пришлось, чтобы сделать копию, менять замок.

Поразительно, но так сильно изменившись – сколько ему было? пятьдесят с небольшим? ведь не старик еще! – Иегуда не утратил шаловливого взгляда, блеснувшего тем неожиданной, что поэт казался утратившим интерес о всему:

– Что оглядываешься, Гохберг? Собираешься в роман вставить?

Вот и про роман догадался!

– Я не пишу о том, чего не знаю, – ответил он.

– Вот как. Ну конечно. Ничего не выдумываешь.

– Стараюсь.

– Проза без вымысла – это не проза.

Шли по разжиженной глине, оскальзываясь в лужах, проглянуло солнце, в одно мгновение стало по-весеннему тепло. Шаг Иегуды сделался упругим и молодым, лицо порозовело.

– Деньги в самом деле с собой? Ладно, я тебе верю, прозаик.

– Новая проза именно без вымысла, Иегуда. Ты отстал.

– Тебя на свете не было, когда я это слышал. Тогда говорили, что фотография уничтожит живопись. А живопись жива. Умерла фотография. Умерла потому, что отказалась от ретуши. Аппараты дешевеют, скоро у каждого будут, снимки будут делать миллионами и миллиардами, только показывать их станет некому. Кому нужны снимки без ретуши? Это как литература без вымысла. Людям не это нужно.

– А что нужно?

– Песня.

– Как же роман может стать песней?

– Не знаю. Стихи это стихи, а роман это песня.

В Рамат-Гане Иегуда долго стучался в дверь маленького бетонного домика. Вышла старуха. Они долго ругалась. Старуха грозила вызвать полицию. Никаких кур у нее не было. Иегуда расстроился. Неожиданно для себя самого потребовал триста миль. Он, мол, не виноват, что кур нет, он свою работу сделал. Не получив денег, небрежно буркнул что-то и исчез.

И опять надолго. Михаль вышла замуж за своего квакера и уехала в Балтимору. Приходили письма, написанные ее мужем, с фотографиями – Михаль с сыном, вот они втроем, вот они на террасе своего дома, а вот и дочка. В середине семидесятых умер в Лондоне папа. После его смерти лондонская квартирка стала дорогой для мамы, надо было искать что-то поскромнее, ей вообще следовало бы вернуться в Тель-Авив, получать свою маленькую пенсию, а она жила старыми папиными обидами на Бен-Гуриона, которого уже не было на свете, на каких-то других людей, не оценивших заслуг папы, сваливших на него какие-то собственные ошибки в Войне Судного Дня. Кроме того, она увлеклась каким-то экстрасенсом, у них там был свой кружок энтузиастов, и мама уже не могла жить без этого кружка. Он не сумел убедить ее вернуться.

Возвращался через Париж. Мама попросила найти там Иегуду, отдать ему старые письма: экстрасенс потребовал избавиться от них. Почему она их не сожгла? Привыкла, что каждая бумажка ее мужчин – достояние архивов и собраний сочинений? Считала Иегуду великим поэтом?

Встретились в маленьком кафе возле завода Дрейфуса. Иегуду там считали законспирировавшимся агентом Мосада. Жил он с сухощавой француженкой, зарабатывающей на хлеб уроками бальных танцев. Носил магендовид и писал книгу о влиянии идей кабалы на физику. С физикой он был знаком по газетам, о кабале тоже знал понаслышке, но идей у него было много, а

слушателей ни одного, и он обрадовался случаю поговорить. Что такое Б-г? По кабале это – чистое желание отдавать. А на языке физики – источник энергии. Но чтобы отдавать, нужен кто-то, кто будет брать. По физике, чтобы шел ток, нужно два полюса, положительный и отрицательный. Вот Б-гу и пришлось создать мир, отрицательный полюс, то, что обладает свойством брать энергию Б-га. Но как создать мир, если Б-г бесконечен и вездесущ? Свободного места нет. Значит, Б-г должен был немного сжаться, отдать часть своего места миру, который он создает. И он, сжимаясь, посылает свет. Это и есть энергия мира. Вот и весь Эйнштейн, который всю энергию связывает со скоростью света. Вот тебе и эм цэ квадрат. Только сказано это в кабале полторы тысячи лет назад. И сказано навсегда. Квадрат, не квадрат, – ничего нового человек узнать не может.

Иегуда был спокоен и светел, и не потому, что обрел истину, – он и не искал ее никогда, и не нуждался в ней, – а потому, что был по натуре гурманом. Гурман не знает жажды и голода, духовная пища Иегуды предназначалась не для утоления жажды познания, а для удовольствия.

Была в этом несправедливость – папа, всю жизнь проживший, жертвуя собой, умер неудачником, Иегуда, живший всегда за чужой счет, был в ладу с собой. Но эта несправедливость почему-то воспринималась как справедливость: разве не все в мире так? И, соглашаясь с этой справедливостью, следовало от нее попросту отмахнуться: да Б-г с ней, со справедливостью, мне-то какое до нее дело. Сам Иегуда сказал бы о муже своей любовницы что-нибудь снисходительное и насмешливое. Какую-нибудь цитату привел: кто не умеет устраивать собственные дела, устраивает дела других. Мол, слабый человек всегда закрывается от жизни какой-нибудь красивой идеей. Он, сказал бы о себе Иегуда, всегда плевал на мнение других и не боялся быть дерьмом собачьим, каким он родился и умрет.

И тогда в память об отце надо было бы дать Иегуде в морду, чего он, конечно, не стал бы делать.

* * *

Десятка два яхт качались в двух метрах от праздной толпы, текущей по набережной Яффо мимо маленьких арабских кафе и сувенирных лавок. В толпе было много девушек с загорелыми руками и ногами. Их возбуждал запах кофе и жаренного на углях мяса, блеск дешевых украшений в сумраке лавочек, а на противоположной стороне узкой набережной – блеск начищенного металла, черного и красного дерева, затемненных стекол рубок и кают, – воплощение близкой и недостижимой красивой жизни. Девушки поглядывали на одного из хозяев такой жизни. Он стоял на палубе яхты, чуть нависающей над берегом. Облокотился о поручень, бородатый, как Хемингуэй, широкоплечий, в темной простенькой майке и шортах. Для довершения сходства со зна-

менитым писателем из седоватой бороды торчала черная трубка. Мальчишка-араб протянул ему с берега чашку кофе. «Хемингуэй», перегнувшись через поручень, принял ее и снова облокотился, держа желтую чашку в мощной коричневой руке.

Писатель за столиком кафе лет пятнадцать назад тоже подражал Хемингуэю – не бородой и трубкой, а нарочитой простотой и мужественностью фразы. Он, естественно, этого не замечал и казался себе оригинальным и ни на кого не похожим. Книги его о кибуце были замечены. Их перевели на несколько языков, хвалили газеты. Денег книги не дали, это не беспокоило – был молод, мог стучать на машинке ночи напролет, зарабатывал журналистикой. Продолжал писать прозу, она делалась все хуже, потеряла свежесть и ничего не приобрела. То, что отличало его в молодости, психологическая наблюдательность и искренность, перестали пользоваться спросом. Читатели покупали воспоминания политиков и героев войны, документальные исследования, издать роман стало невозможно. А он увяз в своем писательском поиске. Казалось, еще немного и что-то он нащупает, ухватит. Освободившись от психологизма, он чувствовал, как вызревало в каждодневной работе новое знание...

Оно должно было соединить его с людьми, но пока работа только отдаляла от них. Он все больше замыкался в ней, жил нездорово, словно бы махнув на все рукой. Ушел от жены с ребенком к женщине, которую не любил. Денег у них не было, даже отключили телефон за неуплату, и приходилось по два раза на дню бегать в редакцию.

Старые друзья пытались помочь. Издательство, существующее на деньги одного сионистского фонда, предложило написать книгу об отце. Это показалось постыдным заработком. Книгу об отце написал другой человек. В другой раз ему предложили написать о Зингере, основателе «Кфар-Нехамы». Давали аванс. Работа была легкой, деньги – немалыми, он взял аванс и тут же его потратил. Посидел в архивах – кто-то уже поработал, в начале пятидесятых написал короткую биографию, сохранились письма Зингера к брату в Польшу, кем-то переведенные с польского на иврит, но не изданные, сохранились статьи Зингера, интервью, протоколы конгрессов с его выступлениями, – материала было достаточно.

Один из учеников Зингера, депутат Кнессета от левой партии, человек влиятельный и в стране известный, назначил ему встречу в кафе на набережной старого Яффо. Пришел – высокий, моложавый, сухощавый, – перебросился несколькими шутивыми английскими фразами с «Хемингуэем» на яхте, сел за столик, от кофе отказался, попросил воды со льдом. У него была идея создать «Фонд Зингера» и ему нужна была статья, начинающая компанию в поддержку фонда. Предполагалось, что фонд будет помогать ветеранам кибуцного движения, на старости лет обреченным на нищенскую жизнь. Статья должна была показать, в каком ужасном положении эти ветераны оказались.

Описать какие-нибудь вопиющие случаи. Одна из сподвижниц Зингера, например, человек редкого бескорыстия, в молодости организовала первые в стране больничные кассы для рабочих, а сама умерла в нищете и без медицинской помощи. Больничные кассы с тех пор переродились, администраторы и специалисты получают баснословные деньги, а денег на лекарства пенсионерам отпускается недостаточно.

Ученик Зингера привык выступать на совещаниях и перед публикой, потому он говорил долго, забывая, с какой целью начал разговор. Между тем, как в музыкальном произведении, в речи начала возникать вторая тема, сначала почти незаметная, потом все более явственная и, наконец, основная: спор с теми, кто будет против создания фонда. Противники были из правой партии. Они сделают упор на борьбе с терроризмом. Деньги, необходимые для создания «Фонда Зингера», они хотят отдать поселенцам. Потому что кибуцники голосуют за левых, а поселенцы – за правых. Деньги уже уплыли бы в поселения, если бы не взрыв арабского самоубийцы в тель-авивском автобусе. Араб взорвался очень кстати, он показал, что опасности подвергаются не только жители поселений, но и жители Тель-Авива, и следовательно, средства для охраны поселений увеличивать нелогично...

Этот человек был понятен. Приближались выборы. «Фонд Зингера» мог привлечь голоса избирателей. На голоса поселенцев социалистическая партия рассчитывать не могла, и потому их интересы в расчет не принимала. Но были и другие избиратели, за чьи голоса имело смысл бороться. И этим избирателям могла понравиться борьба за интересы неимущих кибуцников против обнаглевших хапуг из больничных касс. Но и безопасность нельзя было оставлять без внимания, она касалась всех. За безопасность выступали и правые и левые. Левая партия обещала мирный процесс, правая утверждала, что арабы понимают только язык силы и мирный процесс воспринимают как слабость евреев. Это уже прямо касалось статьи и книги о Зингере, который был левым, но в арабском вопросе занимал самую жесткую позицию. Надо было объяснить ошибочную эту позицию временем, в которое жил Зингер. Сейчас время изменилось, появился реальный шанс начать мирный процесс...

Партийный босс, один из вождей нации, вправлял мозги писаке-журналисту. Он тратил на это свое оплачиваемое налогоплательщиками время, считая, что занятие того стоит. А журналист-писака пытался понять, есть ли во всех этих словах хоть капля искренности. Конечно, какие-то специалисты с помощью мафии больничных касс зарабатывали слишком много, но их заработки не шли ни в какое сравнение с деньгами, которые платили этому партийному боссу. Будь он в самом деле озабочен нищетой ветеранов-кибуцников, он давно бы уже помог им. Для этого не требовался «Фонд Зингера». Фонд нужен был боссу для борьбы не с «правыми», а с конкурентами в собственной, «левой» партии: ответ «великого человека» падал на его «уче-

ника». Он принес и положил какую-то бумагу – копию письма Зингера ему лично. Он хотел бы, чтобы это письмо было опубликовано в книге. А журналист-писака поразился неожиданной своей догадке: «великих людей» никогда и не было, их придумали «ученики», которых тоже никогда не было: откуда возьмутся ученики, если нет учения?

Настроившись на отторжение всего, что пытался внушить ему сидящий перед ним человек, он усомнился и в заботах того о безопасности. Взрывались автобусы с детьми и женщинами? Но этот человек никогда не ездил в автобусах, не знал, как они выглядят изнутри, его лично опасность террора никак не касалась. Можно ли было доверять свою безопасность такому человеку? Какой может быть мирный процесс, если арабские политики являются заложниками собственных фанатиков и террористов? Нужен ли мир террористам, которых он лишит почвы под ногами? Может ли вообще существовать на их земле экономически самостоятельное государство? В войну было понятно, чего хотят арабы и чего хотят евреи. Но кто может понять хоть что-нибудь теперь? Если послушать политиков, арабы только о том и мечтают, чтобы погибнуть вместе с ненавистными евреями. Но ведь никогда такого не было. Из споров «правых» и «левых» невозможно составить представление о том, чего хотят арабы. Конечно, арабские политики не лучше, наверняка они хуже, потому что самая лучшая диктатура хуже самой плохой демократии, арабы темнят не меньше евреев. Но ведь нельзя же уничтожить или переселить этот неудобный народ. С другой стороны, из-за высокой рождаемости арабов их скоро станет больше, чем евреев, что же будет с израильской демократией? Может ли в среде нынешних политиков возникнуть честный человек, который назовет вещи своими именами, чтобы каждый мог понять, что надо сегодня делать? Судя по собеседнику, до этого было далеко. Оставалось единственное – не думать ни о чем.

Дома он стал читать переписку Зингера с братом. Отец великого сиониста так же, как отец тети Ханы, был фотографом, имел свой дом и студию. После его смерти брат унаследовал дело, а Зингер по какой-то неизвестной причине уехал в Палестину. Неизвестность давала свободу биографу: можно было объяснить отъезд социалистическими сионистскими убеждениями. Скорее всего, так и было. В конце концов, раз Зингер уехал, значит, убеждения у него были. Он мог прочесть книгу Теодора Герцля, например, – для многих этого было достаточно. Брат попал в тюрьму. Это выяснялось только в письмах позднего периода. Но что привело туда брата, оставалось неясным. Политические убеждения? Уголовщина? Перед тем, как попасть в тюрьму, брат успел стать богатым человеком. Подпольная политическая деятельность не могла этому способствовать. Доходы провинциального фотографа – тоже. Значит, уголовщина? Уж не порнографией ли он занимался, как брат тети Ханы? К началу первой мировой войны брат обосновался в Берлине. После войны он снимал ки-

нофильмы, стал преуспевающим кинорежиссером. В это время и возникла переписка. Это была переписка умного, культурного и богатого европейца с невежественным фанатиком из нищей Палестины. Зингер в своих письмах делился с братом своими разочарованиями: все вокруг него интригуют, его не выбрали в комитет, ему предложили поехать в Кфар-Нехаму, где малярия и он не выживет, долбить землю могут невежественные люди, они это делают лучше, чем он, ради этого не стоило ехать... Наконец, Зингера куда-то выбрали, он перебрался из Кфар-Нехамы в Тель-Авив, и снова начались жалобы: каждый слушает только себя, меняют убеждения, одни раболепствуют перед англичанами, другие авантюристы готовы погубить всех евреев Палестины ради своих амбиций, его статьи не печатают, он остался без средств к существованию, у него малярия, нет денег, чтобы лечиться, лондонские вожди сионизма заняты политическими играми, пишут письма английским лордам в защиту сионизма, они оторвались от реальности, их должны заменить свежие люди, знающие подлинные нужды трудящихся, но лондонцам нет дела до тех, кто ценой своего здоровья осваивает гиблые земли, кто истощен физически и потерял веру...

Брат посылал Зингеру деньги и советовал употребить их в дело, а не заниматься глупостями. «Я не очень понял, на что ты можешь рассчитывать в Лондоне, если у тебя нет английского языка. Чем бы ты помог сионизму в Лондоне или Базеле, не зная языков? Жаботинский пишет замечательные статьи, у него темперамент и блестящий талант, он и как русский журналист состоялся, и он широко образован и знает семь европейских языков, но его не терпит компания Вейцмана (не сам химик, а его окружение), он там чужой, потому что у него другой темперамент и уровень, он не очень понятен людям с местечковым мышлением. У тебя есть местечковое мышление, но нет его талантов. Неужели ты хочешь стать партийным функционером только потому, что нет способностей ни к чему другому? Возьмись за ум, купи фотоателье, я помогу, у меня есть кое-какие связи. Самуэль Гордон в Яффо был моим компаньоном в Варшаве. Меня посадили, а ему удалось бежать. Он мне кое-чем обязан...»

В следующем письме из Берлина кое-что прояснилось: «Ты зря на меня обиделся. Мои слова продиктованы только желанием помочь тебе, а это невозможно, если ты не займешься настоящим делом. Ты попрекаешь меня гадкими открытками. Только не надо по этому поводу тревожить тень покойной мамы и писать о страданиях еврейского народа. Да, я залезал проституткам камерой между ног. Но я уже отбыл наказание за это. И не будь этого, я не снимал бы сегодня «Макбета» с великим Брандауэром в главной роли, и не смог бы содержать тебя в течение пяти лет. Разве ты, получая мои деньги, не знал, каким образом они заработаны? Отлично знал. Теперь, слава Б-гу, я могу заниматься тем, для чего меня создал господь Б-г, снимать трагедии Шекспира. Я ни в чем не раскаиваюсь. Пойми, я не по-

прекаю тебя деньгами, я твой брат, но мне обидно. Неужели ты так ничего и не понял в этой жизни? Ты мне не брат теперь? А если обстоятельства изменятся, и не тебе от меня, а мне от тебя понадобится помощь, ты мне не поможешь?»

Переписка прекратилась в 32-м году. Ответа Зингера брату в ней не оказалось. Скорее всего, его и не было. Что стало с братом? Надо было бы почитать историю кино Германии, но для этого пришлось бы поехать в Европу. Перечитывать письма Зингера стало совершенно невозможно – дешевое доктринерство, невежество, невероятное, болезненное самомнение, недоброжелательность ко всем...

Он возненавидел Зингера. Писать книгу он уже не мог. Но и вернуть аванс не мог. Женщине, с которой вместе сражались с безденежьем, ничего не говорил. Несколько дней, забросив все, шлялся по кафе, рассказывал друзьям о своей незадаче. Их это смешило: а ты что думал? Да, старик, Зингер не Жаботинский и не Бен-Гурион, но он добился всего, чего хотел, а ты с таким слюнтяйством никогда ничего не добьешься. Не вздумай, идиот, возвращать аванс. Напиши, как хочешь, хоть с ненавистью, хоть со слезами, хоть с соплями, а потом дашь мне поправить стиль. Спорю на коньяк, все редактирование там будет – выбросить сотню-другую слов. Работай. У тебя телефон отключен, никто дозвониться не может, так вообще про тебя забудут.

Через несколько дней его осенило: он поедет в Кфар-Нехаму! Вдохнет тамошнего воздуха, повидает дядьку и тетку, которые всю жизнь молились на Зингера...

Утром он завел «Фиат-124», который получил в редакции вместе со страховкой и талонами на бензин. Миновал прибрежные холмы, где был когда-то рыбацкий кибуц Рихарда и где однажды ночью он тащил чемодан какой-то немки... С прибрежной автострасы теперь не съедешь, дорожные развязки на двух уровнях диктуют направление, а так подъехал бы к морю, где сидела на мели «Глория»... За Зихрон-Яковом свернул направо, на Йокнеам. Там уже напрямик в Кфар-Нехаму. Всего и езды-то теперь – два часа от центра Тель-Авива. Еще не было десяти утра, когда впереди показалась огромная, как зеленая гора, эвкалиптовая роща.

Давно он не был в кибуце. Да разве это кибуц теперь? Осталось только название, да и оно – в рекламе гостиницы «Кфар-Нехама» для туристов.

Столовая, построенная на вершине холма, по-прежнему возвышалась среди маленьких бетонных домиков, как дворец феодала среди крестьянских лачуг. Она сверкала тремя стеклянными стенами, задернутыми изнутри занавесками небесного цвета. Перед парадным входом зеленел, сбегая вниз по склону, орошаемый газон, на котором уже давно не валялись дети. Финиковые пальмы, посаженные в тридцатых, вершинами своих метелок поднялись над плоской крышей. Столовая отлично сохранилась за тридцать лет, но была закрыта на замок и отпиралась лишь для редких собраний и праздников. Теперь оставшиеся в

Кфар-Нехаме кибуцники готовили сами каждый у себя дома, пристроили к гостиним что-то вроде кухонек с газовыми плитами, заказывали баллоны с газом.

Чтобы избежать лишних разговоров с Наумом и Ханой, которые, конечно же, захотели бы оставить его в своем домике, где и двоим-то было тесно, он решил сначала отнести вещи в гостиницу. Ее построили вплотную к бассейну, туристам было удобно спускаться к воде прямо из номеров и возвращаться в них, не переодевая мокрых купальников. Снаружи она была похожа на двухэтажный дачный домик. Архитектор намеренно использовал для этого дерево. В просторном и высоком холле деревянные квадратные колонны высоко над головой поддерживали мощные стропила, важную часть интерьера, – скорее всего, бетонная или стальная конструкция была лишь обшита декоративными дубовыми досками, имитирующими толстые брусья. У стойки администратора лежали в ячейках проспекты, туристические карты и почтовые открытки. В одних ячейках лежали открытки с видами христианских храмов, в других – с видами могил великих талмудистов и древних синагог. Кфар-Нехама, удаленная и от моря и от Иерусалима, привлекала туристов теми достопримечательностями, которые были рядом с ней.

Туристов, все-таки, было мало. К гостю с чемоданом сразу заспешили и администратор в белой рубашке с фирменной табличкой на груди, и девушка в джинсах, с такой же табличкой, готовая в случае необходимости быть переводчицей, и долговзый малый с крашеными желтыми и розовыми вихрами, с глупым чернобровым лицом, в белой маечке и широченных синих шортах. Он приготовился тащить чемодан. Из бассейна слышались счастливые детские вопли. Они усилились, когда открылась задняя дверь, выходящая к воде, и прошла в свой номер старая супружеская пара, с которой девушка обменялась приветствиями по-французски.

В номере он заглянул в холодильник, обнаружил в нем два сорта пива и бутылку белого вина из «Биньямины», выпил бутылочку холодного «Туборга», и, оставив чемодан, отправился к дядьке и тетке.

Каким же маленьким был их аккуратный, с черепичной крышей белый домик! Весь дом – спальня и гостиная – тридцать три метра. Летом в таком домике – тридцать пять, тридцать шесть градусов. Он помнил этот невыносимый жар. И как-то не замечали тогда, жили себе, после крытых железом бараков довольны были и таким комфортом. Теперь работал кондиционер, который дядя поставил, пока тетя была в больнице, и тетя лежала в гостиной на диване перед телевизором, чистенькая, красивая и приветливая, как прежде.

– Ты меня узнаешь, тетя Хана?

– Конечно, я тебя узнаю, – сказала она. – Ты сын Бети. Почему ты спрашиваешь? Думаешь, я слабоумная?

Он сделал вид, будто не услышал ее вопроса.

– Как ты себя чувствуешь?

– Наум со мной возится, как с ребенком. А так ничего. Только лекарство новое как-то действует...

– Как?

– Голова как не своя. В общем, ничего. Ты не смотришь этот сериал? Наум сейчас придет.

– Где он?

– Сказал, что в магазин. А сам, наверно, в курятнике что-нибудь чинит. Ему скучно все время со мной. Хорошо, что ты приехал, Эммануэль.

Она забыла, как его зовут, и назвала именем брата, умершего до его рождения. Ей очень хотелось досмотреть южноамериканский телесериал. Чтобы не мешать, сел в кресло и сделал вид, что тоже смотрит. Пришел Наум, принес несколько яиц в пластиковом мешочке.

– Хорошо, – похвалила Хана, мельком взглянув на мешочек и снова уставившись в экран. – Он с дороги голодный, наверно.

В кухоньке была вторая дверь наружу, и они с Наумом вышли, чтобы поговорить без Ханы.

– Как вы?

– Нормально.

– Она назвала меня Эммануэлем.

– Тебе-то не все равно, – недовольно сказал Наум. – Она знает, что ты – это ты. Птичник хотят закрыть. Пусть найдут еще один такой. У меня поилки из нержавеющей. Сам вытачивал на токарном станке. Хочешь посмотреть?

– Наум, я приехал работать. Я в гостинице остановился. Очень срочная работа. Книга о Зингере. Может, у тебя что-нибудь про него сохранилось? Фотографии, вырезки из газет.

– Я ничего не выбрасывал. После меня все выбросят.

– Наум, ты ворчливый стал. После меня тоже все выбросят. Ты мне дай, что у тебя есть.

Кончился телесериал, и Хана позвала:

– Эммануэль, где ты?

Она поднялась с дивана и пыталась вытащить с этажерки фотоальбомы. Они оказались тяжелы для нее, он помог. Пришлось смотреть новые американские снимки и читать письма Стива. Похоже, Стив ему и им писал под копирку. Фотографии тоже были знакомы. Хана не давала пропустить ни одной, он измучился. На счастье Наум вспомнил, что магазин скоро закроется на сиесту и надо спешить.

Хана захотела пойти с ними, и Наум взял ее под руку. Они пошли из-за гостя, чтобы принять его получше, и стало неловко оттого, что не привез им гостинцев и что в карманах пусто.

Хана щебетала, возбужденная походом в магазин. Беспокоилась, что опоздают, и обрадовалась: бронированная, с мощными щеколдами дверь была открыта настежь. Ступеньки вели вниз. Магазин, построенный после шестидневной войны, помещался в запасном бомбоубежище и снаружи не изменил-

ся. Внутри все выглядело наряднее из-за ярких современных упаковок.

– Все теперь кошерное, – сказал Наум. – Из-за туристов.

Кибуцу не приходилось прежде заботиться о кошерности. Да и не мог он себе этого позволить, слишком много товаров поступали прямиком с кибуцных ферм и не проходили проверки раввинов. Теперь даже на пакетах молока стоял штамп раввината. Туристы, как никак, приезжали в основном, религиозные.

Они как раз и вошли в магазин, тоже постаравшись успеть до сиесты. Сначала влетели мальчики в кипах и девочки с закрытых платицах, рассыпались вдоль полок, шумные и торопливые, младшей было года три. Хватали коробки корнфлекса, пакеты молока и шоко. Следом вошли толстый бородатый отец и изможденная мать, он впереди, она сзади. Продавец, молчаливый и сумрачный, перекидывал пакеты на полках и не заспешил к посетителям. Отец посмотрел запечатанные бруски пирогов. Его интересовал штамп кошерности. Спросил цену, кивнул понимающе и не купил. Потом спросил еще какую-то цену и тоже не купил. Воспитанные дети не хватали лишнее, пронесли мимо конфет, не останавливаясь, – знали, что им можно, а чего нельзя. Мать уже сама, без всяких просьб, положила на прилавок три пакетика с леденцами в шоколаде.

Хана медленно и глубокомысленно обследовала полки. Это было ее развлечением. Взяла пакетик леденцов.

– Нужно купить, Наум. Как же без сладкого?

Туристы вышли. Продавец собрался закрывать, нетерпеливо поглядывал. Хана не замечала этого, продолжала свою экскурсию. Наум положил в корзинку пакет картошки, запечатанный кусок варенной колбасы, выбрал из кучи пучок укропа, несколько помидоров и огурцов. Нерешительно спросил племянника:

– Вино взять?

Вспомнив про гостиничный холодильник, он соврал:

– Я привез бутылку «Биньямина». Она в гостинице. Я принесу.

Хана еще что-то выбрала. Продавец, скрывая досаду, спросил:

– Все?

– Да, все, – послушно сказала Хана.

Продавец подсчитал сумму, записал в тетрадку и дал Науму расписаться. Хана тем временем заметила красивую упаковку с полудюжиной пива:

– Наум, надо взять пиво.

Видимо, это показалось Науму чрезмерным. Недовольный, он попробовал отговорить жену:

– Оно к обеду не успеет охладиться. И... Алекс вино привез.

– Ну и что? Ты любишь пиво. А тут, – она прочла на упаковке, – подарок прилагается. Стакан.

Наум сердился все больше и больше:

– Зачем тебе стакан?

– Но ведь он бесплатный.

- За эти деньги мы можем купить дюжину пива. Вон стоят банки.
- Зачем тебе дюжина?
- Купим три.
- Но это плохое, а со стаканом – «Гольдстар».
- Чем оно плохое?

– Я хочу «Гольдстар», – решительно сказала Хана. – С этим стаканом. Он бесплатный.

Наверно, не впервые были у них такие споры, иначе Наум не рассердился бы так. С виду же только помрачнел и устало сказал:

- Еще упаковку «Гольдстара».

Поход в магазин утомил Хану, и вернувшись, она сразу легла. Наум вытащил из-за фотоальбомов старую картонную папку: посмотришь в гостинице, тут есть и про Зингера. А сам принялся чистить картошку. Помогать себе не дал – нет места двоим на кухне, иди пока за своей бутылкой, душ прими...

У входа в гостиницу все та же ватага детей забиралась в свой минибус с номером поселенцев с территорий. Кузов успел раскалиться на солнце так, что к нему нельзя было прикоснуться. В такой машине, пока она не охладится при быстрой езде, долго не высидишь. Отец семейства, уже без пиджака, завел двигатель и, ожидая жену, выскочил наружу.

- У нас такой жары нет, – осуждающе сказал он.

Непонятно было, кого осуждал.

Как бы оправдываясь перед этим поселенцем, заметил:

– Здесь нельзя оставлять машину на солнце. Она без кондиционера?

- Да у нас не нужно! Всегда ветерок! Горы!

– Откуда вы?

– Из Псагота. Решили показать детям север. Бедные тут кибуцы. Только за счет туристов и существуют. Ничего нет.

– Н-нда, в общем...

– Дохозяйничались. Нужно было их создавать?

– В общем, конечно... некоторые, правда, говорят, именно они создали Израиль...

Поселенец, заподозрив, что говорит с «левым» (в своем поселении он не встречал «левых»), говорить с которыми бесполезно, потерял интерес к собеседнику и пошел к гостиничным дверям. Все-таки, не удержался:

- Израиль создал Б-г.

Разминувшись в холле с женой поселенца – она торопливо вела за руку младшую, и муж, не стесняясь посторонних, стал громко ее распекать, – поднялся в свой номер на антресолях, разделся и сразу полез под душ, мысленно повторяя, как привязавшуюся мелодию, последние слова поселенца. Не вытираясь, постоял у закрытой балконной двери, обсыхая в сухом кондиционированном воздухе. Быстро оделся и, прихватив бутылку, вернулся к дядьке. Тот уже нажарил картошку, взбил яйца для яичницы с колбасой и отставил в сторону – ее подавать на стол

с огня. Накрытый стол Наум придвинул к дивану. Хана лежала с закрытыми глазами. Открыла – оказалось, что не спала. Смотрела перед собой, не мигая. Тихо позвала:

– Наум...

Он нагнулся к ней.

Еще тише, чтобы не услышал племянник, – он все равно слышал, – спросила:

– Там стоит кто-нибудь?

– Никого нет.

– Ты же не посмотрел.

– Никого там нет, Хана.

– Ну хорошо, хорошо, чего ты сердишься?

– Я не сержусь.

– Это перголид. Я же не виновата.

На кухне Наум поставил на огонь сковороду для яичницы. Встретившись с недоуменным взглядом племянника, показал глазами на дверь. Вышли, Наум спросил:

– Чего ты?

– У нее галлюцинации?

– Это лекарство так действует. Перголид. Два часа назад приняла. Хоть часы сверяй – через два часа начинается.

– Так надо отменить!

– Откуда ты знаешь, что надо! – вспылил Наум. – Это врач должен решить. Подумаешь, галлюцинации. У нее всю жизнь галлюцинации.

– Это правда? Наум, это правда?

– А ты знаешь, что «правда»? Я не знаю. Может, там в самом деле кто-нибудь стоит. Ты не видишь, я не вижу, а она видит.

– Наум!!

– Это все ерунда, – убежденно сказал Наум.

Во время обеда, раздобрев от стакана вина, Наум сказал Хане:

– Он пишет книгу о Зингере. Помнишь Зингера?

– Почему ты спрашиваешь, Наум? Конечно, я помню, – отвечая мужу, Хана все время поглядывала на дверь. Кого-то она там видела.

– Зингер любил Кфар-Нехаму, – сказал Наум. – Это теперь политики за голосами охотятся, ездят из города в город, выступают. А Зингеру голоса были не нужны. Он просто любил с простыми людьми разговаривать.

Хана недоуменно переспросила:

– За голосами охотятся? Как это?

Наверно, она понимала слова только буквально. Наум терпеливо пояснил:

– Голоса избирателей. Выборы в Кнессет.

– А-а. В этом смысле.

– А ты что думала?

– Я просто не подумала. Я все понимаю. Зингер петь любил.

– Да.

– Из-за него лиса всех кур передушила.

– Что ты говоришь? – Наум разлил остатки вина в два стакана (Хана пила воду). – Я что-то не помню.

– А я никому не говорила. Он проволоку натягивал. А потом ушел, оставил ящик, на который становился. А лиса с ящика прыгнула в курятник. Утром столько переживаний было...

– Тетя Хана, и что Зингер?

– А он как услышал, что случилось, быстренько уехал. Все потом на Наума думали, что он ящик оставил.

Наум рассмеялся:

– Я не помню! Ну, память у тебя! Алекс, ты видел такую память? Давай за тетку твою. Она все помнит! Феномен! Пиво?

– Пусть охлаждается, дядя Наум. Завтра выпьем. Чего ж Зингер уехал? Боялся?

Хана посмотрела на него, как на ребенка.

– Чего ему было бояться? Неудобно стало перед нами. Хотел помочь... Этих кур и петухов из Тель-Авива везли. Племенные.

– А я ничего не помню! – восторженно повторил Наум.

Его радовала память жены. Он взбодрился. Провожая племянника до гостиницы – было три часа дня, самая жара, – он все повторял про удивительную память Ханы, считая, что племянник чего-то не понимает и недооценивает.

– Феномен! – повторил он. – И Михаль феномен – в темноте видит. В чем-то она в мать. Такая странная порода.

Договорившись, что вечером увидятся, простились.

Вернувшись в дом, Наум выключил кондиционер и открыл окна. К жаре они с Ханой привыкли, кондиционер включили только ради племянника. Через окна в комнату потек эвкалиптовый дух.

– Где ты ходишь? – сказала Хана. – Я уже хотела тебя искать. Ты устал. Столько со мной возишься, так еще и Эммануэль.

Все она понимает, отметил Наум. И с пивом она была права – не такой уж большой расход, надо же принять племянника по-человечески. Сам не подумал, хорошо, она подумала. Она понимает именно то, что человек должен понимать, а всякие глупости, которыми забиты головы умников, для нее не имеют значения. Та дамочка-психолог, которую привел к Хане в больнице доктор Альтшуллер, слишком много о себе воображала. Она влетела в палату, уселась перед Ханой, спешила, голос у нее был, как у следователя в телесериалах: имя, фамилия, год рождения, как зовут мужа, не надо подсказывать, она должна сама, я спрашиваю тебя, Хана, как зовут твоего мужа. Что значит, кто зовет? Ты, разумеется, зовешь. «Зовут» – это значит, все, в том числе и ты, разве не так? Ты со мной не согласна? Почему ты извиняешься, это нормально, ты просто поняла буквально. Сколько дней в этом месяце?

Хана сидела на кровати. В шапочке, как религиозная. Он хотел купить парик, она отказалась, зачем тратить деньги, волосы через месяц отрастут. Разве она была слабоумной? Но тут она

оплошала. Глаза забегали. Сколько дней в месяце... Двенадцать. Не торопись, Хана, подумай еще. Двенадцать. Это месяцев в году двенадцать, а дней в месяце... ну... Нет, Хана, не двенадцать, а тридцать. Не нужно извиняться, ты ошиблась, это бывает. Ты ведь согласна, что тридцать? Или тридцать один? Я не поняла, с чем ты согласилась, так, все-таки, тридцать или тридцать один?..

Дамочка еще с полчаса мучила Хану, потом убежала.

– Что ж ты мне не подсказал, – упрекнула Хана.

Он был расстроен. Заново учить ее календарю? Он начал, она отмахнулась, – глупости это, Наум, я не слабоумная, ты только не волнуйся, какая разница, сколько дней в месяце, что это изменит?

Ему надо было привыкать к этому. С одной стороны, немного тревожило, а с другой... С другой стороны, она права: какая разница? В сущности, они с ней никогда не следили за календарем, это им не требовалось, и, в общем, прожили жизнь не хуже других. Про ту дамочку Хана сказала: она злая. Тут она никогда не ошибалась. Разве не это главное? Бетя умная, а связывалась всегда с подонками. Гриша не в счет, остальные все были подонками. А все эти гороскопы, экстрасенсы? Когда Бетя начинала про все это, Хана отмахивалась: не ее ума дело. Гальперин сказал: она умнее всех нас.

Только бы она была здорова. Альтшуллер ничего не говорил определенно: посмотрим, будем надеяться... Он хотел подбодрить ее: скоро поедем к Михаль, увидим Габриэля и Джудит, она сказала, да, Наум, следующим летом, и он понял, что не будет этого следующего лета, никогда они не увидят внуков, она это знает.

Она всегда знает будущее. Не дала Михаль выйти замуж за Рихарда, что-то чувствовала, что-то знала. Как будто у нее всю жизнь был какой-то советчик. Он, Наум, спросил: «Кого ты видишь около двери? Какой он из себя? Ты можешь это сказать? Молодой, старый?» – «Зачем тебе это, ты же считаешь, что у меня галлюцинации». – «А ты считаешь, что это?» – «Галлюцинации от перголида. Ты не волнуйся, это пройдет». – «Но если ты это понимаешь, чего ж ты боишься?» – «Смешной ты, Наум. Это от меня не зависит. Ты не волнуйся. Это скоро пройдет». – «Что пройдет?» – «Он не будет приходить ко мне». – «Почему не будет?» – «А зачем?»

Она не хочет говорить.

Думать об этом было страшно. Он привык жить для Ханы. Если ее не станет, ему незачем будет жить. Он пытался представить ее страшную болезнь. Альтшуллер объяснил понятно. Среди миллиардов клеток рождается одна, раковая. Но она сильнее миллиардов. Человек – такая же вселенная, как та, в которой он живет. Все миллиарды клеток делают свое дело, вместе трудятся для поддержания общей жизни, умирают и рождаются, помогают друг другу. И вот откуда-то появляется рако-

вая. Она сама по себе, чужая для всех, и в то же время так похожа на других, что иммунная система принимает ее за свою и не отторгает. В этом все дело. Клетка размножается, не встречая сопротивления. Из одной – две, из двух – четыре, из четырех – восемь. Сила ее в том, что ей не надо самоограничиваться, чтобы поддерживать других. Она чужая. Одна больная губит все здоровые. Непостижимо, но страшный враг приходит не со стороны, как микроб, он рождается в самом организме. Для нас это смерть, а с точки зрения опухоли ее развитие – это прогресс. Может быть, и мы все, миллиарды, такая же опухоль на теле того, что мы называем миром...

Проснулся, взглянул на часы – была полночь. На столике лежала папка, которую дал Наум. Сколько же он проспал?.. Наум и Хана ждали... Он спустился в пустой холл, вышел наружу и вдохнул воздух, настоянный на эвкалиптовом листе. Кибуц весь был залит электрическим светом. На вышках горели прожектора, освещая ряды колючей проволоки. Стало прохладно, на траве блестела роса. Ночь приблизила кибуцное прошлое, оно было где-то рядом. Казалось, ступит шаг – и окажется в нем. Он правильно сделал, приехав сюда. Он напишет о Зингере. Что-то Хана с Наумом рассказали приятное... Зингер кур проворонил и сбежал, как мальчик. Величественный, как Карл Маркс, бородатый... Для него было безразлично, что думают о нем кибуцники. Он ощущал себя одним из них. Писал воинственные статьи, которые кибуцники вырезали из газет, а сам мечтал не хуже других вбить гвоздь, натянуть проволоку, что-то сделать своими руками, – то, что ему не давалось никогда. И снова не удалось, сбежал от стыда.

Вот оно – стыд. Перед пахарями, доярками, птичницами. То, чего не знал Иегуда и не знают молодые. Сегодня этот стыд – такой же предрассудок, как во времена Зингера казались предрассудками традиции отцов. Не так важно, почему Зингер сбежал из дому. Был он идеалистом, вычитавшим идею из книги, жуликом или местечковым дурачком, возомнившим себя великим человеком, – это уже не важно. Подражал отцу или, наоборот, противопоставил себя отцу – это тоже неважно. Все мы начинаем жизнь с подражания. В нашем распоряжении выбор лишь между воспроизводством отца и противопоставлением. Но противопоставление – это воспроизводство симметрии. Заменять левое правым, а правое левым, низкое высоким, а высокое низким – значит, воспроизводить симметрию. Это может и зеркало. В любом случае ты производишь отца.

В сущности, Зингер был тем, что называют дурнем. Плохой крестьянин, плохой рабочий, плохой делец... В первую мировую войну он завербовался в Еврейский батальон – оказался плохим солдатом. Может быть, особенность его была в том, что ему никогда не удавалось стать даже посредственностью, он всегда оказывался ниже минимальных требований, там, где

дурни. Но, в отличие от других неудачников... или, наоборот, так же, как все они? – был упорен в своей дурости.

Наверно, таких Зингеров было много всегда и всюду. Они беззаветно служили всем идеологиям, кумирам, партиям. Благодаря простоте устройства, как механика Наума на птичнике, никогда не ломались, последовательно выдерживали программу. Кто-то другой или что-то другое определяли ход жизни. А в передаточном механизме обязательно оказывался один из таких бесчисленных Зингеров. Прошел бы вселенский ток иначе, иным путем, – на его пути оказался бы другой Зингер, писались бы такие же книги о другом самовлюбленном упрямце, другим именем назывались бы улицы... Как говорит Наум, это все ерунда.

Асфальтовая дорога от гостиницы привела к кибуцным воротам, в которые он въехал утром. Рядом с опущенным шлагбаумом светилось в сторожевой будке окошко. Оттуда слышалась музыка. Он узнал шлягер, увидел голову сидящего солдата и девичью голову на его плече. Пока его не заметили, повернул назад.

В гостинице походил по холлу – ни души. Дверь ресторанчика заперта. В номере забрался в кровать с папкой Наума. Все ветхое, ломкое или расползающееся в руках... На вырезках со статьями Зингера рукой Наума проставлены даты. Читать это невозможно... не станет он сейчас это читать. Старый немецкий журнал без обложки, почти неразличимый текст на немецком. Что-то заинтересовало...

«Иммануил Кант и следом за ним Артур Шопенгауэр знали о времени больше, чем современный физик, потому что время – это психологическая установка, а они не зависят от формул. Время не может двигаться. Движемся мы. То, что мы называем временем, – это структура...»

Листок по-немецки, написанный от руки:

«...одна единственная живая клетка, размножаясь делением, заполнила бы всю вселенную, если бы не встречала сопротивления среды...»

Он вспомнил ночь, беженку с трехлетним ребенком на руках, разбухший чемодан... он вернулся, нашел под камнями чемодан и притащил в кибуц эти бумаги. Они уже сорок лет лежат у Наума. Выбросить их? Не поднимается рука. Может быть, это что-то важное... Впрочем, не может такого быть. Если это важно, это же самое напишет или уже написал другой – немец, англичанин, русский, американец... А вдруг важно тут то, что это прочел именно он и именно сегодня, заключив договор на книгу о Зингере и приехав для этого к дяде Науму? Впрочем, само слово «важно» – глупость. Нет важного и неважного. Как пишет этот немец, есть структура.

Ты лишь звено в цепи. Ты говоришь только свое, бьешься над словом, чтобы выразить себя, а потом обнаруживается, что твоя работа – подражание Хемингуэю или кому-нибудь еще. Этого не надо бояться, человек – отражение. В следующей тво-

твоей книге будет меньше подражания и больше того, что им не является. Вот тебе уже стало стыдно писать психологическую прозу, это хорошо. Она была открытием у великих, но теперь стала слишком легко делаться, а легкую работу должна делать женщина, мужчина должен делать трудную, так тебя учили в кибуце. Ты работаешь, не зная, что возникнет в результате. Тебе еще мучиться и мучиться, и если что-то получится, ты, может быть, этого и не поймешь.

Листочек бумаги в клетку. И эта запись почти пропала. Почерк не Наума, женский. Может быть, Хана писала? Это кириллица, русские стихи. Он не знает языка, но знает кириллицу, последнее слово он может прочесть: «...Эммануэль». Что-то тетка написала о брате? Неотправленное письмо? А может быть, она переписала те русские стихи, прежде чем они не исчезли окончательно на куске обоев. Чем он занят, однако... Непонятные слова: дуэль... ангел Эммануэль... Что такое ангел?..

В папке письма, статьи, резолюции, справки, песни... Люди к чему-то стремятся, и ни у кого не получается. Получается что-то другое. Зингер это называл исторической целесообразностью. Однако целесообразность предполагает цель. Чья же эта была цель? Книга еще не начата, но в ней уже появляется некто. Нет, не Б-г, это невозможно, но некто, кто ближе к Нему, чем мы. Он невероятно привлекателен. Противостоять его обаянию невозможно. Кому ж и знать это, как не тому, кто, вовсе не отличаясь храбростью, однажды испытал это обаяние в полной мере, и тогда, под Латруном, вместе с другими парнями бежал по склону вверх к монастырю Молчальников, чтобы пробить блокаду Иерусалима, думая в эту минуту лишь о том, чтобы не отстать от других. Рассказывая о себе, он теперь обречен рассказывать о чем-то, о чем лишь догадывается, но что видит тетка Хана, — это перголид, Хана, конечно, это перголид, но он так обаятелен, он похож на медбрата в отделении Альтшуллера, входит в дверь вместе с тем, кому сдает смену, ввозит тележку с лекарствами и градусниками, мы сегодня хорошо выглядим, перголид вам не положен, доктор Альтшуллер его отменил, так что мы с вами больше не увидимся, Хана, мы немного привыкли друг к другу, не правда ли, но что поделаешь, у меня будет другая работа, это мой сменщик, он полностью в курсе дела, вы не волнуйтесь, он прекрасно исполняет свои обязанности, он вам понравится, — но Хана боится сменщика, так же, как боится того, с кем прощается навсегда, она все понимает, ее не обманешь, он всегда делал доброжелательный вид, а на самом деле никогда не интересовался людскими бедами и радостями, он должен был изображать сочувствие, якобы всегда поддерживал слабых и действовал в их интересах, ведь иначе как он смог бы заставлять людей делать то, что нужно ему? Он лукаво внушал надежду, а потом предавал и сильных и слабых, поэтому Хана боялась, а он, стоя в дверях, пытался ее успокоить: как мы сегодня чувствуем себя, Хана Рогов, на что жалуемся?..

Израэль Тинкас
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ВОВЕК ЕМУ НЕ ВЫРАЗИТЬ ВСЕГО

Вовек ему не выразить всего, что на душе,
и в конце концов, когда он выдохся уже
и ящик подаёт с песком, размолотым и чутким,
начальству своему в стеклянной будке,
и стоит перед ним, дрожа,
расспросов новых страшась,
и произносит: «Я,
ничего не тая, лишь перемалывал камни в песок.
Поглядите, прошу вас, больше нет ничего,
никак иначе не мог,
и мне бы успеть и вернуться ещё»,
тогда принимают за него
и проверяют его, и поднимают
в железном лифте его, и опять
опускают его. А также взвешивают его.
Затем позволяют пройти. Задержав на минутку,
возвращают ящик с песком, размолотым и чутким,
хлопают по плечу и спрашивают его:
«Ну а теперь-то, теперь на душе у тебя каково?»

1957

ПЛАЧ ПО УМЕРШИМ БРАТЬЯМ

И вдруг опечалился я
по ослабшим, и плачется горько по братьям
по старшим: Шимон, Реувен
и Леви, они в рыхлую землю ушли,
во мрак подземного дома,
где волосы их продолжают безумно
расти, а также — настырные ногти
с целью, неведомой мне.

На всех на нас теперь я гляжу, а брат мой скрипку берёт,
тело его малó — это, скорее, душа, и вот
в зеркале глаз широко распахнут, будто вопрос задаёт
в изумленьи, а мы — ещё дети тогда, но выросли мёд
собирать в тяжёлые лёта, и каждый год
добавляется птичий пух, что на малом теле растёт.

1961

ПЕСНЯ БИНЬЯМИНА

Яков, я сын твой
меньшой, ел
египетский хлеб
и у тебя
за столом веселился.
Йосэф, который во мне,
всё видит и плачет
по Биньямину,

который во мне,
вдвоём к тебе я
приду.
Чувствую волны
плесенной тьмы,
что от рук твоих
горьких исходят.
Прими же мой дар:
это я,
младший из сыновей,
хочу предстать пред тобою.

1962

* * *

По комнатам тебя ищу среди бумаг, нагроможденья книг,
везде, где ты обычно обитала, прежде.
Тебя не вспоминают ни в дебатах литературных, ни в газетах,
никто об имени твоём не помнит.
И скоро не поверят, что была.
К тому же, непонятны в самом деле
те странные идеи, что тогда
сопровождали нас, и комнатная беготня.

Но если это не было втиранием очков, то в чём же
всё-таки доискивались смысла, почему так вышло,
что совпали вдруг цвета, а с ними и страданье,
обрамившее всё заранее и вид придавшее всему.

В конце концов запомнились слова: движение
или волна, мелодия, что не видна,
нерасшифрованная комбинация тонов.

1979

ИЦХАК И АМАЛИЯ

Это болело очень.
Шесть тысяч парней полегли тогда

на войне.
В полях от Ашдода до Мádжал

полыхали алые маки
и сухие кусты.

Там и погиб Ицхак,
мой старший брат,

девятнадцать лет ему было,
тела его не нашли.

Имя высечено в Кфар-Вáрбург
на стене военного кладбища.

Несколько писем осталось ещё
в матерчатом переплёте,

на котором
синюю шерстью

с любовью
вышила инициалы

подруга «жизни»
Амалия.

1980

ПОЯСНЕНИЕ

Я прибыл, чтобы курить
без помех,
есть и спать, и гулять,
словом, смердеть
подальше от всех.

Вынослив я,
как верблюд в пустыне;
так и звали меня иногда:
«Корабль пустыни».
Длительный срок,
двадцать дней и двадцать
ночей,
я могу выживать

без еды, без воды,
без верблюдицы, без

еврейского языка.

Потому и нужен мне
горб. Без него никак мне нельзя.

1986

СИРЕНА

Он высказал ей всю любовь свою,
умерший сын. О том, как был убит в бою,
неспешно говорил, распутывая узелок за узелком,
и как упал и встал – и не был погребён –
и, кровь теряя, имя матери кричал,
как по дороге к ней в бреду пересекал
пустынный Негев, ал и áдов,
*...я в будущем году к тебе приду...**
Полсотни лет – опять – от Апеннин до Андов**.

Она узнала – вот его тепло, вот жар, что от него,
сутол и тощ, как был, и шрама детского пятно.
И помнила свой крик во сне в тот миг, когда погиб,
и вопль родовой – они в единый крик слились
и продолжались как переложенье звука или смысл
понятия страдания в этом мире, наделенье формой того,
что не имеет образа и тела, и воплощается в разлёте
и в постоянном удалении от самого себя –

тянулся, длился этот крик пока не обратился
в *голос тонкой тишины*
и будто стал сиреною в День памяти погибших,
голосом земли,
или тем звуком, о котором Кеплер грезил, расчисляя
кружение Земли по траектории и вокруг своей оси –
ей не забыть ночного крика, но
и крик её, и крик его теперь одно.

Неправда, ты смеялась, – бормотал
и этим только страх в неё вселял.
Но трепет и его одолевал,
он это с пищею жевал и с этим спал, вставал,
и шёл, страшась, своим путём – иного и не знал.

* Курсивом переводчик отметил цитаты из ТАНАХа.

** Мальчик Марко – герой повести де-Амициса «Сердце», разыскивая мать, проделывает путь от Аппенин до Андов.

Неправда, ты смеялась.

Хотя и не было там ничего смешного, три путника ушли,
она в шатёр вернулась,
уж солнце жгло, стемнело до поры,
осёл навьючен был и отроки готовы, и дожидались
утренней зари.

Обёрнутая по закону в саван холодную была
и криком переполнена его.

– *Бывало со мной: днём жёг меня зной, а ночью холод*, –
сказала, повторив слова, что сыном сказаны давно
по поводу совсем другому, в иные времена,
ведь в Торе нет ни «до» ни «после», и эпилог – пролог,
который эпилог, который сам пролог.

И понял он её слова и то, что говорила пыль,
глотали камни, ветрами занесённые сюда,
и на себе тащил её вину, вину свою
все эти годы, как дрова, возложенные на спину ему
в то утро перед восхождением,
и когда хватался за кусты, охвачен был виною тоже,
что крепла в нём, желая уничтожить,

и потому он подошёл теперь, с неё повязку снял,
и снял свою, и сбросил сор окостеневшей кожи,
мужское семя, амуницию, тяжёлую в бою –
ведь воином он был,
и тяжела его вина, его любовь, его война –
в Израиле такого не бывало, ибо *сын*
да материнской наготы не обнажит
и мёртвый с мёртвым не заговорит.

Но он стоял там и Кадиш по матери прочёл
со всей любовью к ней, и снова
надо всё начать – помазаться огнём,
придти к источнику рождений и смертей –
там сын открыл загадку смерти ей,
оплакивал её семь дней на поле у Мамрэй
и так восстал мертвец над смертью своей.

1989

Перевел с иврита Яков Лах

Яков Лах

«ВОВЕК ЕМУ НЕ ВЫРАЗИТЬ ВСЕТО...»

В феврале 1944 года девятилетний Исраэль Пинкас вместе с матерью и семейством дяди прибыл из Софии в Тель-Авив поездом.

– Прямым рейсом?

– Кажется, с пересадкой в Стамбуле.

– Вы же где-то в этой своей поездке пересекли линию фронта второй мировой войны!

– Да. Вероятно...

Я думаю, что такое и так случается с теми, кто обладает врождённым – наивным и неистребимым – ощущением неразрывности земного пространства и времени. В первой своей книге – «Четырнадцать стихотворений» (1956-1959) – Пинкас пишет: *В нашем старинном море / нет перемен, / только ветер изменчив.** Речь идёт о том, что в 1401 году флорентийский купец привёз рубиновое стекло, и не было чем заплатить. Но он воротился и, если угодно, можно купить теперь. В этой книге поэзия отказывается от какой бы то ни было связи с «израильской действительностью», автор почти не упоминает о себе, а рассказывает удивительные истории о странных потомках древних флорентийских родов, обитающих во дворце, где *смотритель огромных часов на башне / повесился, вырастаем лишь мы, высоки и худы, / у посеребривших стен, на которых / в золоте негодуют / изображения предков.* Продолжением этого – вторая книга И. Пинкаса «Ужин в Ферраре и другие стихотворения» (1960-1965), и главное произведение в ней – поэма о том, как Чезаре Борджиа отравляет за ужином своих венецианских гостей: *Как побелела глупая рука!.. / Утихла ваша кровь... / С недоумением отряд моих дроздов глядит на вас...* Это очень нравилось тогдашним молодым читателям, потому что звучало свежо и красиво (литературный критик И. Аменри: «Я не знаю книги стихов на иврите красивее "Ужина в Ферраре"»).

Пинкас как-то признался, что на самом деле любил не писать, а читать стихи, но тогда, по его словам, поэзия на иврите была скучной, старомодной, и пришлось писать самому. Стихи же, которые любил, читал он в подлинниках, и потому иврит его собственных стихов становился как бы частью европейского языкового пространства. Своими учителями поэт считает Кавафиса, Монтале, Кафку (в котором видит поэта), и уже в первых своих публикациях и книгах он, как Д. Авидан, Н. Зах, И. Амихай, Д. Пагис и другие молодые поэты той поры, выходит за рамки принятых стихотворных форм – это не вольный стих-верлибр (по крайней мере, тогда, в середине 50-х – начале 60-х), в нём мы находим и ритмы, и рифмы, но служат они для создания иной поэтической образности и потому используются по-новому.

* Здесь и далее – перевод мой. Я. Л.

Уже известным поэтом И. Пинкас выпускает сборник «К экватору» (1967-1974) – книгу семейного «карнавала»: поиски детей, пропавших в пейзаже, приём диковинного гостя, экзотическое путешествие в Африку (экзотику поставляют сами путешественники); книга содержит три поэмы и завершается небольшим стихотворным шаржем на тель-авивских литераторов – знакомых автора, и хотя всё здесь – цветное лето, но карнавал получился грустным, будто персонажей этих, странных и забавных, уже нет на свете или вот-вот не станет. И почти все стихи следующей его книги «В доме» (1975-1978) затрагивают темы смерти и скитаний как знака ушедших времён: *...светом лучится / опавшего ногтя частица, / волос сатира, / роговица мушиных крыл, / и кто-то из нас открыл / на этом следы чернил*; это стихи о том, что Средиземноморье – наш дом, мы причастны к древней культуре Греции и Рима, эпоха мрака, тупости и грязи, как средневековые, пройдёт и наступит наш Ренессанс.

В обширной и многочастной «Лекции о времени» (1979-1989) предстаёт иной Пинкас – не отключая вовсе софитов своего воображения, разрабатывая темы, которые волновали его всегда, он обращается к жизненным реалиям, оглядывается назад, пишет о себе, о конкретных личностях и исторических событиях. Начинает он прощанием с молодостью, когда открывалась новая поэзия, рассказывает о войнах и создании государства, о Пикассо, Сезанне и Браке, создаёт свой Парижский дневник, пишет письмо начинающему поэту... Контакты с реальным миром не проходят для Пинкаса даром – в конце книги перед нами предстаёт многоопытный интеллектуал в ореоле просвещённого скепсиса. Но через несколько лет, в газетной публикации, выходит стихотворение «Сирена».

В «Ицхаке и Амалии» («Лекция о времени», раздел «Годы сороковые, годы пятидесятые») сухими словами (вызывающими при чтении першение в горле) рассказано о погибшем в 1948 году на войне старшем брате поэта Ицхаке, место захоронения которого неизвестно. Библейский Ицхак, переживший ужас заклания, отменённого в последний миг, не был на погребении своей матери Сарры; опираясь на библейское сказание, Пинкас создаёт в «Сирене» собственный миф об убитом брате Ицхаке, который поднялся, шёл все эти годы к матери и, как живой, пришёл на её похороны. Этот миф то отдаляется от библейского, то переплетается с ним: брат Ицхак говорит с матерью словами Божьих посланцев, которые укоряли Сарру за то, что она смеялась, не веря их предсказанию чудесного рождения сына, родовой крик и крик, когда убили сына, сливаются в единый звук, в *голос тонкой тишины* – одно из имён Бога... Но в образе Ицхака, на плечи которого возложена вязанка дров для его же всежжения, сливаются оба мифа.

Поэзия на иврите не знала метафоры такой трагической силы, как два обнажённых мертвеца – мать с сыном, читающим Кадиш, извергающим мужское семя и сбрасывающим собственную кожу. Что это – невиданный протуберанец или выход в какую-то иную поэзию? Ответа не знает никто – Исраэль Пинкас всего своего ещё не дописал.

Александр Файнберг

ОХАТКА КЛЕНОВЫХ ЛИСТЬЕВ

* * *

Воротись к удачам и веселью.
Что за блажь – дружить с моей бедой?
Для тебя – гляди – в ночи весенней
Народился месяц молодой.

Так иди ж дорогою зеленой.
Слезы и печали позабудь.
Что тебе мой путь заговоренный?
Что тебе мой путь?

* * *

Все горше на сердцах у нас отметины.
Живем среди распадов и разрухи.
В день встречи нашей мы с тобой не встретились
За что ж мы повстречались в час разлуки?

* * *

Кто вправду жив, не верует в обман.
У времени отсрочек он не молит.
Ты был рекою. Стал глубоким морем.
Вот-вот вздохнет огромный океан.

Взлетит волна, от бурунов седая,
На гордый необтесанный гранит,
Соленой, горькой свежестью ударит
И в вечности твой образ растворит.

* * *

В этой стране ли, на этой земле
что остается, любимая, мне?
Дерева тень. Птицы крыло.
Вера, что где-то легко и светло.

* * *

Тот, кого ты любишь в дальней дали,
не придет сквозь годы на свиданье.

Разве что случайно пара строк
забредут в случайный городок,

и твое сегодняшнее слово
кто-то вспомнит и забудет снова.

Так на что ж я жизнь свою потратил?

* * *

Во мгле предгрозовой до горизонта
Бич из огня пространство разорвал.
И тучи, разъяренное бизонов,
Перевалили через перевал.

Когда б могла предгрозовая мгла
Предречь стадам исход грозы грядущей,
То молнии смертельная игла
Извечным страхом не пронзала души.

Неведение – вот горе и беда.
И оттого ничтожны пред горами
долины, оглашенные громами,
и в панике бегущие стада.

* * *

Красные футболисты.
Осень.

Последние матчи.
В охапку кленовых листьев
не знаю, о чем
плачу.

* * *

Я знаю, мы уйдем за край земли.
Но в той, другой, неведомой дали
дай Бог, чтоб голос твой наваял мне
сон жизни. И любовь, как сон во сне.

* * *

Зло воюет с добром. Вековая игра.
Сколько зла на земле – ровно столько добра.
Мировые балансы. Но как это странно –
здесь – уран, динамит.

А на той стороне –
говорливый ручей, солнечная поляна,
золотой лягушонок
прыгает по траве.

* * *

Всю жизнь тебе хотелось позарез
прознать, что уродился ты великим,
ты ждал, что голос ангельский с небес
тебя хоть раз, но все-таки окликнет.

Но жизнь ушла. И ты стоишь в пыли,
уже не помня, был ты или не был.
А голоса зовут из-под земли,
и ни один не окликает с неба.

* * *

В. В.

Он гонит облаков отары.
Под ним клубится млечный мост.
А за плечом его – гитара.
Колки мерцают среди звезд.

Ты ж вдоль Ваганьковской ограды
Мчишь за наградой ко дворцу.
Ну для чего тебе награда?
А впрочем, все тебе к лицу.

* * *

Живя призванием певца,
В аду земном идя по звездам,
Не вздумай вызволять глупца
Из рая, что себе он создал.

Не омрачай глаза свои.
Не будь наставником незванным.
И словом правды не гневи
Живущего самообманом.

* * *

Ты любишь? Ну конечно. Беззаветно.
Ты говоришь: «Любовь не на крови».
Оставь. Не мне про это говори.
Любовь и кровь рифмуются от века.

Один – в петлю. Другой – ножом по венам
И что ни делай, как тут ни крои,
Клыки такие скрыты у любви,
Что стынет кровь и в слове «сокровенно».

Не прав я? Ладно. Я всегда не прав.
Так что ж ты разрываешь свой рукав?
Брось лезвие. И прекрати рыдания.

Слышь? Ангел нам играет на трубе.
Я понимаю – ты одна страдаешь.
Но чья кровинка на твоей губе?

* * *

Не торопи, дорога, жизнь мою.
Дай надышаться травами и медом,
Снегами гор под знойным небосводом.
Не торопи. Я, правда, жить люблю.

Еще я об одном тебя молю –
Не затяни, дорога, мои годы,
Чтоб не стоял я у гнилого брода,
Как странник, воротившийся к нулю.

Не дай забыть мне слезы и восторги.
Не дай мне попрошайкою у стойки
Дрожащею рукой сжимать стакан,

Как тот вон одинокий и недужный,
От лишних лет согбенный старикан,
Постылый всем и никому не нужный.

ОСЕННИЕ ГИТАРЫ

Пропадаю в осени горящей,
в осени бездомной и гулящей.

Золотые песни на губах.
Винные бутылки в погребах.

Полыхают дни мои пожарами,
Женщиною, звездами, гитарами.

Напоследок ночи соловьиные.
Жизнь моя. Короткая ли? Длинная?

...Утром звездопады, листопады
дворники вздымают на лопаты.

Бродит осень дымчата, юна.
Золотоволоса и пьяна.

* * *

Пока убогие царьки
Страной забитою владели,
С Востока в небо не глядели.
Брусками правили клинки.

Пока вдавались в дележи
И грабили народ безбожно,
Уже, звеня, влетали в ножны
К боям готовые ножи.

Пока, свои прожрав края,
На Запад зло косили око,
Уже всходила ночь с Востока.
Ее не чуяли князья.

Они, дурные от вина,
Повстанцам обрубали крылья.
А там уж кони землю рыли.
Вставали ноги в стремяна.

Когда ж за ум князья взялись,
Уже с Востока пахло гарью.
Все было решено богами.
И всадники уже неслись,

И стрелы бились о колчан.
И пять веков во мглу уплыло.
Все это было, было, было!..
Я сплю тревожно по ночам.

И с каждым днем не от любви
Глаза сужаются мои.

УРОК ТАВТОЛОГИИ

Звезд полно в небесном небе.
В море дно лежит на дне.
Словно невод, плещет невод.
Ты живешь собой в себе.

Вот сидишь, на стуле сидя,
Сочиненье сочинив,
На обиды не в обиде,
Горделиво горделив.

По-барачному в бараке
Спит в окне квадрат окна.
Пахнет брагою от браги,
Винно пахнет от вина.

На стволах смола смолиста.
И словесные слова,
Что на травке травянистой
Дрововидные дрова.

ХАРОН

От похорон до похорон
У нас в шинке сидит Харон.

Вот и сегодня он пришел
И сел, откинув капюшон.

Здесь дым столбом. И мы в дыму
Подсаживаемся к нему.

Для нас – живущих дураков –
Он травит байки всех веков.

Про нищих и про королей,
Про наших генсекретарей.

У нас уже не смех, а стон.
Нам по ладоням бьет Харон.

От векового весла
Ладонь Харона тяжела.

Но мы согласны с ним во всем.
Хохочем, курим, водку пьем.

Но вдруг, услышав чей-то зов,
Он сдвинул стул, угрюм и зол.

И в гробовую доску пьян,
Он об пол грохнул свой стакан.

И прохрипел, с досады лют:
«Да что они все мрут и мрут?!»

Но – непонятно почему –
Вдруг стало весело ему.

Отвесив каждому поклон,
Харон накинул капюшон.

И, водрузив на место стул,
Он, уходя, нам подмигнул.

* * *

Не голова, а продувной горшок.
Не сердце, а беспутная девица.
В пять обещал – к двенадцати явился.
Сказал «в двенадцать» – вовсе не пришел.

Поэт загульный, как я был смешон!
Разменивался. Думал – все простится.
Вот и простила, улетев, жар-птица.
Вот и пропел разлуку петушок.

Твою любовь сгубил я без причины.
Теперь с лихвой за это получил я.
Конечно же, тебя я потерял.

Но есть и круче плата за измены.
Сказав «Прости», я забывал тебя.
Сказал «Прощай» – ты стала незабвенной.

* * *

Клен стучится мокрой лапой
В одинокий дом.
Ты о чьей душе заплакал,
Дождик за окном?

«Счастлив будь и будь удачлив, –
дождик отвечал, –
А о чьей душе я плачу,
не твоя печаль».

Ты о ком там, ветер поля,
простонал во мгле?
О моей ли странной доле?
Просто ль обо мне?

Но в ответ мне крикнул ветер:
«Поумолкни впредь.
Без тебя на этом свете
есть о ком жалеть».

* * *

Снежок над Шереметьево. Снежок.
В порядке виза и готов твой «Боинг».
В руках у стюардессы над тобою
Американский вскинулся флажок.

Прости, подруга, болевой мой шок.
Я не с тобой прощаюсь, а с любовью
Ведь не на трап... Что трап?.. Ему не больно.
На сердце мне ступил твой сапожок.

Ты говорила: «Не про нас планета.
Арбат ли, Брайтон. Дело ведь не в этом.
Мы на счастливой встретимся звезде».

Во смех-то. Нет уж, милая, избеви.
Я пью за «никогда» и за «нигде».
Вот только шапку не забыть бы в баре.

ФАНТОМ

Брату моему – Льву

Салар. Первушка. Двухэтажный дом.
Подъезд в окурках. Шаткие перила.
Сам Генка в карты режется с Гориллой
На лестнице под выбитым окном.

Вон двор, где между решкой и орлом,
Насвистывая, жизнь меня крутила.
А вон я сам в оборвочке спортивной
Бью по монетам ржавым пятаком.

– Эй ты, шпана с небесными глазами,
давай поспорим, что тебя я знаю.
Он подошел, взгляделся и сказал:

«Канай отсюда. Мы с тобой чужие.
Писатель, курва. Лучше б воровал.
Отец и мама до сих пор бы жили».



Цви Гринберг

ИЗ ЦИКЛА

«С БОГОМ МОИМ – КУЗНЕЦОМ»

* * *

Вот небо, да не видно Бога в нём.
Не отыскать, ищи хоть днем с огнём.
Годами промывал я звёзд песок,
И я нашел, нашёл тебя, мой Бог!

И хорошо мне: с небесами слит,
я на земле теперь не одинок.
Как Божий глаз, луна в меня глядит...

* * *

Словно женщина, словно невеста,
засмеётся мой Бог: беги!
И не сдвинусь я с места.

Убегу, отчаюсь, устану
обожать, закричу, поклянусь:
«Я смотреть на Тебя не стану!»

И опять возвращаюсь в лоно
личной веры, стучу в Его дверь,
как несчастный влюблённый.

Вот письмо от Него читаю теперь...

Перевела с иврита Зинаида Палванова



Яков Сусленский

*ОДА МУХЕ**

В карцер муха залетела.
Право, ей-то что за дело?
Здесь не место для неё:
Не найдет и грана хлеба,
Не узрит отсюда неба –
Здесь для мухи не жильё.

Посочувствовать явилась?
Благодарствую за милость.
Очарован и хвалю!
Только ты не увлекайся,
Долго здесь не оставайся:
Я тебя не прокормлю.

Объявил я голодовку –
Не впервые, не уловка –
И лишаюсь сил.
Отощал я и измучен,
Но поныне не приучен
Укрощать свой пыл.

В доподследственное время
Истреблял я ваше племя.
Каюсь и казнюсь.
А отныне славить буду,
Восхищаться словно чуду –
В том тебе клянусь.

Улетай подруга к свету,
К добрым людям, к яствам, к лету.
Извести, прошу,
Как безмерно я страдаю,
Как по близким я скучаю,
Что в душе ношу.

* Краткое сообщение о том, как родилось это стихотворение:

Май 1975 года. Я в карцере Владимирской тюрьмы. Объявил голодовку. 13-й карцер 4-го корпуса – самый отвратительный во всей тюрьме, с постоянной вонью и сыростью. Присесть негде, весь день на ногах. Скучно, тоскливо, не с кем слово перемолвить. И вдруг неведомо, каким образом, в карцере появилась муха. Радости моей не было границ... С тех пор я не причиняю мухам никакого вреда. Искусно ловлю их в квартире и тут же выпускаю на волю, за дверь.

Ваши Статут
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ГЕТТО

дождь
 воплощенный в рулоне
бумаги для туалета
суть – продолжение агонии
психопортрета гетто

где камнем
 выскользнет камень
где настоящее – миг
пожалуйте в этот пламень
пожалуйте в этот крик

я вырос
 взошел и точка
все книги горой в огне
оставить подобье росточка
непозволительно мне

* * *

Вечер... кирпич сохраняет форму,
не растекаясь по покрывалу.
Тучи разбухли подобно попкорну,
чтоб разорвавшись собраться в начало.

И, разукрашены под дирижабли,
старые женщины мимо гуляют.
Запах усталости.

 Радостно жабы
Камни в бегущих спортсменов швыряют.

Бьется в стекло тополиная ветка.
Ржавый карниз заскрипит под ботинком.
...вот из ладони упала таблетка
на фотоснимки.

Валентин Шор

СОН

Когда б я мог, свечой сгорая,
Жизнь просвистев на сквозняках,
В открытые ворота рая
Войти с котомкою в руках.
И в грязном рубище, патлатый,
Его пройти из края в край,
Чтоб на пригорке за оградой
Раскинуть свой пахучий рай.
Из недр заплатанной котомки,
Как фокусник, полётом рук,
Освободить стаканчик ломкий
И сыра ноздреватый круг.
Краюху хлеба, штоф гранёный,
Лучок, головку чесноку –
Виденьем этим распалённый –
Вздыхаю, лёжа на боку.
И чудо! Вижу за оградой,
На запах сыра и вина,
Слетается народ крылатый,
Чтоб ни покрышки мне, ни дна!
И руки к штофу простирая,
Мне предлагают – отворить.
– Ведь мы, – галдят, – в пределах рая
Одну лишь воду можем пить.
Давно забыли дух спиртного,
Ржаного хлеба спелый вкус,
Дадим за это отступного...
Да мне чего... а всё ж – боюсь.
Ведь вроде сам, открыв котомку,
Нарушил времени межу...
Но кто-то вдруг сказал негромко:
– Ты пей. Я рядом посижу.

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

Маша Айнбингер

НЕ О СЕБЕ

Мы жили в Риге. Я была подростком, когда мы с мамой начали ходить на выставки. И каждый раз, выходя из выставочного зала на улицу, я думала, как свежо и ярко выглядит настоящая жизнь по сравнению с изображением на картинах. Это было тяжелое время для латышской живописи, западноевропейской, по сути: московские чиновники внедряли метод соцреализма в бывшую «буржуазную» республику.

Но постепенно ситуация менялась. На выставки стало ходить интересней. Я поступила в Академию художеств на живописный факультет. В это время там преподавал в числе других педагогов Конрад Убан, один из самых крупных латышских пейзажистов. Над Убаном смеялись из-за его странностей. Округлый старик, похожий на утенка Тима, он и ходил утиной походкой, засунув руки в карманы. Его появление в классе было незаметным, если не считать того, что он постоянно напевал какой-нибудь мотивчик.

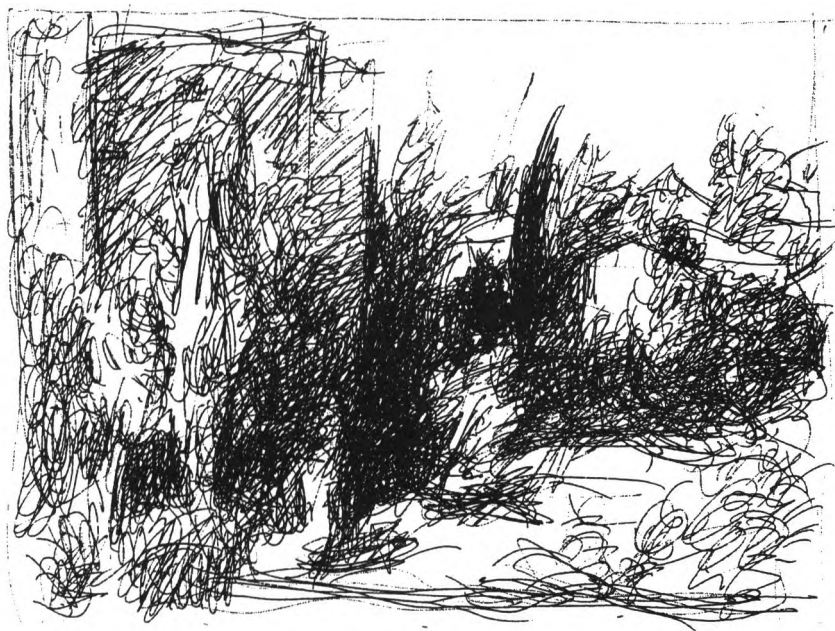
Услышав песенку за своей спиной, каждый начинал усердно трудиться. Мы писали постановку обнаженной натуры не меньше пятидесяти часов. В огромном классе с серыми стенами, с серым от фузы полом. Высокие готические окна с множеством коричневых переплетов не прибавляли цвета. Да и все драпировки в Академии почему-то были глухими и темными.

К нашим работам Убан относился снисходительно. Стоит за спиной, а замечаний не делает. Но иногда происходило то, над чем потешалась вся Академия. Старик брал студента за плечо и тихонько уводил от мольберта, говоря шепотом: «А теперь посмотри в окно!».

Когда Убан проделал этот фокус со мной, я была поражена. За окном была живопись, а у меня на холсте вымученные построения!

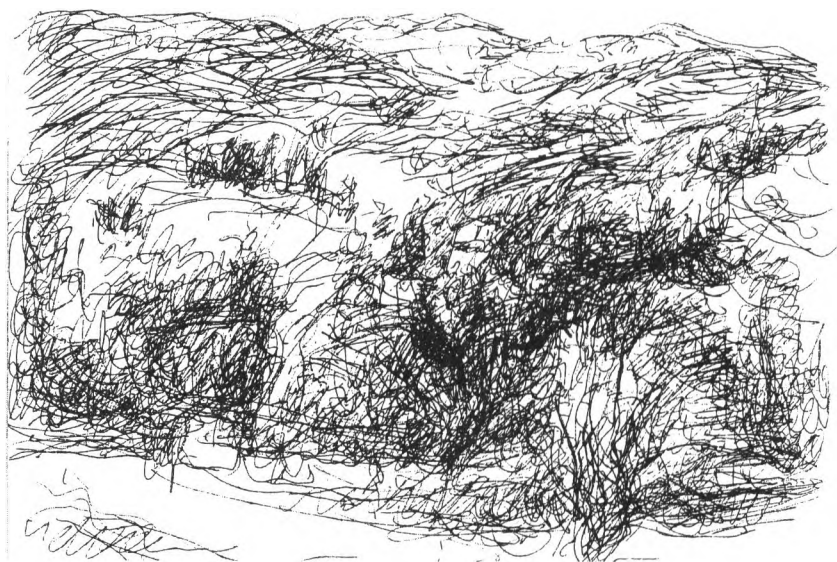
А потом прошло еще много лет, и я заметила, что настоящие картины не висят на стене, а парят в воздухе. И это качество не зависит от времени и стиля.

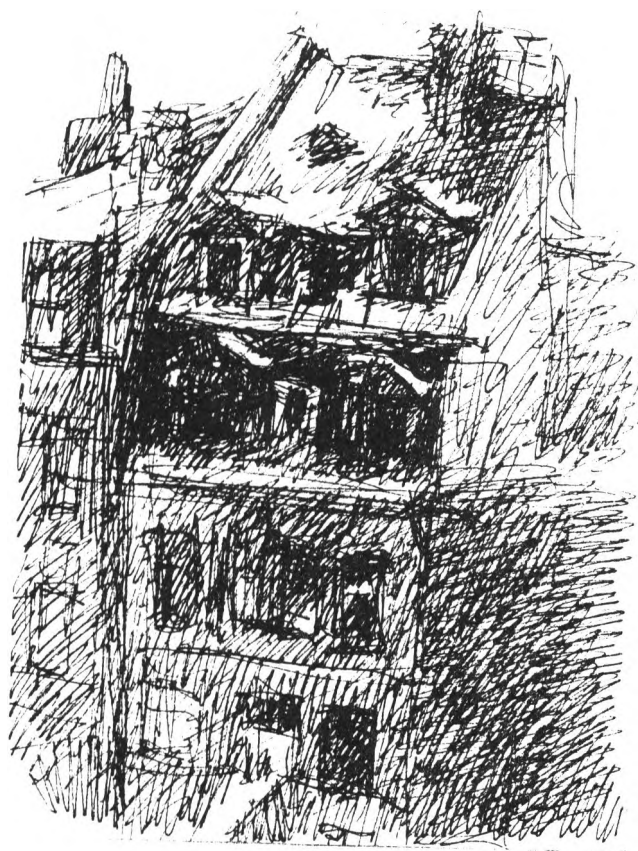




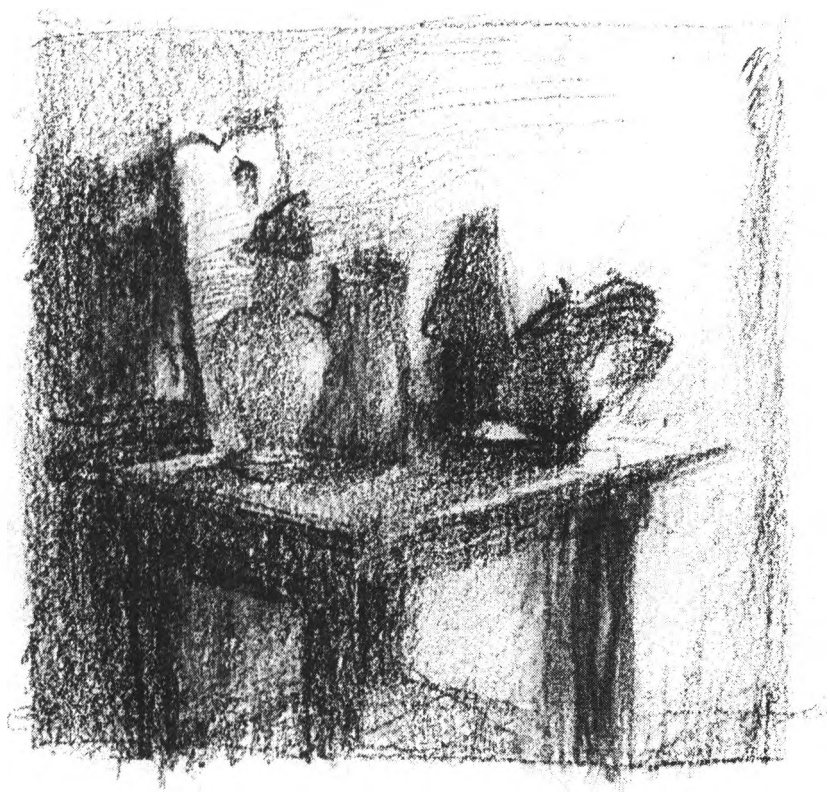












Сусанна Черноброва
ЦВЕТА ИНТОНАЦИИ

Когда-то сама написала, что Иерусалима в живописи нет.

Многие замахивались, но возвращались с полдороги. Это как с героем сказки – если дойти до сути, то можно и погибнуть. Но все равно все пытаются его писать, и у современников есть удачи. Есть черно-бело-серая графика Анны Тихо, где цвет в подтексте, ее царапающие поле зрения, цепляющиеся за поверхность листа колючки, передают особое соединение городских огней и пустыни. Иерусалимский белый воздух на составляющие, как радуга, с трудом раскладывается. Говорят, редкостные цвета иерусалимского неба вызваны испарениями смолы, меди и никеля с Мертвого моря. Иерусалим не дается, ускользает, кишка тонка его ухватить. Но ведь и портретов Всевышнего тоже нет.

Но вот зашла в мастерскую к Маше, и захотелось отречься от своих слов. Увидела свежий этюд, а в нем пойман иерусалимский цвет-нецвет между цветами, звук между нотами, «сочная интонация». Так, наверно, можно написать невесомость, соединительную ткань, коллаген, тоску...

А еще я не раз думала: почему она так медленно пишет? Сейчас редко кто пишет долго, спешат набрать количество легких и быстрых листов, коллекционируют холсты. Еще и рынок диктует такую спешку. Хотя самих художников всегда смущает быстрота и легкость написанного. Сколько раз я слышала: красиво, но мне было подозрительно легко. Казалось, холст закончен, и ей советуют оставить, не портить, но она все наращивает засохшие, кишащие червячками, как забродившая опара хлеба, слои краски, пишет поверху. На картине постепенно нарастает ноздреватая корка, ее толщина – временная координата. Ее холсты трехмерны, как скульптуры. Наверно, ей нужно, чтоб холст дозрел, и содержал бы внутри себя настоя времени. Ее холсты всегда тяжелые, их трудно поднять, они полны пространством и временем. Еще, наверно, ей важно, чтоб работа добрала вес, или энергию по эйнштейновскому закону.

Маша Титель

НАБРОСОК

НА ПОЛЯХ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

В гостях у случайных друзей,
Случайно, опять же, узнала,
Что тот,
В кого я последний год
Была немного «того»,
Проездом в моих краях,
Дня на три.
В таких случаях говорят:
«Сердце дрогнуло».
Нет, не дрогнуло,
Даже не замерло.
Но, положившись на бросок монетки,
Я позвонила.
(Монетка ребром не встала,
В воздухе не зависла).
Глоток воздуха лёгких не обжёг.
Кокетливый смешок.
Кафе на углу Дизенгоф.
И то, что обычно рифмуют со словом «кровь»,
Было вполне разделённым
На следующую ночь.
А с утра шёл дождь,
Я, поскользнувшись, рассекла колено.
И показалось вдруг таким нелепым,
Что где-то в глубине души
Я продолжаю называть его на «Вы».

Небольшой размер предлагаемых в разделе публикаций вызван желанием как можно быстрее познакомить серьезного читателя с молодыми авторами, как можно меньше нарушая сложившуюся структуру журнала. Название разделу дала литературная студия, приютившаяся в начале «Большой алии» девяностых по одноименному иерусалимскому адресу, в квартире, где находилась тогда Библиотека Сионистского Форума.

Илья Алий

НА ВДОХЕ МОЙ ДОМ СИНЕВА

ЧТО Ж НА УЛИЦУ ВЫЙДУ

что ж на улицу выйду на каменный узкий откос
перемытый дождем и так странно как будто всерьез
на лице на секунду прохлада задержит ладонь
безымянный покой поджидает меж бед и погонь

и как будто взаправду на вдохе мой дом синева
а на выдохе зелень и что мне иные права

эх судьба черепка ни на зуб археологу ни
на продажу туристам пойдут эти странные дни:
облака над крестом из долины на память и взлет
да еще этот гул что везувий в груди колыхнет

леденел и парил а теперь я стал просто водой
серп ислама над городом месяц летит молодой

* * *

odnako стало тут и вот
и сон пошел на оборот
мертвец живой рукой занес
над головой моей вопрос

погибший друг ослепший край
неутоленный словно жажда
но ты не каждый

ты

играй

* * *

она смотрит в небо
в небе от ее взгляда появляются птицы
она видит птиц
она говорит а вот
птички летят

Михаил Щербаков

РЕКА ПЕЧЕТЬ ИСПРАВНО

Тексты песен

РАЙЦЕНТР

Мне ничего не надо. Монета есть, магазин под боком.
Правда, закрыли ближний, так это ладно, схожу в соседний.
Я ни рубля не должен собесу, рано пока по срокам.
Я военкому без интересу, мой формуляр – последний.

Дали квартиру в центре района, с библиотекой рядом.
В двух остановках от стадиона, ровно напротив клуба.
Из дому выйдешь – сразу культура, передом, а не задом.
Слева скульптура, справа скульптура, посередине клумба.

В библиотеке библиотекарь – мне не чета, вестимо.
Я-то, понятно, токарь да пекарь, что голова что шляпа.
А он прочёл все книги, сидит он строго, глядит он мимо.
Прямо король гишпанский, завит губернский и римский папа.

Знает он всякий косинус-синус, разные там науки.
Может помножить минус на минус, а получить не минус.
Мой формуляр – последний. Хурму и фиги – в мои ли руки?
Раз он король гишпанский, ему и книги. А я подвинусь.

Пляшут на Солнце протуберанцы, зло прекословит благо.
А у гишпанцев – гордость, гишпанцы злу отвечают: не-а!
Где-то кому-то камень на шею – и в ледяную влагу.
А надо всею Гишпаниею безоблачное небо.

К вам, кабальерос, я не полезу в храм со своей обедней.
Книга здоровью малополезна, в ней и микроб и вирус.
Множьте там сами крокус на фикус. Мой формуляр – последний.
Маслом их мажьте, чикос-амигос, ешьте, а я подвинусь.

Мне ничего не надо. В квартиру въехал, обои клею.
Хлеба до завтра хватит, кефиру вдоволь, стреляться глупо.
Из дому выйду, гляну, моргая, встану – и прямо млею.
Слева скульптура, справа другая. Посередине клумба.

НАПОСЛЕДОК

Напоследок – георгин продеть в пиджак (для колорита),
хладнокровно убедиться, всё ли взял,
расплатиться. С персоналом попрощаться деловито.
Спину выгнуть, как виконт какой-нибудь. И на вокзал.

Ни трагедий, ни проклятий переменчивому счастью.
Натурально, всё обман в пыли земной.
Вот и лошадь – то ли цифрой обманула, то ли мастью:
вороняя, шла под номером седьмым, пришла седьмой.

Не воротишь... заигрался, перегнул насчёт виконтства.
Постояльцем угодил не ко двору.
Хорошо хоть из хозяев ни с одним не свёл знакомства.
Извиняться напоследок не пойду ни к одному.

Честный недруг, уличив меня во вздоре и сумбуре,
с донесеньем не спеши на телеграф:
хоть и честный, а в моей наверняка ты не был шкуре.
Кто бы ни был, если судишь по себе, не будешь прав.

То не горе, что тяжёл исход. Беда, что предсказуем.
Рюмка рому – и в туман без пиджака...
Знаешь, честный, мало мы с тобой кого интересуем.
Колеснице что хозяина везти, что чужака.

В ювелирном, где задёшево чеканят на браслетах
что закажешь, закажу семёрку трэф.
И отчаю без оглядки. Либо всё же напоследок
оглядевшись, но диковин за бортом не усмотрев.

А ведь мог бы шапито в конце придумать с циркачами,
позументы из того, что под рукой,
и циркачку (с чересчур, пожалуй, чёрными очами),
и другое... Но тогда бы и сюжет возник другой.

2004

PARIS ENCORE

Потом, не завтра, нет. Зимой, зимой, не раньше.
Прозрев и устремив к былому взгляд и разум,
в былом найдёшь ты ад. Конечно, ад. Не рай же.
Глубин тщеты коснёшься ты и разумом и глазом.
Но тем верней метнёшься к ней, в ущерб всему и разом.

Начнёшь, забыв комфорт, разъяв капкан престижа,
блуждать среди теней во временах богемных.
В дымах и облаках, на чердаках Парижа,
в чумных пирах, в иных мирах – подлунных и подземных.
И вместе с тем – меж серых стен, больничных и тюремных.

Уйдёшь, уйдёшь к теням, в аррондисман вчерашний,
к дверям, что всё скрипят (никто никак не смажет).
Они не на замке, за ними зверь домашний.
Качнётся дверь, очнётся зверь, но ничего не скажет.
Хвостом вильнёт, потом зевнёт. И спать опять ляжет.

Входи, однако знай: нельзя войти в те воды,
в каких уже тонул. Река течёт исправно.
Темна страна теней. Оттуда жди невзгоды.
Оттуда звук – уже испуг, а если знак – давно.
А если блик – то лишь на миг, неясно и неявно.

Сверкнёт былой хрусталь, и звон его хваленый
на миг вернёт тебе пиры-костры-гаремы.
Камзол блеснёт златой... мелькнёт берет зелёный...
И – снова тьма. Зима, зима. И никакой богемы.
Вот и ответ. Её ведь нет. И значит, нет проблемы.

А в том, что пуст архив и каталог бессвязен,
Париж не виноват. Уж он давно не рядом.
Давно не помнишь ты, как он спесив и грязен.
Но помнишь ты – мосты... мосты... В саду фонтан с каскадом.
И постамент... и монумент, воздевший длань над садом.

Пред ним, облюбовав одну из трёх ступенек,
стоят седой старик и мальчик-воробейчик.
Слепых не щуря глаз, поют они для денег.
У старика гармоника, у мальчика бубенчик.
Пять первых нот – и вот он, вот – мотивчик тот... рефренчик.

А ты уже не слеп. Уже ты сам из тех, кто платит.
Скучай хоть вечер весь в бистро, один среди стекла и пробок.
Анкор, опять анкор. Третий стакан... шестой, седьмой,
восьмой... хватит.
Не хочет твой близнец былой ни устриц, ни похлёбок.
(Он – тень в толпе, но с ним тебе всё так и жить бок о бок.)

Гарсон возник из тьмы. Принёс ещё спиртного.
Спросил, подать ли счёт. И отошёл, не поняв.
А те слепые два – то замолчат, то снова:
la bohème... la bohème... А дальше слов не помнят.

КИНО-МЕТРО

Когда, закончив школу, я расстался с Подмосковьем
и в техникум столичный поступил, набравши балл,
я к новой жизни, жертвуя здоровьем (ежечасно),
тропою просвещения зашагал.

Была тропа терниста, но зерниста.
За курсом курс отважно просвещался я. И вот
мне выдали диплом специалиста (тёмно-синий)
и вытолкали в люди из ворот.

Я отпуск получил и отпускных – не помню, много ль,
и резво мог на родину катиться кувырком,
в село, чтоб там расхаживать, как гоголь (две недели),
селянкам демонстрируя диплом.

Домой, где ждали роща и пригорок,
родня в ассортименте и компот из ревеня...
Но я пошёл в кино на 10.40 (про индейцев).
И там диплом украли у меня.

Стервятник незадачливый, щипач, дитя притона,
должно быть, полагал, в когтях добычу унося,
что будет с этим он куском картона (шесть на девять)
допущен в кладовые все и вся.

Он думал, что теперь он обеспечен,
что корочка моя сильнее отмычек воровских.
А в ней негромко значилось: диспетчер (нормировщик).
И радуг не сияло никаких.

Потом его, конечно, заметут на левых ксивах.
Об клетку станет биться он, как море о причал.
В суде опять же спросят о мотивах (злодеяний).
И он смолчит. А я бы не смолчал.

Сказал бы я и судьям и защите:
виновны – ваша власть, и ваш закон, и сами вы!
Сказал бы: поздравляю, получите (распишитесь).
И стал бы достоянием молвы.

Но в тот момент я был скорей сырьём для психиатра,
когда свою пропажу обнаружил на свету –
и слепо вдоль афиш кинотеатра («Буревестник»)
сомнамбулой поплёлся в пустоту.

Коварнее индейцев и индеек,
судьба, чему учила ты меня такой ценой?
От ужаса полдня за пять копеек (под землёю)
проездил я тогда по кольцевой.

Разжалован, повержен, сокрушён, обезоружен,
за поручень держась и холод чувствуя в груди, —
я знал, что никому теперь не нужен (в новой жизни).
И бездна открывалась впереди.

Туда, где aut bene aut nihil,
несла меня подземка, грохоча как барабан.
Зачем её построил граф Клейнмихель (Каганович)?
Зачем он не построил кегельбан?

...Прерывист мой дальнейший след, свидетельства сумбурны,
молва разноречива. Говорили, например,
что я потом с эстрады пел ноктюрны (на два forte),
успех имел и даже прогремел.

Не то потом я сделался магистром,
не то магнатом даже — версий всех не увязать.
Известно, что метро осталось быстрым (как и прежде).
А больше я не знаю, что сказать.

2004

ДО ПОЕЗДА

До поезда ещё минута. Ещё минута — и прощай.
В кармане дребезжит валюта. Отдашь проводнику за чай.

Как волны, люди все и вещи: с какой ни глянешь стороны,
одна волна другой не хлеще. Со всех они сторон равны.

С подветренной — остёр, как коготь —
пакгаузный торчит флагшток.
С наветренной — мазут и копоть обходчика сбивают с ног.

Найти в конце пути свободу, плацкарту в кулаке зажав,
мечтай — пока сигнал к отходу даёт локомотив, заржав.

Но все твои долги и страсти, от коих ты бежишь теперь,
уже свои силки и снасти сплели в конце пути, поверь.

О чём же о таком ты бредишь, торжественно топча перрон?
Куда ты от всего уедешь, когда оно со всех сторон?

До поезда ещё минута. Не поздно поменять билет.
Но запах дыма и мазута давно уже объял весь свет.
И ветры завывают люто. И от судебных защиты нет.

2004

Зезв Тейзель

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

ПРОЛОГ

Вначале был пост. На сайте «Исрабард», в подразделе «Бардачок», 22 октября 2003 года открылась новая форумная тема. Называлась она «О песне "Город золотой" и расположилась по адресу israbard.net/phorum/list.php?fid=2. Некто «Шеф» поинтересовался:

«Если я ничего не путаю, то на последней Дуговке Ануар Будагов пел "Город Золотой" на иврите. Может, знает кто, есть ли запись, и где ее можно найти?»

Для непосвященных: Дуговка – это фестиваль бардовской песни Израиля, регулярно проходивший на пляже Дугит озера Кинерет. Ануар Будагов – молодой израильский бард. Что такое «Город Золотой» – предполагалось и вовсе общеизвестным.

В тот же день ведущий сайта Игорь Улогов пообещал: «В ближайшее время спрошу у самого Будагова», после чего тема, естественно, ушла в зимнюю спячку. Проснулась она через полгода – почему-то в День космонавтики, 12 апреля, когда девушка, укрывшаяся за ником «Ор» поинтересовалась: *«Я слышала исполнение Ларисы Герштейн тоже на иврите ... чей перевод на иврит или это источник?»*

И пошло! В течение нескольких дней на форуме появились десятка два сообщений, излагавших слухи и «достоверные версии» происхождения песни – изложу их несколько позже. Тем временем мои друзья попросили меня оценить качество перевода. Оказалось, что сделать было это несколько затруднительно: для такой оценки надо, как минимум, иметь текст оригинала и текст перевода. Взглянув на сайт, я был несколько ошарашен обилием версий и стал опрашивать компетентных знакомых. Оказалось, что и среди них нет единодушия в вопросе о происхождении песни – даже среди ее исполнителей. Я начал классифицировать имеющиеся точки зрения. Среди таковых выделялись:

А) слова написал на иврите Иегуда Галеви, музыка – народная.

Б) песню написал Б. Гребенщиков для фильма «Асса».

В) песню написал А. Хвостенко.

Г) песню написал очень средневековый итальянский еврей (!) по имени Франческо ди Милано (в некоторых сайтах его почему-то называли «Милано Ф.») – причем слова он написал на иврите, и соответствующая рукопись была найдена В. Глозманом в какой-то библиотеке.

Д) да нет же, этот самый Франческо написал только музыку. А слова написал А. Волохонский, который на Гребенщикова подавал в суд и выиграл то ли 10, то ли 15 тысяч долларов (а может, и не выиграл, а БГ заплатил ему, чтобы не было шума).

Е) А еще песню эту пела Е. Камбурова, а В. Луферов сказал, что слова – Юнны Мориц.

Ж) Автором стихов является Рабиндранат Тагор (честное слово – я не выдумал, см. пост номер 15 по тому же адресу). Правда, автор поста тут же застенчиво рекомендовал «Но это еще надо проверить».

Ну что ж, проверим.

ГЛАВА 1, ГДЕ ЕСТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ НОСТАЛЬГИИ

Начнем с Иегуды Галеви. С ним просто – есть сборники его стихотворений, где ничего похожего на «Золотой Град» нет. На сайте, посвященному замечательному Бакинскому КСП, было сказано уже нечто удивительное: *«музыка Франческо де Милано, стихи Йехуда Ха Леви, перевод на иврит Ануара Будагова»*. Я очень хорошо отношусь к Будагову, но мне как-то трудно было представить, что он переводит с иврита на иврит. Столь же трудно было представить, чтобы Володя Глозман, разыскав средневековую рукопись на иврите, содержащую неизвестное стихотворение, передал бы его то ли Гребенщикову, то ли Камбуровой. Рабиндранат Тагор также быстро сошел с забега, не дав развить индийский след.

Итак – стало понятно, что есть текст на русском языке, который кто-то написал. Кто же? И откуда музыка?

И тут я остановился и предался – нет, не медитации, а просто студенческим воспоминаниям. Год примерно 1978, Москва, общежитие МИИТа. Марик Драчинский берет в руки гитару и таки тихим голосом поет: «Над небом голубым...» Мы слушаем.

– Чье это, Марик? – спрашиваю.

– Эту песню написал Хвост.

– ???

– Хвостенко, живущий в Париже.

(Замечу от себя, что уже тогда вокруг песни висела аура мистификаций. Так, например, некоторые в МИИТе вполне всерьез считали автором песни одного сокурсника, ныне проживающего в Израиле. Чтобы не затруднять общую картину – не буду указывать его имени. В конце концов, не Рабиндранат.)

– Но вот музыка какая-то знакомая...

– Да, мелодия – не его, а старинная итальянская...

И тут я вспоминаю (то есть это я тогда вспоминаю, а сегодня я вспоминаю о том, как тогда вспоминал):

Год 1972. Наша семья живет в Новороссийске. Мой старший брат Миша, студент Гнесинского института (по классу скрипки), приезжает на каникулы и привозит новые пластинки. Их просмотр – это целый ритуал: что такое, кто композитор, какие исполнители – все записать в картотеку, и только уж потом слушать. Одна пластинка – называется, кажется, «Средневековая лютневая музыка». И вот там-то звучит эта мелодия. Явно она, ни с чем не спутаешь. Хорошо нашел к ней слова неизвестный мне Хвостенко.

И вот сегодня, вынырнув из этих воспоминаний в квадрате, я поставляю для себя: слова Хвостенко, музыка – этого самого Франческо. Можно поставить точку? Почти. Надо только чуточку проверить – чтобы потом не было мучительно стыдно перед возможными соавторами.

ГЛАВА 2, В КОТОРОЙ ДАЖЕ GOOGLE НЕ ПОМОГАЕТ

Фирма Мелодия, год 1972 г. На обложке: «*Лютневая музыка XVI-XVII веков*», ниже – «В. Вавилов». Не уточняется, но обычно это должно означать «исполнитель – В.Вавилов». Перевернем конверт. Итак: десять произведений. Из них только три – действительно, исполняет В. Вавилов (лютня). Как-то непонятно – почему же только его фамилия на обложке?.. Наверно, он играет все на лютне, а остальные ему аккомпанируют – кто на флейте, кто на валторне, а кто и на органе... Ну да ладно.

Первое же произведение – так и написано: Франческо ди Милано, «*Канцона и танец*». Содержание пластинки есть в Интернете, так что всё там можно скачать («Канцона» – около мегабайта) соответствующую запись с адреса <http://213.247.141.133/> – только нажмите на [kanzona1.mp3](#) – и слушайте на здоровье. Действительно, очень похоже на нашу песню. Есть, правда, отличия в мелодии (особенно в «припеве»), да и в гармонии.

Желающие могут посмотреть ноты, они тоже есть в Интернете – по адресу abc-guitar.narod.ru/pages/music/scores/canzone.gif:

Ну да ладно. Отличия отличиями, но авторство музыки установлено. Осталось только, для порядка, добавить: «написана в...» А кстати, когда она, собственно, написана? На этой странице нет – вот досада! Ладно, поищем в Google по запросу «*Kanzona Francesco da Milano*» (именно «да», а не «ди»). Вызываем... что такое? Почему только один адрес, причем русск и й? Я что, установил специальные ограничения? Да вроде нет. Так, посмотрим – а может, Франческо да Милано неизвестен в Интернете? Набираем запрос «*Francesco da Milano*» – получили массу всего. Ну хорошо – может, надо писать слово «Канцона» иначе – скажем так, «Kanzone». ОК, есть 58 результатов. Начинаем смотреть – сайты на разных языках: что по-английски, что по-немецки, что еще на чем-то... Ладно, посмотрим первые.

Первая же страница разочаровывает: Kanzone есть, но... «*by Josquin des Pres*», а Франческо да Милано – автор другого произведения – «*Fantasia*». Следующая страница – опять не то... На ней (как, впрочем, и на третьей) Милано – это название города, а Канцона – сама по себе. Так, чтобы город не мешал – изменим несколько запрос...

Попробуем так: «*Canzona*». Тут ссылок много: 64, как клеток на шахматной доске. Еще больше страниц – 80 – если записать так: «*Canzone*». Начинаем просматривать страницу за страницей – все не то, просто на каком-то диске или на концерте исполнялось что-то «*Francesco da Milano*» и чья-то «*Canzona*»: то Телемана, то Джованни Габриэли, то Перселла, то еще чья-то... Просматривать их всех несколько утомительно, но приходится...

Не буду докучать читателю историей того, как я пытался все-таки связать эти два понятия – «Канцону» и имя итальянского композитора с помощью Интернета. Желающие могут сами проверить эти 58+64+80 ссылок. Скажу прямо: до +80 я не добрался. Потому что остановился и сказал себе: что за гадания? Передо мной – ноты (см. выше). На них, правда, по-русски написано «Франческо да Милано»,

но все остальное – должно быть из оригинала (итальянского). Давайте поищем таковой.

Довольно скоро я нашел и списки произведений Ф. да Милано, и диссертации, ему посвященные, и ноты – правда, не «Канцоны», см. например, guitaronline.it/damilano/damilanofantn35.gif.

Не нужно быть большим специалистом, чтобы сравнить эти ноты с нотами «Канцоны». Как-то... непохоже, что ли?

Оставим историю моих терзаний. Важен результат – 0 (ноль). Пересечение отсутствует. И это при том, что вообще страниц, повествующих о нашем Франческо (да простится мне это панибратство, но к этому моменту я уже ощущал его родным и близким человеком) только на итальянском языке – 811! (восклицательный знак – не факториал, а выражение эмоций). Как же это они прозевали такую известную мелодию?

И, кстати: откуда вообще появились эти ноты?

И вот еще: а что мы знаем о Франческо да Милано?

ГЛАВА 3, ГДЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ (И ЗАТУХАЕТ) ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Вообще-то лютня зародилась не в Италии. Примерно в VIII веке мавры завезли в Европу, вместе с исламом, много чего интересного – с точки зрения культуры. В частности, персидский струнный щипковый музыкальный инструмент, который назывался «уд» (гусары, молчать!) Именно так он называется и сейчас, а с арабским артиклем – «аль-уд», что в испанском языке превратилось в «лауд». Путешествуя по европейским языкам, лауд получал новые имена: «лаут», «лют», «люта», «лютня».

Было бы несколько затруднительно с точки зрения наших сегодняшних музыкальных представлений строго определить, что же представляла собой лютня. Время было несколько менее формальное, чем сегодня, и даже количество струн не фиксировалось. Точнее – пар струн, так как начиная со второй – струны были парными. И поэтому когда мы читаем о пятиструнной лютне – надо понимать, что речь идет о пяти рядах, из них первый – это просто струна, а следующие четыре – пары; итого, следовательно, 9 струн. Так вот, были распространены пятирядные, шестирядные и семирядные лютни – соответственно было в каждой из них 9, 11 и 13 струн. Но затем число рядов варьировалось – до 13 (соответственно 25 струн), а впоследствии стали добавлять и одиночные басовые струны, и число рядов (большинство из которых были уже непарными) доходило до 20.

Непростым вопросом была и настройка лютни. Первую струну настраивали, как правило, на «соль» (иногда, впрочем, на «фа» или «ля»), а затем – по интервалам: кварта, кварта, терция, кварта, кварта – в расчете на 6 рядов, что, собственно, и представляло собой более-менее принятый стандарт XVI века – века расцвета лютневой музыки.

А лютневая музыка тогда именно расцвела. Лютня стала главным инструментом, популярным и у буржуа, и среди аристократов (сохра-

нилась картина, изображающая королеву Елизавету с лютней). Лютня гремела (и в прямом, и в переносном смысле этого слова) по всей Европе – в Дании и Англии, в Голландии и Польше, в Германии и в Испании, но центром ее была, разумеется, Италия.

И здесь, в Италии, в 1497 году родился самый известный из всех лютневых композиторов, которого тогда еще звали Франческо Канова. Придет время, когда он станет придворным лютнистом, когда Ватикан на протяжении четырех пап будет бережно подшивать в архив каждую написанную им страницу, и тогда его имя будут произносить несколько иначе: кто «Франческо да Милано», а кто и скромненько – «Божественный Франческо». Кстати, даже насчет «да Милано» (т. е. «из Милана») – дело сомнительно. Похоже, родился Франческо все-таки не в Милане, а в маленькой деревушке Меланезе. Разница – примерно как между городом Орел и местечком Орловка (хотя последняя и дала Израилю как минимум двух министров: Рафаэля Эйтана и Звулуна Орлева). Но, разумеется, «да Милано» звучало красивее.

К слову сказать, в XVI веке были и другие композиторы, которых считали великими. Например, Мельхиор Нойзидлер, Якуб Рейс, Луис де Милан. И все-таки выбор кардинала Медичи пал на Франческо. Меня не было при принятии кардиналом этого исторического решения, но я могу позволить себе следующее замечание.

Большинство известных лютневых композиторов родилось в Италии. Но на этом их сходство не кончается. Многих из них объединяла та же черта, что и композиторов, писавших музыку к советским кинофильмам 30-х гг. А именно – некоторые из них так были... евреями. Правда, как правило – крещеными, но и эти продолжали жениться между собой, и держались как-то... ну, скажем, обособленно. Время же было тогда ох какое (для евреев) интересное – только что (конец XV века) последовали изгнания евреев сразу из нескольких стран. Папу Александра III когда-то за глаза называли «еврейчиком», поскольку его прадед (!) был крещеным евреем. А тут... Так что кардиналы и герцоги, надо полагать, смотрели на этих крещеных лютнистов примерно так же, как в 70-е годы власти СССР смотрели на евреев – членов КПСС. И разъезжались эти лютнисты по всей Европе – от Англии до Польши, где об их неарийском происхождении вспоминали меньше, а то и вовсе не знали (во всяком случае, воспринимались они там как итальянцы).

Я ни в коей степени не пытаюсь умалить величие Франческо Канова да Милано, прозванного Божественным. Он – великий новатор, он заслужил свое место в истории музыкой, дошедшей до нас. Замечу только, что те, кого не опекали ни герцог Гонзаго, ни папский престол – их музыка не сохранилась, так что и сравнивать нечего. Амен.

Желающие узнать еще что-нибудь о жизни великого композитора могут посмотреть посвященную ему статью в итальянской энциклопедии. Кстати, итальянцы в своих энциклопедиях не скрывают еврейского происхождения – ни Иммануэля Римского, ни Колумба, ни сподвижников Гарибальди, ни Альберто Моравиа. Так что...

Короче: Франческо (Канова) да Милано евреем не был. И заодно отметим: стихов не писал. И наконец...

ГЛАВА 4, ГДЕ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУМАН НАЧИНАЕТ РАССЕИВАТЬСЯ

Итак, мы пытались совместить Канцону с Франческо Канова. Интернет выглядит при этом как-то жалко, пока... пока не переходим на русский язык. Здесь одно упоминание его имени уже дает аж 709 ссылок! Причем – по крайней мере, 100 из них однозначно связывают его имя с этой самой мелодией. Итальянский же Интернет – 8 пересечений (только слово «Canzona» надо писать правильно), и все – случайные. Так что здесь мы Запад (включая родину великого композитора) догнали и перегнали.

А все-таки – откуда взялись приведенные в начале ноты? Дело ведь в том, что лютневые композиторы нотами свою музыку не записывали. Для этого существовала другая система записи – табулатура (точнее, несколько видов табулатур). То есть даже если это музыка Ф. Канова – кто-то другой записал ее нотами. Кто же? Во всяком случае – не итальянец, потому что (см. выше) по-итальянски правильно писать «Canzona». И вот еще что: приведенная нотная запись напечатана или написана от руки? Рассматривая картинку, со всей очевидностью приходишь к противоположным выводам...

Но вот получил я письмо из Франции, от М. Мовшица, в прошлом – аккомпаниатора АХ. Так вот, он припомнил, что... видел ноты этой музыки в каком-то учебнике сольфеджио. В каком? – чуть не закричал я, но по и-мэйлу это сделать сложно. Мовшиц не помнил. А я засел за просмотр учебников – не только сольфеджио, но и самоучителей гитарных, например. И что же? Под претенциозным названием «Национальная академия гитары» (aguitar.ru/sheets.php) публикуется список главных рекомендуемых произведений, среди которых – вот, «Франческо да Милано. Канцона»: (aguitar.ru/resources/music/001/_005Cancona/Cancona.gif):

Сравнение двух записей однозначно говорит: вторая – печатная, а первая ... по-прежнему непонятно. Впечатление такое, что все-таки изначально это было печатное изображение, но затем на него от руки нанесли дополнения. В любом случае – вторая запись также соответствует тому, что на пластинке называется «Канцонной». Соответствует, с точки зрения нотной записи, чуть-чуть более точно. Но откуда же взялись записи – и первая (в ее печатном варианте), и вторая? И почему они существуют только в русских изданиях? Кстати, «Академия» сопроводила эти ноты пометкой: «Произведение, на которое БГ положил слова "Под небом голубым..."». Да уж положил, положим... Прямо под небом голубым и положил.

Ну хорошо – а если попробовать иначе? Поищем лютневую музыку, а там...

И тут я сказал себе: стоп, хватит. И позвонил доктору Леви Шептовицкому, которого знал еще лет пятнадцать назад – тогда еще не как доктора (но уже как Леви). За это время Шептовицкий успел защитить докторат в Сорбонне на тему «Лютня эпохи Ренессанса». Вот так просто и со вкусом. И считается Шептовицкий сегодня крупнейшим в Израиле (а также известным за пределами Земли Обетованной) специалистом по лютне.

Так вот, позвонил я ему и спросил: существует ли полное издание сочинений Франческо Канова да Милано? И получил ответ: да, разумеется, стоит вот у меня на полке. А что? Да ничего, – сказал я, – меня такая мелочь интересует: нет ли там такого произведения великого маэстро, которое называется «Канцона» или как-то в этом духе?

– Канцона, – назидательно ответил мне специалист, – по-итальянски, собственно, означает «песенка». Какую тебе «песенку» надобно?

И тут я совершил опрометчивый поступок. Я взял и сказал: ту, из которой сделали потом шлягер – и пропел. Ой, что было!..

Когда шквал улегся, Леви сказал мне совсем просто:

– Зевз, ты ведь не совсем глухой. Ты ведь, кажется, когда-то даже брал в руки скрипку. Ну не могла же математика истребить в тебе нормальное человеческое начало! Так послушай внимательно сам: какая тут к чертям (то есть он, конечно, сказал не «к чертям», а несколько иначе, но законы жанра требуют некоторой полуузнанности) лютня, какая Италия, какой Франческо! Это явно из другой оперы!

– Из какой же? – пискнул я.

– Не знаю, – честно признался великий человек. – Но скорее всего – русская песня.

Затем мы поговорили еще, и еще, и еще. Я честно объяснял, почему такой вопрос возник, а Леви столь же честно и упорно вколачивал в меня одну мысль: «Это – даже не подделка. Автор то ли не знал, что подделывать, то ли просто этим не собирался заниматься».

Вот так, просто и однозначно. Чтобы все-таки не верить на слово – давайте раскроем полное собрание произведений Франческо. Издано оно Гарвардским университетом в 1970 году, в издательстве Cambridge (штат, разумеется, Массачусетс), и называется «The Lute Music of Francesco Canova da Milano (1497-1543)», редактор – Arthur J. Ness. Полистаем на досуге хотя бы оглавление. Только Канцону давайте не искать – нет ее там. Неизвестное произведение? Неизвестное ни Гарвардскому университету, ни даже Ватиканской библиотеке, в архиве которой должна была бережно храниться каждая строчка, написанная не каким-то вольным художником, а папским лютнистом? И нашлось оно почему-то на берегах Невы, но втайне от музыковедов?

И уж совсем под занавес – я прослушал, как же звучит настоящая музыка Франческо да Милано. Общего с тем, что еще за день до этого телефонного разговора я воспринимал как его произведения, – гораздо меньше, чем у Чернышевского с Экклезиастом. После чего, собственно, и прочитал некоторые статьи по истории лютневой музыки, подумал и успокоился. То есть не успокоился, а скорее наоборот – ощутил себя персонажем известного анекдота:

– Поздравляю вас, ваша жена родила!

– Мальчик?

– Нет.

– А кто же?

Чтобы проверить появившееся чувство, что я знаю ответ на вопрос «А кто же?» (не из анекдота, а про песню), я позвонил за океан – проживающему в США украинскому художнику и композитору Роману Туровскому. Почему именно ему? По двум причинам: а) тем временем

я посмотрел сайты, посвященные лютне, и увидел, что он там часто появляется и с его мнением ох как считаются, б) потому что в одном из разборов биографии ФКдМ появилась ссылка на то, что «*Роман Туровский считает автором музыки Петра Вавилова*». Автор заметки (почему-то заканчивавшейся призывом «*Аллах акбар!*») советовал обратить внимание на фамилию. Призыву я не внял, а на фамилию обратил. Действительно, ведь исполнителя псевдо-Франческо, судя по диску, звали Владимир Вавилов. Совпадение?

Совпадений не бывает. По крайней мере, в этом случае. Туровский рассказал: практически мгновенно после выхода диска «Мелодии» любители лютневой музыки воспылали гневом на очевидную (для них) фальсификацию. Почему любители? Да потому что официально лютневая музыка не преподавалась ни в Москве, ни в Питере. Не было в СССР лютневой школы, не было ни специалистов, ни исполнителей. Было считаное число любителей.

Был, например, такой любитель (а по совместительству член Союза композиторов и профессор Московской консерватории) Шандор Каллош, известный, в частности, тем, что написал музыку ко многим мультфильмам Ф. Хитрука. Он разобрал всю пластинку и сказал: большинство собранной на ней музыки ну никакого отношения к лютне не имеет. И уж во всяком случае эти «произведения» (я могу себе представить, как он фыркал при этом) никакого отношения ни к ФКдМ, ни к Н. Нигрино (чье имя также присутствует на диске) не имеют. Исключение (по мнению Р. Туровского – единственное исключение) – это «Зеленые рукава», суперзнаменитая (благодаря Голливуду) песня XV века.

Гнев прошел, но факт остался: подлог разоблачен, причем перчатка не поднята – Вавилов уклонился от обсуждения темы.

Итак – вывод: Франческо Канова Божественный, он же Франческо да Милано, не является автором музыки этой песни. Так что он с чистой совестью покидает наше исследование, которое тем временем устремляется к новым зияющим высотам.

ГЛАВА 5, СОДЕРЖАШАЯ НЕКОТОРЫЕ ТАЛМУДИЧЕСКИЕ ШТУДИИ

А текст? Кто автор стихов? – про этот вопрос мы как-то позабыли...

На самом деле – конечно же, ничего не позабыли. Расследование это продолжалось долго и отнюдь не столь прямолинейно, как это выглядит на бумаге. По дороге я звонил (и посылал и-мэйлы) разным людям, пытаюсь узнать ВСЕ об этой песне.

Да и Интернет параллельно подбрасывал версии: то «*Гумилев*» (сахара.ru/mcu/wwwboard.html?id=17566), «*Михаил Волконский, брат декабриста*» (nosorog.org/cgi-bin/arhivpk.pl?nz=22_01_2004_12-10-39), то «*какой-то белогвардеец*» (aversus.org/vihrevich/disc/vol9/1139.html), очень популярна версия «*русская народная*» (например, xpoint.ru/forums/leisure/music/thread/20764.xhtml) – всего не перечислишь, но рекорд побил следующий вердикт: «*ее сочинил ... человек с фамилией на Ш, кажется Морозов*» (gazeta.ru/2004/05/27/oa_122084.shtml). Замечу, что Морозов попал сюда, возможно, по ассоциации с рифмой Хво-

стенко – Фоменко (знакомые с неохронологической галиматъей меня поймут), но буква «Ш»? К кому обращаться за разъяснениями – к Бродскому или Фрейду? Или, скажем: князь Михаил Волконский, действительно, был литератором – но писал, насколько мне известно, исторические романы, а вовсе не стихи – да и годы жизни (1860-1917) не позволяют записать его ни в братья декабристов, ни в белогвардейцы... Ладно, вернемся к ортодоксальным версиям.

Как мы помним – после ухода из большого спорта Рабиндраната Тагора, Иегуды Галеви и оказавшегося не только непозтом, но даже и неевреем Франческо да Милано оставались следующие кандидаты на звание автора слов – выставим их в порядке убывания числа ссылок:

Б. Гребенщиков (БГ)
А. Хвостенко (АХ)
А. Волохонский (АВ)

(Отдельно оставалась еще линия Камбурова-Луферов-Мориц, но об этом потом; идея принадлежности первородного авторства кому-либо из них никогда не представлялась мне плодотворной). Параллельно возник еще один вопрос: а какой, собственно, текст является «правильным»? Например, как, собственно, начинается песня: «Под небом голубым» (как пел ее БГ), «Над небом голубым» (как запомнилось мне из МИИТа, и оказалось правильным в том смысле, что именно так пел Хвостенко), или... «Над твердью голубой» (так пела Е. Камбурова)?

Итак – по крайней мере три версии. Будем считать, что «правильной» является та, которая и принадлежит автору, но для этого настоящего автора надлежит вычислить. И сделать это, оказывается, в данном случае легко. По принципу, который в Талмуде называется «ми-го», а по-русски «верьте добровольному признанию».

Начнем с БГ, которого подавляющее большинство фанатов автоматически определили в авторы. Да что там фанаты – программа «Что? Где? Когда?» устами ведущего Ворошилова сообщила: *«Все знают, что стихи к этой песне написал Борис Гребенщиков»* (правда, смысл вопроса в том, что музыку написал... правильно догадались, великий итальянский и т. д., но это мы уже проходили). Однако:

Сам Гребенщиков НИГДЕ не называл себя автором песни, в том числе – слов. Чаще всего (например, fandom.ru/fido/su_books/text/2530.htm) он называл таковым А. Хвостенко; еще чаще – не называл никого; его (точнее, группы «Аквариум») сайт – приводит ответ А. Волохонского о том, как последний написал слова, но к тексту песне сопутствует указание: *«слова А. Волохонского и А. Хвостенко»*. Короче говоря – сам БГ не претендует. Ми-го.

Остались два поэта, два друга, оба – бывшие ленинградцы, оба уехали из СССР в 70-е: Хвостенко и Волохонский. Кто из них?

И тут надо сказать, что «Хвостенко и Волохонский» – сочетание более чем знакомое многим и многим любителям «андерграундной» поэзии моего поколения (примерно как «Каменев-Зиновьев» или «Бойль-Мариотт»). В м е с т е они написали много песен. Может, даже сто. Во многих статьях их даже упоминают на одном дыхании,

не очень-то различая, включая нечто разухабистое типа «*молодые поэты-эмигранты*» или «*господа Хвостенко и Волохонский*», и даже называя Волохонского «*другой парижский поэт*», хотя АВ, в отличие от АХ, в Париже никогда не жил. Так что, оба – авторы текста? Ах, как эффектно!

Нет. Автор текста – один. И это – не Хвостенко. Хотя бы потому, что и последний н и г д е не называет себя автором текста, а говорит «*о нашей с Волохонским песне*» (мы еще вернемся к этому термину, чтобы разъяснить оный). За последние двадцать лет вышло шесть (известных мне) сборников стихов Хвостенко – три в Париже («Басни АХВ», «Поэма эпитафий» и «Подозритель. Второй сборник Верпы»), три – в Питере («Продолжение», «Колесо времени», «Страна Деталия») и нигде он не включил туда ни «Над небом...», ни тем более «Под...» – в отличие от сборников А. Волохонского. Так что «миго» – нет, не Хвостенко. Волохонский?

И тут я, конечно, не выдержал, разыскал телефон в Тюрингене (сначала ошибся и говорил на худом английском с какой-то престарелой фрау). На телефоне – Анри Гиршевич Волохонский:

«Я услышал эту пластинку [Вавилова – З.Г.], где было написано, что это музыка – Франческо ди Милано. Ходил ее и мурлыкал. Был я тогда в подавленном настроении, так как Хвостенко, с которым мы написали много песен, уехал в Москву, а я остался в Питере. С мыслями "Как же я теперь песни буду писать?" я ходил по Питеру и зашел в мастерскую своего друга Акселя [замечательного художника Бориса Аксельрода, благословенна его память, недавно умершего в Израиле – З. Г.], и минут за 15 написал этот текст. Было это в ноябре-декабре 1972 года».

Примерно такое же изложение этой истории можно найти, например, в journal.spbu.ru/OLD/Spbum01-97/12.html. Или прочитать его интервью Галине Волчек (svoboda.org/programs/OTB/2003/OBT.072103.asp). Или, скажем, в подробном рассказе Л. Тихомирова (о котором речь еще впереди) – rock-n-roll.ru/details.php?mode=show&id=301. А если это не хватает – совсем недавно «Независимая газета» публикует (а вестевый «Магазин» перепечатывает 25.11.2004) интервью В. Алексева с самим А. Хвостенко, совершенно отчетливо произносящим: «*Текст написал Анри Волохонский*»...

Ми-го.

ГЛАВА 6, ГДЕ СЛОВО СТАНОВИТСЯ ДЕЛОМ... ИЛИ НАОБОРОТ?

Разобравшись с автором, решим еще несколько филологических проблем. Прежде всего – каков аутентичный текст песни? Открываем, например, 156ю страницу сборника «Анри Волохонский. Стихотворения» 1983, HERMITAGE USA и читаем (сохранена пунктуация автора):

Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И яркою стеной

А в городе том сад
 Все травы да цветы
 Гуляют там животные
 Невиданной красоты
 Одно как рыжий огнегривый лев
 Другое – вол, исполненный очей
 Третье – золотой орел небесный
 Чей там светел взор незабываемый
 А в небе голубом
 Горит одна звезда
 Она твоя о Ангел мой
 Она всегда твоя
 Кто любит тот любим
 Кто светел тот и свят
 Пускай ведет звезда твоя
 Дорогой в дивный сад
 Тебя там встретят огнегривый лев
 И синий вол исполненный очей
 С ними золотой орел небесный
 Чей так светел взор незабываемый

Теперь – о названии. БГ называл песню «Город». За последние 20 лет эта песня прозвучала, по моим подсчетам, примерно на 100 концертах Гребенщикова. Плюс – пластинки, кассеты, диски, передачи на радио, не говоря уж о культовом фильме (недавно узнал, что там играет родной брат моего одноклассника – но это так, к слову). Название устоялось, но... сам Волохонский назвал ее иначе – «Рай». Вообще-то хозяин (текста) – барин. Правда, в данном случае...

В данном случае речь идет о Городе, с заглавной буквы. Точнее – об образе, причем однозначном – «Небесного Иерусалима». На всякий случай я спросил А. Волохонского, и он подтвердил: *«Разумеется, я имел в виду Небесный Иерусалим. Реального Иерусалима я тогда (в 1972 г.) еще не видел».*

А как же родились другие варианты текста? Скорее всего (судя по воспоминаниям разных людей, да и просто по логике), БГ просто плохо слышал запись на кассете. Так, например, полагает Хвостенко: *«Да, подпортил текст – он ее, наверно, усвоил на слух. Слух у парня так себе – что же делать...»* (inostranets.ru/cgi-bin/materials.cgi?id=14543&chapter=20)

Впрочем, тот же Волохонский допускает и менее энтропийную версию: *«Видимо, у Гребенщикова была плохая копия [записи исполнения Хвостенко – З.Г.]. Что-то он, возможно, заменил ради музыкального благозвучия, как он его видел. А вот что касается "Над небом голубым" – мне кажется, что они опасались антирелигиозной цензуры, вот и заменили это...»*

Кстати, сам Гребенщиков в некоторых интервью не склонен вспоминать о комплименте Хвостенко (см. выше), а развивает высокоидеологическую ноту: *«И по этому поводу с Лешей Хвостенко... мы в Париже как-то раз и схватились ночью... Я же... высказывал теологическую концепцию, что царство Божие находится внутри*

нас и поэтому помещать небесный Иерусалим на небо... – бессмысленно». Сам АХ об этом споре не вспоминает. Да и непонятно, почему Гребенщиков спор о тексте ведет не с автором одного (т.е. с Волохонским)? Впрочем, это уже неинтересно.

Осталась версия, которую исполняла Е. А. Камбурова – «Над т в е р д ь ю голубой...». Меня уверяли: это – редакция Юнны Морич. И я... поверил, то есть решил проверить. Написал Юнне Петровне – и получил от нее заслуженный нагоняй. Пользуясь случаем – еще раз приношу ей свои самые искренние извинения.

Так может, сама Камбурова и является автором своей редакции текста? Оказалось (из телефонного разговора с Еленой Антоновой), что так оно и есть – см. далее.

И последнее – попутно мы отмежевались еще от одной распро- страненной легенды. А именно: почему-то многие «припоминают, что слышали эту песню то ли в 1969, то ли в 1970 г. Из приведенных выше воспоминаний Волохонского и некоторых других источников можно считать установленным: слова песни написаны примерно в конце ноября 1972 г.



Ари Волохонский. Рисунок (с фотографии) Давида Ханана.

ГЛАВА 7, В КОТОРОЙ ЕСТЬ МЕСТО И Л. Д. ЛАНДАУ, И В. СКОТТУ, И МНОГИМ ДРУГИМ

И последний вопрос, связанный с текстом: а КАК родилась песня? Не в смысле истории, а в том смысле, в котором мы когда-то писали сочинения (или память мне изменяет?), в которых надо было осветить: «что питало творческое воображение поэта»?

Когда этот вопрос был задан мне – я даже возмутился. То есть как это? Да вы что, граждане, Библии не читали? Открываем книгу Йехезкиэля (Иезекииля). В самом ее начале читаем пророчество – или видение, в котором есть и ряд "лев-вол-орел", и загадочное для русского уха выражение "исполненный очей" (*мале эйнаим* на иврите), и многое другое.

Но тут посыпались другие версии. И были у этого объективные причины. Прежде всего, название песни: *Рай* (да и *Город*) в видении, посланном Йехезкиэлю, не присутствует. Вообще, еврейская традиция не видела в пророчестве Йехезкиэля ничего райского. Увидел такое, впрочем, христианский мистик Сведенборг, – может, Волохонский его начитался?

«Да нет же, – ответил участник все того же форума на "Исрабарде" Savmas, он же... впрочем, соблюдаем тайну ников, – при чем тут Сведенборг? Скорее всего, Волохонский видел картину Анри ("Таможенника") Руссо, которая так и называется – "Рай". Посмотрите, действительно похоже». Ай-яй-яй, думаю, и не вспомнил даже...

В случае с Анри Руссо явно сработал принцип ложной памяти. Я был просто уверен, что видел такую картину, и многие мои знакомые «вспоминали»: «Точно! Есть такая!», однако в альбомах таковой картины не оказалось. Поговорив с Savmas'ом почти в реале (т.е. по телефону), пожаловался на жизнь, после чего последовала новая версия: картина Павла Филонова. Замечу, что и у Филонова ни «Рая», ни чего-то похожего не нашлось...

И уж совсем поразительную догадку высказывает поэт Герман Лукомников: а Пушкин? Что Пушкин? – спросите Вы. А я отвечаю: да кто ж не знает, что 26 июля 1826 г. великий русский поэт А. С. Пушкин написал стихотворение, начинающееся так: «Под небом голубым страны своей родной...» (см. стр. 297 во 2-м томе Полного собрания сочинений в 10 т. – Л.. «Наука», Ленингр. отделение, 1977-1979)? Практически то же начало, тот же размер и даже рифмуется!

И тут я вспомнил школьный диалог из биографии Л. Д. Ландау, написанной М. Бессараб (цитирую по памяти):

– Ландау! О чем думал Лермонтов, когда писал «Герой нашего времени»?

– На этот вопрос может ответить только один человек.

– Уж не вы ли?

– Ни в коем случае.

– Я так и думал. Кто же, в таком случае?

– Михаил Юрьевич Лермонтов.

– Садитесь, единица!

Но мы не в школе, и я решил поинтересоваться у живого классика, т. е. опять позвонил Волохонскому. Ответ: «Сведенборга читал, но не

помню, картину Руссо не видел, а о стихотворении Пушкина не слышал. Слова моей песни, разумеется, навеяны чтением Йехезкиэля».

Все? Почти. Потому что есть еще один источник, на который ссылается Л. Тихомиров: «Откровение Иоанна Богослова». Там тоже есть сходные образы, и стандартная христианская трактовка «Откровения» – Рай. Поэтому В. Глозман (уже упомянутый в начале расследования, и чьему ружью еще надлежит выстрелить в нашей драме) уверяет меня: «Песня – чисто христианская», а Е. Витковский, узнав о переводах песни на иврит, изумляется: как? Столь явно христианский текст – на иврите? (Надо полагать, основоположники христианства еще больше бы изумились самому вопросу...)

Я – ему (письменно): «Но ведь сам автор...» На что Витковский назидает: *«автор – далеко не последняя инстанция в разговоре о том, "что имелось в виду"»*. Ответ конкретной «не последней инстанции» на мой очередной запрос был таков: *«Иоанн Богослов – да, разумеется, но ведь его текст основан на Йехезкиэле, это общеизвестно. Представление об этом тексте [Йехезкиэля – З.Г.] как об изображении Рая – действительно появилось уже в раннем христианстве, когда оно еще было иудео-христианством»*.

Ну что я могу тут сказать? Про Ландау уже рассказано. Так что напомним экранизацию «Айвенго» В. Скотта, где есть следующая сцена: когда Ревекку собираются казнить – она, естественно, читает псалмы царя Давида. Один из монахов, услышав это, возмущается: «Какая наглость! Она читает НАШИ псалмы!», на что другой замечает: «Вообще говоря, до того как псалмы стали нашими – они уже были ЕЕ...»

ГЛАВА 8, ПОВЕСТВУЮЩАЯ, КАК ИСПОЛНЯЛАСЬ ПЕСНЯ

Итак, где-то в феврале 1973 года Алексей Хвостенко в Москве получил из Ленинграда от Анри Волохонского стихотворение «Рай» – причем именно как слова, написанные на музыку псевдо-Франческо. Возможно (как полагает Л. Тихомиров в rock-n-roll.ru/details.php?mode=show&id=301), Хвостенко для этого и дал послушать Волохонскому пластинку, или, скажем (это уже я так фантазировал), они просто оба ее слушали и приговаривали: «Вот бы что-нибудь такое спеть»? Нет, пластинку подарила Волохонскому «одна знакомая» (кавычки означают только цитату). Так или иначе, но уже в том же 1973 г. АХ исполняет песню «Рай», несколько переделав мелодию, услышанную им на пластинке: col.mp3sight.ru/csn.html?al=15574.

Кассеты с записью Песни стали гулять по Москве, «Над небом голубым» зажила своей жизнью – ее стали петь многие любители. В 1974 (или 75) году один из таких любителей (возможно, Г. Казовский) спел Песню Елене Камбуровой. Тогда Е. А. Камбурова достала пластинку Вавилова и стала петь ее по-своему – т. е. мелодия полностью практически соответствовала оригиналу, а текст был слегка изменен самой Е. Камбуровой – так появилось «Над твердью голубой...» Ее исполнение можно прослушать, например, здесь: bard.ru/html/Kamburova_E..htm.

Спустя несколько лет, в 1978 году, уже от Камбуровой услышал Песню известный бард В. А. Луферов. Он стал исполнять ее (по существу, камбуровский вариант, изменено только одно слово) в бардовской манере: bard.ru/cgi-bin/frameset.cgi?kind=tracks (выбрать: «Л», «Луферов», «Над твердью голубой»).

Однако мы пропустили важную страницу в истории песни. А именно: опять город Ленинград, студия «Радуга» под руководством режиссера Эрика Горошевского (тогда еще студента у Г. Товстоногова), где в 1975-76 гг. был поставлен «Сид» Корнеля. И ответственный за музыкальное сопровождение Леонид Тихомиров взял текст «Над небом голубым» и соединил его с той же мелодией с пластинки – впрочем, на этот раз, в отличие от АХ, не «подправляя» ее. Так песня и вошла в спектакль, а Тихомиров впоследствии неоднократно ее исполнял, при этом каждый раз честно называя авторов – Волохонского и ...разумеется, Франческо да Милано. К сожалению, я не смог достать записи этого исполнения – ни на каком носителе. Не знаю, сохранилась ли она вообще.

Отметим, что студия «Радуга» была очень популярна среди питерских студентов и вообще среди молодежи. По воспоминаниям того же Тихомирова, *«там оказался в полном составе "Аквариум"»*. И не просто оказался: тот же Горошевский осенью 1974 г. поставил музыкальный спектакль «Притчи графа Диффузора» – в сущности, капустник «Аквариума», в котором участвовали и БГ, и другие аквариумисты. Этот спектакль сыграл важную роль в жизни как БГ и «Аквариума» (так как был их первой профессиональной постановкой), так и для самого Горошевского: репетировали еще в университете, а после постановки «хулиганов» попросили убраться из стен ЛГУ, вследствие чего и возникла независимая театр-студия «Радуга», поначалу даже использовавшая аппаратуру «Аквариума». Да и вне студии хватало контактов – группа Тихомирова ЗА *«часто пересекалась»* с «Аквариумом», они делали совместные записи. Не была исключением (из общего сотрудничества «Аквариума» и «Радуги») и постановка «Сиды» – в частности, флейтист «Аквариума» Д. Романов («Дюша») играл в этом спектакле главную роль.

Побочный эффект этого спектакля проявился в неожиданном результате, когда в 1987 году режиссер Сергей Соловьев решил для фильма «Асса», в соответствии с новым духом времени, пригласить культового андерграунд-рокера Бориса Гребенщикова и его группу «Аквариум». Их первая же встреча чуть было не сорвалась из-за пустяковой детали: договорились где встретиться, а затем Соловьев спросил: «А как я вас узнаю?». Возникла пауза, за которой последовало ларго: «Да, такого лоха я еще не встречал!» В качестве одной из песен была предложена «Под небом голубым». Почему «под» – мы уже обсуждали. А вот мелодию Гребенщиков вел ближе к хвостенковскому варианту (хотя и существенно упростил его – zvuki.ru/T/P/276/56/5), а не к «тихомировскому» (более соответствующему пластинке). Так что, скорее всего, к этому времени БГ уже немного подзабыл Песню – так как слушал ее на спектакле Э. Горошевского, – и «освежил ее в памяти» с помощью кассеты Хвостенко.

И тут возникает неувязка. В титрах фильма авторы песни не были указаны. Никакие! Когда спрашивали музредактора фильма М. Бланк – она кивала на режиссера. Режиссер коротко отвечал: да знаю, чья это песня! Но вы же понимаете...

Честно говоря, до сих пор не понимаю. Да, в советское время с проката чуть было не сняли фильм «Берегись автомобиля», поскольку в нем была обнаружена фраза «*Корчной выиграл*». Да, вымарывали имя Феликса Канделя из титров «Ну погоди!», а про Калика или Галича и говорить нечего. Ну, был Волохонский «предателем Родины» (в Израиль уехал). Но время вроде было уже несколько иное – 1987-й год, заря перестройки! В куда менее либеральном 1976-м Э. Горошевский не побоялся указать автора (А. Волохонского) на афише! И потом – а за что пострадал (пусть даже не имевший отношения к теме) Франческо да Милано, в авторстве которого создатели фильма были уверены – Франческо, не эмигрант и даже не еврей? А если даже предположить невероятное, а именно – что С. Соловьев или М. Бланк полагали автором музыки В. Вавилова – все равно вопрос: а почему и его не вписать в титры?

Как бы там ни было – «Асса» вышел на большие экраны и стал культовым фильмом. Его смотрели... чуть было не сказал «все», потом вспомнил, что сам-то его не видел, так что сформулирую скромнее: миллионы. Песня стала чуть ли не гимном поколения – его мечты найти красоту, где есть гармония трав, цветов, животных, птиц, людей и звезд. И автором этого гимна повсеместно стал считаться БГ, пятый исполнитель песни.

Воистину – «из всех искусств для нас важнейшим является кино!»

ГЛАВА 9, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОТОРОЙ ИВРИТ – НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕВОДА

Итак, с текстом песни, его языком, вариантами и происхождением – все ясно. Интересно все-таки, что ассоциации с Иерусалимом (по крайней мере – «Небесным Иерусалимом») столь сильны, что широкое хождение получили легенды о иерусалимском же и более того – об ивритском происхождении песни: в одном месте можно, скажем, прочесть, что «*это старая (начало XX века) песня о Иерусалиме... перевод с иврита*» (v1.anekdot.ru/an/an0005/q000523.html), в другом – что «*автор песни жил в средние века в Иерусалиме... а песню эту просто перевели*» (vorota.de/Thread.AxCMS?ThreadID=491207&ThemaID=1047&Geo=2000&Period=-366&FPage=0).

И словно для того, чтобы дать оправдание «задним числом» этим легендам, песня наша является рекордсменом по числу переводов на иврит: ее переводили трижды. Насколько мне известно, есть только три другие песни, которые переводились столь же часто: «Песня о ночной Москве» («Надежды маленький оркестрик»), «Грузинская застольная» Б. Ш. Окуджавы и «Не гляди назад» Е. И. Клячкина.

Первый перевод был сделан примерно в 1991 года поэтом и общественным деятелем Володей Глозманом по просьбе певицы Ларисы Герштейн (по-видимому, именно этот факт и вписал имя В. Глозмана

в легенду о якобы найденной рукописи). Переведен был «правильный» источник – текст А. Волохонского. Этот перевод Л. Герштейн часто исполняет (уже во время завершения эссе я получил текст глозмановского перевода – надеюсь, вскорости он появится на том же сайте).

Затем в 2002 года песню перевел в прошлом бакинский, а ныне израильский бард А. Будагов (из-за попыток найти этот перевод в «Исрабарде» и началась дискуссия). На вопрос, что именно он переводил, Ануар ответил: *«частично – Гребня, частично – то, как Лужеров и Камбурова пели, частично – свое...»* Последнее замечание существенно: в структуре песни произведены довольно значительные изменения. Будагов же и спел этот перевод на «Дуговке», а послушать его исполнение можно здесь: ragimov.com/vrag/BUD/. Версия об авторстве Иегуды Галеви родилась, по-видимому (хотя я в этом не уверен), в бакинском КСП.

И наконец, летом 2004 года автор этой статьи, не знакомый с переводами В. Глозмана и А. Будагова, решил перевести – сначала текст, исполнявшийся Гребенщиковым, а после установления аутентичности – стихи Волохонского. При этом появилась проблема: как, собственно, переводить? На каком уровне иврита находятся адекватные образы? Поскольку ассоциации с Йехезкиэлем – надо бы из него и цитаты брать, или хотя бы полуцитаты. А лев? Это в русском со львами просто, а в иврите – как минимум четыре слова для обозначения этого царя зверей, и у каждого – свой оттенок. И какое слово использовал бы Йехезкиэль для города? Включать ли арамеизмы? Или может, перевести на совсем современный иврит, и дело с концом?

Муки творчества, ничего не поделаешь. А увенчались эти муки вот чем:

ראיתי במרום
זהב עוטף קרתא –
צלול כמו קרח שערה,
זוהרת חומתה.
ובקרתא – הגן
עם דשא ופרחים
הולכים שם יצורים יפים
וכל אחד – מדהים:
ראשון – הכפיר זהוב הרעמה,
מראה שני – כמו שור מלא עיניו,
ושלישי הוא נשר השמיים,
לו מבט זורח, הבלתי נשכח...

למעלה במרום
קורן כוכב אחד –
אתך הוא, המלאך שלי,
אתך לעולמי עד.
בכיר אשר בוהר!
אהוב אשר אהב!
לגן הזה יוביל אותך
לבטח הכוכב:

תפגוש בכפיר זהוב הרעמה,
 וגם בשור כחול מלא עיניו,
 ואיתם – גם נשר השמיים
 לו מבט זורח, הבלתי נשכח...

Текст этот можно найти на том же «Исрабарде», по длинному адресу israbard.net/israbard/personview.php?person_id=1051283263&page_id=songs&song_id=1171.

А если нажать там на слово «Скачать» – можно и прослушать Песню так, как она была исполнена на израильском радио (в процессе редактирования эссе автор также записал Песню на иврите в студии для диска, который собирается выпустить Марк Павис)...

ГЛАВА 10, ЦЕЛИКОМ ПОСВЯЩЕННАЯ ИСЧИСЛЕНИЮ БЕСКОНЕЧНО ИСЧЕЗАЮЩЕГО ВАВИЛОВА

А теперь вернемся к вопросу, который мы уже полагали решенным: авторство музыки. Было однозначно установлено, что таковое не принадлежит ФКдМ. Наиболее естественной выглядит версия Р. Туровского: сам В. Вавилов и сочинил. Заметим, однако, что формально не исключена и другая возможность: ноты (с пометкой «Франческо да Милано») попали как-то к Вавилову, и он искренне поверил в старинное происхождение музыки.

Такая версия показалась мне маловероятной. В самом деле, Вавилов (в отличие от автора этих строк) – не дилетант, млеющий от вида «старинных» нот. Он был известным «аутентистом» – то есть энтузиастом возрождения старинной музыки в ее оригинальной упаковке. Это что же, он не мог распознать современные гитарные ходы, не увидел, что музыка ну ничем не похожа на Франческо Канова, ну никак не могла быть написана в те времена? Ведь он же...

Но для завершения последнего необходимо было хоть что-то узнать о Владимире Вавилове. Для начала я обратился во всемогущий Интернет, но тут меня ждало крупное разочарование. Не то чтобы фамилия «Вавилов» была чрезмерно редкой, но вот как-нибудь связать ее с Песней – было затруднительно. А если я убирал «Вавилов» из поиска – на свет выплывало уже нечто совсем удивительное: например, *«музыка – слегка изменённая главная тема концерта для гобоя Доменико Чимарозы»* (forum.globalrus.ru/read.php?f=29&t=24605&i=24605). Ну при чем тут гобой, при чем тут Чимароза, у которого и под микроскопом ничего барочного не сыщешь? Хотя – приятно, конечно, что пишут грамотные люди, а не какая-нибудь там шантрапа.

Начались месяцы поисков. Труднее всего оказалось с музыковедами: на вопрос о музыке они тут же начинали мне объяснять то, что уже было известно: это – не Франческо, Вавилов всех мистифицировал. Вольно или невольно? – спрашивал я. Нет ответа. А он ли сам написал? – робкий ответ: «ну наверно, да». Затем следовало «есть такой-то, он был знаком с Вавиловым, и тот признался ему, что музыка – его». Пишем такому-то – «нет, я лично нет, но у меня есть знакомый, он сейчас где-то не знаю где, но вот вернется – он точно знал». Возвращается знакомый – «да, именно так, сам Вавилов, – я

правда, его не знал, но где-то у меня есть телефон его старинного друга». Старинный друг, естественно, в глаза не видел Вавилова, но зато рад объяснить, почему «не Франческо».

От всей этой фантазмагии у меня в какой-то момент появилась мысль: а был ли вообще такой человек, Вавилов? Вот ведь сайт «Классика» открыл форум на тему, по названию буквально совпадающую со знаменитой пластинкой: «Лютневая музыка XVI-XVII вв.» (forums.lifanovsky.com/showthread.php?t=902). На этом форуме я узнал, например, что «*V mire okolo 55-i ruskojazychnyh ljutnistov*», но только двое из них выпустили свои диски – Олег Тимофеев и Александр Суетин (впрочем, это не совсем так: мне написали, что есть еще диск Анны и Антона Бирулей). А о Вавилове – молчок!

И если Хвостенко в уже упоминавшемся интервью «Независимой газете», не моргнув глазом, утверждал: *«Неизвестно, существовал ли в XVI веке автор, Франческо ди Милано – никаких нот этого композитора не найдено»* (я не зануда, но если писать «ди Милано» – ноты, найти, действительно, трудновато), – так, может, весь Вавилов – одна мистификация? В этой истории я уже ничему не удивлюсь!

Но – долой мистику! После блужданий по интернету появляется имя: Я. Ковалевская. Еще несколько усилий – и есть телефон в Санкт-Петербурге. Звоню. На другом конце провода – один из самых известных преподавателей гитары в СССР Ядвига Ричардовна Ковалевская, много лет руководившая классом гитары в музыкальном училище им. М. Мусоргского (Ленинград), сегодня – пенсионер:

– *Володя Вавилов? Ну конечно я его прекрасно помню. И мелодии, которые он сочинял... И эту, которую он выдал за Франческо да Милано...*

И стала рассказывать, соединяя найденные мною обрывки. А затем я получил письмо от Олега Тимофеева – лютниста, по совместительству защитившему докторат по истории русской гитары. Но самый большой свет, рассеявший тьму, пришел из города-героя Тюмени!

Что вы сказали? Тюмень – не город-герой? Ну, это уже по недосмотру Президиума Верховного Совета СССР. Я не знаю, о чем они думали, но я лично считаю, что именно Тюмень заслуживает самого высокого звания. Потому что именно здесь в 1992 году был издан справочник «*Классическая гитара в России и СССР*», и в ней – пожалуйста, статья «*ВАВИЛОВ, Владимир Федорович*». Увидев статью – я вздохнул с облегчением. Вавилов нашелся! Только... он ли это?

Тут, благодаря О. Тимофееву, появляется еще одно имя: питерский специалист по всему, связанному с гитарой: Абрам Семенович Бруштейн. Он был первым в списке тех людей, который написал мне: «*Да, я знал это лично от Вавилова: он сам и написал музыку на этой пластинке*». Бруштейн подтвердил и уточнил информацию из тюменского grossбуха. Но самое главное: он написал, что дочь Вавилова до сих пор живет в его квартире на Витебском пр., 23.

Вавиловых в Санкт-Петербурге много. Но на «Витебском пр.» живет только одна подходящая кандидатура: Тамара Владимировна Вавилова. Номер найден, я звоню... и задаю один вопрос: «*ПОЧЕМУ?*».

Вообще-то к этому моменту я знал уже достаточно много о В. Ф. Вавилове. А именно:

Училище при Ленинградской консерватории, помимо прочих своих достоинств, было давно известно своим классом гитары, который вел выдающийся гитарный педагог П. Исаков (вышеупомянутая Я. Р. Ковалевская тоже, кстати, училась у него). Впрочем, преподавал он не только в училище, но и во Дворце пионеров, и в школе при училище. И там среди его учеников был такой – гитарист-семиструнник Володя Вавилов, 1925 года рождения. Он так и не поступил в музыкальное училище – хотя был исключительно способен. О способностях его говорит, например, серебряная медаль на Международном фестивале молодежи и студентов 1957 года, полученная им в дуэте с Л. Андроновым (шестьструнником) – впоследствии знаменитым гитаристом, учеником и продолжателем дела П. Исакова, профессора и т. д. Дуэт двух виртуозов был знаменит – и при этом именно Вавилов был его лидером, и играли они вавиловские же композиции! Тот же Тимофеев рассказал мне, что недавно их исполнял руководимый им ансамбль «Айова гитарс» (а где еще, по-вашему, играть ансамблю Олега Тимофеева, как не в Айове, откуда он меня и порадовал первым письмом, начинавшимся словами «Шабат шалом!») – полный восторг, замечательно!

Так что, естественно, Вавилову было мало гитарной славы. Он хотел быть композитором. Более того – он и считал себя таковым, и поскольку чувствовал недостаток формального образования – пошел учиться на курсы при Ленинградском Союзе композиторов к И. Г. Адмони (до этого преподававшему композицию и в школе при ленинградском музыкальном училище). Последний, кстати, тоже исключительная личность: начнем с того, что его практически вытащил из лагеря не кто иной, как Д. Д. Шостакович, брат его В. Г. Адмони – знаменитый переводчик Ибсена (и не только), а отец Г. Я. Адмони еще успел консультировать адвокатов на процессе И. Бродского! Но вернемся к теме...

ВВ писал песни, гитарные композиции, но ему все время хотелось большего – совершить то, чего не делали другие, и играть иначе: взять в руки лютню, возродить ее. Очень много лет спустя его бы назвали «аутентистом». Выполнил ли он свою сверхзадачу?

По правде говоря, не совсем. Даже «лютня», на которой он играл, была собственно не лютней, а «лютневой гитарой», довольно поздним музыкальным инструментом (настоящую лютню он взял в руки только в 1971 году) Публика, разумеется, на концертах этого знать не могла (как, впрочем, не понимали впоследствии этого и слушатели пластинки «Лютневая музыка 16-17 вв.»), но он-то наверняка знал! Еще сложнее обстояло дело с музыкой, которую Вавилов сочинял. Это была... ну как бы сказать... не та музыка, которую было принято ожидать от советского композитора: вроде бы классика, но почему же не для классических инструментов? И он не мог издать ничегошеньки из того, что писал (за исключением двух-трех песен) – а уж тем более нельзя было и помыслить о чем-то большем, чем издание нот. И постепенно созрела идея...

Сначала ВВ выпустил самоучитель игры на гитаре. В самоучитель он включил несколько произведений, подписанных именами известных русских гитаристов. Надо ли объяснять, что никто из этих великих гитаристов не слышал ни строчки, ему приписанной? Экспери-

мент прошел удачно, Вавилов осмелел, и стал уже на концертах исполнять свои же произведения, предваряя их звучными ренессансными именами. Публика уважительно кивала, демонстрируя свою глубокую осведомленность в барочной музыкальной культуре. И наконец... в 1968 г. на фирме «Мелодия» решили сделать пластинку (впоследствии многократно переизданную) из классики лютни эпохи Возрождения, которую вот как раз В. Вавилов и исполняет.

И он исполнил! Имя его совершенно заслуженно стоит на обложке диска, и вовсе не из-за того, что он является одним из исполнителей. «Вавилов» – единственное имя, которое и могло стоять на обложке пластинки, почти целиком составленной из его собственных сочинений или его же обработок. Пластинка мгновенно разошлась по всей стране, ее покупали рядовые любители музыки и профессиональные музыканты. Ренессанс вдруг оказался столь близким, многие мелодии столь хорошо запоминались... А одна – запомнилась всем.

Точнее – две. Потому что был еще и «Ричеркар», приписанный другому композитору той эпохи – Николо Нигрино. (Возможно, именно с ним был спутан ФКдМ в уже упоминавшемся интервью в «Магазине», т. к. от Нигрино осталась только «*Passo Mezzo In Discant*», да и биография его неизвестна. Но АХ – не первый: кое-где в Интернете автором музыки нашей Песни называется то сам Нигрино – jalkapallo.org/muzkniga/archive24.html, а то и «какой-то Нички»). Музыку эту использовало советское Центральное телевидение в серии передач, посвященной Эрмитажу: ну что еще может так идеально подойти в качестве музыкального сопровождения к полотнам средневековых мастеров, как пост-средневековая же мелодия? С тех пор и повелось на ЦТ озвучивать все как бы пост-средневековое этим псевдо-Ричеркаром псевдо-Нигрино.

Итак, все это я уже знал, когда позвонил Тамаре Владимировне. И поэтому, удостоверившись в том, что на проводе – дочь ВВ, я задал ровно один вопрос: «Почему?». Вопрос был прекрасно понят:

– Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией «Вавилов» никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии...

Итак: можно считать установленным, что автор музыки – В. Ф. Вавилов. Несмотря на то, что нет у меня автографа – нотного листа, на котором – ноты псевдо-Канцоны и сверху – «Владимир Вавилов» (признаюсь, пытался найти такой для красивого завершения расследования), – то, в чем были уверены специалисты и знавшие ВВ музыканты, представляется мне очевидным. И тогда мне хочется задать другой вопрос: а как чувствовал себя композитор, когда пластинка с его музыкой появилась чуть ли не в каждой интеллигентной семье в СССР? Можно ли считать, что благодаря фирме «Мелодия», телевидению и фильму «Асса» его мечта сбылась?

Спросить – некого. Владимир Вавилов умер... 11 марта 1973 года, от рака поджелудочной железы. Он не дожил двух месяцев до своего 46-летия. Он умер в Ленинграде примерно в те дни, когда в Москве впервые раздалось под звуки гитары: «Над небом голубым...»



Владимир Вавилов. Рисунок (с фотографии) Давида Ханана.

ГЛАВА 11, ПРОХОДЯЩАЯ БУКВАЛЬНО НАД НЕБОМ ГОЛУБЫМ

У нас остался ровно один вопрос. Тот самый, по которому спорили как-то в городе Париже БГ и АХ. Итак: «под небом голубым» или «над небом»?

То есть ответ мы уже знаем: конечно, «над», как в тексте АВ. Спор был о другом: как правильнее? Поскольку, как мы уже знаем, текст не принадлежал ни одному из участников спора, дискуссия явно носила характер теоретический. Автора (Волохонского) на дискуссию не пригласили и о результатах не уведомили. А зря, оказывается! Потому что была в истории написания песни еще одна сторона, которая много чего проясняет в тексте. И связана эта сторона с человеком, имя которого мы уже упоминали – Борис Аксельрод, он же Аксель, ленинградский художник, в мастерской которого АВ было написано стихотворение.

Впрочем, назвать его художником было бы преуменьшением. Его студия в мансарде на углу Фонтанки и Майорова была неким фантастическим центром, притягивавшим самых разнообразных людей. Причем разных – художников, музыкантов, историков, литераторов...

Общение с Акселем повлияло на многих из них роковым образом. Например, под его влиянием музыкант «Аквариума» Андрей Решетин, он же «Рюша», увлекся барочной музыкой (хотя раздумывал, не посвятить ли жизнь теоретической физике) и стал руководителем первого барочного оркестра в России. Оркестр этот связан с другим большим проектом – Академией «EARLYMUSIC», на сайте которой earlymusic.ru читаем: *«Академия носит имя художника и философа Бориса Аксельрода (AXL), мастерская которого в 1970-е и начале 1980-х являлась духовным центром андеграундной культуры Ленинграда. Именно AXL дал импульс для развития многих ныне известных музыкантов-аутентистов, в том числе и Андрея Решетина, который считает художника своим духовным отцом. Следуя его заветам, Решетин создал AXL-Академию...»* Другая знаменитость, «официальный отец» питерского аутентизма Феликс Равдоникас, пишет (earlymusic.ru/en/library/lib_ravdonikas_interview.html) об Акселе как о человеке, пробудившем в нем (Равдоникасе) веру в том, что он сможет преодолеть непреодолимые препятствия на пути возрождения старинной музыки в России.

Вы, читатель, ожидаете, что сейчас откроется: и Вавилов бывал в мансарде у Акселя? Ах, как бы это было красиво!

К сожалению – никаких свидетельств этому знакомству я не нашел. Но зато... когда проживающие в Глазго, что в далекой Шотландии, Эдуард Берсудский и Татьяна Жаковская создали сайт freespace.virgin.net/sharmanka.kinetic/clocktower/axel.htm, посвященный памяти Б. Аксельрода (он приехал в Израиль в 1982 г. и умер год назад в Твери), и обратилась за возможными воспоминаниями – пришло письмо от еще одного человека, близко знавшей Акселя в Израиле – от Лики Белоцерковской из Цфата. Лика обратила внимание на фразу из описания Волохонского *«Пришел я в мастерскую и за 15 минут написал стихотворение»*, так как, по ее словам, *«за 15 минут не пишут стихи, а записывают»*. Сопоставив это несоответствие с о рассказами Акселя о его питерской мансарде, Лика испытала, по ее словам, «литературоведческое откровение», т. к. вот что вспомнила (а АВ подтвердил, так что ниже приведена компиляция из их воспоминаний):

«В 1972 году Аксель получил заказ: сделать мозаическое панно «Небо» для Таврического сада. Мозаика делалась не из настоящей, приготовленной заранее смальты, а из керамических квадратных плиток разного цвета. Для использования в мозаике каждую плитку нужно было разрубить примерно на четыре части, иногда на шесть и до еще меньшего размера. Из этих мелких кусков уже, можно сказать, смальты, выкладывались те небесные фигуры зверей, которые ранее нарисовал Аксель. Потом все кусочки приклеивались к плотной бумаге, к отдельным кускам локтя в два длины, в один шириной, и где-то у Акселя сохранялись, с тем чтобы позднее быть перенесенными уже на цемент, площадь которого была метров тридцать.»

Здесь память подвела Волохонского – площадь панно должна была быть не 30, а... 254 квадратных метра!

Этот гигантский проект (описание которого можно найти на сайте axlent.narod.ru/Israel/Encaustic_Art.html, причем называется он там

«The Garden of Eden from Earth»!!!) длился несколько лет, но так и не был закончен. Тем временем тонны (без преувеличения) действительно голубого неба (точнее, сине-голубой смальты, которая должна была изображать небо) лежали в подвале у Акселя. А НАД ним, НАД этим голубым небом и царила та фантастическая атмосфера, где рисовались эскизы удивительных зверей, где по коридору бродила ученая ворона Радилярдус, на потолке сияли звезды, а в ванной работал аппарат омоложения. Здесь *«...библейские образы присутствовали непременно. Это вообще было характерно для Акселя. Чего стоит ответ на вопрос по телефону о том, чем он занимается? – "Отделяю воду, которая над унитазом, от воды, которая под унитазом". Это значит, что бачок протёк»* (пишет Л. Белоцерковская). Сюда и приходили отдохнуть от разбивания смальты два помощника Аксельрода – скрипач Филипп Хиршхорн и... поэт Анри Волохонский...

А на замечание о том, что за 15 минут стихотворение можно не написать, а только «записать под диктовку», АВ в письме к Т. Жаковской ответил: *«...правда и то, что под диктовку, как бы свыше. Нужно, правда, учитывать, для правдивого сопоставления, что я месяц или вроде того, бубнил эту мелодию себе под нос с подаренной пластинки "Лютневая музыка", готовясь к наиправдивейшему диктанту. Так что правда выходит многообразнее, чем себе это обычно воображают...»*

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Итак:

Автор слов – Анри (Андрей) Волохонский. Слова написаны в ноябре 1972 г. Навеяны атмосферой в мастерской Б. Аксельрода.

Автор музыки – Владимир Вавилов. Музыка написана примерно в 1967-68 гг. Более точно – определить не удалось.

Первый исполнитель – Алексей Хвостенко. Все остальные варианты исполнения генетически восходят к его, хвостенковскому, и генерируются по нехитрой формуле «услышал – и сыграл по-своему». Так что АХ имел право на фразу, которую проговаривал как-то скороговоркой: *«наша с Андрюшей Волохонским песня»*.

Вот мы и подошли к концу нашей истории – светлой и грустной. Светлой – потому что вот уже более 30 лет живет в мире Песня, у которой меняли и название, и слова, и музыку, и исполнителей (и даже язык) – а она живет, и поет ее вот уже совсем-совсем новое поколение... Счастливая судьба у песни!

А грустная – по причинам противоположным. Как-то остались в тени ее два подлинных автора. То есть поискав по Интернету – можно найти робкие упоминания о каждом из них, но чтобы вот так просто: «авторы песни – А. Волохонский и В. Вавилов» – нет такого. А в сознании народном – и вовсе тишина по их поводу... При всей разнице между судьбами композитора и поэта – есть даже какая-то удивительная параллель между их желанием «главное – чтоб услышали...»

Я не знаю, сможет ли наш маленький экскурс в историю Песни что-то изменить. На своих концертах, исполняя Песню на иврите, я называю ее подлинных авторов: Анри Волохонского и Владимира Вавилова. И

позволяю себе только одно изменение: я все-таки называю ее «Карта», что на арамейском языке (который был разговорным для пророка Йехезкиэля) означает «Город». И в качестве заставки для Песни, которая вместе со словами проецируется на экран во время исполнения, – взял фотографию Старого Города в Иерусалиме: ночью, в подсветке снизу.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЛОВАРЬ «Кто есть Кто в истории Песни»

АКСЕЛЬРОД, Борис (он же Аскель) – художник, в мастерской которого в Ленинграде было написано стихотворение А. Волохонского «Над небом голубым...».

БУДАГОВ, Ануар – автор и исполнитель второго перевода Песни на иврит.

БАВИЛОВ, Владимир (сокр. ВВ) – автор музыки Песни и первый ее исполнитель (без слов).

БАВИЛОВ, ПЕТР – интернетовский фантом-дубль В. Вавилова. В реальной жизни не бывает.

БАВИЛОВА, Тамара – дочь Владимира Вавилова.

ВОЛОХОНСКИЙ, Анри (сокр. АВ) – автор слов Песни.

ГАЛЕВИ, Йехуда – великий еврейский поэт средневековья. Жил давно. К Песне отношения не имеет.

ГЕЙЗЕЛЬ, Зезв – автор и исполнитель третьего перевода Песни на иврит.

ГЕРШТЕЙН, Лариса – исполнитель первого перевода Песни на иврит, а также автор и исполнитель многих легенд о Песне.

ГЛОЗМАН, Владимир – автор первого перевода Песни на иврит

ГОРОШЕВСКИЙ, Эрик – режиссер, поставивший в 1975-76 гг. в студии «Радуга» пьесу Корнелия «Сид», где Л. Тихомиров исполнил Песню.

ГРЕБЕНЩИКОВ, Борис (сокр. БГ) – автор третьего варианта текста Песни и ее пятый исполнитель (в фильме «Асса»).

ДРАЧИНСКИЙ, Марк – спел Песню автору данной статьи почти 30 лет тому назад.

ЙЕХЕЗКИЭЛЬ – библейский пророк. Согласно заявлению автора слов Песни, образы Йехезкиэля вдохновили его творчество. Однако более компетентные граждане считают, что автор не дорос до понимания своих стихов.

КАЛЛОШ, Шандор – советский композитор. Первым обратил внимание на мистификацию В. Вавилова.

КАМБУРОВА, Елена – певица, второй исполнитель Песни (в собственной редакции текста).

КАНОВА, Франческо да Милано (сокр. ФКдМ) – итальянский лютневый композитор XVI века. К Песне отношения не имеет, хотя ему приписывалась ее музыка. Кроме того: он не был евреем и не писал стихов.

КОВАЛЕВСКАЯ, Ядвига – преподаватель гитары в Ленинградском музыкальном училище, предоставившая автору сведения о В. Вавиллове. Непосредственного отношения к песне не имеет.

ЛУФЕРОВ, Виктор – российский бард, четвертый исполнитель Песни (в редакции Е. Камбуровой).

МОРИЦ, Юнна – поэтесса, ее называли автором одной из редакций текста Волохонского. В действительности никакого отношения к Песне не имеет.

ПУШКИН, Александр Сергеевич – русский поэт, автор стихотворения, начинающегося словами «Под небом голубым...» К Песне отношения не имеет.

РУССО, Анри («Таможеннику») – французский художник-примитивист. К Песне отношения не имеет.

СОЛОВЬЕВ, Сергей – режиссер фильма «Асса» (1987 г.), где Гребенщиков спел песню «Под небом голубым», авторы которой не были указаны в титрах.

ТАГОР, Рабиндранат – индийский поэт, имя которого как-то связывали с Песней. Непонятно – почему.

ТИМОФЕЕВ, Олег – русскоязычный лютнист, руководитель ансамбля «Айова гитарс», исполнявшего уже в XXI веке гитарные произведения ВВ.

ТИХОМИРОВ, Леонид – третий исполнитель Песни (текст канонический).

ТУРОВСКИЙ, Роман – художник и композитор, первым начал пропагандировать в Интернете факт, что Франческа Канова не является автором музыки Песни.

ФРАНЧЕСКО ДИ МИЛАНО – неправильно написанное на пластинке имя итальянского композитора Франческо Канова (см.), не имеющего отношения к музыке на этой пластинке, а к Песне – тоже.

ХВОСТЕНКО, Алексей (сокр. АХ) – редактор музыки и первый исполнитель Песни.

ШАПОРИН, Юрий – советский композитор. Написал, в частности, романс «Под небом голубым» на стихи А. С. Пушкина. Тем не менее, к Песне отношения не имеет.

ШЕПТОВИЦКИЙ, Леви – специалист по лютне. Знает все-все-все про Франческо Канова, который не имеет отношения к Песне. Как и сам Шептовицкий.

БЛАГОДАРНОСТИ:

Автор выражает горячую признательность всем, кто помог ему в работе над эссе. Не вдаваясь в подробности персонального вклада каждого из них, перечислю имена в алфавитном порядке: Лика Белоцерковская, Михаил Бейзеров, Елена Борисова, Абрам Бруштейн, Ануар Будагов, Игорь Бяльский, Тамара Вавилова, Евгений Витковский, Анри Волохонский, Ури Гершович, Лариса Герштейн, Владимир Глозман, Эрик Горошевский, Евгений Дреер, Татьяна Жаковская, Лола Казовская, Елена Камбурова, Даниэль Клугер, Ядвига Ковалевская, Александр Крупицкий, Алексей Кузьмин, Герман Лукомников, Виктор Луферов, Марина Меламед, Лев Меламид, Михаил Мовшиц, Юнна Мориц, Михаил Рыжик, Виктор Соболенко, Олег Тимофеев, Рахель Торпусман, Роман Туровский, Даниэль Фрадкин, Игорь Улов, Леви Шептовицкий, Илья Улис.

Отдельное спасибо – Интернету в целом.

Примечания:

1. В интернетовских адресах опущены приставки <http://> и www..
2. При цитировании письменных материалов сохранены орфография и пунктуация источников.

Тригорий Дикштейн

НО ЕДВА ТЫ ПОДНИМЕШЬ СМЫЧОК

«ТАНГО СОЛОВЬЯ»

или КАК Я ПОСЕТИЛ ГОРОД ДЕТСТВА

Отпустили птицу тучи... На земле, увы, не лучше:
Вонь бензина, от резины на бетонке чёрный след...
Невозможное возможно, снисходительна таможня...
За чехлом из парусины, древесине – сотня лет.
Мокрый ветер слёзы вытер, вот вагончик – высший литер,
Отстучит по рельсам счётчик: миг расплаты, отвяжись!
Всё я вытерпел и вынес... лето минус, осень минус,
На ладони, Авва Отче! моя маленькая жизнь...

Перрон... и «Танго соловья» встречает в гулком переходе,
Из всех изысканных мелодий его нутром услышал я...

Был расколот, был распорот тот послевоенный город,
Отголоском жизни вдовой, чёрных окон витражи...
Дыр фанерные заплаты, госпитальные палаты,
И лиловый суп перловый: «За стишок, пацан, держи!»
Но взрослоло и хотело ласки маленькое тело,
Где-то смерть гуляла рядом, пополняя дом сирот,
Безотцовщины проклятье, узаконило объятья,
И была девчонка рада... Пусть не вальс, и не фокстрот...

Но это «Танго соловья»! И патефон трофейный плачет,
А танго всё переиначит, но разве знал об этом я?

Сгинул китель и правитель, я иной планеты житель...
Но сегодня я отсюда! Знаю город, и меня
Узнают дома и люди, не пеняют и не судят...
Память – битая посуда, наполняется звеня:
Тот зловонный эшелонный запах, или патефонный
Стон, когда дыханью тесно у безумья на краю...
Я оплакиваю детство, лет счастливое соседство...
Хоть из слёз не шьётся песня, я крою её, крою.

И снова «Танго соловья» звучит в подземном переходе,
Из всех бесчисленных мелодий его нутром услышал я...

* * *

Борису Г.

Век прошедший, с улыбкой шакала,
Не догнал и не тронул пока,
Жизнь достойную кисти Шагала,
Чудака, твоего земляка...

И видать по велению свыше,
Холст покинув, весь день напролёт,
На асфальте, на сцене, на крыше,
Плачет скрипка твоя и поёт.

Под неё совершается действие,
Лицедейству отведенный час,
И забытое напроць еврейство,
Оживая пульсирует в нас.

Пост нелёгкок, обычаи строги,
Но едва ты поднимешь смычок,
Нет верней и нужней той дороги,
Где и племя и время течёт...

В черно-белой парадности чинной
И накинуп простой лапсердак,
Ты, царапая деку щетиной,
Мою душу разгладить мастак.

До тепла, до сверкания граней,
Разгоняя зловещую тьму...
Так что «не оставляйте стараний...»
Пел Булат, и я вторю ему...

8 ноября 2002 года

ОТГОЛОСКИ КЛАССИЧЕСКИХ СТРОЧЕК

Среди густой вселенской хмури
Взываю к разуму с тоской,
А он, мятежный, просит «дури»,
Как будто в «дури» есть покой.

Какое прошлое оставил
Стране, где пел и бытовал!
Где дядя самых честных сплавил,
Отправив на лесоповал.

Мы оттого резвей, чем паче
Охота к перемене мест,
Прочь от Канатчиковой дачи,
И унижения окрест.

От бесконечных испытаний,
Грызя стальные удила,
Не зря бежим быстрее лани,
Быстрее, чем заяц от орла.

Когда простым и нежным вздором
Ласкают дети октября,
Скажи-ка , дядя, ведь не даром
Трубят охоту егеря?

И смотрим с грустью на истоки,
Где среди двух расположен,
Белеет палец одинокий,
В кармане фигою сложен.

2004

ЭЛЕГИЯ

Листок осиновый дрожит, он помнит лето...
Срываясь, делать виражи, охоты нету.
Зима в короне и корнях тепло остудит.
Звенит в ушах, и товарняк ночами будит...

Пора унылая всегда зовёт к расплате.
А холода... Они когда бывали кстати?
Трещит ледок под каблуком, скулит собака.
И как закон: здесь из окон ни слов, ни знака.

Лишь тень чужая на стене, под шляпы фетром
По всей стране, и по спине дождейки ветром
Несёт, а он в поводырях их пил иль не пил,
Чтоб на плечах и на кудрях дымился пепел.

Не пепел это - седина... Томленье ссадин
Осадок прошлого со дна поднимет за день.
Крупницы золота и муть, слова с дурманом...
А кольца памяти сожмут за океаном.

2004

Я – ПАТРОН!

Под опавшей листвою склад мой пороховой –
Он сухой, я свинцовой клянусь головой,
Там жива ещё память о бойне...
Мать-Земля накрутила не много витков,
Пронеслось, ну от силы двенадцать годков,
Как я выпал, в чём был, из обоймы.

Той обоймы основа – старинный лицей,
Где у песни и слова единая цель
В череде длинных лет полосатых.
Ветер давней весны обжигал и трепал,
Век летел скоростным, но запал не пропал,
В той обойме из шестидесятых.

Зеленеет багровая некогда медь,
Но начинка готова ещё прогреметь,
Присмотритесь прищуренным глазом...
Худа нет без добра: эта пуля остра,
Коротка, потому что таланта сестра.
Я в обойму вернуться обязан.

Я с досадой порой говорю себе: брось!
Все мы вместе герои, но всё-таки врозь.
И свой голос, – но это от Бога...
Если песня таранит дурным ремеслом,
Она лодкой не станет, а слово – веслом
На реке под названием Тревога.

И скользить мне по трассе не гильзой пустой,
Ибо взрывоопасен, а не холостой:
Астероид, комета, звезда ли,
Или пуля... Полынь припадает к земле.
Моё место в строю, моё место в стволе,
Вороненой булатовой стали...

Беспокойной Булатовой стаи.

январь-февраль 2005

Михаил Басин

«ПЕРВЫЙ, КОТОРЫЙ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ТОНКИ...»

Мы не были близкими друзьями. Но встреча наша явно была кем-то хорошо подготовлена. То я вдруг оказывался в таком месте, откуда он только что уехал, и все вокруг, еще находясь под впечатлением, захлеб рассказывали об удивительном новосибирском человеке, поющем свои стихи тихим голосом. То он по каким-то весьма уважительным причинам не мог добраться туда, где мы оба должны были присутствовать. Однажды я даже «заменял» его на вечере в Ташкенте, когда он не смог достать билет на самолет к назначенной дате...

В конце концов мы встретились на бардовском фестивале в Томске, где-то в середине 80-х.. Мне нравились его песни, его голос, который невозможно спутать ни с чьим другим, его манера игры на гитаре – раскованная, похожая на свободно текущий ручеек со множеством мелких вариаций вокруг простой и мелодичной темы. Нравились иронически-грустные интонации его стихов:

Куда же все летит беспечно и крылато –
и облака, и листья, и зарплата?..

Или:

Трамваи подорожали –
вот и едем в подводе.
Сам себе Окуджава,
звонкий Булат мелодий.

Как-то само собой сложилось, что темами наших разговоров могло быть все что угодно, кроме быта. С Болотиным бессмысленно обсуждать бытовые темы – он моментально сникал и начинал казаться ниже ростом (а так, кажется, метра два в нем было!). Иначе обстояло дело с бытием. Он обладал даром уводить самую невинную болтовню в философские и метафизические дебри, чем пугал многих.

Его высказывания бывали неожиданными. Однажды я рассказал ему, как в Рязани, на железнодорожной станции, меня классически обдурила, можно сказать, загипнотизировала, цыганка. Да так, что я, находясь в здравом уме и твердой памяти (и, клянусь, абсолютно трезвый!) собственноручно отдал ей свои последние 40 рублей плюс чемодан с личными вещами. Далее следовало подробное повествование о том, как я без денег и без билета добирался домой в Москву. Я и раньше многим рассказывал эту историю и, в большинстве случаев, реакцией на нее был смех, иногда приправленный долей сочувствия к

ротозею. Володя Болотин, выслушав, совершенно серьезно сказал следующее: «Слушай, старик, ты хоть понимаешь, как это прекрасно, что тебе в твоём возрасте удалось сохранить достаточно наивности, чтобы верить цыганкам на слово?».

Потом он приезжал в Москву и несколько дней жил у нас дома. Мы гуляли по городу, говорили, как обычно, о высоких материях, покупали ночью водку у таксистов – существовал у них в те времена такой маленький бизнес. Мне таксисты водку продавать не хотели, почему-то подозревая во мне замаскированного мента. Болотину продавали всегда и по первому требованию.

Встречи без этикета.
Речи без транспарантов.
Вина без этикеток.
Молодость без возврата.

Мы отыграли в Москве один совместный концерт в маленьком клубе в Лефортово. Концерт на троих (третьим был Коля Якимов, композитор, аранжировщик и автор чудесных песен). Точнее, даже не концерт, а своеобразный «джем-сейшн», как выражаются джазовые музыканты. Не готовили заранее программу, почти ничего не обсуждали, а просто продолжили начатый ранее разговор посредством стихов и песен в присутствии зрителей. Игра старая и хорошо известная, да только не всегда и не со всеми получается. С Болотиным – получилось.

А потом все завертелось. Я уехал на ПМЖ в Израиль. Володя остался в Новосибирске. Он жил в Академгородке и работал в Институте ядерной физики. Прошло десять лет...

Я забыл его. Забыл, как забывают множество лиц, встреч, голосов, которые наша память без спроса запикивает на дальние свои антресоли, в темные чуланы подсознания.

В 2000 году «Иерусалимский журнал» опубликовал небольшую подборку стихов Владимира Болотина, с подзаголовком «Тексты песен». Я вспомнил, порадовался за него и... не стал читать. Просто пробежался по первым строчкам, отыскивая знакомые вещи. Почти все вещи были знакомыми...

Минуло еще пять лет. И когда пришло известие о том, что его больше нет, словно чем-то треснуло меня по голове, рычажок какой-то повернулся, и вдруг нестерпимо захотелось прочесть его стихи. Вот тут-то и ждало меня настоящее открытие. То, что я считал симпатичным, но необязательным творчеством милого интеллигентного человека, вдруг обернулось Поэзией бескомпромиссной. «Тексты песен» обернулись Стихами. В них было все, что нужно и не было ничего лишнего. Была филигранная фонетика, была многослойность, было рождение новых смыслов на обломках старых словесных клише. Был и высший пилотаж – этакая моцартианская безалаберность, легкая фривольность в обращении с родным языком, который для поэта есть божество, но не только. Иногда божество становится невыносимо выпревшим и надменным, и тогда его не грех немного

подразнить. А еще глубже – тайна, дуновение невысказанной Истины... Такие вещи невозможно изобрести или сконструировать:

Польша и полька. Апельсиновая долька.
В русском слогe иголка. Латинский меч.
Висла – не Волга, два катынских волка.
За прощеньем потомков вам розно течь.

И еще вдруг оказалось, что стихи Володи Болотина безумно хочется петь. На его же музыку. Их можно петь хором, как поют народные песни. Например так:

Может быть, может быть,
пути-дороженьки
перекрестятся, так помолимся;
Боже мой, Боже мой!
Ты поможешь нам
когда-нибудь встретиться...

А можно просто мурлыкать, стоя под душем:

Я с хозяйством натуральным
влез в ужасные долги...
Помоги мне, альма-матерь!
матерьяльно помоги!
Хоть и жить не так противно
в перестроечные дни,
мама, кооперативно,
примитивно помоги.

Он успел записать три диска своих песен. Среди них нет ни одной случайной. А сколько их всего, мне неизвестно. Говорят, около трехсот. И больше не будет... Инсульт... 50 лет... Точка.

Эти песни хочется слушать и хочется петь. Их хочется проговаривать вслух, они заучиваются как бы сами собой. Но кроме всего этого, они по праву принадлежат русской изящной словесности. Какое именно отведено для них место, я не знаю. Но верю, что это где-нибудь на том уровне, на котором уже не существует иерархии литературы и литераторов, где признание или непризнание не имеют ни малейшего значения... На том уровне, где рукописи уже не горят.

Почему я не сказал ему этого тогда, в Москве?.. Почему я все время опаздываю?..

Владимир Болотин

А СВЕТА ПУСТЬ – ИЗ ТЕМНОТЫ

ОБЩЕСТВО НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ МЫСЛИ

Солнце задело верхушки сосен
и покраснело – я, мол, нечаянно.
В комнате были я и осень,
я был один, но тут постучали:

– Здорово, приятель! Как хорошо, что ты дома.
не желаешь ли сходить к одним знакомым?
В обществе нормальных людей мысли
побудешь немного, а то совсем здесь прокиснешь...

Нехотя разжав объятия кровати,
я посетил – ну, скажем, санузел,
и много сил впустую затратив,
я галстук завязал в гордиев узел.

Вот было бы здорово, если б люди разом
с разноцветным галстуком надевали разум.
Но в обществе нормальных людей мысли
моден галстук пятнистый.
В обществе нормальных людей мысли
водку не пьют, пьют только рислинг.

К ней подошел я, и обняв за талию,
помог подняться по высокой лестнице.
Не мог же я знать, что в этой компании
вовсе не приняты такие любезности.

А я совсем-совсем не коварный,
я просто очень хотел быть галантным.
Но в обществе нормальных людей мысли
моден галстук пятнистый.
В обществе нормальных людей мысли
водку не пьют, пьют только рислинг.

Солнце задело верхушки сосен
и, как в тот раз, опять покраснело.
В комнате были я и осень.
И никому до нас не было дела.

МОЙ ПАРУСНИК

Не с горя, не с пьяной радости,
а просто устав молчать,
решил я построить парусник,
но только с чего начать?

Не пение, а терпение
спасает от немоты.
Не зрение, а озарение,
не дождь, а глоток воды.

И, пряча усмешку в бороду,
как солнце средь облаков,
на нём поплыву над городом
вне времени и богов.

Не веры мне надо, но дерево,
чтоб с небом опять на «ты»,
а парус пусть – из материи,
а свет пусть – из темноты!

Не шторм, а крови волнение,
не море, а вечный спор,
не воздух, а вдохновение,
не бог, а сосновый бор.

Не света мне надо, но ясности,
не ветра, но чтобы плыл
сквозь бури и штиль мой парусник
над черным и голубым.

* * *

Среди разных орудий казни
нестареющий интерес
вызывает благообразный
одноместный красавец-крест.

Но, в связи с перенаселеньем,
экономией древесин,
стало в мире не до веселья –
грешных много, а крест один.

Веселиться так веселиться!
Технологии суть проста:
из креста можно сделать две виселицы.
Только где взять еще Христа?

ПЕСЕНКА НОЯ

Моя любимая, дождёмся вечера.
Вода стекает с талых гор – уже по плечи нам.
Я вижу серый день, и тем, кто грешен был,
ты не завидуй – их удел не лучше прежнего.

Моя любимая, на свете столько зла:
взмахну веслом – и всё на слом, и всеу нам весна.
Но пыльный город сух, всё выше в небеса
он улетает, и несут его твои глаза...

В излучинах измученных бровей
зрачки твои – грачи под небосводом.
А мир на дне на сотни лет и лье,
как будто дождь не прекращался всю субботу.

Моя любимая, мы не изгнанники,
и день полощется, смотри, подобно знамени.
Ты видишь серый день, для нас он – белый дом,
а тем, кто выбрал мир теней – он мёртвым городом.

Моя любимая, пусть гибнет всё вокруг,
ты только солнце, опалясь, не выпусти из рук.
Но пыльный город сух. Всё выше в небеса.
Ему не страшен Божий суд и серые глаза...

В излучинах измученных бровей
зрачки твои, как два водоворота.
А мир на дне на сотни лет и лье,
как будто дождь не прекращался всю субботу.

* * *

Две осины, как косяки
у входа в лес осенний.
Их плечами холостяки
задевают по воскресеньям.
Оттого что в субботу пьют,
невзирая на бред Офелий,
крупноблочный сухой уют
разменяв на шалаш похмельный.

Дальше осени за листвой
их вот-вот заметут метели
к новоселью на Рождество,
к невеселью, на самом деле.

Две осины, как косяки
у входа в лес осенний.
Их ломают холостяки,
обнимая по воскресеньям.

Воздух воздухом пахнет вновь,
а небесное – лишь на небе.
Разве можно купить любовь,
распродав всю лесную мебель?
Две осины, как косяки
у входа в лес осенний.
К ним щеками холостяки
припадают по воскресеньям.

Думать Гамлету: пить – не пить?
Сделать вдох или сделать выдох?
Всё же главное – вход найти,
а потом уж найдётся выход.
Две осины, как косяки
У входа в лес осенний.
Здесь повеситься – пустяки,
если б не было воскресений.

* * *

Я только-только от любви, но сбит на взлёте.
Стрела настигла – «Се ля ви» – вы улыбнетесь.

Такой еще, мол, молодой, не видел жизни.
Сражен амурною стрелой, держись, дружище...

Но нет, увы! Стрела не та, хотя ажурна.
Представьте – стройка на века, а я – дежурный.

Пришел тягач-панелевоз, а на панели
любовь моя – такой курьёз – ну что с ней делать?

И я бегу сквозь сор и хлам той вечной стройки
искать, просить подъёмный кран: О, мой высокий!

Прошу поднять любовь, она достойна неба!
...Но перерыв, и даже там ушли обедать.

Безбожье, пустота и зной, и красным надпись:
«Не стой, товарищ, под стрелой – опасно!»

А я стою под ней, как раб, как на коленях:
– Любовь мою возвысь, о, кран! Жду повелений.

Стою, прошу, а шофер там сигналил: – Время!
Но неподвижен истукан – стальные нервы.

И распалённый пустотой, безмолвьем неба,
решил я сам подняться, чтоб затем – планету,

А с ней панели и любовь, и стройки века...
Вот тут он и качнул стрелой – не помню ветра...

Очнулся, выжил. Года три душа, как в гипсе.
Диагноз: «Перелом в любви и жажда жизни».

Решали, кто был виноват, штук сто комиссий...
Я сам! Я с детства был объят инфантилизмом.

Всему виной мой детский бред и детский лепет,
но в нём я больше, чем поэт,
и меньше лет, мне меньше лет, все меньше лет мне...

АНГЕЛ МОЙ

Ангел мой, что с тобой?..
Не к лицу тебе страдать.
Добротой, красотой
никого не испугать.

Ангел мой, всеблагой,
не заставил долго ждать –
взял и улетел с тобой
в те края, где благодать.

Ангел мой, золотой...
В сад не выйти без ножа.
Волчий вой, сучий рой.
Где, скажи, моя душа?

Ангел мой, громче пой...
Будет время не дышать.
И не бойся, сам герой
выйдет нас сопровождать.

А когда темнота
позовёт нас от... И вот,
будет повод, господа,
слать вдогонку перевод.

Ангел мой, Бог с тобой...
Не к лицу нам поучать.
Лучше мчаться в мир иной,
в Благодать из Благовзять.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР

Восточный ветер, восточный ветер,
странно тёплый среди зимы,
вниз летит, как под горку дети,
как снежинки, летит из тьмы.

Как вдогонку за ним несётся
весь восточный угар-дурман...
В снежных клубках он с ним дерётся,
в снежных барах, в снежных барах,
в снежных барах напившись пьян.

Ураганный угарный ветер,
словно флюгер нетерпелив,
пристаёт на сквозном проспекте
к людям, к судьбам, неволя их.

Весь в любви, как пьянчуга в снеге,
весь в крови, как бывшая страсть,
он не просит причудных денег,
он скорее, он скорее,
он скорее всё сам отдаст.

Только кто-нибудь из прохожих,
кто хоть раз не себя любил,
вдруг обнял бы его до дрожи
и чуть-чуть бы поговорил.

Восточный ветер, восточный ветер,
странно тёплый среди зимы,
вниз летит, как под горку дети,
как снежинки, как дружинник,
как ментовка, летит из тьмы.

Михаил Копелович
ОН ЧЕЛОВЕК БЫЛ
В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

8 мая 2005 года в Москве умер Юрий Владимирович Шарков-Соллертинский. Умер за три месяца до своего девяностолетия.

Многие стихи Ю. В. посвящены войне – ему довелось участвовать в трёх войнах подряд: в той, незначительной – финской, в Великой Отечественной и даже в последней кампании второй мировой – японской. Но прежде, чем перейти к стихотворству – одному из главных занятий этого человека в его долгой и плодотворной жизни (а для меня оно и вовсе главнейшее, поскольку именно оно познакомило и сдружило нас), упомяну другие профессии и ремёсла, в коих Ю. В. достойно проявил свою многостороннюю творческую натуру.

По специальности Ю. В. был геологом (на войне – картографом и артиллеристом). Исколесил вдоль и поперёк Россию и то, что нынче принято называть «ближним зарубежьем», а также Монголию, где Ю. В. искал свои камни в пустыне Гоби.

Первое стихотворение, которое Ю. В. считал *настоящим*, он написал в 1939 году. В этом тексте Осень (пишу с заглавной буквы, ибо это время года принято прославлять со времён Пушкина) сравнивается с цыганкой «в багряном платье и серьгах». Приведу концовку этого замечательно картинного стихотворения:

И вдруг исчезла в вихре мгlistом,
Взмахнув оранжевым платком,
Роня звонкое монисто
Над замерзающим прудом.

Свои стихи Ю. В. показывал И. Г. Эренбургу – ещё в годы войны (получив, как он рассказывал, десятидневный отпуск из действующей армии после прорыва блокады Ленинграда – «за отличную стрельбу»), и тот нашёл, что в них есть искра Божья.

Геологию Ю. В. не бросал аж до 1983 года; не бросил бы и дальше. Но... семья младшей дочери Шарковых подала заявление на выезд в Израиль, и Ю. В. был отправлен на пенсию. Обладая, однако, характером на редкость непоседливым, Ю. В., так сказать, удалился в лес: стал лесником. Лес же, известное дело, – место не менее, а может быть, и более волшебное, чем пустыня, и там Ю. В. освоил ещё одну профессию, которую именуют по-разному: кто – резьбой по дереву, кто – деревянной скульптурой.

В 1992 году Шарковы приехали в Израиль, к дочери и внукам. (В Москве оставались два старших сына со своими семьями.) Поселились в Иудейской пустыне, в Маале-Адумим. Тут мы и познакомились.

Ю. В. дал мне почитать ворох стихов, по большей части пребывавших в хаотическом беспорядке, и подарил первую свою книгу «Боча-

ги», изданную в 1990 году в Боровичах (с валдайско-новгородскими краями Ю. В. был также многие годы связан по жизни).

И в лучших, и в нелучших текстах Ю. В. ясно обозначился его человеческий (высокой пробы) и поэтический (чистый, как Кастальский ключ) характер.

Когда в 2000 году в Иерусалиме вышла четвёртая (и последняя) книга стихов Ю. В. – «Долгое мгновение», в своей рецензии я писал:

«Адресовано ли обращение к родным местам поэта (валдайская земля), ко всей ли России, или, может быть, ко всей Земле, выраженное в стихах чувство есть в точном смысле молитвенное. Ибо оно сочетает благоговение перед всем сущим и страх за его, сущего, хрупкость. Две эти ноты суть скрепы, на коих держится поэтический мир Юрия Шаркова. Это «аз» и «буки» его певческого алфавита. С них он начал. И хотя в последующие годы его поэтическая «копилка» наполнилась и другими мотивами, включая любовные и гражданские, возвращался он к лесам земли, и к её просёлкам, и к сединам камней, и к произрастающей на земле зелени, и к зверям лесным, и к птицам небесным».

Два слова о «звериных», «птичьих» и прочих скульптурах Ю. В. Может быть, в глазах посвящённых мне повредит признание, что из всех материалов для скульптуры я предпочитаю дерево, живое и тёплое в противоположность металлу и камню. Именно поэтому скульптурные произведения Ю. В., то величественные и патетичные, то немножко пародийные, вызвали в моей душе восторг и влечение, род недуга. Я даже грешным делом посвятил одной из скульптур – монументальному «строгому» льву весом в полтонны – шуточный стишок, где сравнил шарковского льва с Львом Толстым.

Закончу своим стихотворением 1994 года, адресованным Ю. В.:

Вот русский человек. Смотрите на него.
Учитесь у него искусству жить на свете.
Не стану говорить о нём как о поэте,
а только лишь как о конкретности живой.
Вот в двух шагах от вас стоит он, стройный, крепкий,
с улыбкой на устах, с задорным блеском глаз.
И все сомненья прочь! Он принимает вас,
душою не кривя, не думая о предках –
ни ваших, ни своих – и вовсе ни о чём,
стороннем и чужом сейчасному дуэту.
Да, не пристало злым быть русскому поэту,
но я ведь не про то. Я знаю, что плечом –
своим плечом, к труду и тяжести привычным,
меня не оттолкнёт – поддержит, подсобит.
Ему не важно, кто я – русский или жид,
а важно, что сосед по жизни горемычной.
Вот русский человек. К нему питаю я
весёлое сродство и жаркое доверье.
Такое не скажу про каждого еврея.
Свой человек важнее, чем партия своя!

Да покоится с миром его большая прекрасная душа!

НОВЫЕ ВОРОТА

Анатолий ДОБРОВИЧ. «Монолог» [стихи] – Тель-Авив, авторское издание, 2000; «Линия прибора» [стихи разных лет] – Иерусалим, «VERBA Publishers», 2003.

Книги стихов Анатолия Добровича для меня стали чаемым берегом. Глубина пространства пяти творческих десятилетий. Драматичная, светлая, ироничная, умная (лаборатория мысли) эта поэзия требует долгого освоения. Но одним она забирает сразу – пронзительностью особой душевности. Понимаю, у каждого, кто знает поэзию А. Добровича, сложилось (есть к чему пристраститься) любимое, ключевое. Для меня (не в умаление остальному) «Вальс для Яськи» – запавшая клавиша щемящего переживания.

Видишь влюбленных, Яська: их откормили.
Видишь, как строят глазки автомобили.
Падают на пол злые дети,
вся их душа теперь в конфете, –
может быть, мы избегнем, Яська, может избегнем.

Пересиливаю желание цитировать полностью. На контрасте уже состоявшегося события, возвращаюсь мысленно к моменту знакомства – прорыву к подлинности.

Помните испытание, затеянное Кощеем? Стоит шеренга царевен, все, так сказать, на одно лицо, а Иванушка (дурачок или умный) меж подобий должен признать настоящую. Такая вот аналогия. Все, что может подлинная поэзия в ряду таковой по видимости – это быть подлинной. Остальное – проблема узнавания. В фольклорном наиве вроде бы пчелка помогла, села на щеку настоящей царевны. Где в поэзии подсказывающая «пчелка», объективное нечто, отличающее безусловное? Профнормативность (феномен нашего времени) столь высока и тиражируема, что стала буфером, зоной хаоса, девальвирующим заслоном, через какой импульсу подлинности отчаянно тяжело заявиться или же быть востребованным.

На случайной странице открываю книгу стихотворений. Нечто вроде (без такой установки) момента истины, «тестирования» на слово. Это не значит, ежели что «не так», тут же и брошу. Речь об исходной видения, точке глядения – буду ли смотреть «из стихов» или же «на стихи». «Из стихов» – в единственном случае, а именно, совпадения слова с «вещью», сказал – и стало. Такую данность можно назвать (ассоциация понятна) «творящим именованием». До всего – смысла, образных преломлений, формо-фактуры. Смотрю «из стихов» по факту «вещного» соучастия. Как достигается сей эффект? Эффект ли? Достигался ли автором? Нет. Ни то, ни другое. То есть, то и другое – после, как «обустроенность», а вначале – «чем» обустроено. О поэзии, из которой смотрю, о поэтах, с какими совпал видением, могу, припоминая, сказать – «вначале было слово». Так говорю о стихах Анатолия Добровича.

Вот он, момент истины – узнавания «слова», разумного, т.е. светлого (мыслящего самое себя).

Осень, осень, детства отголосок
из тоннелей парковых аллей.
Тонут скамьи в лиственных заносах.
Медь платанов. Замша тополей.
Горький дым от ворохов и копен...

«Осень», – сказалось, и – стала «Осень». Именно та, какая увидится во второй, третьей строке. Феномен «творящего именования», если хотите, в обратной последовательности раскрытия зримостей. Осень может быть разной: ранней, поздней, дождливой, всякой. Как сотворилась названностью грустно благодатная золотистость? Не знаю. Повторяется слово, а данность – уже другая. Первая – осень собственно. Вторая – «осень» воспоминания. Стиховая подлинность сравнима с магнитом, притягивает частицы выразительно-значимых субстанций. Строится всем – от графики букв до звукописи. Вот пример. Первая – «Осень», вторая – «осень». С прописной и строчной. Даже это рисует. Первая – передо мной, «крупным планом» буквальности, вторая уменьшилась, отдалилась, видится в перспективе – тоже буквальной и вместе – мысленной, возвращающей невозвратное. Сотворилась и тут же подтвердилась последующим, содержательным двуединством – далью воспоминаний и далью парка.

Осень, осень, детства отголосок
из тоннелей парковых аллей.

Инверсия «детства отголосок» по реальности безусловна. «Детства» – вначале, пропущено – «моего». Не пропущено, совместились, воткалось в соткавшуюся отдельность – «солярис» памяти с вещно-щемящим фантомом жизни. Возник и объяснился «из тоннелей парковых аллей» «отголоском» (на него переместился луч) детской возни. «Помнить» уменьшилось до «напомнить», до – детишек в парковой глубине, таких же, как «я» когда-то, до – как будто «сам» среди них. Прошлое с настоящим, две ипостаси парка, две дали, два плана выражены друг другом в уловимо-неуловимом взаимоуступлении образов.

Тонут скамьи в лиственных заносах.
Медь платанов. Замша тополей.
Горький дым от ворохов и копен.

Согласитесь, буквальность оптического эффекта. Видение навелось на резкость – смотрение из «сейчас» и «здесь». Это – возвращение в «Осень», пристальность, одухотворенная грустью. Задерживаешься на каждом слове, забирающем в собственное пространство, в космос приближенной «вещности». «Тонут» – пауза погружения, «путешествие в слово» (Мандельштам – о поэзии), «скамьи» – пауза, успеваешь в остановленном произнесении «опустить» ударение на «и» (нормативно – и так, и так) и снова «поднять» на «а» (спинку скамьи, скульптурно возвышенную ударением). Ну конечно, сиденья «тонут» (нижнее «и»), утоплены в «лиственных заносах» – пауза. Рассматриваешь опадающую, нет – опадающую листву, потому что смотрение переносится на «источник» добавляющегося слоя – «Медь платанов». «Медь» – промельк видения, акцентная пауза на «платанах». «Металличностью» звука и

образа различена, выявлена телесность (плоть) стволов (тоже в звукописи именованная). Выделенность «платанов» навевает что-то еще. Доподку. Их присутствие не «само собой». Это – взор-возвращение оттуда, где они не растут. В подтверждение – «Замша тополей». «Замша» («смотреть») перешедшее в «присмотреться»), замшевая изнанка листьев, в ритмическом, соответственно, аллитеративном фокусе, «м-ш» материализовалось в звуко-фактуру на фоне (не более) «тополей», видящихся периферийным зрением. Взгляд, поднятый к кронам (привлечен опаданием), снова уловлен (достоверность слившегося с природой смотрения) «горьким дымом» и переведен (как прежде) к «источнику» – «...дым // от ворохов и копен». Опять перекачиваю ударение «вóрохов»-«ворохóв», правильно – как понравится, к тому же ритмически вариативно (в «ска́мьях» было метрически однозначно). Подвижность произнесения – подвижность лиственных «ворохов» и – неподвижность (закрепленное ударение) зримо массивных «копен».

Смена планов, приближение-удаление, остановленность в поле зрения, «выставление резкости» – добавляющий выразительность оптический обертон объясняется (в обратной последовательности) должной метафорой, непредсказуемо-обязательной, то есть, не вызвана предыдущим, но его проясняет в новой определенности.

Ко глазам аллею, как трубу,
поднеси – увидишь бег полосок.

Стоп! Зрительная труба. Где-то в начале есть, присутствует. Пробег узнавания. Во второй строке. Так и увиделись «тоннели» аллеи – секциями трубы (как бы со стороны и – глядя в нее), неуловимо-точно. Возвращаюсь в проявленную «предметность» дивной метафоры.

Ко глазам аллею, как трубу,
поднеси – увидишь бег полосок.

Подумалось, предпочтительней – «к». Нет. Нежелательная рефлексия тут же оказывается «творящей». Выразительность «о» притянулась «магнитом» подлинности, «овеществившись» (ощущение реальности действия) в изобразительную деталь – кружок окуляра. И – «бег полосок» (достоверность ищущего смотрения). Око трубы, прозревающее в гадательной укрупненности:

Это спицы светятся в колёсах?
Или у детей светловолосых
тень волос колышится на лбу?

«Погоди, – слышу вопрос, – возможно ли, в самом деле, всё связать, учесть, предуготовить. Мог ли поэт предвидеть и запрограммировать выразительное единство стольких как будто случайных разностей? Не твоя ли это интерпретирующая фантазия?». Я готов ответить. «Сконструировать» целостность поэтической многозначности, действительно, невозможно. Стиховая подлинность (потому и сравнил с «магнитом») – это среда раскрытия жизненных «множеств» в выразительно-«вещной» общности. В «магнитном поле» поэтической достоверности (где таковое есть) содержательность (эстетическая, смысло-

вая), в данном стихотворении – драма воспоминаний, навалившаяся «громадой осени», «самоорганизуясь» (суть поэтическое мышление), узнается ретроактивно. Складывающийся «рисунок» достоверной строки, строфы, целого (в нашем примере – от южной осени до реальности севера) не боится укрупняющей пристальности. «Увеличительное стекло», поднесенное к настоящей вещи, выявит новые связи, значимости, проницания. Кратность «линзы» – кратность обогащения. Подлинность не имеет рамок, не ограничена глубиной. Творимое и творящее медитативное пространство. Пристальности боится подобие. Рассыпается, поднесенное (ближе дозволенного) к глазам. Выдает (и только) хаос несоответствий.

Для эссе о поэте мало погрузиться в живую «вещность» выбранных строк (здесь – из стихотворения «Возвращение»). О поэтическом творчестве Анатолия Добровича существуют развернутые статьи. Там рассказано. Я же хотел восполнить пробел. Предъявить буквальность переживания. Цель этих записок – поделиться радостью прямотечения, описать момент узнавания творящего слова.

А теперь полностью приведу выбранное стихотворение:

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Осень, осень, детства отголосок
из тоннелей парковых аллей.
Тонут скамьи в лиственных заносах.
Медь платанов. Замша тополей.
Горький дым от ворохов и копен.
Сладкий запах холода в тени.
Осень, вкус арахиса и кофе,
дымные и солнечные дни!

Ко глазам аллею, как трубу,
поднеси – увидишь бег полосок.
Это спицы светятся в колёсах?
Или у детей светловолосых
тень волос колышется на лбу? –
Это клёны задают вопросы
то себе, то небу. Это осень
по ладоням смотрит на судьбу.

Шорох, шорох, шорох под ногами.
Здесь мы с папой в шахматы играли...
На глазах у клёнов жгут листву.

Я уеду, я вернусь в Москву!
Больше трогать этого не надо,
дай пощады, осени громада,
я давно на севере живу.

Валерий Слуцкий

Эли КОРМАН. «Зачем горят рукописи». – Иерусалим, авторское издание, 2004.

Несколько лет назад я обнаружил сборник, отмеченный подлинным талантом, профессионализмом, вкусом «Коли мы големы» Эли Кормана и удивился, что это первая книга поэта – настолько была она самостоятельна и оригинальна.

Антеннова пляска Виттова,
Судорога стенная –
Это меня, забытого,
Весть позвала с Синая.

Удар звуковой распахивает
Вовнутрь мое оконце –
И это моей евстахиевой
Привет от иерихонской.

Корман признавал, что из-за известной сложности своей образной системы на широкого читателя ему рассчитывать не приходится, но решительно гнул свою линию, стремясь к благородному лаконизму, эмоциональной и смысловой насыщенности.

Говорю об этом в прошедшем времени, потому что в последнее время Эли стихов не пишет. Зато в журнале «22» регулярно публикуются его литературоведческие изыскания. С одной стороны, конечно, жаль. Читатели, признавшие и полюбившие Кормана-поэта, разумеется, ждали от него новых стихов. Но с другой – они получили возможность встретиться с новым Корманом – проницательным и парадоксальным исследователем Достоевского, Булгакова, Кафки. И вот его журнальные публикации теперь собраны в книгу.

Не откажу себе в удовольствии процитировать начало книги:

«Пассажир ночного автобуса смотрит в окно. Он видит огни, прохожих, стены с вывесками. И это значит, что окно – прозрачно.

Но он видит и себя, видит салон автобуса, видит других пассажиров, видит, наконец, противоположное окно, а в нем – огни, стены с вывесками, прохожие... И это значит, что окно – зеркально.

Но если он смотрит внимательно, он видит царапину на стекле, налет грязи, застывший пузырек воздуха, он может оценить толщину стекла и его крепость.

Литература подобна стеклу автобуса. Через нее можно познавать внешний мир (прозрачность), а можно себя (зеркальность). И еще при желании можно познавать внутреннее строение самой литературы».

По образованию Эли математик. Преподавал сей непростой предмет в вузах, занимался также прикладной математикой и программированием. При чем тут литературоведение? Еще, чего доброго, примется поверять алгеброй гармонию! Но творческий процесс действительно сопряжен для писателя с решением ряда художественных задач, а решая, можно и ошибиться. Между тем каждое решение должно быть не только верным, но и единственно верным! Каким образом

это достигается? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо не только как бы оказаться в творческой лаборатории мастера, но и всерьез задуматься о неких силах, метафизических в своей основе, направляющих его перо.

Корман, исходя из того, что «русская классическая литература пестрит прочерками, отточиями, звездочками, сокращениями и прочими следами цензуры» – не охранительной государственной, но авторской, вводит понятие цензурирующего или хронотопического сознания – ХС-сознания высокого уровня. Оно подвергает цензуре тексты, принадлежащие героям-персонажам, героям-рассказчикам, а также способствует взаимовлиянию хронотопических объектов друг на друга, то есть выстраивает сюжеты (каналы влияния).

«Разве можно жить с фамилией Фердыщенко?» – спрашивает Фердыщенко князя. Жить можно, но, нося шутовскую фамилию, приходится и самому быть шутом. А сам князь? Разве случайно, что он «идиот» и эпилептик? Нет, в этом виноваты его имя и фамилия, образующие недопустимый оксюморон: Лев Мышкин. Настасью Филипповну должны непременно резать, ибо ее фамилия – Барашкова. Имя Лиза – с легкой или нелегкой руки Карамзина – стало жертвенным. Толпа забивает насмерть Лизаветту Николаевну («Бесы»), умирают Лиза Тусоцкая («Вечный муж») и Лизавета Смердящая, Лизавета-торговка погибает от ударов топора и т. д.

«Слово “раскол”, – пишет Корман, – определило выбор орудия преступления: топор. Кого же убьет Раскольников? Конечно, Лизавету. Причем убьет ударом раскола, то есть лезвием, а не обухом. Но для убийства Лизаветы приходится выстроить целый сюжет: у Лизаветы, видите ли, есть сестра, злая и вредная старушонка «и, сверх того, процентщица» Что, этого мало для убийства? Ну, пусть тогда у Раскольникова мать и сестра будут в отчаянном положении. Мало? Ну, пусть еще будет теория, позволяющая единичное злодейство ради последующих добрых дел.

Шутки в сторону. Мы, конечно, не можем утверждать, что замысел романа формировался именно таким образом. Но мы настаиваем на ошибочности традиционного толкования: мол, Раскольников шел убивать старуху, а Лизавета случайно подвернулась. Точнее, не на ошибочности, а на недостаточности. Да, на бытовом уровне все так и было. Но на глубинном, метафизическом уровне, где властвует ХС, все было наоборот: Раскольников шел убивать Лизавету, а старуха была приманкой, живцом. Вот почему он ее так ненавидит: «Ни за что, ни за что не прошу старушонке!»

Почему Воланд, будучи свидетелем тех событий, о которых впоследствии напишет Мастер, уклоняется от возможности создания собственного романа? Да потому, что он не обладает литературным даром! Написать «Евангелие от Воланда», считает Корман, «ему было не под силу». А зачем вообще нужен Воланду этот роман? Чтобы восстановить истину, искаженную Евангелиями, монополизовавшими право возвещать ее, и нанести удар по воинствующему атеизму, господствующему в государстве рабочих и крестьян (как раз поэтому он вместе со своей свитой прибывает именно в Москву). А

также – по христианству в его православной ипостаси. Стало быть, не случайно время визита: он пришелся на Страстную неделю, совпавшую с Первомайскими празднествами.

«Рукописи не горят» – выражение, ставшее крылатым. Сгоревшая рукопись романа, казалось бы, восстанавливается. Увы, замечает Корман, восстанавливается, но не полностью. «Если у читателя возникают вопросы: «Почему вставной роман дается фрагментами»? «Почему у него нет названия?», то подсказывается ответ: потому, что он был сожжен. Сожжение – это ширма, за которой прячется структурное сознание»

Главы вставного романа соседствуют с рассказом Воланда («Понтий Пилат»), глава «Казнь» вообще написана неизвестно кем (повествователем?). Для чего это делается? Зачем горят рукописи? «Рукописи горят, ветшают, пересказываются дословно или «близко к тексту» и претерпевают прочие неприятности и метаморфозы, чтобы в конце концов принять «вид, удобный для логарифмирования», то есть для погружения в объемлющий текст. Умирают, чтобы возродиться».

Любое исследование предполагает пристальное внимание к деталям, что успешно демонстрирует Корман, давая представление читателю о том, например, как выглядит клиника Стравинского, куда летит Маргарита, в чем смысл нумерологии Булгакова, напоминающей гематрию, как Воланд готовил свой визит в Москву, заранее «консервируя» и оберегая Мастера и Маргариту, призванных обеспечить успех его предприятию и т. д.

Зачастую выводы, делаемые Корманом, спорны, но призванные опровергнуть стереотипы, всегда интересны.

Возьмем, к примеру, линию Дуня-Свидригайлов. Считается, что Свидригайлов – отпетый злодей, а Лиза – невинная жертва. Как бы не так! «...Истина в том, что между Дуней и Свидригайловым был роман – платонический, разумеется, но серьезный. Особенность его в том, что он неправильно воспринимался обеими сторонами. Дуня в силу неопытности, идеализма и «ужасной, неслыханной и невиданной» целомудренности вообще не понимала, что имеет место роман. Свидригайлов, конечно, понимал больше, понимал даже, что с его стороны – любовь, но, будучи человеком циничным и развращенным, не понимал, насколько это серьезно». А негативно-ошибочный взгляд на Свидригайлова проистекает из того, что читатель в этом смысле наивно следует за Раскольниковым.

Александр Воронель заметил, что Эли Корман «умеет вернуть читателю то настроение полной заморозки литературными образами», которое возникает у него при первом чтении гениальных творений. И заставляет его продолжить общение с их героями, как с живыми людьми, и открыть для себя «все новые и новые тайные смыслы в знакомых ему сценах и событиях».

За последние несколько десятилетий многие попытки развенчать укоренившиеся в массовом сознании стереотипы, приводили к неоспоримым успехам. Галина Волчек, например, в спектакле «Современника» «На дне» сделала упор не на красноту и фразера Сатина, а на «утешителя» Луку, роль которого гениально исполнил Евстигнеев.

Борис Голлер талантливо убедил многих, что не Чацкий, а Софья – центральная фигура пьесы Грибоедова. А Георгий Товстоногов, анализируя всегдашний неуспех чеховской «Чайки», пришел к выводу, что трагедия Треплева и Нины Заречной в том, что они элементарно бездарны, и мечтал поставить «Чайку», подчеркнув в спектакле талантливость Тригорина и Аркадиной. Жаль, что не успел.

Будем надеяться, что у Эли Кормана в этом смысле все впереди.

Марк Вейцман

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Книга ожидания» [стихи] – Иерусалим, авторское издание, 2004.

В новой книге Евгении дизайн (чёрно-белые фотографии Евгения Фельдмана) абсолютно совпал с медленными строчками, произносившимися чуть отстранённым сухим голосом, напряжённо вслушивающимся в собственное звучание. В своё время понравилась мне очень беззащитностью, даже детскостью чувств первая книга Завельской «Праздник новорождённых» (1996). Полюбившиеся стихи помню до сих пор:

Приходим на сумрачные поля неба.

Боже, поцелуй в выпуклые лбы.

Дожди.

Осунулись стебли.

Гуляют тёмные лошадки.

И еще:

Листал книгу бытия, не умея читать.

Пел у ворот хриплые песенки, не имея голоса.

Теперь ты встречаешь меня и смотришь вопрошающе?

Да все мы листаем Книгу Бытия, не умея читать...

А вот вызывающее улыбку:

Моя жизнь мне по колено...

Потом у Евгении было ещё три книги, о каждой из которых стоит говорить отдельно. И, наконец, «Книга ожидания», которую на самом деле можно определить как книгу Надежды. Ещё ничего не случилось, ещё всё по-прежнему, но есть радостная уверенность, что произойдет перелом! Будет другое – буря, грозы, ветер, бесшабашность, но кончается мёртвое затишье и неподвижность.

Я ухожу на восток осенним ливнем

лаская его жёлтый лик тысячу его жёлтых ликов

Пляски голых на голых камнях

И я пляшу вместе с ними

Я ухожу на запад стаяй галочьих криков

Кружу над его головою над тысячью несклонённых голов

Ушедшие раньше меня окликают меня смеясь...

Книга не однородна. Автор то и дело срывается в отчаяние, в иссушающий страх:

Душа превозмогала вёрсты бездорожья
Бездорожье превозмогало душу...

Но с каждым стихотворением, с каждой перевёрнутой страницей ощущаешь, как у поэта крепнет уверенность в правильности выбора:

Ты выбрала из тысячи камней имя цапля
Теперь оно колотится под твоей левой лопаткой
Все утро этого мира гремели огромные белые крылья
Ликовал в облаках сердолик ока...

Что же ищет поэт?

Побеждая тысячи вёрст бездорожья
Я искал то что всегда было моим...

Чего боится?

не в пустыне но сам пустыня...

А теперь несколько светлых строк:

за белыми туманами за буковыми рощами обнимемся
помнишь хотели вкусить соль белого света
водою скатились по собственным скулам
помнишь тяжелы были наши лона
и легки отпуская голую рощу птичью стаю
склонную к движению за рощу в реку
отпечаток не прощального поцелуя и сего дня на губах тлеет

Новых стихов поэту. И новых книг.

Леонид Левинзон

«Римон». Альманах Литературного клуба Реховота. Выпуск II. [Составители А. Злотникова, Л. Юниверг]. – Иерусалим – «Филобиблон», 2004.

Русскоязычная литературная сцена Израиля переживает подъем, о чем, в том числе, свидетельствует изобилие толстых литературно-художественных журналов и альманахов. Многолетняя монополия журнала «22» превратилась в факт прошлого. Преодолевая немалые материальные трудности, успешно выживают такие серьезные издания как «Иерусалимский журнал», «Время искать», «Зеркало», «Солнечное сплетение» и недавно присоединившийся к этой когорте «Нота бене». Заметным явлением стали и два альманаха «Литературный Иерусалим» (1996 и 2004). На страницах этих журналов и альманахов печатаются произведения писателей, сделавших бы честь лучшим толстым журна-

лам России: прозаики А. Гольдштейн, Е. Игнатова, Г. Канович, Э. Люксембург, Д. Рубина, Е. Толстая, В. Фромер, С. Шенбрунн, поэты Е. Аксельрод, Н. Басовский, Б. Камянов, С. Погреб, В. Френкель и многие другие, назвать которых невозможно просто за неимением места. И, как во всякой настоящей литературной жизни, возникают новые имена: например, поэт Михаил Зив, прозаик Марина Меламед...

На фоне этой богатой, разносторонней и талантливой продукции стали появляться сборники, где печатаются, в основном, литераторы, что называется непрофессиональные... К изданию последнего типа принадлежит и альманах, собранный Литературным клубом Реховота. Ближе всего к «Римону» альманах «Ришон», выпущенный под редакцией Геннадия Седова в Ришон ле-Ционе в 2000 году. «Римон» и «Ришон» схожи по жанру, формату, объему (около 200 стр.) и «смешанному» составу участников. В «Римоне» из девятнадцати авторов только три профессиональных литератора (Аида Злотникова – журналист и исследователь творчества М. Цветаевой; Шошана Левит – детская писательница и художник; Александр Панин – журналист), и в «Ришоне» из двенадцати авторов их тоже трое (поэт Наум Басовский, прозаик и драматург Геннадий Седов, журналист и поэт Владимир Добин).

Что заставляет взяться за нелегкий труд литератора людей разного возраста и разных профессий?

Перечитывая «Римон», я нашла ответ, как мне кажется, в стихотворении «Я живу на Востоке...», принадлежащем Александру Ростраму: *«Ощущение жизни, спокойно пульсирующей где-то. / Ощущение жизни, как бы текущей мимо, скользящей вверх, вдалеке, как беркут над минаретом...»* Литературное творчество помогает людям преодолеть чувство отторжения землей, открытой внешнему зрению, но экзистенциально непонятной и далекой. Оно же помогает обжиться и найти собственный ключ к новой реальности.

Александр – выпускник актерского отделения С.-Петербургской Академии театра музыки и кинематографии. Его впервые опубликованная подборка стихотворений, представленная в «Римоне», производит серьезное впечатление и, на мой взгляд, предвещает появление нового самобытного поэта.

Судя по подборке из 14 стихотворений, один из любимых образов Рострама – облака. Вот один из примеров: *«По дну немеющих небес / где облака висят как лес / растущий сверху вниз над театральным залом, / где северное море спит, отбросив одеяло льда...»*. Образы природы у Рострама звонки и прозрачны до кристальности. И такой же ясный, сдержанный, отфильтрованный взгляд на себя, на мир, как в стихотворении «Ноябрьский вечер»: *«Ветренен, млечен, ритмичен, / чуть прохладен, прозрачен, сер, / и, казалось бы, не ограничен, геометрией сфер, // это воздух пронизан иголками, / и вдыхающий синеву, / выдыхая думает: «Только бы / догадаться, зачем живу!»*

Стихи Галины Каган, в отличие от поэзии Рострама, открыто эмоциональны, ее душевные пожары непосредственно выплескиваются в рифмы. Это – лирический дневник героини, щедростью и богатством души преодолевающей подчас нелегкие жизненные ситуации: *Ах,*

одиночество вдвоем! / Весь мир страдает от напасти, / Как будто бы не в нашей власти / Поставить точку. Рухнет дом, / Развалятся на части крыша, / В образовавшийся проем / Влетит свобода вещей птицей. / А одиночество вдвоем / Теперь нам будет только сниться.

Разнообразна тематика и творческие импульсы, подтолкнувшие авторов – архитекторов и конструкторов, педагогов и научных сотрудников, инженеров и математиков – взяться за перо (опять же, за неимением места упоминаю не всех): в «Римоне» есть и невыдуманные истории из прошлого (рассказы Бориса Корша, Виктора Левицкого, Аиды Злотниковой, воспоминания о встречах с Бернесом музыканта Эмиля Зигеля); фрагменты из писем Ариадны Эфрон (публикация Аиды Злотниковой); яркая, провокативная повесть Александра Панина «Тысяча и одна ночь Искандера, или тревожные сны маргиналов», изображающая муки репатрианта в жанре «фэнтази»; очень любопытный, хотя несколько тяжеловатый по конструкции, мистический рассказ Эли Гендельмана «Мертвая царевна»; и рассказ-притча Александра Рыскина «Генерал», неожиданно сблизивший в моем воображении режимы военных хунт в Южной Америке с некоторыми явлениями в наших палестинах; лирические стихи Л. Костромичевой, Е. Горбовец и Н. Зандель; очерк-исследование из библейской истории многоопытного педагога Ушера Розенталя, лишь в 1990 году занявшегося изучением ТАНАХа. Обращают внимание философские дву- и четверостишия Григория Барбанова, хотя они неровны по литературным достоинствам. К примеру, «Холмы Галилеи» (*Я слышу историю марш / Шагает в холмах Галилеи. / Как историю люди творят / В своих повседневных делах*) напоминают советские песни 30-х годов, а рядом «Олени в саду» (*Кто тут бежит сквозь мой мир, / Полный фруктов, ягод и света, / Так же вот мысли мои вольно бегут, / Как олени свободны в лесу*) – по интонации уже ближе к переложениям «Песни песен».

Второй выпуск реховотского «Римона», не в пример первому, пробному, отличается высокой книжной культурой, свойственной издательству «Филобиблон». Здесь и продуманный макет и оформление книги (Л. Юниверг), и изящные, окрашенные мягким юмором рисунки архитектора Татьяны Барабановой из серии «Реховот», и биографические справки об авторах, и раздел «Наш вернисаж», где представлено творчество профессиональных реховотских художников Валерия Курова и Шошаны Левит. Валерий Куров впервые опубликовал три поэтические автолитографии из «Абрамцевского цикла», сделанные еще в 70-е годы и рядом – оригинальные офортные и ксилографические экслибрисы. Шошана Левит представлена четырьмя лирическими монопринтами и тремя иллюстрациями в смешанной технике: одной – к «Мастеру и Маргарите» М. Булгакова, и двумя – к стихам Джанни Родари из его книги «Путешествие в небе и на земле». В середине 80-х эта серия рисунков Шошаны завоевала в Италии Гран-при на международном конкурсе. В «Римоне» Ш. Левит выступает и как автор небольшой подборки стихотворений. Точность песенной интонации сразу вызывает доверие и к ее поэтическому голосу: *По тебе дождь слезы льет, льет, / И в окно печально бьет, бьет...*

Замечательна и заключающая книгу подборка стихотворений иерусалимского гостя сборника – поэта Владимира Френкеля. Вот, к примеру, несколько строк из его стихотворения: *На желтом пляже – конец сезона, / Длинней прогулки, темней залив. / А солнце катится с небосклона, / Тепла дневного не сохранив. // По мне, так лучше, не озаботясь / Ничем, мотив повторять сквозной, / Пока волна оставляет ростись, / Пока податлив песок сырой.*

В общем, впору сравнить «Римон» с холеным денди, тщательно принаряженным и выбритым, с максимально точно подобранными деталями туалета. «Ришон» же похож на взерошенного студента, в мятой рубашке, небрежно засунутой в вельветовые брюки: бросаются в глаза досадные издательские огрехи – отсутствие полей на страницах, отсутствие сведений об авторах, редакторские недосмотры, неряшливый набор оглавления.

К сожалению, «Римону» недостает «сквозного мотива», разнообразие подчас звучит разноголосицей, разделение публикаций именно по внешним признакам жанра – «Поэзия», «Проза» – как ни странно, лишь усиливает впечатление нехудожественного беспорядка, пестроты.

В «Ришоне», напротив, уже открывающие его строки из поэтической подборки Наума Басовского *«Не я выбираю – меня выбирает судьба. / Ведь это лишь видимость думать, что я выбираю»* – задают тематический и эмоциональный камертон, на который настроены и лучшие работы сборника. Это «сопряжение» жизни там и тут, пристальное вглядывание в израильскую действительность, объединяет, на мой взгляд, наиболее яркие публикации ришоновского альманаха: повесть Василия Розена «Три дня Глеба Сухова», поэму «Авраам» Владимира Добина, юмористический рассказ Дмитрия Онгейберга «Элефант и виндсерфинг», пьесу Геннадия Седова «Где-то в Гималаях», отклик-комментарий Владимира Басина к рассказам русского сиониста Вениамина Бромберга, погибшего на Колыме в 1942 г. (Рассказы были опубликованы в книге Михаила Хейфеца «Воспоминаний грустный свиток», посвященной судьбе братьев Бромберг.)

...В годы второй мировой войны на Святой Земле находилась в изгнании Польская армия на Востоке. На страницах издаваемой здесь газеты «W drodze» печатались поэтические произведения, которым посвящена блестящая статья Валентины Брио «Иерусалимские стихи польских поэтов» («ИЖ», № 9). Тревога за судьбу растерзанной фашистами Польши, тоска по ней, и будоражащие душу впечатления от встречи с библейской землей и реалиями палестинской жизни пронизывают эту поэзию особым напряжением и трагизмом. «Шум того времени» и сегодня волнует перечитывающих те строки.

«Шум нашего времени» доносится и со страниц изданий, подобных «Римону» и «Ришону». И потому, несмотря на недостатки, альманахи, представляются мне чрезвычайно ценными, не только как явления литературного процесса, но истории и духовного развития русскоязычной общины Израиля. Издания эти – существенное дополнение к нашему коллективному портрету.

ИМЕНА

Татьяна АЗАЗ-ЛИВШИЦ родилась в Харькове. Закончила биофак Ленинградского университета. Репатрировалась в 1977 году. Автор книги «Лекарственные препараты в Израиле» (1996). Составитель (вместе с Б. Л. Милявским) сборника «Вопреки времени» избранных работ литературоведа Льва Лившица и воспоминаний о нем (1998). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы рецензии на книги Наталии Дорошко-Берман (№ 13) и Марины Меламед (№ 13).

Маша АЙНБИНДЕР родилась в Москве, с 1949 года жила в Риге. Училась в Московском художественно-промышленном училище им. Калинина. Работала рисовщицей на Рижском фарфоровом заводе (бывшем Кузнецовском). В 1962 году окончила факультет живописи Латвийской Академии Художеств. Оформляла театральные спектакли. Репатрировалась в 1992 году. Лауреат премий Гелберга (1998) и Иш-Шалом (2002). Работы **М. А.** находятся в Рижском музее, Худфонде Латвии, а также в частных коллекциях в Израиле, России, Франции, США и других странах. Живет в Иерусалиме.

Илья АЛЫЙ родился в 1978 году в Кишиневе. Репатрировался в 1992 году. Живет в Иерусалиме, студент Еврейского университета. Ранее не публиковался.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатрировался в 1992 году. Автор четырех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Козлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии русскоязычного СП Израиля. Живет в Ришон ле-Ционе. Работает инженером.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов «Место, где каждый день живёшь» (№ 4) и «Новые стихи» (№ 14-15); переложения из книги Исаии (№ 8) и книги Псалмов (№ 12); эссе «Три аквариума» (№ 6) и «... Созерцать красоту господню» (№ 14-15); рецензии на книгу Юрия Колкера (№ 7), Зинаиды Палвановой (№ 14-15), Елены Аксельрод (№ 17); заметки о переложении Экклезиаста (№ 7). В 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышли книги стихов **Н. Б.** «Полнозвучие» (2000) и «Об осени духа и слова» (2004).

Михаил БАСИН родился в 1957 году в Москве. Окончил Институт связи. Работал в строительно-монтажном управлении, автобусном парке, Центральном Доме литераторов. Лауреат Чимганского фестиваля авторской песни (1980). Автор песен к мюзиклу Челябинского театра кукол «Из жизни насекомых» по мотивам пьесы Йозефа и Карела Чапеков. Репатрировался в 1990 году. Стихи **М. Б.** вошли в «Антологию авторской песни», составленную Д. А. Сухаревым и в коллективный сборник «Книга на четверых». Живет в Нешере. Работает инженером.

В «ИЖ» № 12 опубликована подборка стихов и тестов песен **М. Б.** «Тот, кто Время своё назовет».

Владимир БОЛОТИН (1955, Караганда – 2005, Новосибирск). В 1978 году закончил физфак Новосибирского университета. Работал в Институте физики в Новосибирском Академгородке. Лауреат Чимганского фестиваля (1980). Песни в авторском исполнении записаны на дисках «Восточный ветер» (1995), «Чужой человек» (1999) и «Любимая история» (2001). В «ИЖ» № 6 опубликована подборка В. Б. «В комнате у Шапиры».

Игорь БЯЛЬСКИЙ родился в 1949 году в Черновцах. Окончил Пермский политехнический институт. Один из организаторов Ташкентского КСП «Апрель» и фестиваля авторской песни «Чимган». Репатриировался в 1990 году. Автор сборников «Города и горы» (1986), «Времена города» (1988), «На свободную тему» (1996). Стихи и переводы из Джона Апдайка включены в антологии «Строфы века». Живет в поселении Текоа. В «ИЖ» опубликованы подборки «На улицу Хеврон» (№ 6), «Из посвящений» (№ 13); переводы рассказов Э. Керета (№ 12).

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 1996 году. Автор семи поэтических книг для детей и сборников стихов «Моление о памяти» (1995) и «Репортаж из Эдема» (1998). Лауреат литературной премии им. Б. Горбатова (1983). Живет в Холоне. В «ИЖ» публиковались подборки стихотворений «Пока душа не сменит оболочку» (№ 5) и «Листок эвкалипта» (№ 14-15); рецензия на книгу Александра Крестинского (№ 16). В 2002 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов М. В. «Третья попытка».

Зеэв ГЕЙЗЕЛЬ родился в 1958 году в Жданове. Окончил МИИТ. Репатриировался в 1988 году. Один из основателей (1992) израильской системы физматшкол МОФЕТ. Автор сборника фельетонов «Кама зман ата ба-арец», монографии «Политические структуры Государства Израиль» и школьного учебника «Еврейская традиция». Перевел на иврит песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима, В. Ланцберга и др. Выпустил совместно с композитором В. Шаинским диск детских песен в своих переводах на иврит «Чебурашка и все-все-все!» (2003). Живет в поселении Алон-Швут.

Маша ГИТЕЛЬ родилась в 1983 году в Москве. Репатриировалась в 2002 году. Ранее не публиковалась. Живет в Тель-Авиве. Учится в Университете им. Бар-Илана.

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев

идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Государственной премии Израиля (1957).

В «ИЖ» стихи поэта опубликованы в №№ 13, 16, 19.

Дом наследия У. Ц. Гринберга, расположенный в Иерусалиме (ул. Яффо, 34), ежегодно проводит поэтические фестивали памяти поэта; здесь регулярно проходят семинары Мастерской поэтического перевода и заседания литературного клуба «ИЖ».

Игорь ГУБЕРМАН родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979–84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов И. Г. «И вышло всё, как если бы спросили» (№ 1), «Из Пятого иерусалимского дневника» (№ 11), «Гарики из Атлантиды» (№ 13); заметки об Александре Окуне «Текст к рисункам» (№ 4), проза «В огороде сельдерей» (№ 8); эссе «Блики эпохи» (№ 12).

В «Библиотеке Иерусалимского журнала» изданы «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2004).

Григорий ДИКШТЕЙН родился в 1936 году в Харькове. В 1992 году эмигрировал в США. Лауреат многих фестивалей авторской песни. Автор нескольких дисков, а также книг «...и отзовется эхо!» (1995) и «Мы дети погонь и агоний» (2001). Песни Г. Д. переведены на чешский, словацкий, иврит, французский, английский языки; вошли в «Антологию авторской песни», составленную Д. А. Сухаревым (2002).

Живет в Чикаго. Работает дизайнером.

Лорина ДЫМОВА родилась в Свердловске, много лет жила в Москве. Репатриировалась в 1992 году. Автор книг стихов «Журавль в небе» (1982), «Миг золотой» (1989), «Колыбельная перед разлукой» (1995), «Стихи о прекрасной даме и Одном господине» (в соавторстве с Леонидом Черкасским, 1996), «Сказала Блондинка... Сказала Брюнетка» (2000), «Откровенные стихи о любви» (2003) и книг прозы «Милая женщина в окружении динозавров» (1995), «Эти непонятные женщины» (1997). За переводы болгарской поэзии награждена орденом Кирилла и Мефодия первой степени. Лауреат премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Живет в Иерусалиме. Ведущая литературной гостиной в Иерусалимской русской библиотеке.

В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Д. «Жил на свете рыцарь бедный» и «Такой вот парадокс» (№ 2), переводы детских стихов А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7), эссе «Об одном господине» (№ 18).

Елена ИГНАТОВА родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор книг «Стихи о причастности» (1976), «Теплая земля» (1989), «Небесное зарево» (1992), «Стихотворения разных лет» (2005), а также книги «Записки о Петербурге» (Санкт-Петербург, 1997, 2003). Автор сценария документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (режиссер Семен Аронович, Ленфильм, 1989). Стихи включены в антологии русской поэзии, переведены на разные языки. В 1990 году переехала в Израиль. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликована повесть Е. И. «Педивер» (№ 1), эссе «Новый Гоголь народился» (№ 7), рассказ «И ранней порой...» (№ 16) и рецензия на книгу Славы Курилова «Путь» (№ 6).

Арнольд КАШТАНОВ родился в 1938 году в Сталинграде. По образованию – инженер. Автор десяти книг прозы. Один из авторов российско-американской антологии «10 лучших рассказов». Победитель Всесоюзного конкурса на лучший киносценарий (1973). Произведения А. К. переведены на другие языки. Репатриировался в 1991 году. Живет в Нетании.

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Успех как эстетический феномен» (№ 1), «Групповой портрет с отрезанным ухом» (№ 4), «Земля сия не есть место для покоя» (№ 7) и рецензии на книги Алекса Резникова (№ 6) и Марка Богославского (№ 13).

Михаил КОПЕЛИОВИЧ родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Автор книги статей о современной русской литературе, а также об израильской литературе на русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002).

Репатриировался в 1990 году. Публикуется в литературной периодике Израиля, России и США. Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы его рецензии на книги Бориса Голлера «Флейты на площади» (№ 6) Светланы Шенбрунн «Розы и хризантемы» (№ 7) и Эли Шехтмана «Кольца на душе» (№ 13).

Яков ЛАХ (Лиховецкий) родился в 1937 году в Киеве. Репатриировался в 1974 году. Работал инженером, переводил стихи современных израильских поэтов, в том числе роман в стихах Амоса Оза «И то же море». Автор нового комментированного перевода «Песни песен» (2003). Живёт в Беэр-Шеве.

В «ИЖ» (№№ 12, 16) опубликованы переводы стихов Натана Заха, Еуды Амихая, Ури Цви Гринберга, эссе о Захе и Амихае и статья «Вернись, обернись, Шуламит...» (№ 18).

Леонид ЛЕВИНЗОН родился в 1958 году в Новоград-Волынске. Окончил мединститут в Ленинграде. Репатриировался в 1991 году. Автор книги прозы «Ленинград–Иерусалим» (1997).

Живет в Иерусалиме. Работает в медицинском центре «Адасса». В «ИЖ» опубликованы рассказы Л. Л. «Полет» и «Одуванчик» (№ 1), повесть «Проект» (№ 6), эссе «И вот я увидел» (№ 11) и подборка рассказов «Штука сложная и неправильная» (№ 14-15).

Марина МЕЛАМЕД родилась в Харькове. Окончила музыкальное училище по классу виолончели, а также три курса филфака Харьковского университета. Основатель детского клуба авторской песни «Товарищ Гитара». Репатриировалась в 1990 году. В Иерусалиме окончила четырехгодичную театральную школу «Визуального театра». Лауреат многих фестивалей авторской песни. Автор нескольких дисков. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборка рассказов «Джаз в стиле идиш» (№ 6) и миниатюры «Прочие слова» (№ 13).

В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышли книги прозы **М. М.** «Перекресток желаний» и «Под созвездием лягушки».

Ицхокас МЕРАС родился в 1932 году в Литве. Репатриировался в 1972 году. Автор повести «Желтый лоскут» (1960); книг прозы «Земля всегда жива» (1963) и «Опрокинутый мир»; романов «Ничья длится мгновение» («Вечный шах», 1963); «На чем держится мир» (1965); «Полнолуние» (1966); «Стриптиз, или Париж–Рим–Париж» (1971); «Сара» (1984). Произведения И. М. изданы на двадцати языках. Лауреат литературных премий разных стран. Кавалер ордена Великого князя Гедиминаса.

Живет в Холоне, почетный гражданин этого города.

В «ИЖ» опубликованы рассказы **И. М.** «Старуха с зеленым ведром» (№ 12), «Оазис» (№ 14-15), «На полпути» (№ 18).

Зинаида ПАЛВАНОВА родилась в Мордовии, росла в Подмоскowie. Окончила МИНХ им. Плеханова, работала в Москве социологом, потом сторожем. Автор восьми поэтических сборников. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы подборки «А на холмах наш вечер полыхает» (№ 3), «Кругосветный ветер» (№ 12), «Незаконченный сюжет» (№ 18). В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышли книги **З. П.** «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без прикрас» (2002) и «Новые иерусалимские картинки» (2004).

Исраэль ПИНКАС родился в Болгарии в 1935 году и прибыл в подмандатную Палестину в девятилетнем возрасте. Учился в Тель-Авивской гимназии «Шалва». Вышедшие полвека назад сборники **И. П.** «Четырнадцать стихотворений» и «Ужин в Ферраре», а также книга «Лекция о времени» (1979-1989) принесли ему известность одного из зачинателей «новой израильской поэзии». Лауреат Государственной премии Израиля (2005). Живёт в Тель-Авиве.

Ирина РУВИНСКАЯ родилась в Кирсанове Тамбовской области. Окончила английское отделение факультета романо-германской филологии Воронежского Госуниверситета. Работала библиотекарем, переводчиком, журналистом. Автор книг стихов и переводов «Коммуналка» (Харьков, 1995) и «Пока» (Москва, 1996). Печаталась в журналах «Радуга», «Простор»,

«Лицейский вестник», «Литературное обозрение»; в коллективном сборнике «Отчий дом» (Харьков, 1988), в «Антологии современной русской поэзии Украины» (Харьков, 1998) и др. Лауреат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984). Репатриировалась в 1996 году. В 1997-1999 гг. училась в докторантуре Иерусалимского университета. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» № 16 опубликована подборка стихотворений И. Р. «Из Иерусалимской тетради».

Валерий СЛУЦКИЙ родился в 1954 году в Даугавпилсе. Жил в Ленинграде. Закончил ЛГПИ им. Герцена. Участник сборника «Круг» (Ленинград, 1985). В 1988-1990 годах заведовал отделом поэзии журнала «ВЕК» («Вестник еврейской культуры»). Репатриировался в 1990 году. Автор поэтических книг: «Стихотворения 1970-1977» (2002), «Omnia» (1993), «Новый век» (2002), сборника переводов «Из еврейской поэзии XX века» (2001), а также книги стихов и эссе «Азы достоверного смысла» (2005). В «ИЖ» опубликованы подборки В. С. «Из новых стихов» (№ 13) и «Exodus» (№ 18). Живет в поселении Кдумим. Работает учителем.

Вадим СТАТУТ родился на Чукотке (поселок Эгвекинот) в 1975 году. В Новосибирске окончил полиграфическое училище и пединститут, в Москве – Университет искусств. Работал школьным учителем. Репатриировался в 1999 году. Публиковался в периодике. Редактор-составитель альманаха «Резонанс». Живет в Твери.

Яков СУСЛЕНСКИЙ родился в 1929 году в Ананьеве (Одесская область). Работал учителем английского языка и физкультуры. В 1970 году был осужден за сионистскую и антисоветскую деятельность и семь лет провел в заключении. Репатриировался в 1977 году. Автор книг «Настоящие герои» и «Перо моё – враг мой». Живёт в Иерусалиме.

Александр ФАЙНБЕРГ родился (1939) и живет в Ташкенте. Окончил Топографический техникум и журфак Ташкентского госуниверситета. Автор двенадцати книг стихов. По его сценариям поставлены четыре кинокартины и более двадцати мультфильмов. Перевел на русский язык стихи многих узбекских поэтов. Несколько лет руководил республиканским поэтическим семинаром Союза Писателей. В «ИЖ» опубликованы подборки стихов А. Ф. «Блаженны, кто себя не потерял» (№ 5), «Яхта на ветру» (№ 14-15) и поэма «Изабелла» (№ 8).

Сусанна ЧЕРНОБРОВА родом из Риги. Репатриировалась в 1991 году. Автор поэтического сборника «На правах рукописи» (1997). Живет в Иерусалиме. Художник «Иерусалимского журнала».

В «ИЖ» опубликованы подборка стихов «Пустыня и море»; эссе о художнике Исразле Малере (№ 2), «Линия Гимейна» (№ 5), «Вид на живопись» (№ 9); главы из книги «Электронная почта» (№ 16).

София ШЕГЕЛЬ (Шегельман) родилась на Украине, выросла в Литве. Окончила Вильнюсский университет. Переводит с литовского и славянских языков. Работала в издательствах «Высэйшая школа» (Белоруссия) и «Минтис» (Литва). Репатрировалась в 1989 году. Сотрудничает с израильской и зарубежной русскоязычной прессой. Живет в Ашдоде.

В «ИЖ» в переводе **С. Ш.** опубликованы рассказы Ицхокаса Мераса «Оазис» (№ 14-15), «На полпути» (№ 18), а также ее собственный рассказ «Здравствуй, Лиза!» (№ 17).

Валентин ШОР родился в 1944 году в Москве. В 1970 году окончил Высшее художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова. Создатель нового направления в искусстве – «Свободная пластика». Репатриировался в 1980 году. Автор парковых скульптур в Москве, Московской области и Израиле. Работы **В. Ш.** находятся также в частных собраниях в Израиле, США, Венесуэле. Автор книги стихов «Коллаж 1». Живет в Иерусалиме.

Михаил ЩЕРБАКОВ родился в 1963 году в Обнинске (Калужская область). Окончил филфак МГУ им. Ломоносова.

Автор книг: «Фиалковый букет» (1988); «Ковчег неутомимый» (1988); «После Ковчега» (1992); «Вишневое варенье» (1990), «Нет и не было яда» (1992), «Другая жизнь» (1997).

Песни в авторском исполнении записаны на диски «Вишневое варенье», «Балаган 2», «Город Город», «Другая жизнь», «Это должно случиться», «Заклинание», «Воздвиг я памятник», «Целое лето», «Ложный шаг», «Шансон», «Ковчег неутомимый – 1», «Ковчег неутомимый – 2», «Избранное. Часть 1», «Избранное. Часть 2», «Deja», «Опсе», «Российские барды. Михаил Щербаков», «Если», «Пешком с востока», «Предположим».

Живет в Москве.

В «ИЖ» опубликованы подборки текстов его песен «Инициалы» (№ 1) и «Не подводя черты» (№ 13), «Если» (№ 17).

**РЕДКОЛЛЕГИЯ «ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»
сердечно поздравляет**

с 80-летием

**наших авторов – прозаика и драматурга Марка АЗОВА
и поэта Марка БОГОСЛАВСКОГО**

с 75-летием

**нашего постоянного автора и верного друга журнала –
поэта Дмитрия Антоновича СУХАРЕВА,
наших авторов – прозаика Леонида СЛОВИНА
и публициста Феликса КРАСАВИНА**

с юбилеем

нашего автора и верного друга журнала – Инну ВИНЯРСКУЮ

с 70-летием

**наших авторов – прозаика, поэта, переводчика и драматурга
Асара ЭППЕЛЯ, поэта Давида АДЕСМАНА**

с 65-летием

**наших постоянных авторов –
прозаиков Эли ЛЮКСЕМБУРГА и Владимира ФРОМЕРА,
поэта и литературоведа Самуила ШВАРЦБАНДА**

с юбилеем

**нашего постоянного автора и товарища по журналу –
поэта и художника Сусанну ЧЕРНОБРОВУ**

с 60-летием

**нашего автора и товарища по журналу –
литературоведа и культуролога Романа ТИМЕНЧИКА,
нашего автора – поэта, основателя творческого содружества
«Столица» Бориса КАМЯНОВА,
наших постоянных авторов и верных друзей журнала –
писателей Аркадия КРАСИЛЬЩИКОВА,
Алекса РЕЗНИКОВА и Владимира ХАНАНА,
наших авторов – поэта и переводчика Григория КРУЖКОВА,
поэта Григория БАРДИНА, наших товарищей по
литературному цеху – писателя Игоря ГОРОДЕЦКОГО
и книгоиздателя и библиофила Леонида ЮНИВЕРГА**

с 55-летием

**верных друзей журнала – наших авторов – поэта и барда
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, прозаика Илана РИССА,
и представителя «ИЖ» в Чикаго Александра БЛИНШТЕЙНА**

с юбилеем

нашего автора – поэта Ирину РУВИНСКУЮ

с 50-летием

**нашего постоянного автора и верного друга журнала Алекса ТАРНА,
нашего автора – текстолога и литературоведа Андрея КРЫЛОВА,
нашего коллегу – прозаика Михаила ЮДСОНА**

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

ИРИНА РУВИНСКАЯ. Наперечет. <i>Стихи</i>	3
ЕЛЕНА ИГНАТОВА. Два рассказа	6
ЛОРИНА ДЫМОВА. Няня на поляне. <i>Роман в стихах</i>	28
ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Вечерний звон. <i>Главы из книги</i>	33
ИГОРЬ БЯЛЬСКИЙ. Свой воспевая круг. <i>Стихи</i>	125
МАРИНА МЕЛАМЕД. Годовые кольца. <i>Коллекция пленок</i>	128

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

НАУМ БАСОВСКИЙ. Единственная жизнь. <i>Стихи</i>	154
ИЦХОКАС МЕРАС. Под липами. <i>Рассказ.</i> <i>Перевела с литовского София Шегель</i>	161
МАРК ВЕЙЦМАН. Свидетель. <i>Стихи</i>	172
АРНОЛЬД КАШТАНОВ. Ангел Эммануэль. <i>Роман</i>	180
ИСРАЭЛЬ ПИНКАС. Стихи разных лет. <i>Перевел с иврита Яков Лах</i>	314
ЯКОВ ЛАХ. «Вовек ему не выразить всего...»	319

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ. Охапка кленовых листьев. <i>Стихи</i> ..	321
УЛИЦА СТРАНЫ ВОЖДЕЛЕННОЙ	
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Из цикла «С Богом моим – кузнецом». <i>Стихи. Перевела с иврита Зинаида Палванова</i>	329
ЯКОВ СУСЛЕНСКИЙ. Ода мухе. <i>Стихи</i>	330
ВАДИМ СТАТУТ. Два стихотворения.	331
ВАЛЕНТИН ШОР. Сон. <i>Стихи</i>	332

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

МАША АЙНБИНДЕР. Не о себе	333
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Цвет интонации	342

КИНГ ДЖОРДЖ, 21

МАША ГИТЕЛЬ. набросок на полях записной книжки. <i>Стихи</i> ..	343
ИЛЬЯ АЛЫЙ. На вдохе мой дом синева. <i>Стихи</i>	344

ПАРК САКЕР

МИХАИЛ ЩЕРБАКОВ. Река течет исправно. <i>Тексты песен</i> ...	345
ЗЕЭВ ГЕЙЗЕЛЬ. История одной песни	350
ГРИГОРИЙ ДИКШТЕЙН. Но едва ты поднимешь смычок... <i>Тексты песен</i>	376

ХОЛМ ПАМЯТИ

МИХАИЛ БАСИН. «Первый, который не выдержал гонки...» ..	380
ВЛАДИМИР БОЛОТИН. А свет – пусть из темноты	383
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ. Он человек был в полном смысле слова	389

НОВЫЕ ВОРОТА

ТАТЬЯНА АЗАЗ-ЛИВШИЦ, МАРК ВЕЙЦМАН, ЛЕОНИД ЛЕВИНЗОН, ВАЛЕРИЙ СЛУЦКИЙ об альманахе «Римон» и книгах Евгении Завельской, Анатолия Добровича, Эли Кормана	391

ИМЕНА

Авторы и персонажи	403

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя

Jerusalem Anthologia

по адресу:

Jerusalem Literary Review,

P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):

В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку

В других странах – \$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:

В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.

В других странах – \$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азаз-Лившиц (Иерусалим), Михаэля Бар-Шалева (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Чикаго), Андрея Грицмана (Нью-Джерси), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Александра Дова (Петях-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Василия Емельянова (Иерусалим), Марка Камцана (Петях-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Беэр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петях-Тиква), Иосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Ренату Муху (Беэр-Шева), Генриха Небольсина (Иерусалим), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зезва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Беэр-Шева), Михаила Финкеля (Петях-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Павла Хмару (Москва), Наума Шаца (Иерусалим), Михаила Щербакова (Москва), Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)
за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2004 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки» (1, 2)

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,
«Авангардист на крышу вышел»

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий», «Гарики предпоследние»,
«Гарики из Атлантиды»

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»

Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»

Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»

Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),
«Иерусалимский след» (книга вторая)

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведевко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ, книга стихов Ильи Берковича, книга стихов Владимира ДРУКА, книга Феликса КРИВИНА, книга стихов Владимира ФРЕНКЕЛЯ, книга «Иерусалим в названиях улиц» Алекса РЕЗНИКОВА, книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 20-21, 2005

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian
Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvi Chernin, **Elena Ignatova**, **Yuly Kim**, **Zinaida Palvanova**,
Dina Rubina, **Svetlana Schoenbrunn**, **Roman Timenchik**

Executive Secretary: **Leonid Levinson**

Graphic Designer: **Susanna Chernobrova**

Web Designer: **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors: **Binah Smekhova**, **Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support: **Olga Aksyutina**, **Boris Bronshtein**,
Daniel Burshtein, **Michael Byalsky**, **Victor Gopman**, **Gregory Gordin**,
Svetlana Moiber

SCOPUS Publishing House

Print: **TSUR OT**

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2005. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone: 972-2-9960827; 972-2-6434005; 972-2-6451288; Fax: 972-2-9960302

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru

Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com

in Chicago: **Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; sashablin@hotmail.com

Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** – 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@free.fr

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

CONTENTS

LION GATE

IRINA RUVINSKAYA. Every single one. *Poems*

ELENA IGNATOVA. Two short stories

LORINA DYMOVA. Nanny in a glade. *Novel in verse*

IGOR GUBERMAN. Those evening bells. *Chapters from the book*

IGOR BYALSKY. Praising my friends. *Poems*

MARINA MELAMED. Annual rings. *Set of tapes*

JAFFA GATE

NAHUM BASOVSKY. The only life. *Poems*

ITZCHOKAS MERAS. Under the lime trees. *Short story*

Translated from Lithuanian by Sophia Shegel

MARC WEITZMAN. The witness. *Poems*

ARNOLD KASHTANOV. Angel Emmanuel. *Novel*

ISRAEL PINKAS. *Poems*

YAKOV LAKH. "He'll never enunciate..."

Translator's afterword

BUKHARA QUARTER

ALEXANDER FEINBERG. Armful of maple leaves. *Poems*

DESIRED LAND STREET

URI ZWI GREENBERG. *Poems from the cycle*

"With my God, the blacksmith".

Translated from Hebrew by Zinaida Palvanova

YAKOV SUSLENSKY. Ode to the fly. *Poem*

VADIM STATUT. Two poems

VALENTIN SHOR. Dream. *Poem*

BETZALEL STREET

MASHA EINBINDER. Not about myself

SUSANNA CHERNOBROVA. The color of intonation

21 KING GEORGE ST

MASHA GITEL. Marginalia. *Poem*

ILYA ALY. Three poems

SAKER GARDEN

MICHAEL SHCHERBAKOV. A river is flowing in a good way. *Lyrics*

ZEEV GEIZEL. A history of a song

GREGORY DICKSTEIN. When you raise a bow... *Lyrics*

MEMORY HILL

MICHAEL BASIN. "He was the first who could not stay the distance..

VLADIMIR BOLOTIN. Light originated from darkness

MICHAEL KOPELIOVICH. "He was a man, take him for all in all..."

NEW GATE

Reviews by Tatiana AZAZ-LIVSHITZ, Marc WEITZMAN,

Leonid LEVINSON, Valery SLUTZKY

of almanac "Rimon" and books by Evgenia ZAVELSKAYA,

Anatoly DOBROVICH, Eli KORMAN

NAMES

Authors and characters

תוכן העניינים:

שער האריות

אירינה רובינסקאיה. יחידים – שירים
ילנה איגנטובה. שני סיפורים
לורינה דימובה. מטפלת בטיילת – רומן בשירים
איגור גוברמן. פעמוני הערב. פרקים מספר
איגור ביאלסקי. שר למעגל שלי – שירים
מרינה מלמד. טבעות שנתיות – אוסף קלטות

שער יפו

נחום בסובסקי. חיים יחידים – שירים
יצחקס מרס. תחת לתרזות – סיפור. מליטאית – סופיה שגל
מרק ווייצמן. עד – שירים
ארנולד קשטנוב. המלאך עמנואל – רומן
ישראל פנקס. שירים משנים שונות
יעקב לך. "לעולם לא יביע כל..." – אחרית דבר מאת המתרגם

שכונת הבוכרים

אלכסנדר פאינברג. צרור עלי אדר – שירים

רחוב ארץ חפץ

אורי צבי גרינברג. מתוך מחזור השירים "עם אלי הנפח"
מעברית – זינאידה פלבנובה
יעקב סוסלנסקי. שיר-הלל לזבוב
וודים סטאטוט. שני. שירים.
וולנטין שור. "הדלקתי חלום – שיר

רחוב בצלאל

מאשה איינבינדר. לא על עצמי
סוסנה צ'רנוברובה. צבעה של אינטונציה

קינג ג'ורדג', 21

מאשה גיטל. מרגינליה – שיר
איליה אלי ביתי – שירים

גן סאקר

מיכאיל ש'רבקוב. תקין זורם הנהר – שיריה
זאב גיזל. סיפורו של שיר.
גריגורי דיקשטיין. וברגע שתניף את הקשת – שיריה

הר הזיכרון

מיכאל בסין. "ראשון שירד מהמרוץ..."
וולדימיר בולוטין. והאור שיבוא מהחושך – שירה
מיכאל קופלוביץ'. הוא היה בן אדם במלוא מובן המילה

השער החדש

סטיאנה עזז-ליפשיץ, מרק וויצמן, לאוניד לוינון, וולרי סלוצקי
על המאסף "רימון" ועל הספרים מאת יווגניה זבלסקי,
אנטולי דוברוביץ' ואלי קורמן

שמות

יוצרים ודמויות

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
הלנה איגנטובה, רומן טימנצ'יק, יולי קיס,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר – לאוניד לוינזון
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק
עריכה והגהה – בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית – אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, לינה וילנסקי,
סבטלנה מויבר, אנטון מוכין, אילן ריס, בוריס שטיין

הדפסה: דפוס "צור-אות"

הוצאה לאור: "סקופוס"

בתמיכת



מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות



משרד המשפטים,
הועדה הציבורית לקביעת
ייעודם של עזבונו לטובת המדינה

© 2005 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322

טל. 0545-766722, 02-6451288, 0544-745322, 02-5666622, 02-9960827
E-mail: review@antho.net

